

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЮЛЬ

МОСКВА
1939

Уполн. Главлита А—13167.
Сдано в набор 17/VI—39 г. Подписано к печати 13/VII—39 г.
18 печ. листов. 28,5 авт. листов. Тираж 80.000. Зак. 2081.
Технический редактор **Е. Т. Верхоробенко.**
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва. Пушкинская площадь, 5.

О „ДНЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР“

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановили:

В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского Военно-Морского флота Союза ССР и стоящих перед ним задач установить „День Военно-Морского флота Союза ССР“, проводимый ежегодно 24 июля.

★

Вымпела славы

История мореплавания беспристрастна, как вахтенный журнал корабля. Пять веков назад рыбаки русского Поморья плавали к Шпидбергену, а новгородские ладьи, задолго до варягов, бороздили Балтийское море. На географических картах 1500 года нанесена открытая и «проведанная» нашими соотечественниками Новая Земля. Стефан Барраф, европейский путешественник того времени, свидетельствовал, что русские — смелые и опытные мореходы, и скорость их судов превосходит скорость английских кораблей.

Не в штилевых и субтропических широтах, отягощенных изобилием даров природы, прокладывались пути русскими мореходами, а в штормах студеного вод от Мурманского до Охотского моря, от Берингова пролива до форта Росса в преддверии суровой Антарктиды.

Враги не раз пытались вытеснить русский народ с морских побережий. Наш молодой военный флот в первом сражении преподал жестокий урок тем, кто осмелился помешать естественному и закономерному ходу истории. Корабли, сильнейшей до той поры, шведской державы, позорно спустив вымпела, бежали от мыса Гангут во свояси. Битвой при Гангуте начата летопись героических дел русских моряков; походами Беринга и Чирикова начат перечень пятидесяти четырех круп-

нейших географических открытий на огромном пространстве Тихого океана, чьи северо-западные и северо-восточные побережья от мысов Барроу и Дежнева до Калифорнии и Квантунского полуострова найдены и нанесены на карту нашими моряками.

Выстрел «Авроры» возвестил всему миру о начале советского мореплавания. Штормовые ветры революции перелистали страницы новой главы. С них встают в бескозырках с жестяной драгоценной звездочкой над словом «Гангут», в бушлатах, опоясанные пулеметными лентами, — бессмертные образы балтийских и черноморских матросов.

Моряки из Кронштадта и Севастополя, неся на алых вымпелах традиции лучших сынов русского флота — героическую самоотверженность, любовь к родным кораблям, хозяевами идут по страницам истории. Вопреки догмам стратегии, советские моряки доказывают всему миру, что форты, корабли, берега неприступны тогда, когда они принадлежат народу. Посланные товарищем Сталиным на штурм захваченного предателями форта «Красная горка», они берут его стремительным натиском с суши и с моря. Защищают подступы к кронштадтским фортам. Уходят на передовые позиции речных и сухопутных фронтов, командуют батареями, полками, бронепоездами, ведут Балтийский флот через льды Финского залива.

То были дни, когда перед лицом смерти выковывался и закалялся советский патриотизм.

Пал Псков. Кайзеровские дивизии, попирая условия Брестского мира, наступали на Эстонию и Украину. Германский десант высадился на берегу Ботнического залива и форсированным маршем двигался в глубь Финляндии: враг целился на советский флот. Сто семьдесят два корабля, отрезанные льдами от Кронштадта, зимовали в портах Ревеля и Гельсингфорса. Германские эскадры крейсировали у выхода из финских шхер. Казалось, пути отрезаны. Стервятниками вились над гаванями «таубе», сбрасывая прокламации, суля морякам денежные награды, если корабли будут сданы оккупантам в сохранности. Самоуверенные германские адмиралы всерьез надеялись, что флот станет их добычей, и беспокоились только об его целостности.

Под бомбами «таубе», под обстрелом белофинских батарей, под носом германских адмиралов балтийцы вывели суда в море и начали беспремерный поход во льдах. 17 апреля 1918 года моряки ста семидесяти двух кораблей увидели знаковую башню Толбухина маяка и за ним рыжие очертания фортов родного Кронштадта.

Балтийский флот был спасен, но соотношение морских сил на других фронтах сложилось не в нашу пользу.

История советского мореплавания хранит на своих страницах двузначное число побед и одно поражение, равное победе. На германский ультиматум о сдаче Черноморского флота моряки, выполняя наказ Владимира Ильича Ленина, подняли на мачтовых фалах

достойный ответ: «Погибаю, но не сдаюсь!», и потопили корабли, чтобы вскоре отплатить сторицей за их гибель.

На портовых ледоколах и шаландах— «грязнухах», на буксирных катерах и несамоходных баржах, вооруженных орудиями, советские моряки громили вражеские флотилии у Обиточной косы на Азовском море, у Лоева моста на Днепре, под Казанью и Царицыном, у Видлицы на Ладоге, у острова Мэг на Онежском озере, в горле Белого моря и у знойных берегов Энзели, на сибирских реках и на далеком Амуре; умирали в неравных боях за коммунизм и родину, с мечтой о большом и непобедимом советском флоте.

Седые мастера верфей, привыкшие исчислять время по датам закладки и спуска очередного судна, уже не в состоянии запомнить имена своих пловучих питомцев. Все чаще покидают колыбель эллингов новорожденные корабли, любовно отчеканенные до последней заклепки руками советских судостроителей. Скользят по наклонным спускам стапелей, врезаются в гладь заводской гавани, отражаясь в ней обводами бронированных корпусов. Подняв вымпел, начинают жизнь: идут на вахту к подступам города Ленина, к воротам Северной Атлантики, к голубым льдам высоких широт, чтобы преградить путь врагу с запада; купают звезды форштевней в просторах Тихого океана, в сапфировых бухтах Дальневосточного Приморья, в свинцовых охотских валах и лазоревом Черноморьи; стерегут покой Родины на тридцати двух румбах компаса.

Время перелистывает страницы истории, открывая главу больших плаваний Сталинской эпохи.

Будущность

ЭДУАРД САМУЙЛЕНОК

Авторизованный перевод с белорусского Семена Родова

★

Автор романа «Будущность», талантливый белорусский писатель-орденоносец Э. Самуйленок, умер 12 февраля 1939 г. Вторую книгу автор предполагал посвятить возрождению и экономическому под'ему Колхиды в эпоху Сталинских пятилеток.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

На закате одного из майских дней откуда-то с гор налетел сильный и горячий ветер. Это было, как помнит Илико, на второй неделе после смерти бабушки Анны. Илико сидел у окна и видел, как ветер пронесся по болоту, — словно волны, заколыхались поросли черной ольхи и пригнулся тростник на краю большой топи, лежавшей тут же, у деревни, недалеко от дома, единственным хозяином которого остался теперь маленький Илико Жвания. Затем видел Илико, как ветер сорвал и разнес крышу с соседской повети, под которой стоял добрый приятель Илико — буйвол Уча. Встревоженный неожиданной бедой, старый Уча сломал загородку, сплетенную из хвороста, и побрел на улицу. — Уча! Уча! — закричал Илико. — Иди назад! Ты куда?

Илико хотел уже соскочить со скамьи и бежать на улицу, но из дому вышел сосед Коркия с палкой, и Уча сразу повернул назад. Коркия загнал буйвола в загородку и принялся ее поправлять, а Илико увлекли другие события. По улице промчалась свинья, окруженная выводком визгливых поросят. Эту свинью Илико ненавидел. В день похорон бабушки Анны он не мог как следует присмотреть за огородом, и свинья со всем своим потомством добрых два часа паслась на грядках фасоли. Мало того, эти мерзкие животные забрались в огур-

ды, и, если б заплаканный, уничтоженный горем Илико наконец не заметил их, все было бы покончено с его маленьким огородом. А виноват во всем этот толстый Симон, который торгует вином в Поты. Все надевают свиньям и поросятам деревянные воротники, чтобы помешать им пробивать рылом плетни и пролезать в огороды, а Симон не хочет, — это, мол, вредно для свиньи. И ничего с ним не поделаешь: он богат, и все его слушаются.

— Проклятая свинья! — крикнул Илико в окно. — Ты такая же, как твой хозяин, толстый Симон! — Эту брань он слышал от соседа Коркия, которому, видно, также надоело наглое животное.

Ветер крепчал. Над домами качались гибкие, высокие тополя. На их запыленных вершинах задержался прощальный отблеск солнца, которое опускалось далеко-далеко, за болотами, — там, где начиналось море. Желтоватый туман то всплывал над болотами, то исчезал, разгоняемый ветром. Стояла душная, паркая жара. Все больше темнело, и вдруг Илико заметил громадную тучу. Его удивило, что она шла как бы против ветра. Ветер дул с гор, а туча медленно двигалась наискосок с моря. Но вот ее черное крыло заслонило последний тусклый луч затуманенного солнца, вокруг воцарился серый сумрак, и внезапно ветер стих. Стало так тихо, что слышно было, как шепчет листва тополей на улице, как шумит на болоте тростник.

«Будет дождь, — подумал Илико. — Будет большой дождь и гром».

Тревога сжала его маленькое сердце: он почувствовал себя одиноким и беспомощным. Он приподнялся, чтобы затворить оконце, как вдруг тишина взорвалась, и все вокруг вспыхнуло. Слепленный, оглушенный, Илико соскочил со скамейки. Блеск молнии снова рассек сумрак, и ударило гулко и сухо два раза подряд.

— Авай-вава!¹ — закричал Илико, как это часто делала бабушка.

— Авай-вава!

Он кинулся в темный угол, где лежала его подстилка, и с головой накрылся одеялом. Теперь он не видел молний, опавших бурную муть неба, и только вздрагивал от гулких громо-вых ударов.

— Бабушка! — потихоньку хныкал Илико, — бабуля!

И вдруг ему показалось, что кто-то открыл дверь. Илико осторожно стянул с головы одеяло и посмотрел вокруг. Было совсем темно, в комнате ничего нельзя было различить, но он понял, что дверь в самом деле открыта, так как заглушенный прежде шум дождя стал отчетливым и от порога тянуло свежим, влажным воздухом. Широко открытыми глазами Илико смотрел в темноту.

— Илико! — тихо позвал женский голос. — Илико!

Он узнал голос Кетэ, дочки соседа Коркия, но был так напуган, что вместо ответа застонал.

— Что с тобой, сиротка? — заботливо спросила Кетэ. — Ты испугался? Пойдем к нам. Что ты сидишь тут один?..

Илико поднялся и ощупью двинулся к двери. Он наткнулся на протянутую руку Кетэ и ухватился за нее.

— Я здесь, тетка Кетэ... — сказал он, цепляясь за ее мокрый рукав. — Я совсем не боюсь. Ого! Однажды я всю ночь ночевал на кургане Наохвamu вместе со старым Топурия. Туда все боются ходить, а я не боюсь...

Говоря это, он дрожал и ласкал зу-

бами. Кетэ тихо засмеялась и вывела его из дому, под соломенный навес над порогом. Их оглушил шум дождя. Воздух гудел и дрожал. Далекие синеватые молнии вспыхивали одна за другой и, как спички, с шипеньем и слабым треском гасли в водяной мути.

Кетэ потянула Илико за руку. Они перебежали узкую улицу, перешли мосток через канаву, превратившуюся в бурный поток, и очутились на крыльце дома Коркия. Кетэ принялась отряхивать одежду. Илико уже осмелел и стал разговорчивым. Ему хотелось еще раз уверить Кетэ, что он не боялся один быть в темном доме.

— На кургане Наохвamu, — сказал Илико, — вепри! Ого, какие вепри! В одного вепря мы со старым Топурия стреляли из ружья. Его нельзя было убить из ружья, его можно было убить только из пушки, — так сказал Топурия. Он в десять раз больше свиньи толстого Симона... Мы со старым Топурия стреляли из ружья, а вепрь хотел кинуться на нас, но мы не испугались...

Вдруг синяя молния взрезала дождливую муть.

— Тетка Кетэ! — закричал Илико. — Кетэ! В мой дом кто-то вошел!

Кетэ опять схватила его за руку.

— Никто не вошел, — поспешно сказала она. — Никого там нет. Идем.

— Человек вошел в мой дом! Я сам видел... — кричал Илико.

Кетэ силой втащила его в сени и молча открыла дверь в комнату. За столом сидел сосед Артем Коркия и Миха-однорукий, его старший сын. Старуха Коркия готовила ужин. Увидя взрослых, Илико смолк.

— Привела? — улынулся Коркия. — Что ж ты не здороваешься со старшими? Это неприлично, бичо!

— Гамарджоба! — сказал Илико, снимая круглую войлочную шляпу. — Ко мне в дом вошел какой-то человек. Пойдем посмотрим!

Коркия бросил быстрый взгляд на Кетэ, потом на Илико.

— Если вошел, то лучше мы пойдем посмотрим, а ты оставайся тут.

¹ Горе мне.

Из другой комнаты вышел младший сын Коркия, девятилетний Ваню, однополок Илико. Ваню улыбнулся и подошел к нему.

— К нам? — сказал он радушно. — Вот хорошо. Мы завтра пойдем ловить сазанов. Они обязательно выйдут из канавы в болото, мы их и наловим...

Он прервал разговор, заметив, что отец и Миха идут к дверям.

— Куда они? — спросил Ваню.

— В мой дом пробрался вор, — важно ответил Илико. — Я хотел пойти и поймать его, но меня не пустила тетка Кетэ.

— Пойдем вместе, Илико, — оживился Ваню.

— Оставайся тут! — сурово остановил его Коркия. — Кетэ, выйди с нами.

— Ваню, Илико! — позвала мать Ваню. — Я вам дам сыру.

Это было не менее заманчиво, чем ловить вора. Старуха понесла сковороду с поджаренным сыром в спальню, и мальчики поспешили за ней. В тот же момент открылась дверь, и Кетэ опять вошла в дом.

— Какая ты неосторожная, Кетэ! — услышали мальчики отрывок фразы.

Илико выскочил из спальни. Он удивился, что вернулись так скоро. Ему казалось, что они даже из сеней не успели выйти.

— Ну, что там, дядя Артем? Поймали?

Коркия придержал его за рукав.

— Не заступай старшему дорогу, Илико. Ты уже не маленький и должен знать, как себя вести... В доме никого нет, — Кетэ заперла дверь, и туда никто не мог залезть. И если ты завтра будешь рассказывать другим, что кто-то был в моем доме, то все подумают, что ты трус, и будут смеяться над тобой... Иди к Ваню, ужинайте и ложитесь спать.

Мужчины сели за стол. Сконфуженный Илико быстро скрылся в спальне. Старуха подала ужин. Кетэ принесла на стол вино, когда-то привезенное Коркия с ярмарки, и мужчины выпили за чье-то здоровье. У Коркия своего вина почти никогда не было. Малень-

кий виноградник погиб во время войны, а завести новый не удавалось, потому что мало было земли и много едоков. Сеяли кукурузу, фасоль, огородные овощи и с этого жили.

Взрослые вели тихую беседу. Мальчики к ней не прислушивались и, покончив с ужином, легли спать рядом. Некоторое время оба молчали. Потом Илико уверенно сказал:

— Я поймал бы его.

— Кого?

— Вора.

— А если он сильный?

— И я не слабый. Я не боюсь. А вор боится взглянуть хозяину в лицо. Я поймал бы его, связал бы ему руки и повел бы к старшим на сход.

— Ты б не поймал... — подумавши, сказал Ваню. — У него могло быть оружие. А вот отец и Миха поймали б...

— У Миха нет руки, — заметил Илико.

— Зато он был на войне. Кто был на войне, тот может одной левой рукой побороть десять самых сильных, отчаянных марджа¹, а правой еще больше. У Миха нет левой руки, а есть правая... Притом он — герой. Ему самый главный царь дал на войне крест... Ого!..

Помолчали.

— Илико! А ты бы хотел, чтоб тебе на войне оторвали руку?

— Зачем?

— Чтоб быть героем.

— Крест лучше, — рассудительно ответил Илико.

— Так если тебе руку не оторвут, то не дадут и креста!.. Я б хотел. Я бы приколот к груди, а пустой рукав заложил бы за пояс, как это делает Миха... Тогда я поехал бы на ярмарку, и все на меня смотрели б... Глядите, сказали бы, Ваню Коркия пошел, герой, марджа...

— Спице, сырны червяки! — послышался голос Коркия.

Мальчики умолкли. Гул проливного дождя господствовал надо всем. Постепенно надвигался сон. Илико перестал думать о ворах. Приятная истома охватила его. Сквозь сон ему показалось,

¹ Молодцов (абхазское).

что Артем Коркия наклонился над ним и, разглаживая усы, сказал:

— ... Ничего... Дети спят... Я говорю, что, если дождь не стихнет сегодня, нам и в два дня не пробраться болотами...

Голос отдалился и стих. Илико спал. Дождь шумел над маленьким селением. Дождь гремел над необъятными просторами болотной колхидской низины. Тысячи тонн воды низринулись в эту ночь на землю, и могучая река Рион выхлестнула за берега свои мутные, бурные воды. На озере Палаестоми ходили высокие, пенистые волны, шумно бил в берега морской прибой, разлились Ингур и Капарча, переполнились и вышли на низину многочисленной притоки Риона, и даже предательская и страшная Корати — река без течения, плывучая, погибельная трясина — зашумела в эту ночь.

По улице маленького селения мчались шумные потоки. Над домами качались в теплой водянистой тьме стройные тополя. Селение спало. Только в окне Артема Коркия мигал огонек.

Утром дождь прекратился. Стало душно, как только взошло солнце. Болотные пространства дышали туманом. Ветра не было, солнце грело все сильнее, и туман не расходился, а густел. Он поднимался все выше, и вершины топей утонули в нем. Всюду по холму, на котором стояло селение, звенели мутные ручьи.

Илико и Ваню проснулись на восходе солнца. Первая мысль Илико была об оставленном доме, о вчерашних событиях. В комнате не было никого, кроме старухи, мывшей посуду и что-то про себя ворчавшей.

— Пойдем в мой дом, Ваню, — предложил Илико. — Нужно осмотреть хозяйство. Бабушка, куда ушел дядя Артем?

Старуха ничего не ответила и не остановила мальчиков, когда они выходили.

— Ого! — весело закричал Ваню, когда они вышли на крыльцо. — Попробую перескочить без разбега. Ну?

Он прыгнул и очутился по ту сторону канавы. Илико прыгнул вслед за ним,

хотя можно было перейти и по мостку. Кетэ, кормившая кур у дома, молча глянула на мальчиков и отвернулась в другую сторону. На двери дома Илико висел замок.

— Это не мой замок, — сказал Илико, напирая на слово «мой», — мой замок меньше.

— Это наш замок, — ответил Ваню. Он не мог сказать «мой» и позавидовал Илико, самостоятельному хозяину. Они заглянули в окно. Все было в порядке, только Илико казалось, что на столе должен был лежать большой кусок хачапури, оставшийся после поминок. Но, в конце концов, Илико хорошо не помнил, лежал ли там пирог вчера вечером. Возможно, он и сам его съел. Мальчики покрутились у окна, потом Илико крикнул Кетэ:

— Это вы, тетя Кетэ, заперли на замок дверь моего дома?

Кетэ недовольно махнула рукой и ничего не ответила.

— У меня там на столе кусок пирога лежал... — сказал Илико.

— Замолчи! — крикнула Кетэ. — Иди к нам, будет тебе чего поесть... Беда с этими мальцами! Ваню, домой!

Стройная Кетэ перескочила канаву еще проворней, чем мальчики, и поймала обоих, прежде чем они успели перебраться через плетень в огород. Она оглянулась. Никого не было на улице, да если кто и был, этого нельзя было рассмотреть за туманом.

— Мы хотим пойти в болото по рыбу... — оправдываясь, сказал Илико. — Там был еще кусок мчади... Мы бы его взяли с собой.

Ваню молчал, стараясь вырваться из рук Кетэ. Все же оба они скоро очутились в доме.

II

По всей низине Колхиды, от Кобулет и до Сухуми, на всех этих необъятных просторах болот, расположены древние курганы. Всего их насчитывают до четырехсот. Они громадными буграми возвышаются над зарослями тростника и ольхи. Почти каждый курган покрыт растительностью: шиповником, круши-

ной и ольхой, за них цепляются живучие побеги лиан. На самой вершине кургана — крупнейшие породы деревьев, преимущественно буков. Бук хорошо растет в душевной теплыни Колхиды, его корни глубоко вошли в древнюю почву курганов, и семья могучих деревьев высоко поднимает свои вершины над болотами, а темная, яркая зелень привлекает глаз путника, заблудившегося в опасных зарослях тростника, в болотистой чаще опутанных лианами кустарников. Но добраться до кургана не менее опасно, чем перескакивать через топи или перебираться через них по гибкой, тонкой жердочке. Курган окружен рвом, а иногда даже двумя. Рвы эти широки, глубина их измеряется саженьями, но эту глубину маскирует тонкий слой прелого мха, на котором колеблется хрупкий тростник. И человек после многих часов опасного пути, охваченный неудержимым желанием хоть на минуту почувствовать под ногой твердую почву, может легко погибнуть в глубоком рву, стоит ему только на миг потерять осторожность. Он может погибнуть в двух шагах от кургана, от твердой земли, от гостеприимной зеленой тени, обещающей отдых. И никто не придет ему на помощь в этих жутких болотных пространствах, где на сотни верст — кустарник, тростник, ядовитый туман, предательская трясина, неизмеримые топи, тучи комаров над стоячими речками и заплесневелыми канавами, желтый сон извечных болот, и надо всем этим — пылающее солнце. Он погибнет, а над ним всплывет мох, затянется трясина, и снова будет шептать тростник, качаясь над черной водой канавы.

... Кто насыпал эти курганы по всей туманной низине Колхиды? Какие народы жили здесь, где теперь не может ступить нога человека, где нет и пяди твердой земли, кроме лишь курганов?

«У народов, живущих на Фазисе, страна болотистая, жаркая, лесистая и полная влаги».

Так записал древний ученый Гиппократ. Он странствовал по этой стране, он прошел по топким берегам Риона (тогда эту бурную реку звали Фазис), и с тех пор протекли тысячелетия. На-

столько ли болотистым был этот край во времена Гиппократа? Вероятно, нет, — иначе откуда могли взять землю строители древних курганов? А теперь далеко вокруг здесь никого нет. Лишь на побережьи болот лежат редкие, заброшенные на маленьких островах, селения терпеливых и трудолюбивых мингрелов. Это мертвое пространство — огромный рассадник малярии, край заразы и смерти. Тут гнездятся только шакалы да редкие выводки других зверей. Нет, не такой была в далекие времена Гиппократа «страна болотистая, жаркая, лесистая и полная влаги».

Жаркая... полная влаги... Какой дивный сад цвел бы здесь, если б рука человека собрала воды горных рек, затопляющих низину, если б отступила вода и исчезли болота, а в жирную, теплую почву, отдохавшую тысячелетия, заботливая рука человека посадила молодые побеги новых растений! И если бы встал Гиппократ из пепла веков и прошел через страну, жаркую и полную влаги, через чудесный сад, вдоль берегов древнего Фазиса, — что бы тогда написал Гиппократ?

Так думал человек, пробираясь сквозь заросли кустарников. Колючие шипы лиан ранили его руки и рвали одежду. Ноги, обутые в высокие, тяжелые сапоги, скользили по корням и вязли в трясине. Человек по виду был средних лет. Энергичное лицо с двумя резкими морщинами, залегшими от носа до углов сжатых губ, казалось сухим, и лишь отсвет мечты в серых глазах смягчал его. Одет он был в потрепанную кожаную куртку, подпоясан патронташем, на спине висела большая походная сумка и ружье, а в руке он держал длинный курдский ятаган, которым прокладывал себе дорогу в чаще кустарников.

Погруженный в свои мысли, он проворно перебирался с кочки на кочку, перескакивал через топи и во-время хватался свободной рукой за кусты.

Следом за ним шел пожилой мингрел невысокого роста. Из-под его войлочной шляпы с обвислыми полями была видна седая борода клином и концы седых усов. На спине у него висел желтый по-

лированный сундучок, на боку — сумка, а в руке он нес ружье.

— Батоно! ¹ — обратился он к своему спутнику. — Вы велели здесь остановиться.

— Я тебя просил, Топурия, — недовольно сказал человек. — Я сколько раз просил — не звать меня «батоно». Меня зовут Андрей Михайлович.

Топурия улыбнулся.

— Я старый человек, и это уже такая привычка. Я не умею хорошо выговорить ваше имя и путаю. Позвольте мне звать вас «батоно». Я буду звать вас «батоно», а думать о вас иначе, потому что вы хороший человек. Для моей старой головы имя ваше трудное... Да вот, батоно, направо, видите, курган. Вы здесь велели остановиться. А дальше, немного влево, есть другой.

Андрей Михайлович посмотрел на высокий курган, над которым поднималась вершина высокого дерева.

— Хорошо! Оттуда можно многое увидеть, — с удовольствием заметил Андрей Михайлович и спросил, легко ли туда пройти.

— Мы пойдем вдоль этих кустов, — ответил Топурия, — потом свернем к небольшой канаве, где должны быть давнишние перекладины, по ним и проберемся. Эта канава, говорят, — древний ров. Его вырыли древние люди для защиты.

Андрей Михайлович отер пот с лица и снял с плеч сумку.

— Вот что, — сказал он, подавая сумку Топурия, — я пойду один. А ты бери провиант, иди на левый курган, разложи там огонь, отдохни и готовь обед. Я приду к тебе через два часа, не позже. Давай инструмент.

Топурия стал возражать, но Андрей Михайлович почти силой отобрал у него сундучок с инструментами.

— Опасно, батоно, — уговаривал Топурия. — Одному итти туда опасно. После дождя в канаве много воды, и вы не найдете перекладины. Я пойду с вами, и так будет спокойней. Если хотите,

я приготовлю обед раньше, чем вы закончите работу.

— Топурия, — сказал Андрей Михайлович. — Мы напрасно теряем время. Мы потратили полдня, а прошли от берега всего три версты.

— Потому, батоно, что вы не пожелали пойти ближайшей дорогой и велели итти через заросли, по канаве. А в ней только одни жабы.

— Для тебя это — канава с жабами, а я, например, думаю, что это древний канал. Не будем препираться, Топурия... Не впервые мне ходить по болоту. Иди на левый курган и жди меня. Когда я выстрелю, сейчас же отвечай, и мы сойдемся; если я выстрелю два раза, спеши ко мне. А друг другу на пятки наступать — мало пользы.

Он закинул за плечи сундучок, взял ружье и шагнул вперед. Топурия вздохнул, глядя ему вслед.

— Стар я стал, — покачал он головой. — Не поспеваю за молодым, вот он и не хочет итти со мной. Топурия знает, что с болотом шутить нельзя.

Андрей Михайлович оглянулся и помахал ему рукой.

— Тропинки держитесь, батоно! — крикнул Топурия. — Не ошибитесь перекладиной!

Андрей Михайлович шел быстро и вскоре скрылся в зарослях.

Топурия вздохнул и направился в другую сторону. Шел он не столь быстро, как Андрей Михайлович, но походка у него была такая легкая, что казалось, он сумеет не только перейти самую зыбкую трясину, но удержаться и на воде.

★

Андрей Михайлович быстро добрался до канавы и решил, что лучше всего перейти ее в том месте, где скат кургана не так уж крут и где, по его расчетам, должен быть тонкий слой торфа; там не было тростника, но густо разрослась темнозеленая трава с широкими листьями. Но где перекладина? Андрей Михайлович решил, что именно здесь должна быть и перекладина. Он очень осторожно прошел несколько шагов. Поэтому, как колышется на поверхности

¹ Батоно — господин, сударь. Батоно (звательный падеж) — обычное в Грузии обращение.

черной воды листва водяных трав, Андрей Михайлович понял, что канава имеет собственное течение. Тут же он увидел и перекладину — средней толщины жердь. Андрей Михайлович еще раз взглянул на курган, измеряя глазом расстояние, и ступил на перекладину. И тогда...

И тогда берег, на котором стоял человек, оторвался вместе с тростником, все поплыло в сторону, вздрогнули водоросли, всхлипнула грязь и черная вода канавы, и все желтое болото кинулось на человека, встало дыбом, мелькнул кусок синего неба, и легкое белое облако проскользнуло по нему и пропало...

★

Вано стоял на кочке так, что можно было бы сказать: делает «стойку». Он стоял на одной ноге, наклонившись туловищем вперед, в правой руке держал маленькую острогу, левой слегка балансировал в воздухе, а его черные глаза уставились в одно место. В этой позе Вано стоял уже добрую минуту. Совсем недалеко от него шевелился красно-золотистый плавник и синий хребет сазана. Рыба была настолько велика, что мелкая вода не покрывала ее откормленное туловище. Изредка пошлепывая хвостом, сазан нежилась в тепле, среди болотных трав, и не двигался с места.

Илико тоже стоял на одной ноге, хотя в этом не было никакой надобности, так как он был шагах в десяти от сазана. Однако он не мог больше терпеть и ждать. А так ему было легче. Вдруг Илико оглянулся, и охотничья поза его сменилась обычной.

— Вано!

Вано не отвечал. Он не слышал. Все его внимание было направлено на красно-золотистый плавник, который наконец тронулся с места.

— Вано! Кто-то кричит на болоте!

Но в этот самый момент Вано ударил острогой, потерял равновесие и шлепнулся с кочки в воду. Вода закипела, забурлила, и Илико увидел задранные ноги Вано. В тот же миг сазан перекинулся через Вано, и нельзя было понять,

кто кого поймал. Не раздумывая, Илико бросился на помощь.

Он ринулся на сазана так же, как и Вано, — животом, и поранил руку об острогу. Рыба кидалась во все стороны, натопоршив все свои плавники. Вода кипела, и то один, то другой мальчик, сверкая пятками, перекатывался через голову. Наконец, сазан изнемог, и тогда Илико, живо вскочив на ноги, схватил свою острогу и ударом под жабры прикончил рыбу.

— Попался, черногубый!

Рыба, поблескивая крупной чешуей, лежала на кочке. Ее хвост и голова находились в воде, тело было неподвижно, и только золотисто-красные плавники судорожно вздрагивали. Победители стирали грязь со своих счастливых лиц.

— Попался, черногубый! — повторил Илико.

— Я убил славного сазана, — сплевывая, произнес Вано. — Он весит пять пудов. Его одной рукой не поднять.

— Как это ты убил? — возмутился Илико. — А я? Кто ударил его под жабры?

— А я первый ударил его в хребет. Я его убил: ударить по хребту труднее, чем под жабры. Ты мне мог и не помогать.

— Ты меня звал!

— Это я так. Я мог и без тебя убить его. Раз я первый ударил по хребту, то все скажут, что я убил сазана. Даже Топурия скажет...

Тут Илико вспомнил, что кто-то кричал на болоте. Но теперь было не до того.

— Если ты будешь хвастать, что убил сазана, — сказал Илико, сжимая кулаки, — то я всем скажу, что ты лжешь! И тут не будет пяти пудов! Ты врешь! И я скажу еще, что ты лазил красть огурцы...

Он не докончил. Его толкнул плечом Вано.

— А я скажу всем, — крикнул Вано, — скажу, что ты боялся вора, что ты трус, — в доме никого не было!

Великая обида охватила сердце Илико. Он вдруг вспомнил бабушку, почувствовал себя совсем одиноким, всхлипнул, нагнулся и, взяв свою острогу, по-

брел прочь по болоту. Он брел по колени в воде. Ваню постоял, оглядывая сазана. Ему стало не по себе. «Не так уже будет обидно, — подумал он, — сказать, что рыбу мы поймали вдвоем».

— Илико! — крикнул он вслед товарищу, но сейчас же пожалел об этом.

Илико стоял на кочке, совсем недалеко от него, в той же позе, в какой стоял он сам, когда целился в сазана. Ваню замер. Ждать на сей раз пришлось недолго. Илико ударил острой и ринулся в воду. Ваню помчался на помощь.

Через некоторое время мальчики сидели рядом на кочке.

— Мой будет весить пять пудов, — сказал Ваню, — а то и больше.

— А мой шесть, — стоял на своем Илико. — Мой больше твоего.

Поспорив немного, мальчики согласились на том, что сазан Ваню весит пять пудов, а сазан Илико — пять с половиной. Оба почувствовали голод. Они вышли из дому рано утром, как только рассеялся туман, а теперь солнце было уже за полдень. Но тут оказалось, что хлеб и сыр подмокли. Ваню опечалился и сказал, что надо идти домой, но Илико нашел другой выход: он предложил пойти на курган.

— Там есть спички. Старый Топурия, когда ночует на охоте, кладет их в дупло, я знаю, где. Пойдем, разложим огонь, высушим хлеб и побегаем. Я тебе покажу гнездо.

Ваню согласился. Мальчики зацепили сазанов ремнями под жабры, закинули свою «многопудовую» добычу за плечи и направились к кургану.

★

Где-то поблизости разговаривали. Но Андрей Михайлович не прислушивался. Он глядел на белое кудрявое облако, медленно плывшее высоко в чистом небе. Ему казалось, будто когда-то, давно, он уже видел такое же прозрачное облако, и непонятно было, почему оно осталось в памяти. И вдруг Андрей Михайлович вспомнил: берег оторвался вместе с тростником, все поплыло в сторону, вздрогнули водоросли, хлинула трясина,

и черная вода канавы бросилась на него, где-то мелькнул кусок неба, обалачко скользнуло и пропало...

Теперь оно плывет медленно, тишь и покой вокруг, где-то близко разговаривают люди. Значит, он спасся. И значит, эти люди его спасли.

Но что это за люди и откуда они взялись? Когда он шел сюда, то не видел никого, а они, должно быть, были близко.

Андрей Михайлович хотел приподняться, но не мог. Тогда он повернул голову и увидел людей. Их было трое. Они стояли под деревом, недалеко, но их фигуры были неясными. Вокруг росла высокая трава, и Андрей Михайлович видел все, как сквозь сито. Все же один из них показался ему знакомым. Не Коркия ли это, которого он хорошо знал еще с прошлого года? Андрей Михайлович прислушался. Говорили на грузинском языке, достаточно понятном ему.

— Это инженер, — сказал один. — Я его прошлым летом водил по болотам. Он измеряет их и хочет высушить. Сегодня он вышел рано утром с Топурия, но старика нигде нет. Может, и с ним что случилось?

Теперь Андрей Михайлович был уверен, что это Коркия.

— Не думаю, чтоб Топурия увяз, как этот барин, — ответил один из незнакомцев. — Боюсь, что старик может заявиться сюда каждую минуту, а он, как вы сами говорите, слабоват на язык. Надо выбираться отсюда, пока барин не пришел в себя. Он еще опасней, чем язык Топурия.

— Он хороший человек, — сказал тот, что был похож на Коркия. — Я знаю его.

— Он, может быть, и хороший, но нам с ним не по пути.

— Нельзя оставлять человека без помощи, — сказал третий, молчавший до тех пор. — Он может умереть.

— Он дышит, и пульс бьется хорошо. Наша помощь ему уже не нужна.

— А если он очнется да вновь попадет в трясину? Он сам не выберется отсюда!.. — стоял на своем молодой.

— Придет Топурия...

— А если Топурия не придет? Может быть, они разошлись, и инженер заблудился на болоте?

Старший, видно, потерял терпение.

— Слушай, Бесо! Что для нас важнее: удобства и здоровье какого-то барина или задание комитета?

На это младший ничего не ответил.

Андрей Михайлович понял, с кем имеет дело, понял, что их тревожит присутствие постороннего, и решил сделать так, чтоб они ушли с легким сердцем. Увидев, что все трое идут к нему, Андрей Михайлович хотел встать, но голова была тяжелой. Он лишь приподнялся, причем заметил в траве ружье и запачканный грязью сундучок с инструментами. Люди остановились возле него.

— Добрый день, дорогой Коркия! — приветливо сказал по-русски Андрей Михайлович. — Со мной случилось несчастье, и, должно быть, это вы, друзья, спасли меня?

Он с радостной улыбкой посмотрел прямо в глаза высокому, стоявшему рядом с Коркия.

— Я не могу найти слов для благодарности и понимаю, что нет такой награды, которая достойна вашей отваги и самоотверженности.

Он вынул из внутреннего кармана блокнот, отыскал страницу почище, и, надписав на углу бумажки свой адрес, сказал:

— Мне нечем отблагодарить вас, дорогие мои друзья, и потому прошу каждого из вас, как только выйдет случай, зайти в Тифлисе по этому адресу. Мой дом всегда для вас открыт, и, в случае нужды, я сам к вашим услугам.

Он протянул бумажку высокому. Тот взял ее, бросил быстрый взгляд на написанное и, повидимому, остался доволен. Лицо его, выражавшее до тех пор острое беспокойство, смягчилось. Это был человек лет тридцати пяти, широкоплечий и чуть сутуловатый. Больше ничего Андрей Михайлович не заметил, потому что старался поменьше присматриваться к нему. Другой, младший, которого звали Бесо, стоял все время в стороне, в разговор не вступал, и Андрей Михайлович заметил только, что

он невысокого роста и круглое лицо его обросло молодой курчавой бородкой. Одеты они были, как и Коркия, в обычную одежду мингрельских крестьян: темные домотканые чохи, широкие штаны и войлочные шляпы. Человек, которому Андрей Михайлович дал бумажку с адресом, аккуратно сложил ее и положил в карман.

— Мы очень рады, — сказал он неправильным русским языком, — мы рады, что все кончилось счастливо для вас. Мы хотя и бедные крестьяне, но просим вас и не думать о вознаграждении. Если вы чувствуете себя лучше, мы проводим вас к кладке, на которую вы не попали по пути сюда, и выведем на дорожку. Мы спешим к больному родственнику и потому пошли через болота, ближней дорогой.

И он поклонился, давая понять, что все уже сказано и пора итти.

— Очень благодарю вас еще раз, — сказал Андрей Михайлович. — Был бы рад отблагодарить не на словах. Итти я еще не могу, но тут поблизости, на седнем кургане, находится мой проводник Топурия. Я вызову его выстрелами, и он вскоре придет сюда. Мы с ним так условились.

Теперь Андрей Михайлович разглядел и младшего. У него было добродушное лицо и немного удивленные и хитроватые глаза. Живостью движений он очень отличался от своего угрюмого товарища.

Трое направились в чащу.

Оставшись один, Андрей Михайлович подобрался по траве к своему ружью. Он еще чувствовал томительную тяжесть во всем теле, как будто с его кровью смешалась холодная вода болот.

★

Пробравшись сквозь заросли шиповника, трое дошли уже до перекладкины, но вдруг подались назад и спрятались за кусты. Перескакивая с кочки на кочку, направлялись к кургану Илико и Ваню.

— Беда, если они увидят нас, — сказал Коркия.

— Нужно спрятаться, — шепнул Бесо.

— Подождем, — ответил его товарищ, — быть может, они не найдут перекладины.

— Найдут, — уверенно сказал Коркия. — Они выросли на этом болоте. Что делать?

— Нужно разойтись по одному, — предложил Бесо. — А когда они выберутся на курган, мы опять сойдемся у перекладины.

— Они могут увидеть нас с кургана, когда мы пойдем по болоту, — сказал Коркия. — Мы теряем время... И притом скоро придет Топурия...

Третий оглянулся на курган, словно ожидая отсюда помощи, и повторил:

— Нужно подождать.

— Но чего ждать, Сандро? — заволашевался Бесо. — Нам-то ничего, но отец потом беды не оберется.

Коркия молчал и дергал свой седоватый ус.

Мальчики приближались.

★

— Ну, и тяжелый мой сазан, — говорил Иoliko. — У меня силы много, и то тяжело нести. Он весит шесть пудов. Слушай, Ваню! Знаешь, на этом кургане раньше жили разбойники... Мне рассказывал старик Топурия. Ты боишься разбойников, Ваню?

— Чего мне их бояться? — ответил Ваню. — Я их не боюсь. Однажды Кетэ оставила на огороде свой платок и попросила меня, чтобы я принес, — она боялась итти туда вечером. Я и пошел, а на огороде были шакалы. Я прогнал их, нашел платок и принес домой.

— На огороды шакалы не ходят. Врешь!

— Приходят.

— Не приходят! Я всем скажу, что ты солгал.

Мальчики остановились друг против друга.

— Твой сазан тухлый, — крикнул Ваню. — Ты его дохлого поймал, и он не весит шести пудов!

Илиоко густо покраснел.

— Твой сазан дохлый, — обрадованно повторил Ваню. — Я это сразу понял, потому что он холодный! А мой сазан был теплый, как человек!

— А почему он трепыхался? — дрожащим голосом спросил Илиоко. — Я тебя как двину кулаком, свинья!

— И про разбойников ты врешь! — пропуская мимо ушей слова Илиоко, крикнул Ваню. — Там никаких разбойников нет! Я всем скажу...

Илиоко сжал кулак и шагнул к Ваню. Тот сбросил рыбу с плеч и приготовился к обороне.

— Нет разбойников! — крикнул Ваню. — Лжешь!

И вдруг с кургана грохнул выстрел. Отважный Ваню вытаращил глаза и присел с разинутым ртом. Илиоко побелел. Гул покотился по болоту, и не стихло еще эхо в дальних зарослях, как с кургана грохнуло еще раз. В тот же момент сильный, протяжный свист разрезал воздух.

— Ай, — крикнул Ваню, — ай-ай!..

Он схватил ремешок и бросился бежать, волоча за собой рыбу. Илиоко мчался следом. Мальчики неслись без оглядки, часто спотыкаясь и падая. Глядя на спешное отступление отважных охотников, Коркия, Сандро и Бесо падали со смеху. Когда мальчики исчезли в зарослях, Сандро сказал:

— Я говорил вам, что нужно подождать!

Они перебрались по перекладине и скоро скрылись. Андрей Михайлович, сам того не зная, оказал первую маленькую услугу людям, спасшим его жизнь. Он лежал на поляне в зеленой траве буков. Сильно пахли пригретые горячим, полуденным солнцем высокие травы. В воздухе носились бабочки, звенели дикие пчелы, шелестела листва разомлевших в зное старых деревьев. Вокруг простиралось болото, они дышали отравным, душным теплом, однако гнилые испарения не доходили сюда, в зеленую тень буков, в чашу цветущего шиповника и лиан.

Андрей Михайлович отдыхал, переживая неповторимую радость человека, который счастливо избежал нечаянной и неминуемой смерти. И он думал о лю-

дах, спасших его, — об их делах он мог только догадываться. И от всего сердца желал им успеха.

III

Был тихий вечер, когда трое путников подошли болотами к взморью. Позади остался долгий и опасный путь: переправы через гнилые, стоячие реки, через коварные болота, где на каждом шагу поджидает гибель; остались позади нескончаемые заросли тростника и кустарников, густые леса, оплетенные лианами и хмелем. Коркия пробирался теперь по берегу неширокой речки. Впереди виднелась ровная гладь моря, а над ним — пламенеющий пурпур зари. Голубое небо темнело.

Над болотами всплыли туманы. Тучи комаров звенели в воздухе, пронзительно перекликались жабы, и быстрые огоньки первых светляков мелькали там и тут. Путники вышли из болот на морской берег, когда уже совсем стемнело.

Медлительные волны лениво всползли на песок и отходили назад, оставляя неровную ленту пены. Свежий ветер изредка повевал с моря. Утомленный Коркия остановился и сразу сел на песок.

— Вот я и провел вас, ребята, — сказал он, отирая пот. — Не по моим летам такие путешествия.

Ему никто не ответил. Сандро и Бесо вглядывались в морскую даль.

— Все в порядке, — уверенно сказал Сандро.

— Вижу, — подтвердил Бесо. — Нужно дать сигнал.

Сандро достал спички. Как только вспыхнул огонек, с моря послышался прерываемый шумом волн протяжный свист.

— Наш! — обрадованно сказал Сандро.

Коркия встал, всматриваясь в темноту, но ничего не мог разглядеть. Тогда он подошел к Бесо и взял его за руку.

— Помни, Бесо! — сказал он, стараясь быть спокойным и даже суровым. — Помни, что у детей есть долг

перед родителями. Бедный Миха наш — калека. Ваню — еще дитя. Ты вырвешь нам сердце, если не будешь беречься, — мы со старухой не переживем тебя. Я в твои дела не вмешиваюсь, как видишь; у тебя ума больше, чем у меня. Но ты должен себя пожалеть для нас... Ты знаешь мои годы и мои силы...

Говоря так, Коркия понимал, что эти слова ничему не помогут. Он знал характер Бесо, знал, что Бесо не оставит товарищей, не оставит своих дел и не пойдет с ним назад, к старой, дедовской жизни. Сейчас придет с моря лодка, и сын покинет его одного здесь, на берегу, и уедет в темную ночь, навстречу неведомой будущности, где может встретить его беда, от которой Артем Коркия не в силах уберечь своего любимого сына.

— Теперь трудные времена... Если бы я был молодым, возможно, и я оставил бы дом, но все-таки ты должен помнить о своих обязанностях сына и беречь себя, — закончил Артем Коркия.

Бесо задумался. Ему хотелось сказать несколько добрых и веселых слов, чтоб утешить отца и успокоить его. Но таких слов он почему-то не мог найти. Он лишь беззаботно сказал:

— Ничего со мной не сделается, отец! Не горюй!

Старый Коркия не ответил, только глянул на Сандро, молча стоявшего поодаль.

— Эй, на берегу! — донесся хриловатый голос с моря. — Принимайте косяк!

Тяжелый канат, со свистом рассекая воздух, упал на песок, под ноги Коркия. Они втроем взялись за канат, небольшой баркас вдруг вырос из тьмы, и мокрый песок закрипел под его тупым носом. Из баркаса выскочил человек.

— Ну, скорей! — сказал он. — Имею два места первого класса до Батуми. Прошу господ занять каюты. Дайте кто-нибудь спичку. Мои отсырели. Скорей, говорю, поворачивайтесь. А это кто? А, весьма приятно... Дайте спичек!

Коркия успел заметить широкое лицо с багровым пятном на щеке, полоса-

тую майку, рыжий вихор, — и огонек погас. Бесо подошел к отцу и крепко обнял его. Они расстались молча. Бесо так и не нашел тех простых и веселых слов, какие хотелось сказать на прощанье. Артем помог сдвинуть баркас с берега, человек в полосатой майке вскочил на ходу, и Артем остался один. Глухо шумело спокойное ночное море, и на его черных просторах дрожали бледные и тусклые отблески ярких звезд.

Коркия долго оставался на берегу, задумчивый и печальный. Да, впереди, в темном просторе моря, плывет маленький парусный баркас, и там его сын, Бесо. За спиной — на многие версты — болотная глухомань, непроходимые заросли, трясины, курганы, тростник, тучи комаров и маленькое селенье, где его дом и его семья. Он стоит на рубеже. Позади та жизнь, которую прожил Артем Коркия, впереди — в вольных ветрах моря, в шуме белопенных волн — жизнь его сына Виссариона Коркия. Он стоит на рубеже, на этой узкой песчаной косе, отделяющей море от болота. И, может быть, лучше прожить одну ночь в шуме ветра и волн, чем год в желтом болотном сне, может быть, — лучше погибнуть в такую ночь, чем десятки лет корпеть с мотыгой на узком, маленьком участке гоми и кукурузы?

Долго стоял задумавшийся Артем Коркия на песчаной косе, меж морем и болотом, размышлял и глядел в ночь. Потом он вспомнил, что нужно отдохнуть, а завтра пробираться домой. Он решил заночевать на плоском кургане, до которого было близко отсюда.

И снова углубился в тростник Артем Коркия, и над ним гудели комары, под ногами хлюпала теплая трясина, вокруг верещали жабы и где-то впереди, быть может, на том кургане, куда он шел, протяжно выл шакал.

Небольшой костер угасал. Над ним трепетали пугливые мотыльки. Зеленоватые искры светляков проносились в темноте. Светлячки кружились, обходя костер, потому что в его свете потухали их тусклые фонарики. Они боялись огня, они любили мрак.

Артем Коркия лежал у костра. Он не мог заснуть. Неотвязные мысли шли одна за другой.

... Это было давно, четыре десятка лет тому назад. В маленькой мингрельской деревне на краю великой колхидской низины, горячим, летним вечером умирал крестьянин Самсон Коркия. У его постели собрались родные и соседи. Самсон Коркия держал за руку старшего сына, и пятнадцатилетний парень чувствовал, как холодеет рука отца, как подступает смерть. Глазами, полными слез, юноша смотрел на желтое, иссохшее лицо, терявшее свое обычное, знакомое выражение. Так тянулось долго. И вот, когда все решили, что нет уже на свете славного соседа Самсона Коркия, когда поднялся плач и стоны и сын отошел от постели, Самсон поднял руку, которая тотчас же бессильно упала. Но этого было достаточно, чтобы все стихло. И в тишине услышали:

— Идите... Бегите отсюда... На сухое... на сухой берег... новые земли...

Это были последние слова Самсона Коркия, и все поняли, что он хотел этим сказать. Самсон наказывал им оставить селение и бежать от желтой напасти, от Ужмури¹, чьей жертвой он стал сам. В селеньи долго говорили о последних словах Самсона. Но уйти, убежать от желтой болезни было некуда. Она подстерегала жителей тихих мингрельских сел с первой минуты их жизни, и молоко матерей было отравлено ею. Она жила в крови и побеждала все. И только за высокие стены князьих замков, и только в дома богатых она проникала редко.

Люди остались на месте. Они, как и раньше, при первых лучах солнца выходили с мотыгами на свои узкие полоски и поздним вечером возвращались домой. Попрежнему теплой гнилью несло с болот, попрежнему звенели густые тучи лютых комаров. Но людям некуда было уйти. Они забыли не только то, что говорил в свою последнюю минуту Самсон Коркия, но даже и о том, что когда-то жил на свете этот добрый и трудолюбивый человек.

¹ Ужмури — злой дух лихорадки.

Не забыл только сын его Артем. Но и Артему итти было некуда. Шли годы. Артем потерял мать и младшего брата. Больше ничто не связывало его с маленькой деревней, где дремлют тополя над крышами домов и где он пережил смерть близких людей.

И вот, казалось, его мечта о новых землях осуществилась. Однако на новую землю он попал помимо своей воли. Это были казармы Гунибского стрелкового полка. Здесь не было малярии, однако тут были фельдфебель и унтер-офицеры, которые по мере сил учили молодого солдата Коркия словесности и уставам службы, кроме того, давали короткие, но вразумительные уроки русского языка. Только через четыре года Артем вышел с котомкой в руках за ворота казармы. Он надолго запомнил полосатую караулку, мимо которой на этот раз он прошел, как ему казалось, вольным человеком.

Потом — табачные плантации Месаксуди, годы тяжелой работы, бараки, жгучее абхазское солнце, табачная пыль, нищенское существование... В родную деревню, откуда отец советовал ему бежать и где желтая болезнь извела его семью, Артем вернулся не один. С ним была жена, молодая абхазка, батрачка с тех же плантаций Месаксуди. Они не могли устроиться по-семейному в бараках Месаксуди, и Анна мечтала о собственном доме так же, как некогда мечтал Артем о новых, счастливых землях. Анна знала, что такой дом оставил Самсон Коркия, что возле дома был еще небольшой кусок земли, которым, за отсутствием хозяев, пользовался один из соседей Артема. После долгих споров и бесконечных слез Анны Артем взвалил на свои широкие плечи весь семейный скерб, и через несколько дней в Сагвасалио из полуразрушенного очага Самсона Коркия курился сизый дымок; соседи приходили поглядеть на Артема и на его молодую, красивую жену.

Один за другим текли годы. Все они были столь же бедны событиями, сколь беден был дом Артема достатком. Так жил его отец, так жил его дед. Дремали тополя над бедным домом, и веко-

вечный болотный сон господствовал вокруг.

Потом пришла война. С фронта Артем Коркия добрался домой лишь в 1917 году, — с георгиевским крестом. полученным под Двинском за то, что его засыпало землей в окопах. Старший сын Миха вернулся из-под Эрзерума также георгиевским кавалером и без руки. Артем нашел все тот же кривобочий домишко, жену, старую женщину, в которой нельзя было узнать прежнюю красавицу Анну, нашел Миха, который в одну руку работал мотыгой, и пятилетнего Ваню. Не было только третьего сына — Бесо, ушедшего на войну по последнему призыву. Бесо явился через год, во время осенних дождей. Он приехал из Петрограда, много рассказывал о революции и о Ленине, заявил, что он большевик. Однажды в споре Бесо чуть не застрелил княжьего эконома, высмеивавшего «холопскую революцию», и этим навлек на отца большие неприятности. Уходя, он сказал Артему, что идет к большевикам, и пообещал:

— Мы еще покажем этим князьям и экономам чортову бабушку в натуральный рост!

Артем проводил сына до полотна Закавказской железной дороги. Он долго глядел ему вслед, а когда Бесо исчез, почувствовал на щеке теплую слезу. Ему казалось, что этот вояка больше никогда не вернется под отцовский кров.

С того дня прошло два с лишним года. Это были самые трудные годы из всех, какие помнил Артем. Люди, приходившие с фронтов и из плена, заставляли голодающие семьи, опустошенные огороды, заросшие бурьяном поля. Люди, вырвавшиеся из ада войны, попадали в ад нищеты, в лапы кулаков, которые взыскивали долги их семей с такими процентами, что христоробивым воинам оставалось одно: продаваться в рабство. На лучших землях хозяйничали помещики и родовитая аристократия, а по улицам городов маршировали колонны чужеземных войск.

По деревням горланили меньшевистские агитаторы, расписывая яркими

красками рай, который учредят их вожаки. С гор дул горячий ветер, вздымая пыль на спаленных солнцем пустых полях. И, вероятно, этот горячий, беспокойный ветер приносил в тихие селения грозный гул победного наступления Красной армии — там, в степях, и, вероятно, поэтому часто случалось, что удирали от возмущенных крестьян меньшевистские ораторы. Вместо них появлялись карательные отряды, и тогда горели села, вырастали свежие могилы... Да, это были самые трудные годы, какие только помнит Артем Коркия.

Бесо пришел позавчера. На заре тихо постучали в окно. В мутной сизы туманного утра вырисовывались две неясные фигуры. Испуганный Артем спрашивал из-за двери, кому он нужен. Ему отвечали тихо, так, что ничего нельзя было разобрать. Наконец Артем услышал:

— Я, Бесо.

Это был не тот задира Бесо, что любил хлесткие фронтовые словечки, не тот Бесо, который некогда размахивал наганом перед носом толстого, перепуганного княжьего эконома. Это был серьезный, обросший бородкой, молодой человек. Артем глядел на сына, — за эти годы Бесо, должно быть, пришлось многое повидать и пережить. Сын сказал, что ему с товарищем нужно задержаться здесь на сутки, но что никто не должен ни видеть их, ни знать о них. Он не соглашался повидаться даже с матерью, не говоря уже о Кетэ. Он никому не доверял, и Артем догадался, что у сына важные и секретные дела. Тот, кто пришел с Бесо и кого он звал Сандро, все время молчал и лишь досадливо глянул на Бесо, когда Артем сказал, что вряд ли удастся спрятать их так, чтобы никто из домашних об этом не знал, так как в доме Артема всего две комнаты, а на дворе только поветь для буйвола.

— Вот видишь, — как бы сказал этот человек своим взглядом. — Я ж тебе говорил...

В этот момент открылась дверь, и на пороге появилась Кетэ. Она сразу узнала Бесо и кинулась его обнимать. Сандро поморщился и отвернулся. Ар-

тем и Бесо едва успокоили девушку, но тотчас же на двор вышел Миха, а следом за ним и Анна. Мать, как всегда бывает в таких случаях, ударилась в слезы. Сандро подошел к Бесо и сказал, что если тот немедленно не пойдет вместе с ним отсюда, то он отправится в болота один. Бесо долго уговаривал его, а Артем за это время унял своих. Наконец все успокоились, и был выработан план: гости спрячутся в кукурузе на огородах, и на следующий день Артем проведет их болотами туда, куда им нужно. Кетэ поручили присмотреть за Ваню и его товарищами, охотниками лазить по огородам. Под вечер вдруг поднялась гроза, и гостям пришлось бы провести неприятную ночь, если б Кетэ не вспомнила о маленьком хозяине Илико и его пустом доме.

И вот прошла бурная ночь, счастливо окончились приключения на болоте, маленький баркас плывет сейчас далеко в море, а Артем Коркия лежит на кургане у костра, и мысли его отгоняют сон. То встают перед глазами далекие дни молодости, то печаль и тревога за завтрашний день сжимают сердце.

Бесо не сказал, откуда он пришел и куда пойдет. Каким стал Бесо! Сильный, ловкий, серьезный. И он занят делом, очень важным и тайным, — ничего не рассказал даже ему, отцу. Он сказал только, что старается, чтобы лучше стало жить таким, как Артем Коркия, а о себе мало заботится. Вот каков его сын Бесо. Однако он может погибнуть, Артем знает, как много погибло таких людей, как часто гибнут они.

— А может быть, лучше погибнуть сразу, чем десятки лет влачить за собой тоску и обиду, покорно носить горю, изработаться вконец и умереть никому не нужным? Вот мысленно прошел он сегодня весь свой жизненный путь... Ни радости, ни покоя. Что же это за жизнь!.. И что ожидает в будущем калеку Миха и маленького, неразумного еще Ваню? Что найдет в жизни одинокий Илико, бедный сирота?

Нет, пожалуй, лучше погибнуть на такой дороге, как дорога Бесо...

Коркия заснул, когда на востоке уже посветлело небо. Все так же, как и

раньше, гудели над болотами темные тучи комаров, перекликались жабы и на соседнем кургане выл одинокий шакал.

IV

Все утро Симон Гамрекели бродил по двору, заходил на огороды, осматривая виноградники, и нигде ему не удавалось придраться к батракам: все было в полном порядке. Наконец он нашел под изгородью какую-то заржавленную лопату, забытую, должно быть, с самой весны. Размахивая ею, Симон ругался до тех пор, пока самому не надоело. Потом, чтоб показать работникам пример хозяйской заботливости, он принялся чистить лопату песком. Лопата была старая, ржавчина почти насквозь проела железо. Симона скоро бросило в пот, и он наконец оставил эту работу. Больше ничего не оставалось, как пить вино. Он сам полез в погреб, вынес оттуда порядочный кувшин и осушил его. После этого он немного повеселел и стал дразнить собаку, потом гонял ее по двору, пока собака не вырвалась на улицу. Симон кинул ей вслед палку и решил пойти поспать. Но было очень душно, и через полчаса осовелый Симон плелся по улице, сам не зная, куда. Тут на него и наскочил Илико, бежавший к старику Топурия.

«Большой мальчик, а бегает без работы» — подумал Симон.

Илико хотел было миновать Симона, но тот с неожиданным проворством схватил его за рукав.

— Куда ты, бичо? — захохотал Симон. — Ах, какой шустрый хозяин! Подожди, поговорим, может, я что-нибудь у тебя куплю. Ах, ты какой...

Случайная и неопределенная мысль стала теперь ясной. Симон решил прибрать к рукам этого загорелого босоногого мальчика.

Широко расставив толстые ноги, Симон держал Илико за рукав и весь колыхался от смеха. Илико глядел на пухлую красную руку с короткими пальцами, покрытыми веснушками и рыжим пухом, на круглый живот Симона, и ему хотелось вырваться и убежать. Но он

не убежал, и только потому, что Симон назвал его хозяином и выразил желание купить у него что-нибудь. Наконец Симон отпустил рукав Илико и пригласил зайти сейчас к нему — поговорить о делах. Илико недоверчиво посмотрел на Симона, но не мог удержаться от искушения. Вану треснет от зависти, когда узнает об этом, потому что ничего подобного с ним случиться не может. И Илико пошел с Сином.

На просторном дворе Симона прихорашивался чванливый индюк, под плетнем хрюкала, окруженная своим вертлявым потомством, ненавистная прожорливая свинья, куры разгребали пыль и учили желтых цыплят искусству ловить жуков. Увидев хозяйина, индюк залопотал во всю мочь, петух посмотрел на пришедших круглым желтым глазом, потряс гребнем, растопырил крылья и хотел было запеть, но это ему почему-то не удалось.

Симон пригласил Илико на крыльцо. Дом Симона был не лучше других домов в селеньи. Сам хозяин жил в Поти, а, приезжая сюда на несколько дней, занимал только одну комнатку. В остальной части дома помещались три батрака, обрабатывавшие обширные огороды и виноградники Симона. За плетнями Илико увидел ровные грядки огурцов, редиски, лука; дальше плотной стеной стояла темнозеленая кукуруза, украшенная пышными метелками цветения. А еще дальше, на пригорке, видна была светлая зелень винограда, высаженного правильными рядами. Земля в виноградниках была заботливо прополота, огороды и двор содержались в полном порядке. Илико подумал, что хорошо бы и ему иметь такое славное хозяйство. Он даже сказал об этом Симону. Симон оглушительно захохотал и похлопал Илико по плечу.

— Все будет, — сказал он. — Все будет, сынок, если у тебя в башке что-нибудь есть! Ах ты, какой скорый, бичо! Ах-ха-ха-ха!

Симон долго смеялся, колыша грузный живот. В это время старая служанка принесла вино и деревянную тарелку с сушеным инжиром и разными другими сладостями. Симон подряд выпил два ста-

кана вина, а к Илико пододвинул тарелку. Беседа началась. Симон сперва расспросил, не жалко ли Илико бабушку и как он думает жить дальше. Услышав, что Илико намерен хозяйствовать сам, он не засмеялся, а только спросил: правда ли, что Артем Коркия его опекун. Получив утвердительный ответ, он помолчал, поскребывая пухлую щеку, и перевел беседу на хозяйство Илико. Мальчик в совершенстве знал свое хозяйство. Он помнил даже, сколько стеблей кукурузы росло на его маленьком огороде, сколько горстей гоми и сколько бобов, фасоли было посеяно нынешней весной. Это, видно, понравилось Симону. Говоря про огурцы, Илико пожаловался на то, что свинья Симона причинила ему большой убыток и даже определил размер этого убытка. Услышав это, Симон вновь захохотал, и красное лицо его стало даже сизым. Все еще смеясь, он полез в карман и вынул деньги. Он сказал, что платит именно столько, сколько сказал Илико; хотя это и не малая сумма, но он не хочет обидеть молодого хозяина. Пряча остаток, Симон даже извинился за плохое поведение его ненасытной свиньи и за беспокойство, которое она причинила Илико. Никогда в жизни Илико не держал в руках столько денег. Счастливый и гордый, сжимая в горсти пеструю бумажку и несколько светлых монеток, он слушал Симона. Илико, говорил Симон, весьма находчивый и заботливый хозяин, однако земли у него мало, домишко старый, расходы на хозяйство нужны большие, а средств для этого у Илико нет, так не лучше ли ему подумать о каком-нибудь ремесле или, что еще лучше, научиться торговать. Это, как говорил Симон, даст значительно больше доходов и куда легче, чем копать в земле. Симон сказал еще, что он с удовольствием взял бы к себе в Потти такого умного парня, как Илико, и научил бы его торговым делам; пусть Илико подумает. После этого Симон выпил еще два стакана вина, пообещал купить у Илико редиску, сгреб с тарелки сласти и набил ими карманы Илико.

Через несколько минут Илико, твердо уверенный, что самый лучший из лю-

дей — это Симон Гамрекели, медленно, как и надлежит солидному человеку, выходил за ворота усадьбы своего нового друга. Пройдя несколько шагов по улице, он, однако, не выдержал степенного вида, пустился вприпрыжку, потом прибавил ходу и наконец помчался по улице изо всех сил.

★

Старик Топурия плел сети, сидя в своем маленьком саду. Рядом с ним сидел Ваню и следил за его работой. Пальцы у Топурия были кривые, скрюченные, с синими ногтями. Но они так быстро перебирали тонкие нити и так ловко работали челноком, что Ваню завидовал старику и с горечью думал о том, что ему никогда не достигнуть такого мастерства. Ваню хотел научиться всему, что только умеют делать люди. Он целые дни стоял возле каменщика, складывавшего камин в доме соседа, и, когда мастер кончил свою простую и не совсем изящную работу, Ваню был уверен, что научился ремеслу каменщика. Так же он изучил огородничество и виноградное дело, а теперь почти выучился у Топурия плести сети, что вовсе не так просто.

Топурия не любил молчать. Он знал много историй, в которых главной фигурой всегда бывал он сам, Топурия. Вот и сейчас, работая над сетью, он рассказывал один из многих вариантов старой повести об аварии корабля, на котором он когда-то служил матросом.

— Мы вышли из Очемчири с грузом леса, — говорил Топурия внимательно слушавшему его Ваню. — Что? Нет, это не такой лес, как на болоте. Лесом называют доски, которые грузят на корабль. Как бы ты погрузил на корабль такой лес, как на болоте? Вот подходит ко мне капитан и спрашивает: «Как вы думаете, дорогой Топурия, не будет ли бури сегодня на море?». Я посмотрел на солнце, подумал и сказал капитану, что сегодня погода будет хорошая, но завтра после обеда начнется буря. «Вот беда, — говорит капитан, — я жалею, что не спросил вас об этом, когда еще был в порту. Дело в том, дорогой Топу-

рия, — так он меня всегда называл, — дело в том, что у нас на корабле находятся князь с княжной, которые едут вместе с нами в Трапезунд, а дальше направляются в святые земли». Это был князь Давид, дед нашего теперешнего князя, мошенника, с которым я долго судился. Дочь Давида, княжна Нина, которая ехала с нами, была очень красива и сразу приглянулась мне, да и она, как я заметил, была не прочь завести со мной знакомство. Я был в то время высоким и стройным, как тополь. Одним словом, стоит капитан и не знает, что делать. Тогда я говорю ему: «Успокойтесь, не волнуйтесь, наш дорогой капитан. Когда Топурия на корабле, вы можете ни о чем не думать». Так сказал я капитану, и он остался очень доволен...

Отцветающий гранат, под которым сидел Топурия, ронял красные лепестки своих цветов. Они падали с дерева на седую голову Топурия, ложились на тонкое сплетение сетей, раскиданных на траве, кусками красного пламени проносились в воздухе. В маленьком садике была зеленая тень и тишина. Дым из старой трубки Топурия синими колечками плавал в воздухе и медленно таял. Ваню, который, может быть, в двадцатый раз слышал эту историю, внимал рассказу с восхищением, принимая на веру каждое слово. Да и сам Топурия искренно верил в то, что он, низенький и сухопарый, неприметный человек, работавший палубным матросом на маленьком, грязном паруснике, был на самом деле высоким и стройным, как тополь, юношей и что именно так с ним обращался капитан, матершинник и горький пьяница, чьи каменные кулаки были хорошо знакомы «дорогому Топурию». Парусник, старая посудина, на палубу которого даже портовые грузчики всходили неохотно, представлялся ему теперь красивым, большим кораблем, белым лебедем, плившим по синему простору моря. Все иным видел Топурия в такие минуты, наивной выдумкой стараясь вознаградить себя за прошлое, где не было и частицы той героичности, о которой он всегда мечтал. И один из эпизодов его бездомной, одинокой жиз-

ни — авария старого парусника, утонувшего у турецкого побережья свыше сорока лет тому назад, — выросал в романтическую историю с участием Топурия, молодого, красивого, смелого матроса, которого уважал капитан и в которого без памяти влюбилась княжна.

Уютно в маленьком саду, выращенном Топурией. И рядом сидит Ваню, лучший слушатель, какого только можно себе представить.

В темных, широко открытых глазах мальчика — то восхищение, то страх, то радость, то легкая дымка мечтательности.

— Так я сказал капитану, и он остался доволен, — продолжал Топурия. — Однако на другой день, как-раз после обеда, поднялась буря. Я тебе скажу, Ваню, что я никогда не видал такой бури ни до того дня, ни после, а ты уж, наверное, и не увидишь. Теперешние железные пароходы с длинными пушками, каких ты тоже еще не видел, пошли бы на дно, как камни, но наш корабль был деревянный, и затопить его было не легко. Теперь не умеют строить такие корабли, мой дорогой Ваню! Так вот... Поднялся страшный ветер, он сломал наши высокие мачты и порвал широчайшие паруса в клочья. Самая главная мачта, падая, тяжело ранила нашего капитана, а матросы разбежались кто куда. Я внес раненого капитана в его каюту, потом успокоил князя с княжной и сказал, что сам буду управлять кораблем. Они знали, что это — верное спасение, и княжна так обрадовалась, что взяла чонгури¹ и запела чудесным голосом старую красивую песню. Что это был за голос! Что это была за песня, дорогой Ваню!..

Челнок Топурия прекратил свою работу. Легкая сетка упала в траву. Топурия глядел прямо перед собой, и печальная, задумчивая улыбка застыла на его сморщенном, темном от солнца, обрамленном сединою лице. Опадали и кружились в воздухе яркие красные лепестки.

— Я стоял у руля три дня и три ночи. Матросы не показывали и носа на

¹ Чонгури — музыкальный инструмент.

палубу, — спустя некоторое время продолжал Топурия. — Когда немного стихала буря, смелая княжна Нина приносила мне сладкое вино и разные сласти с княжьего стола, но я не мог есть, так как нельзя было оставить руль, за который я держался обеими руками. Я не ел и не пил ровно три дня и три ночи, и наконец буря стихла. Но я забыл, что еще придет самая большая, последняя волна, после которой море уже делается гладким, как зеркало, и не во-время выпустил руль из своих рук. Когда я увидел водяную гору, я не успел поставить корабль носом прямо на нее, волна ударила в борт, и больше я ничего не помню... Очнулся в турецком госпитале с перевязанной головой...

То, что Топурия не помнит, как он попал в турецкий госпиталь, — чистая правда. Правда и то, что он стоял у руля. Правда и то, что буря поломала подточенные червем мачты и порвала заплатанные паруса гнилого парусника, везшего доски в Трапезунд. Однако, как только наступила опасность, добрый капитан, оглушая матросов руганью и энергично работая пудовыми кулаками, первый вскочил в единственную на этом корабле лодку, которая могла вместить только десять человек. За капитаном кинулась охваченная паникой вся команда. Но один был лишним, и этим лишним оказался Топурия. Когда, охваченный ужасом, он все же уцепился за борт лодки, качавшейся на талях, то в первый момент его едва не выбросили в море, а в последующий на него посыпались удары мощных кулаков, из которых самыми тяжелыми были капитанские. От этого прощального капитанского приветия «дорогой Топурия» отлетел на несколько шагов и потерял сознание. Когда он очнулся, было уже темно. В сером сумраке шли на маленький изувеченный парусник огромные валы и с гулом покрывали его. По палубе с шипением мчались потоки воды, гнилая посуда дрожала и трещала по всем швам, то падая в бездну, то взлетая на волну. Топурия пополз, захлебываясь, между двумя штабелями досок по правому борту. Вернее, он не полз, а плыл,

потому что в этом узком проходе было столько воды, что он не мог достать рукою палубы. Очнулся Топурия у руля, за который взялся, сам не зная для чего. Парусник заливало, каждую минуту он мог пойти ко дну. Для корабля и единственного на нем человека не было спасения: из ночной тьмы одна за другой возникали водяные горы, на гребнях которых метелью вихрилась пена, и с громовым гулом бросались на гибнущий парусник. Топурия крепко держался за колесо руля. Его несколько раз сбивало с ног, он вставал снова, проклиная капитана и матросов, бросивших его, и, задыхаясь от страха, ждал смерти. Наконец парусник вздрогнул, загремели, рассыпаясь, штабеля досок, страшный грохот оглушил Топурия... и он очнулся в турецком морском госпитале.

За ним присматривал санитар-грек, всегда пьяный и сонный. От него на десять шагов несло перегаром спирта и чесноком. Грек с большим трудом, помогая себе жестами, растолковал Топурия, что парусник выбросило на берег в пяти верстах от города, что сам Топурия был найден без сознания у руля и что немного дальше парусника прибилась шлюпка под тем же названием с трупом матроса, который доставили в госпитальный морг. Топурия понял, что из всего экипажа спасся только он один, брошенный на волю стихии. Ему стало жалко погибших матросов. Он отвернулся к стене и тихо заплакал.

Вечером санитары подняли Топурия к открытому окну в коридоре. Под окном стояла повозка, а на ней лежало нечто, покрытое брезентом. Когда брезент сняли, Топурия увидел первого человека в корабельных списках — капитана.

Он лежал, огромный, в полосатой майке, и его большие кулаки были сжаты, как и всегда при жизни. К Топурия подошел какой-то турецкий начальник и, держа руку у своей красной фески, что-то спросил. Топурия не понял ни слова. Тогда на помощь пришел санитар и растолковал Топурия, что начальник порта поздравляет его со спа-

сением; он в восхищении от отваги капитана, который остался один у руля, согласно лучшим мореходным традициям. Вместе с тем начальник порта спрашивает, из его ли экипажа этот матрос, и если так, то начальник порта просит назвать его и свою фамилию для уведомления российского консульства, так как никаких документов ни при нем, ни при трупе не найдено. Кроме того, начальник порта спрашивает, какие будут распоряжения насчет похорон и наконец как себя чувствует отважный капитан.

Теперь пришла очередь Топурия. Он едва не потерял сознания, пока втолковывал санитару, что не он капитан, а капитаном был тот, что лежит под брезентом. Начальник порта, так неожиданно попавший впросак, сделал резкий, нетерпеливый жест и отдал какое-то распоряжение. Санитар взял Топурия под руки и повел в коридор. Санитара душил смех, и у дверей палаты он не выдержал и захохотал. Он хохотал в гулком коридоре долго, приседая, держась за живот, изображая перед Топурием, как к нему подходил форсистый начальник порта, козырял, спрашивал о здоровье и о распоряжениях. Успокоился санитар только тогда, когда увидел, что смуглое лицо Топурия побледнело и большой не может больше держаться на ногах.

С того дня санитар начал относиться к Топурию по-приятельски и даже приносил ему спирт. Но теперь лежал Топурия не в прежней светлой палате, и ему приносили совсем не такие блюда, как раньше. Он лежал в огромной, темной комнате, заставленной пустыми койками, и его выписали из госпиталя в первый же день, когда он был в состоянии ходить без чужой помощи. Больной Топурия добрался до консульства, откуда его отправили в Россию, и с той поры он закалялся плавать по синему морю в далекие земли, столь манившие его.

Вот какова была история аварии парусника. Весьма обыкновенная история. Но Топурия хотелось верить, что это было не так. Поэтому на место санитара, неприятно пахнувшего водкой и

чесноком, он поставил красивую и знатную княжну из старинного рода, и все приняло другой вид.

— Ухаживала она за мной, — вздыхая, говорил Топурия. — Если бы ты знал, дорогой Ваню, как красива была княжна Нина! Она играла мне на чонгури и пела своим ангельским голосом. Когда я выздоровел, князь Давид сказал мне: «Топурия, — сказал он, — ты счастливый от бога человек. Княжна Нина, отказавшая самому важному князю, хочет быть твоей женой и не может без тебя жить. Я буду ходатайствовать перед его императорским величеством государем императором и самодержцем Александром Александровичем, чтоб тебе дали дворянство, и ты войдешь в наш род». Но я на это ответил так (тут голос старика окреп). Я ответил так: «Князь Давид! — сказал я. — Весьма я благодарен за такую милость, но княжеские палаты не по мне. Я — вольный моряк и простой человек и не смогу жить в серебре и золоте. Я люблю княжну Нину, но я не могу жить так, как вы, и притеснять народ, как пакостник князь Георгий, который подал на меня в суд и взыскал штраф за то, что я убил вепря якобы на его поле. Я не могу сидеть за одним столом с таким негодяем, — сказал я, — и быть его родней. Но я не могу и забыть любимой княжны Нины, — любовь к ней будет грызть мне сердце весь мой век. Я опять иду в море, и если погибну, то кончатся мои страдания, и не поминайте меня лихом!». Так я сказал, поклонился князю и княжне, вышел и с тех пор не видел их. И хорошо сделал, так как жить с таким шакалом, как князь Георгий, которому я заплатил штраф за вепря...

— Дядя! — остановил его Ваню. — Вепря же вы убили в прошлом году осенью, я помню...

Топурия от неожиданности выпустил из рук челнок. Он понял, что сделал ошибку. Старик сидел молча, сердясь на свою слабую память, которая все путает.

— Так как же? — спросил Ваню.

— Ты плохо слушаешь, — раздраженно сказал Топурия, — перебиваешь

разговор старших. Я тебе не скажу больше ничего!

Топурия снова принялся за работу. Ваню ждал, что он опять начнет рассказывать, но старик молчал. Ваню не терпелось. Он знал, что этот рассказ Топурия кончается каждый раз по-новому, и теперь хотел узнать про дальнейшую новую судьбу очаровательной княжны. Когда он отважился наконец спросить Топурия об этом, старик взглянул на него с укоризной, однако ответил:

— Она вышла замуж за знатного князя через пять лет, и прекрасно! Породись с этими князьями, а потом они будут тебя тягать по судам за каждого веня!

Для Ваню это было неожиданно. Прошлый раз старик сказал, что княжна умерла от чахотки, так как у нее не хватало сил перенести несчастную любовь, а сам Топурия, узнав об этом, дал торжественное обещание никогда больше не ходить в море, хотя его просто рвали на части владыцы кораблей, предлагая должность капитана. Он решил вернуться на родину и прожить там всю жизнь. Ваню хотел сказать об этом старику, но в ту же минуту в сад прискакал на одной ноге счастливый Илико.

— Ваню! — кричал он. — Дядя!

Он начал рассказывать о встрече с Симоном еще на бегу. Можно было разобрать только отдельные слова:

— Деньги... Огурцы... Симон... Свинья...

Наконец, успокоившись, он рассказал о встрече с Симоном, о разговоре про хозяйство, об уплате денег за потрапу, о том, что он поедет учиться торговать, о том, что Симон Гамрекели — самый лучший человек на свете. Он угостил своих приятелей сладостями, полученными от Симона, и умолк только тогда, когда увидел, что Ваню чуть не плачет от зависти. Однако старик Топурия почему-то не разделял бурной радости Илико. Выслушав мальчика, он покачал головой и сказал Илико:

— Покажи деньги, бичо!

Илико показал. На смуглой детской ладони лежала скомканная пестрая бумажка и несколько светлых мелких мо-

неток... Топурия посмотрел на деньги и усмехнулся.

— Нужно научиться считать деньги, бичо! — сказал он. — Ты попросил за потрапу больше, чем стоит весь твой огород, а он заплатил тебе всего за десять огурцов. Ты еще маленький мальчик и не должен лезть в разговоры со старшими. Нужно слушать тех, кто тебе не хочет плохого. Никуда тебе ехать не нужно, и к Гамрекели ты больше не ходи. Это — плохой человек.

Илико стоял растерянный, сжимая в ладони свои деньги. Он думал, что Топурия очень обрадуется такому обороту его хозяйственных дел и будет говорить с ним так, как того и заслуживает человек, имеющий уже свои собственные — и немалые! — деньги и свое хозяйство. А Топурия назвал его маленьким мальчиком, и оказалось, что на его деньги можно купить всего десяток огурцов. Все смешалось в голове Илико, и теперь он сам чуть не плакал. Ваню сразу заметил перемену в настроении Илико, и его плаксивая, завистливая мина сменилась довольной улыбкой.

— Симон — плохой человек, — подтвердил он слова Топурия. — Об этом все говорят.

Илико покраснел.

— Симон — хороший человек! — крикнул он Ваню. — Я с ним поеду в Потю торговать.

— Никуда ты не поедешь, — рассердился Топурия. — Нашелся торговец!

— Поеду!

— Не поедешь! — снова злорадно вмешался Ваню. — А Симон — дурной человек. Я даже не хочу есть эту его дрянь.

Он вынул из кармана одну ягоду инжира и кинул ее на траву. Илико засопел носом и подступил к нему ближе. Топурия положил челнок и сказал:

— Если вы, сырные червяки, начнете тут еще драку, я обоих выгоню отсюда. Садись, Илико! Слышишь? Вот так. Я расскажу вам про Симона Гамрекели, и вы увидите, что это плохой человек.

В маленьком саду Топурия снова стало тихо.

Старик рассказал о том, как потий-

ский купец Симон Гамрекели во время войны скупал земли, как он разными махинациями, обменом и арендой сколачивал в одно целое маленькие участки солдатских семей, хозяевам которых уже не суждено было хозяйствовать. Вот каким образом торговец Гамрекели стал собственником обширных огородов и виноградников во многих селениях.

Все-таки маленький Илико не мог понять, почему Гамрекели — плохой человек.

★

Когда счастливый Илико побежал к Топурия, Симон, не любивший откладывать дела на завтра, вышел на улицу, заложив руки в карманы своих широких штанов, и скоро появился у дома Коркия.

— Гамарджоба! — сказал Симон, как только увидел за плетнем шапку Артема. — Брось работать на таком пекле! Сядем, поговорим, дело сделаем, вина выпьем! Ха-ха-ха... Теперь самое время отдохнуть в тени.

Симон перелез через изгородь. Коркия шел ему навстречу, и на лице у него Симон заметил тревогу, даже страх. Так почти всегда при встрече с ним выглядели люди, которые много у него одалживались, и это веселило его. И сейчас он захохотал, будто сказал что-то очень смешное.

Коркия не разделяла его веселости. Ответив на приветствие, он смотрел на купца, словно стараясь угадать, чего хочет от него этот рыжий богачей. Наконец Гамрекели умолк, вынул из кармана платок и вытер лысину.

— Сядь здесь, дорогой Артем, — сказал он. — Вот здесь, в тени, мы с тобой поговорим.

И он сел первым, прямо на землю, меж грядок фасоли, где никакой тени не было. Коркия послушно присел рядом, и с его худого, озабоченного лица не сходила тревога. Симон заметил, что белки глаз Артема желты, а веки набрякли, опухли, и понял, что ночью Артема мучила малярия.

— Такое, значит, дело, мой добрый Артем, — сказал Симон, срывая моло-

дой стручок фасоли. — Значит, такое дело...

Он не сказал, какое дело, но распол ногтем стручок, вынул оттуда маленькую зеленую фасольку, положил в рот, сморщился и сплюнул. После этого Симон начал рассматривать стручок, будто в нем заключалось все дело, из-за которого он пришел к Коркия, но украдкой еще раз взглянул на Артема. Коркия сидел, понурился, и нервно растирал пальцами комки сухой земли. Симон наконец бросил стручок.

— Вот, значит, какое дело, мой милый, дорогой Артем. Я хочу взять Илико к себе на службу.

Симон сказал сразу все, что хотел сказать. Он оторвал новый стручок и занялся им с еще большим вниманием. Артем поднял голову, посмотрел на Гамрекели и снова понурился. Его запыленные пальцы дергали седой ус. Симон проделал с другим стручком ту же операцию и, отбросив вылущенный стручок, сказал:

— Мальчик шустрый. Он получит от меня пользу. Деньги, которые он у меня заработает, останутся при мне, в счет твоего долга. Через каких-нибудь пять лет покроется весь твой долг, а мальчик, когда подрастет, будет благодарен нам обоим. Я его не обижу. Бог карает тех, кто обижает сирот.

На Симона вдруг напала набожность.

— Бог взял к себе всех его родных и поручил нам неразумное дитя. Бога нельзя обманывать, мой дорогой Артем. Ты — опекун Илико, а я буду его вторым отцом. Дитя будет иметь хлеб, одежду, а когда вырастет, то на свой страх пусть делает, что хочет. Возможно, он захочет кинуть в нас камень...

Симон вздохнул.

— ... и тогда пусть его судит бог и добрые люди. А теперь мы обязаны о нем позаботиться, потому что дитя без присмотра и воспитания может вырасти плохим человеком.

Артем молчал.

— Огород я возьму себе, — закончил Симон, — но, чтоб удобней было нам обоим, я могу обменять его на небольшой кусок твоего поля, что у моего виноградника. Наши земли бу-

дут тогда в одном месте. Это я беру себе за хлопоты. Так и сделаем. Пойдем, напишем контракт и выпьем хорошего вина. Погуляем, как следует, в добром согласии. Ха-ха-ха...

Однако Симон сразу осекся, встретив взгляд темных глаз Артема. В них были обида и печаль.

— Илико еще совсем мал... — тихо сказал Артем. — Пусть подрастет мальчик, наберется силы... Я тебе уплачу долг, Симон... Будущей осенью я рассчитаюсь до копейки, только оставь Илико в покое. Ему еще рано итти в люди. Почему ты не жалеешь бедных людей, Симон?..

Симон фыркнул и ничего не сказал. Он старался не встречаться со взглядом Артема.

— Ты хочешь забрать кусок моего поля, — продолжал Коркия, — и отдаешь мне огород. Но этот огород ведь не твой. Когда Илико вырастет, то он будет над ним хозяином. Это его наследство, и я, опекун, обязан сохранить его в целости. Если я соглашусь отдать Илико, то на меня все люди будут показывать пальцами... Они скажут, что, когда мальчика-де воспитывала старая женщина, он имел свою крышу над головой и кусок хлеба. И они скажут, что я, опекун, разбросал хозяйство ребенка, растратил все его состояние, а его самого отдал в батраки. Как посмотрю я людям в глаза? И с чем я останусь сам, если отдам тебе поле? Как буду я жить со своей семьей, если и сейчас нам нехватает хлеба и я занимаю у тебя? Почему ты хочешь обидеть бедных людей, Симон?

Симон встал, отряхнул пыль со своих широких штанов.

— Я думал, что ты умный человек, Артем, — сказал он, злобно усмехаясь. — А ты — неблагоприятный дурак. Ты со мной говоришь, как с врагом, хотя никогда ты не уходил от меня с пустыми руками. Ладно, коли так. Мне не нужно процентов на твой долг. Срок кончился еще осенью. Заплати мне все полностью через неделю, не то я подам в суд. Когда продадут с молотка все твое хозяйство, денег все же нехватит на уплату мне долга. Довольно уже мо-

его милосердия. Посмотрим, лучше ли будет житься Илико в твоём нищенском доме! Х-хэ! Опекун! Х-хэ!

Рассеуженный Симон повернулся и пошел меж грядок, нарочно задевая колышки и выворачивая их. Открывая кособокую калитку на улице, он оглянулся и крикнул:

— Веди продавать буйвола!

Симон оставил калитку открытой и, грузно ступая, пошел по улице. Артем встал, опираясь на мотыгу, поправил вывернутые Симоном колышки, закрыл калитку и задумался, не замечая соседей, которые слышали последние слова Гамрекели и теперь с любопытством выглядывали со своих огородов.

— Чего он хотел от тебя, Артем? — крикнул один из соседей. — Что ему нужно от тебя, этому бешеному шакалу?

Но Артем не слышал вопроса. Он думал о том, что будет, если Гамрекели подаст в суд. В том, что Симон исполнит свою угрозу, Коркия не сомневался. Так что же? Отдать ему Илико? Но это — позор. Да и все равно Симон требует себе последний кусок поля Коркия. А с двумя маленькими огородами не только не избавишься от долгов, но они будут расти с каждым днем. Это отдалит катастрофу только на каких-нибудь два-три года.

А если не уступить Гамрекели, то от хозяйства Артема и звания не останется через месяц. Куда он пойдет тогда с большой женой, с малым Ваном и с таким же Илико? Куда деваться безрукому Миха? Только одна Кетэ, молодая и здоровая, может еще остаться здесь, пойти в батрачки к тому же Гамрекели или в княжеское имение... И наконец где будет лучше Илико: в батраках у Гамрекели или в бедном доме Артема?

Так думал Артем и все больше убеждался, что ему остается только согласиться с Симоном. Иначе все пойдет прахом. Да мало ли что может еще случиться на свете за эти два года? Может быть, придут те, о ком часто говорят люди... О, тогда вернется Бесо и поговорит с этой толстой свиньей, с этим ненасытным шакалом! Однакоже

поле!.. Как отдать ему поле, как прожить эти два года?

Сильно пекло солнце. Запыленная зелень огородов и садов повяла. Над болотами сгущалась мгла. Люди оставляли работу и прятались в тень, чтобы отдохнуть и переждать зной, а Артем стоял на том же месте, неподвижный и задумчивый, и сколько он ни думал, все больше сознавал, что один выход для него — это согласиться с Гамрекели и ждать лучших времен.

Вот какая беда случилась с Артемом из-за того, что Илико не вовремя встретился с Симоном Гамрекели, изнывавшим от безделья.

А Гамрекели лежал на скамье в тени и ждал Артема. Гамрекели знал людей и ждал не напрасно. Вечером Артем пришел к нему.

.....

Мальчики весь день провели в саду Топурия. Вечером они ходили вместе со стариком на болото, где в канаве он поставил на ночь новые сети. Вернувшись, они втроем поужинали в саду, а на дорогу Топурия дал мальчикам еще по куску сыра.

Солнце уже зашло, когда Илико и Ваню выбрались от Топурия. Они шли узкой, пыльной улицей. Недавно прогнали стадо, и в вечернем воздухе стоял сытный запах парного молока. Было тихо. На земле лежали неясные тени. За болотами, где-то далеко угасала яркая заря.

Мальчики шли медленно, держась за руки и нарочно поднимая пыль босыми ногами. Вдруг они услышали песню.

Я пойду к девушке...

К черноокой моей, милой!.. —

пел чей-то слабый, хрипловатый голос. Мальчики переглянулись...

— Пьяный, — уверенно сказал Илико. — Пойдем, посмотрим!

Они побежали и скоро увидели певца. Человек шел в тени тополевых аллей вдоль огородов Гамрекели, шатался и, размахивая руками, пел.

— Это отец! — удивленно крикнул Ваню. — Ой, будет смеху!

Илико, обрадованный, побежал вслед

за Ваню. Мальчики знали: Коркия, когда пьянел, бывал веселым, каким видели его редко в другое время, приносил мальчикам сласти, рассказывал, как он служил в солдатах, пел, танцевал, и в маленьком доме Коркия становилось шумно.

Однако на этот раз вышло иначе. Артем, пошатываясь, долго смотрел на мальчиков, словно не узнавая их. Наконец он взмахнул рукой и крикнул на всю улицу:

— Я был у Симона Гамрекели!.. Я был в гостях у этого шакала. Я пил за здоровье этой бешеной собаки! Глядите, как пропадает Артем Коркия! Эх, пропадает!..

Он сорвал с головы свою войлочную шляпу и бросил на землю, в дорожную пыль. Илико поднял шляпу и отряхнул ее.

— Илико! — закричал Артем, протирая руки. — Илико! Бедный ты мой сиротка!.. Пропали мы с тобой!.. Илико!..

Артем всхлипнул. Мальчики испуганно отошли в сторону, готовые каждую минуту улететь. Артем посмотрел на них, досадливо покачал головой и пошел дальше. На него смотрели из-за плетней односельчане, хорошие и плохие соседи, качали головами, пожимали плечами и говорили друг другу, что в семье Коркия случилось какое-то несчастье, в котором, верно, виноват Гамрекели.

Артем не замечал перешептываний и переглядываний соседей. Он шел с непокрытой седой головой, и слезы текли по морщинам его смуглых щек. Следом за ним шагали два босоногих мальчика, один из них нес старую войлочную шляпу Артема. Им было неловко и тоже хотелось плакать.

▼

Артем поднялся рано утром совсем больной. Разбудив старуху и Кетэ, он сказал, чтоб готовили Илико в дорогу. Мальчики спали на подстилке, дружно обнявшись. Спал и Миха. Артем не стал его будить, — ему было неловко перед взрослым сыном за вчерашнее

Взяв мотыгу, он пошел на огород, хотя делать там было нечего.

Розовая заря пламенела на востоке. В этот ранний час Артем любил смотреть на далекие горы. Ему казалось, что там, на скалистых высотах, на сочных пастбищах, в зеленых долинах, где мчатся бурные потоки рек и ручьев, — какая-то другая, привольная жизнь. И сейчас глядел Артем на знакомые горы. Но они казались теперь грозными и недоступными. Воздух терял прозрачность, четкие очертания гор постепенно расплывались в мутной мгле. Вот так всегда и в жизни Артема исчезали мечты и надежды. Вот так всегда на смелу им приходила действительность.

Влажный с ночи воздух наполнился теплотой. Солнце поднималось выше, длинные тени стройных тополей ложились на землю, и капли высыхающей росы дрожали на листьях. Усилился птичий гомон. В селении мычали коровы и перекликались петухи. На соседнем дворе переговаривались люди. Это было обычное раннее утро, каких было много в жизни Артема.

И все же оно отличалось от других, — никогда не чувствовал себя Артем таким несчастным, как сегодня. Он — старый человек, его с'едает горе и болезнь, и выхода нет и не будет. Все, что он сделал, пошло на пользу лишь другим, все, о чем он мечтал и на что надеялся, развеялось, как дым. Он оказался беспомощным настолько, что не сумел защитить ребенка, оставленного под его опеку.

Что теперь осталось ему в жизни?..

Артем смотрел на далекие горы. Их с каждой минутой все больше затягивало дымкой, и они отдалялись, отступали все дальше и дальше и исчезали в мгlistом мареве зноя. Так же гибнут мечты, так приходит действительность. Так же было всегда в жизни Артема Коркия.

Артем, неподвижный и мрачный, охваченный тяжелыми мыслями, не слышал, как вошел в огород его сосед Макар Чантурия. Он оглянулся только тогда, когда Макар взял его за плечо.

— Что у тебя случилось, Артем?—

спросил Макар. — Скажи мне, какая у тебя беда?

Макар был другом Артема с давних пор. Они служили вместе в Гунибском стрелковом полку и разлучались надолго только два раза в жизни: когда Артем пошел искать счастья на табачных плантациях Месаксуди и когда он ходил за георгиевским крестом под Двинск.

Артем понял, что в селении с самого раннего утра только о том и говорят, как вчера шел по улице пьяный Артем Коркия, плакал и проклинал Гамрекели, и все стараются отгадать, что с ним случилось. Он знал, что каждый по-своему будет оценивать его поступки и что все будут осуждать его за то, что он отдал Ианко купцу Гамрекели. Не многие посочувствуют Артему, разве только один Макар. И он решил рассказать обо всем ему первому. Макар слушал его, сочувственно кивая головой.

— Жалко, — сказал он, когда Артем кончил, — жалко мальчика, Артем. Собьет его с пути Гамрекели. Пьянствовать научит, врать, обманывать... Но что же мы можем сделать? Беда за бедой идет на нас, стонет народ и терпит муки. Ты слышал, что по всей Мингрелии будут от крестьян отрезать землю помещикам? Так пишут в газетах, — помещик-де лучше платит аренду, чем крестьянин. Все равно, всем нам пропадать, и твоя беда, Артем, не одна на свете; ты в этом не виноват, как и каждый из нас. Этого не понимает только тот, кто не знает, какая горькая растет кукуруза на наших полях. Может быть, мальчик как-нибудь сам выбьется в люди. Если Гамрекели продаст тебя через суд, то что мальчик будет делать у тебя? Он пойдет в батраки к тому же Симону. Он не минует его рук! А поля тебе все равно не удержать. Не отберет купец, так отберет помещик. Ах, Артем, пропадает бедный народ...

Макар замолчал. Они стояли рядом, двое людей, проживших одинаково трудную жизнь, и у обоих были печальные мысли о бедности, о безрадостной, больной старости.

— Гамарджобал — раздался резкий голос.

Артем поднял голову. За плетнем на улице стоял Гамрекели. Артем понял, что он не в духе. Широкосе лицо, с которого обычно не сходила самодовольная улыбка, на этот раз было неподвижно, а маленькие глаза вопреки были мутны, как спросонья.

— Ну, что ж, Артем? — насмешливо спросил Гамрекели. — Быть может, и сегодня ты будешь паясничать и порочить мое имя перед людьми, которые ничего не знают? Тогда будь добр, возьми контракт, и сделаем иначе... А?

Артем молчал, понурился головой. Макар смотрел в другую сторону. Гамрекели заметил любопытных женщин, выглядывавших из-за плетней огородов, и начал кричать.

— Ты что — глухим стал от моего вина, которое ты так любишь пить и за которое платишь мне бранью? Ах, как красиво, Артем Коркия! Полюбуйтесь, соседи! Человек желает, чтоб я кормил его с его выродками, чтоб я давал ему хлеб и деньги, чтоб я поил его вином! Ха! Он хочет перейти ко мне на хлеба, этот хитрый Коркия! Можно помереть со смеху над глупым Симоном, который кормит и поит Артема Коркия, лишь бы только он не бранился и не оскорблял его перед людьми! Ха! Он плачет, Артем Коркия, из-за мальчика, он боится, что сирота будет не батраком, а купцом... Видите, люди, Артем Коркия не любит купцов!

— Бог накажет, Симон, — заступился Макар. — Зачем ты издеваешься над человеком!

Но Симон его не слушал. Он повеселел, он хохотал во все горло. Все больше соседей появлялось за плетнями. Все слышали от слова до слова то, что говорил Гамрекели, так как он нарочно кричал на весь поселок, и все были удивлены, когда из двора Коркия вышел высокий, худой Миха-однорукий и побежал прямо к Симону.

Увидев искаженное гримасой бешенства сухое, острое лицо Миха, на котором пылали большие черные глаза, Гамрекели сразу умолк, отступил на шаг и оперся спиной о плетень. Люди,

сбравшиеся на улице, с нетерпением ждали, что скажет калека, обычно спокойный и молчаливый. А Миха долго не мог сказать ничего, задыхался и, скаля зубы, надвигался на Гамрекели, который медленно, шаг за шагом, отступал, держась за плетень и озираясь по сторонам.

— Любить купцов? — крикнул наконец Миха. — За что тебя любить, прожорливая свинья? За то, что ты грабишь людей, грабишь селенье, отбираешь наших детей? Да? Раньше князья продавали нас в турецкую неволю, и это помнит весь бедный народ, а теперь будет продавать купец Гамрекели? А?

Миха сделал шаг вперед. Гамрекели еще отступил, все время держась за плетень.

— Так, Симон Гамрекели? — закричал Миха, порываясь схватить Симона за воротник.

— Миха! — крикнул Артем. — Успокойся!

— Так, Симон Гамрекели? — кричал Миха. — За это мы будем тебя любить? Ты нас кормишь и поишь? О, мы тебя любим! Ах, как мы еще любим князя и податного чиновника, и особый отряд¹. Мы всех вас любим, и придет пора, Симон, — я даже тебя поцелую!.. Я тебя так поцелую, что твоя жена захворает от зависти!..

Он сильно ткнул Симона в грудь. притиснул к плетню и проворно схватил за горло.

— Люди! — взревел Симон, отбиваясь от Миха. — Люди!

— Миха! — в один голос крикнули Артем и Макар, бросаясь к плетню.

Они успели освободить Симона раньше, чем прибежали соседи. Побелевший Миха размахивал единственным кулаком, тряся и лясал зубами. Их окружили, Симона подхватили под руки двое мужчин, хотя тот и не думал бросаться в драку.

— Сумасшедший! — крикнул Симон, потирая ладонью толстый затылок. — Сумасшедший!

¹ Меньшевистская охранка (1917 — 1921 гг.).

Миха снова ринулся на него, но Артем успел загородить дорогу. Макар схватил Михаила за плечи. Отовсюду сбегались люди.

— Помни!.. Гамрекели!.. — выкрикивал почти потерявший сознание Михаил. — Помни! Если ты... еще раз приедешь сюда... не будет... ни твоего, ни нашего... ни твоего... ни нашего... Помни!.. Спекулянт Гамрекели... вор...

Миха не мог стоять на ногах, он шатался, ему нехватало воздуха. Его держали Макар, Артем и Кетэ и тянули прочь. В это время подбежали батраки Гамрекели.

— Он мне угрожает! — закричал Симон, как только увидел их. — Люди! Вы слышали? Вы слышали, как он мне угрожал? Вы слышали про особый отряд? Ах, ты, бандит, однорукая собака! Люди, вы слышали про особый отряд?

Но люди, слышавшие про особый отряд, стали расходиться так же поспешно, как и собирались. Когда Михаил довели до порога дома, на улице никого уже не осталось, кроме трех работников Гамрекели и его самого. Симон бежал по улице и кричал, что тут оскорбляли власть, что ему угрожали убийством и что его не удивит, если здесь начнется бунт и сюда придет особый отряд. Ветер раздувал широкие штаны Гамрекели, и он, поднимая пыль, катился по улице, круглый, как мяч, выкрикивая угрозы и проклятья. Следом за хозяином шли молчаливые батраки.

У Михаила начался припадок. Он катился по полу, грыз руку, бился головой об стену и страшно выл. Его держали Артем и Макар. Женщины плакали в сенях. Илико и Ваню, напуганные, забились в угол.

Миха наконец уснул. Артем и Макар долго стояли над ним. Только тогда, когда больной стал дышать ровно и глубоко и его лицо стало спокойным, они отошли, и Макар позвал Артема на двор. Артем послушно вышел, — у него был такой вид, будто он не знал, где он и что с ним творится.

— Артем, — сказал Макар, — нужно сейчас же идти к Гамрекели.

— Я не пойду, — безучастно ответил Артем.

— Нужно идти сейчас же, — повторил Макар. — Надо уговорить Гамрекели, иначе — беда! Ты слышал, что говорил Михаил, это — беда, говорю я тебе, и надо уговорить Гамрекели.

— Я не пойду.

— Мы пойдем вместе. Пусть женщины готовят Илико в дорогу, а мы пойдем; когда Гамрекели уедет, тогда будет поздно. Пойдем, я тебе говорю: это — беда!

Макар зашел в дом, распорядился насчет Илико и потянул Артема на улицу.

Гамрекели стоял у себя на дворе, наблюдая за работой батраков, грузивших на арбу мешки с огурцами. Другая арба, уже доверху наполненная свежими овощами, стояла тут же. Гамрекели готовился к отъезду.

— Легче, тише! — кричал он. — Ты привык на мельнице с камнями! Кто будет покупать огуречную кашу, собачий сын?

Макар несмело кашлянул, подходя к Симону. Тот быстро оглянулся, и Макар удивился тому, что веселое выражение лица Симона не изменилось, когда он увидел их.

— Пришли? — расплылся в широкой улыбке Симон. — Вот и хорошо, что пришли мириться. Поссорились — и помирились. Без этого не обойдешься. Так наши деды жили, так и нам приказали. Хоть ты, Артем, — улыбка сбежала с лица Гамрекели, — ты, может быть, пришел за контрактом? А?

— Где там! — притворяясь беззаботно-веселым, поспешно ответил Макар за Артема. — Контракт пусть будет на месте, женщины готовят мальчика в дорогу, а мы пришли просить у тебя прощенья за плохой поступок Михаила. Сам он теперь болен и не может притти, но мы думаем, он пожалеет, что так безрассудно поступил. У человека сердце горячее...

Артем молчал и упорно смотрел себе под ноги.

— Пустяки! — засмеялся Гамрекели и притронулся к плечу Артема. — Между соседями всякое случается. Я и сам

виноват, погорячился оттого, что меня вчера Артем оскорбил... Эх! Пустяки! Только, — снова улыбка исчезла с лица Гамрекели, — только вот Миха много чего лишнего в злобе сказал.

Макар подтолкнул Артема. Они переглянулись. Гамрекели это заметил.

— ... но меня не касается... — закончил он и неискренно засмеялся. — Я не правительственный комиссар и не чиновник, мое дело — продать стакан вина да добрых людей угостить. Гей! Старуха! Вина! Прошу, соседи! Вот тут, в тени! Садитесь! Старая, скорей! Поссорились — и помирились... На этом человеческая жизнь держится. Так наши деды жили... Прошу, соседи...

Он забегал по двору, стараясь выказать возможно больше радушия и уважения соседям, пришедшим мириться. Но соседи видели в этой суетливости Симона совсем другое. Они догадались, что Симон что-то задумал, но хочет скрыть это. Они поняли, что дружба кончится, как только Симон уедет отсюда, и ничего хорошего от него ждать не приходится. Гости сели за стол еще более мрачные. Макар, пытаясь все-таки отвести беду, сказал после первого же стакана, который пили за дружбу, мир и за здоровье Гамрекели:

— Я очень рад, дорогой сосед, что вы пришли к согласию, и мне приятно сидеть за одним столом с таким человеком, как ты, Симон. Особенно я боюсь, что ты подумаешь плохое про бедного Муха, который сказал то, чего и сам не думал. Ты же знаешь, что он калека, у него плохое здоровье, и в таком состоянии человека можно только пожалеть, так как он слаб и на сердце, и на голову.

Пронырливые глазки Симона, избегая взгляда Макара, кинулись вправо, влево и спрятались под припухлыми веками. Симон наполнил стаканы, оглядел гостей и улыбнулся так мирно и весело, как ему, возможно, отроду не удавалось.

— Бог с ним, с бедным Муха! — сказал Гамрекели, поднимая стакан. — Какая у меня может быть злоба на него, на больного человека? Я только боюсь, что люди разболтают его слова,

и это может принести беду и ему, и другим. Есть же такие, что не понимают, какое слово идет на пользу, а какое во вред. А у меня нет на Муха никакой злобы и никакой обиды, я хочу жить с соседями в дружбе и согласии, и это свидетельствую тем, что с удовольствием пью за здоровье Муха и ваше.

Теперь все уже было понятно. Макар больше разговора про Муха не начинал. Гости молчали, хотя Симон всю старался поддержать веселье за столом согласия и хохотал, где нужно и где не нужно.

Когда наконец они, поблагодарив гостеприимного хозяина, вышли за ворота его усадьбы, Макар сказал:

— Хорошо было бы, если б Муха мог куда-нибудь уехать. Да и ты тоже.

Артем подумал и махнул рукой.

— Куда он поедет?.. И чего там лучшего искать? Пусть будет, что будет.

Это все, что мог сказать Артем. И он сказал правду. Итти было некуда и лучшего искать было негде. Оставалось ждать, что произойдет в дальнейшем по милости купца Симона Гамрекели.

В полдень на дворе Симона стояли две запряженных арбы, Илико сидел на мешке с редиской, ел огурец и беседовал с Ваном, посматривая на него с высоты нагруженного воза. Тут же были: Артем, старая Анна и Макар. Кетэ осталась возле большого Муха. Не было и Топурия. Он ловил рыбу на болоте.

— Я могу с'есть все эти огурцы, — сказал Илико и кинул огрызок за изгородь. — Симон сказал, что ему ничего не жалко для меня. Так он меня любит.

Ваном молчал.

— Симон дал мне целых два и сказал: если будет мало, бери еще, — говорил дальше Илико и достал из мешка большой огурец. — Хочешь, Ваном?

— Я не люблю, — солгал Ваном. — У меня от них болит живот. Кетэ сказала, что от них крошатся зубы.

Илико уже пресытился этим лакомством, но все же откусил кусок. Огурец оказался горьким.

— Симон сказал, что если я буду есть много зелени, — украдкой сплевывая в кулак, сказал Илико, — то у меня к осени вырастут усы. Он говорит, что купцу также нужна и борода. Тогда к нему больше почтения.

— От огурцов усы не вырастут, — заметил Ваню. — Вот я так знаю, что надо есть. У меня к осени вырастет борода, как у Топурия.

— Ты будешь похож на макарова козла, — отрезал Илико.

Это было оскорбление. Ваню замолчал и стоял мрачный. От нечего делать он отколупывал комки глины, присохшие к спице высокого колеса. Наконец Ваню надумал.

— Тебя берут в рабство, — сказал он обрадованно. — Это говорил Миха!

— Миха ничего не знает, — равнодушно ответил Илико. — Он больной. А Симон обещал купить мне шелковую рубашку и еще новую чоку.

Ваню вздохнул. Больше говорить было не о чем. Он был побежден, и Илико, почувствовав это, блаженствовал на мешке с редиской, стараясь казаться посolidнее. Он хотел быть похожим на настоящего купца и потому хмурил брови и надувал щеки. Ваню топтался у воеза, изнывая от зависти.

Артем, Анна и Макар беседовали неподалеку вполголоса. Ждали Симона, который вместе с батраками ловил в хлеву кур. Куры горланили на весь двор. Симон ругался, как никогда, и прошло много времени, пока наконец вспотевшие батраки не выволокли из хлева две больших снизки кур. В воздухе полетели перья и пух, в будке залаяла собака, индюк залопотал и подбежал на крыльях, как на полозьях. Батраки вскинули кур на воз, и суматоха понемногу стихла.

— Надо ехать, — озабоченно сказал Гамрекели. — И так много времени потеряли, можно опоздать на поезд. Будьте здоровы, соседи! Если кто будет в Поти, заходите, буду рад повидаться.

Однако выехать сразу не удалось. Взобравшись на воз, Симон нашел непорядки: мешки лежали не так, как нужно, неудобно было сидеть.

— Плуты! — закричал Симон. — Ты

ленишься лишний раз ступить ногой, свинячий хвост! Мне полдня нужно ехать, так я по твоей милости буду набивать мозоли на мягкие места?! Давай соломы!

Батрак побежал за соломой. Артем и Макар подошли помочь Симону, а Илико пришлось слезть с воеза. Ваню стоял у плетня и искоса смотрел на Илико.

— Возьми мою сетку и острогу, — снисходительно сказал Илико. — Мне теперь некогда рыбу ловить. Я буду торговать товарами. Хочешь огурец? Он только с одного конца горький.

Ваню молчал, глядя в другую сторону.

— Ты не обижайся, — говорил дальше Илико. — Это я в шутку сказал про козла...

Лицо Ваню искривилось, и его черные глаза затуманились.

— Не надо ехать. Илико... — зашептал он. — Что я буду делать один?.. Коча дерется, Гоги глупый, я не люблю его... не надо ехать... Будем вместе ходить, я тебе покажу гнездо цапли... Что я буду... один...

Ваню всхлипнул и вытер глаза рукавом.

Илико онемел от неожиданности. Потом он почувствовал, что у него щекочет в горле и дрожат губы. Илико, наверно, заплакал бы, если б в это время Симон не крикнул:

— Илико! Иди сюда, молодой купец! Поехали!..

И это сразу изменило настроение Илико. Слезы, готовые вылиться, высохли. Молодой купец — это означает бывалый человек. Бывалым людям плакать не к лицу.

— Ты ведешь себя, как женщина, — с упреком сказал Илико. — Я не могу остаться, когда мы уже договорились с Сином... Оставь, а то увидят и будут смеяться...

— Мне угодил комар в глаз, — сказал Ваню. — Я не плачу, нечего врать! Большая мне нужда плакать...

Ваню еще раз мазнул рукавом по лицу. В его глазах заблестел гнев.

— Приезжай ко мне в гости вместе с дядей Топурия! — пробовал помириться Илико.

— Я сам, если захочу, буду купцом, — сердито сказал Ваню. — Очень мне нужно... в гости...

— Илико! Илико! — в один голос крикнули Симон и Макар.

Илико побежал к арбе.

— Прощайте, соседи! — крикнул Симон, ударяя палкой по облезлым бедрам буйволов. — Привезу вам купца-молодца, готовьте свадьбу! Ха-ха-ха!.. Всего хорошего!..

Буйволы шагнули вперед, застучали высокие колеса, и возы один за другим выехали на улицу. Лицо Артема потемнело еще больше. Макар натянул свою шляпу на глаза, старая Анна заплакала. Только один Ваню был теперь спокоен. Глядя вслед счастливому Илико, он уже думал о том, как будут провожать и его, когда он будет куда-нибудь уезжать.

Буйволы степенно шагали, важно неся свои тяжелые, загнутые рога. Вот возы уже прошли улицу с редкими аллеями тополей и каштанов; дорога круто свернула, по обеим сторонам ее протянулись длинные плетни огородов, а когда Илико оглянулся, то увидел только серые крыши домов и запыленную зелень садов. Кончились и плетни, колеса застучали по настилу, возы вехали на плотину. Начинались болота.

Кругом, куда ни глянь, простирались заросли, и лишь узкая, зыбкая гать вела вперед, тоже теряясь в чаще. Шумливый тростник, крушинник и ольха, стайки крикливых, пестрых соек, весь день ссорящихся в кустах, издавна знакомые места... Нудно посвистывая, высоко над плотинной летал, высматривая добычу, маленький коршун. В небе плыло затуманенное солнце. Болота дремали в томной тишине полдня.

Толстый Симон качался из стороны в сторону и что-то бормотал про себя. Шляпа съехала ему на нос, и Илико, сидевший сзади, видел только его широкие плечи да красный наплыв затылка над воротником. Илико стало скучно.

— Мы скоро приедем в Потю, дядя Симон? — спросил он, чтоб начать разговор.

Симон молчал.

— А? Дядя Симон?

Симон согнал палкой слепня, сидевшего на спине буйвола и не отозвался ни словом. Удивленный Илико хотел заглянуть в лицо Симону, но тот отвернулся в другую сторону. Илико стало не по себе. Он больше не пробовал начинать беседу и даже не шевелился. Буйволы медленно шли вперед, арба тряслась и скрипела. Сидеть было неудобно, охалка соломы все больше сдвигалась в сторону, нужно было поправить, но Илико не отважился сказать об этом Симону. Так прошло порядочно времени. Наконец Илико почувствовал, что съезжает с мешка совсем, и, чтоб не упасть, ухватился одной рукой за перекладину, а другой начал подгрести солому. Тут что-то попало ему под руку. Это был огурец; которым он угощал Ваню, и, вспомнив, что огурец горький, Илико выбросил его на дорогу. В тот же момент Симон повернулся к мальчику.

— Ты что выбросил? — сурово спросил он.

— Огурец, — испуганно ответил Илико.

— Иди, сейчас же возьми его!

— Он горький...

— Иди, возьми его, говорю тебе! — повысил голос Симон. — Не привыкай хозяйское добро разбрасывать! Слышишь? Тебе не все равно, горький он или сладкий?

Илико смотрел в глаза хозяину и никак не мог поверить, что Симон говорит всерьез. Ему казалось, что и молчаливость Симона, и эти суровые слова — все это в шутку, что Симон сейчас захохочет, и обоим станет весело. Но маленькие глазки Симона глядели злобно, и не было даже и тени улыбки на его широком лице.

— Иди, щенок! — цыкнул Симон, сдерживая буйволов. — Ты что, оглох, чортово отродье?

Илико понял, что никаких шуток тут нет, быстро соскочил с воза и принес огурец.

— Лезь! — коротко приказал Симон, принимая огурец из рук Илико.

Илико поспешно влез на воз и пристроился на самом конце мешка. Арба тронулась дальше.

— Почему ты бросил огурец? — грозно спросил Симон.

— Он... горький... — прошептал, чуть не плача, Илико. Симон осмотрел огурец, обтер его полой и швырнул далеко в кусты.

— Ты мне этак все огурцы пообгрызешь, пакостник! И не плачь. Я этого не люблю! Не гляди исподлобья!.. Не отворачивайся, как тот волк, которому евангелie читали, а он в лес глядел! Помни, что я твой хозяин, а ты мой слуга. Смотри мне прямо в глаза, когда я с тобой говорю! И ты должен меня называть не «дядя», а «батони». Слышишь? Вот и все.

Симон кончил, и вновь дремотный покой обволокло его. Он качался во все стороны и бурчал себе под нос.

Илико был растерян и обижен, боялся Симона и чувствовал себя одиноким. Теперь уже ему не хотелось ехать в незнакомый город Поти торговать товарами. Медленно шли ленивые буйволы, медленно двигалась арба знакомой плотиной в незнакомую для Илико жизнь. Он глядел сухими глазами на эти родные места, на это дремотное болото, за которым лежала родная деревня, где жили родные люди, и единственным желанием Илико было — соскочить с арбы и бежать назад, туда, где цветут гранаты в маленьком саду доброго Топурия, туда, где ждет его приятель Ваню. Но этого сделать нельзя было, — из-под широкополой шляпы искоса, одним глазом следил за ним Симон.

Коршун сложил крылья и камнем упал в заросли. Он нашел добычу. В кустах закричали сойки. Редко махая крыльями, с усилием поднялась цапля и полетела куда-то в глубь болота. Может быть, та самая цапля, чье гнездо нашел Ваню...

Медленно шли буйволы, важно неся свои загнутые рога, грохала арба по узкой плотине, ведшей через огромные пространства болот туда, где начинались сухие земли, где жили другие люди, где была другая жизнь.

Молодой купец Илико Жвания ехал учиться торговать товарами в незнакомый город Поти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На рубеже, где кончается путь Риона, который древние народы называли Фазисом, на низком морском берегу, лежит, окруженный болотами, небольшой город Поти. Несколько прямых, ровных улиц. Коренастые фиговые деревья и каштаны, тень ореховых аллей в центре, где находятся учреждения и лучшие магазины. В городском сквере — два-три неряшливо сбитых павильона, густые заросли лавровишен, олив и мирт и дремотные пальмы; на берегу Риона — повитые диким виноградом руины старинной турецкой цитадели. Неподалеку от сквера — серые, высокие стены незаконченного собора. Небольшая рыночная площадь. На окраинах — дома на сваях, глубокие лужи, стоячие болота на немощенных улицах, а за ними — бесконечная перекличка жаб, тучи комаров и ленивая, прелая болотная тишина. С одной стороны — широчайшая морская синь, с другой — необозримые просторы колхидской низины. Только изредка гудок парохода в порту, пронзительный свист лесопилки за городом, да еще по праздникам ярмарочный шум оживляют томный покой городка, дремлющего на берегах Риона.

Таким был Поти в те времена, когда туда приехал торговать молодой купец Илико Жвания.

I

Поезд не успел еще остановиться, а Симон уже выскочил на перрон. Размахивая бумажками перед носом высокого человека с блестящими пуговицами, он кричал что-то о багаже и о вагоне, отцепленном на последней станции. Вслед за Сином выкатился из вагона Илико со своим узелком.

Он топтался около Симона, попадая под ноги людям, которые куда-то спешили. Он был оглушен: черное страшилище — паровоз, — большие и кра-

сивые дома на колесах, уйма народу, начальники с светлыми пуговицами, фонарями и флагами, свист и грохот — все это подействовало на Илико так, что он боялся на шаг отойти от Симона.

— Вагон отцепили потому, что загорелись буксы, — спокойно разъяснял Симону высокий. — Когда буксы горят, вагон следовать не может, — запрещено правилами движения!

— А гнилой товар продавать правилами не запрещено? — возразил Симон, наступая на высокого. — Почему это, если горят какие-то буксы, то должен гореть и Симон Гамрекели? Подавайте мой багаж, я за это деньги заплачу! У меня по вашей милости гниют два воза огородных овощей, у меня по вашей милости куры с голоду подыхают! Я не настолько богат, чтобы из-за ваших проклятых буксов убытки терпеть! Я подам жалобу на управление дороги!

Илико ничего не понимал. Он боялся, что начальник арестует Симона. Но дежурный по станции был спокойным человеком, и, кроме того, ему сейчас нечего было делать. Он молча слушал, поглядывая вверх головы Симона, и от этого Симон приходил в бешенство. Наконец дежурному надоело, и он взял у Симона багажные квитанции.

— Единственно, что я могу, — сказал он, рассматривая бумажки, — это сделать отметку о причинах задержания груза. Подавайте жалобу.

— Единственно, что я могу сделать, сказала курица, — это снести яйца! — крикнул Симон. — Илико, пошли! Козу купил, козу продал, а прибыли ни копейки!

Симон круто повернулся и помчался по перрону, поднимая пыль кромками своих широких штанов. Следом бежал Илико. На вокзальной площади Симона ожидала линейка, покрытая ковром. На козлах сидел смуглый, черноусый человек и курил.

— Я уже думал, ты не приехал, батоно, — сказал он равнодушно. — А этот мальчик с тобой?

Симон, не отвечая, вскочил на линейку. За ним влез Илико. Черноусый

дернул вожжи. Линейка загремела по мостовой. Сытый конь бежал ленивой трусцой, цокая подковами, молчаливый кучер смачно курил, дым тучей плыл над его войлочной шляпой. Симон сопел, отплевывался и ругал дежурного. Линейку сильно трясло и бросало на разбитой мостовой. Косые лучи заходящего солнца ярко окрашивали крыши низких домов, в узких улицах стужался сумрак. Линейка повернула на какую-то улицу, Илико увидел большой сад, и тут же открылось море. Дремота, донимавшая усталого мальчика, исчезла без следа. Илико смотрел широко открытыми глазами на море, сиявшее всеми красками вечерней зари.

— Завтра будет хорошая погода, — сказал черноусый, погоняя коня. — Солнце весело спать пошло.

— Так всегда? — спросил Илико, забыв о всех обидах и о том, что Симон приказал не докучать. — Оно всегда такое... красное? Оно, должно быть, глубокое? А? Дядя Симон?! Старик Топурия сказал, что...

— Замолчи! — цыкнул Симон. — Нужно мне знать, что сказал какой-то Топурия!.. Гвацья! Перестань курить, ты задушишь меня дымом! Не гони коня, я себе зубы повыбью на этой таратайке! «Солнце весело спать пошло»!.. Что мне от этого, если я сам спать иду, плача! Хорошая погода ему нужна, этому барину! У тебя добро не пропадет в вагоне? А?..

Гвацья бросил окурок, сдержал коня, линейка медленно двинулась аллеями по самому побережью, и Илико долго еще видел пламенеющее море.

«Если б тут был Ваню! — подумал Илико, робко поглядывая на Симона. — Чего он сердится на меня? Ой, какой скверный человек!».

Ему было грустно. Он чувствовал себя чужим и одиноким среди этих людей. Но плакать нельзя было. Рядом сидел Симон, который не любит, когда плачут.

На углу улицы стоял еще не зажженный фонарь. Через широкие окна большого дома в сумрак вечера падал свет. Из дома доносились музыка и песни; в оконных стеклах мелькали тени.

Тут и остановилась линейка. Гвация соскочил, отворил ворота и ввел коня во двор.

— Слезай! — подтолкнул Симон мальчика.

На дворе было совсем темно.

— Гвация! — сказал Симон. — Возьми мальчика, поведи на кухню и скажи старухе, чтоб дала ему чего-нибудь поесть... Слышишь?

— Слышу, батона!

— Пусть спит в чулане... Потом придешь ко мне, я скажу, что нужно с ним делать... Ха, черт, нервы мне сегодня испортили...

Гвация взял Илико за рукав и молча повел за собой.

На кухне стоял чад и прогорклый смрад паленых перьев и горелого жира. Под низким потолком висела темная, загаженная мухами лампа. У печи, похожей на кузнечный горн, металась женщина.

— Саломэ! — крикнул Гвация. — Покорми мальчика.

— Какой мальчик? — охрипшим, мужским голосом спросила женщина.

— Хозяин привез.

— Хорошо. Пусть подождет.

— Садись вот сюда! — сказал Гвация Илико. — Тебе дадут есть, я за тобой потом приду.

Илико положил свой узел на пол и сел на широкую скамью. Гвация вышел.

«Она, должно быть, тоже нехорошая... — думал Илико о женщине, возившейся у печи. — У нее страшный голос, и она даже не посмотрела на меня. И Гвация злой... Он все молчит».

Кроме Саломэ, на кухне была еще одна женщина. Она мыла тарелки и тоже ни разу не взглянула на Илико.

«Все тут злые... — думал Илико. — Топурия был хороший. Дядя Артем был хороший, Кетэ была хорошая, Ванно, тетка Анна... А тут все скверные. А-вай!..».

Илико оперся о стену, чтоб удобней было сидеть. Он закрыл глаза, на которых выступили слезы от едкого дыма.

«Я убегу отсюда... — думал Илико. — Я убегу, тут плохие люди... При-

ду к дяде Артему, а он работает в кукурузнике... Приду к дяде...».

И тут Илико неожиданно увидел Артема. Он стоял в кукурузнике, за плетнем, крутил свой сивый ус и улыбался.

— Тут все злые люди, — сказал Илико.

Лицо Артема стало печальным.

— Мало хороших людей на свете, сынок, — ответил Артем так, как говорил всегда.

— Я убежал, — сказал Илико, — я не хочу торговать товарами.

— Он не хочет торговать... ха-ха! — сказал кто-то чужой.

Артем грустно улыбнулся и исчез, только колыхались еще золотистые метелки кукурузы.

— Он заснул, — снова сказал чужой. — Уморился.

Илико открыл глаза. Возле него стояли Гвация и две женщины.

— Если не хочешь торговать, так, может быть, чего-нибудь с'ел бы? — спросил Гвация.

Илико молчал, исподлобья поглядывая на чужих.

— Он еще совсем маленький, — сказала младшая женщина.

— Я не маленький! — огрызнулся Илико, прислоняясь к стене.

— Хочешь, я тебе дам харчо? — спросила та, у которой был страшный голос.

Илико любил это ароматное блюдо. Он недоверчиво посмотрел на женщину, и теперь она почему-то показалась не такой страшной. Она была похожа на бабушку Анну.

— Хочу... — нерешительно ответил Илико.

Через минуту перед Илико стояла миска с харчо. За столом, напротив него, сидел Гвация. Он тоже казался не таким злым, и от него пахло вином. Женщины опять взялись за работу. За стеной не прекращались музыка, шум и пение, в печке ярче загорелся огонь, и на кухне посветлело. Илико почувствовал себя лучше.

— Так ты, говоришь, приехал учиться на купца?

Илико кивнул головой. У него был занят рот.

Гвация вытащил из кармана бутылку и погладил усы.

— За твое здоровье, молодой купец!

— На здоровье! — ответил Илико.

Он старался вести себя, как взрослый.

— Это хозяин тебе сказал, что ты будешь купцом? — спросил Гвация, пряча бутылку.

— Хозяин. Он сказал еще, что у меня будет шелковая рубаха и новая чоха.

— Это-то будет! — уверенно ответил Гвация.

Илико стало весело. Он закончил ужин и собирался уже, как и все взрослые, начать разговор про дела, но Гвация встал из-за стола.

— Пойдем спать, купец, — сказал он. — У нас встают рано.

Ничего больше не оставалось, как взять свой узелок и пойти за Гвация. Успокоенный и довольный, мальчик лег спать на войлочной подстилке в маленьком чулане. Он видел во сне своих оставленных приятелей и серые крыши родных домов.

★

Симон Гамрекели вышел на улицу, постоял у ворот, посвистал, обдумывая что-то, и взшел на крыльцо. В духане играла шарманка. Симон открыл дверь и переступил порог. Облако табачного дыма всколыхнулось и поплыло ему навстречу. Гул пьяных голосов окутал Симона.

— Хозяин!

— Хо-хо!.. Хозяин!

— Гамарджоба, Симон!

— Гагимарджос!

— Выпей с нами!

— Здоровье Симона!

Гостей было много. Все столики были заняты. Посредине обширной залы симонова духана за широким столом горланила и брэнчала стаканами большая компания. Со всех сторон к Симону тянулись руки с рюмками и стаканами. Он кланялся направо и налево. Из-за большого стола поднялся толстенный мужчина с рогом вина в руках. Это был приятель Симона, Соломон Пачулия.

— Музыка, тише! — закричал он. — Батонебо!¹ Первый тост мы пьем за нашего дорогого Ноя², за его светлый разум и доброе здоровье! Вашà!³

— Вашà-а-а! — подхватила компания.

Кто-то подал Симону стакан. Все встали. Соломон Пачулия поднял громадный рог и перегнулся назад. Все сразу стихли.

— Три бутылки! — с восхищением сказал кто-то.

— Тише!

Красное лицо Пачулия стало сизым, громадное брюхо горой выпирало над столом. Наконец он выпрямился. Рог был пуст!

— А-а-а, Соломон! — зашумела компания.

— Ой, Соломон!

— Здоровье хозяина, Соломон!

Пачулия вытер усы. Опять заиграла шарманка. Пили за здоровье Симона, а потом Симон пил за здоровье гостей.

— Давайте шашлыки! — кричали гости. — Музыку! Хватит шарманки!

Симон сказал несколько слов буфетчику, тот вытер руки и выскочил на улицу. Гости, сидевшие за маленькими столиками, один за другим оставляли духан. Симон не уговаривал их. Это была мелкота — рыбаки и несколько крестьян из Рачинского уезда, заночевавших в городе. Скоро в духане осталась только компания Соломона. Тут были такие же богатые купцы, как Пачулия и сам Гамрекели, несколько более мелких, но уважаемых торговцев и чиновники, во главе со сборщиком налогов.

Симон сидел рядом с Пачулия и старательно подливал ему в стакан. Пачулия охотно пил, еще больше ел и бросал кости под стол.

— Должно быть, заработал, Соломон? — допытывался Симон. — По глазам вижу, что заработал. Зачем таишься от приятеля?

¹ Батонебо — множ. число от батони.

² Ной Жордания — руководитель меньшевистского правительства в Грузии (1918 — 1921 гг.).

³ Вашà — ура.

Но Пачулия подмигивал соседям, шутил, лил в себя вино, как в бочку, и будто не слышал вопросов Симона.

— Соломон! — ныл Гамрекели. — Почему ты не скажешь?

Но Соломон не отвечал и начинал разговор с соседями. Зная его характер, Симон настойчиво подливал ему вина. И вот язык Пачулия начал заплетаться, масляные глазки затуманились, и наконец он обнял Симона за шею.

— Симон, ты лучший мой друг! — растроганно сказал Соломон. — Ты лучший мой друг и... умная голова, Симон... Я хорошо заработал! Дай, я тебя поцелую, мой дорогой Симон...

— На чем ты заработал? — отирая лицо, спросил Симон.

— Хром!.. Настоящий английский хром... Подошва и прочий полувал... Ха! Я все это сплавил в Тбилиси... Хорошо заработал. Гуляем!

Симон сразу отрезвел и пришел в плохое настроение. Его грызла зависть. Ему теперь казались пустяками вся его беготня и хлопоты с овощами и курами. Его даже не утешала выручка от сегодняшней пирушки. Это, может быть, одна тысячная доля прибыли пронырливого Пачулия!

— Соломон! — повременив, снова начал Симон. — Соломон! А сколько ты заработал? Ну, скажи, не скрывай от приятеля... Соломон!

Гамрекели долго еще хныкал. Наконец Соломон обнял его за шею. Между двумя сочными поцелуями Симон услышал такую цифру, от которой ему стало холодно.

— Ай! — мог только сказать Симон. — В интендантство?

— Что, в интендантство?

— Продам...

— Ва!.. — пренебрежительно усмехнулся Пачулия. — Я из интендантства купил, а, куда продал, это мое дело. Дорогой Симон! Соломон умеет...

Пачулия замолчал на полуслове, отвернулся в другую сторону и стал что-то шептать соседу, чиновнику из транспортной конторы.

Гамрекели понял, что Соломон только прикидывается пьяным и что эту пирушку он устроил неспроста. Во вся-

ком случае не потому, что хорошо заработал и хочет погулять с приятелями. Симон пододвинулся поближе, стараясь подслушать разговор Соломона с чиновниками, но на беду за столом начались песни. Гости кричали и гоготали в полтора десятка глоток так, что у Симона зазвенело в ушах.

— Вот это голова! — терзался Симон. — Этот человек умеет торговать! Он имеет дело с умными людьми, и в его карманах звенит золото. А ты, Симон, носишься по болотам, месидь грязь, шелудивые мужики готовы пробить тебе череп мотыгами, ты торгуешь огурцами и щупаешь кур, и в карманах у тебя не столько золота, сколько тыква!.. Ай, какой ты стал глупый, Симон!

Гости разговаривали, пели, смеялись. Симон сидел молчаливый и настороженный. Его алчную душу терзала зависть.

— Десять мешков гоми. Что это за торговля!

— Вы слышали? Были случаи заболевания холерой!

— Плевать я хотел на холеру!.. Выпьем!..

— Господа! Гост!

— Я был занят беседой и ничего не слышал...

— Рабочие мастерских... Они не хотят...

— Мало ли чего они не хотят...

— Рубль на рубль — это торговля.

Все это Симон пропускал мимо ушей. Он следил за Пачулия, транспортным чиновником и сборщиком налогов. Теперь они беседовали втроем. Симон чувствовал себя, как на горячих угольях. Его заросшие красными волосами уши жадно ловили каждый звук их тихой беседы.

— Я так думаю, что зимой в городах начнется голод... Запасы хлеба, господа, это — богатство... Если б я был купцом, я бы скупал хлеб и...

Все трое, как по команде, взглянули на Симона. Податному чиновнику показалось, что он слишком повысил голос. Но Симон Гамрекели, радушный хозяин, угощал соседа и был занят только своим делом.

— Не теряй времени, уважаемый Соломон, вот тебе единственный мой совет. Мне кажется, что ты будешь благодарен мне за услугу.

Открылась дверь, в духан вошли новые гости, один из них был Акакий Гунава, начальник особого отряда. Он еще стоял на пороге, заложив руки за украшенный серебряной насечкой пояс, и поклонами отвечал на приветствия, а Симон уже решил, что надо делать.

Он в одно мгновение выбрался из-за стола и очутился у порога.

— Прощу! Дорогие гости...

Важный, надутый Гунава медленно обошел стол. Гамрекели вел его под руку и усадил на почетное место в центре, но с таким расчетом, чтобы Соломон не присоединился к этой персоне. Пачулия, заинтересованный, молча следил за маневрами Симона.

— Ничего, приятель! — прочел он в ярких глазках Симона. — Ты себе, я себе. Поиграем.

Соломон с безразличным видом отвернулся в другую сторону.

Вновь открылись двери. Буфетчик привел двух бродячих музыкантов, которых ему удалось выудить из соседнего духана. Завизжала скрипка, завыла разбитая виолончель, податной чиновник вышел танцевать, но налетел на служанок, вносивших из кухни долгожданный шашлык.

Симон занялся Гунава.

★

На рассвете жену Симона разбудил грохот. Кто-то раздвигал стулья в соседней комнате и чиркал спичками. Потом раздался охрипший голос Симона:

— Сюда, друг Акакий... Тише, тут жена спит. Ты спишь?

Женщина притворилась спящей. Через спальню прошел со свечкой в руке Симон, за ним — высокий и тонкий, как жердь, Гунава. Женщина заметила, что оба плохо держатся на ногах. Они оставили дверь открытой, и ей было слышно все, что говорили в соседней комнате.

— ... будет стоять! — сказал Гунава.

— Ничего не поделаешь, — покорно ответил Симон.

— Ты напишешь, я поддержу, — сказал Гунава. — Все в порядке.

— Сколько? — спросил Симон.

— Сто желтеньких, — коротко ответил Гунава.

— Дорого! — еще короче сказал Симон.

— Ничего не поделаешь! — в тон Симону ответил Гунава.

Помолчали.

— Пятьдесят теперь, пятьдесят потом, — предложил Симон.

— Сто сразу, — вздохнул Гунава. — И штуку сукна потом. Ты напишешь, я поддержу. Дело сделано.

— Чорт! — сказал Симон.

Помолчали.

— Пойдем, выпьем? — спросил Гунава.

— Пойдем, — ответил Симон.

Они снова прошли через спальню, и снова загремели стулья. Издали женщина услышала:

— ... жена... здоровая?

— Здоровая... ведьма...

В ранний час, на восходе солнца, женщина опять проснулась. У постели стоял Симон и, размахивая руками, произносил речь.

— Пачулия заработал деньги и думает, что он умнее всех. Но ты, Соломон, — он погрозил пальцем, — не думай, что деньги — главная сила!.. Главная сила — земля!.. Я не спорю, Соломон, против того, что деньги имеют силу! О, нет! За деньги можно купить даже и землю!.. Однако откуда же берется золото? Из земли!.. Откуда хлеб, вино, бараны и все, что нужно человеку?.. Из земли!.. Деньги можно потерять, а земля всегда останется при тебе... Я решил заняться землей, Соломон! — Симон икнул и пошатнулся. — Я буду приобретать землю без золота и добывать из нее золото!.. Земля — это сила, а остальное нуль и тьфу! Я не спорю, что золото — это сила... Когда я отдавал сегодня этому прохвосту Гунава сто золотых рублей, у меня отсохла полови-

на сердца... Однако самая главная сила...

В этот момент закрипели пружины кровати, и Симон смолк. Из-под одеяла, огромная, как медведица, вылезала мадам Гамрекели. Симон отступил на шаг, потом сделал другой и скоро очутился за порогом спальни. Мадам Гамрекели сильно хлопнула дверь, и Симон слышал, как щелкнул замок.

— Самая главная сила... — пробормотал Симон, укладываясь на диван.

Когда мадам Гамрекели вышла из спальни, Симон сидел за столом и писал.

— Что ты пишешь? — спросила мадам Гамрекели.

Симон молчал. Мадам Гамрекели поправила шаль и молча вышла. Симон прочитал написанное. Бумага была готова. Она начиналась словами:

«Довожу до сведения особого отряда...» —

и заканчивалась собственноручной подписью купца Гамрекели.

«... по причине того, что один сын Артема Коркия, Виссарион, является коммунистом, — писал Симон, — то, когда я брал к себе на службу несовершеннолетнего Илико Жвания, старший сын Артема, Миха, не хотел мне его отдавать, так как Артем является опекуном несовершеннолетнего Илико Жвания. Когда я рассердился и сказал, что они не хотят ребенку добра, а если так, то и я не хочу им добра и взыщу с них долги через суд, и нехватит их хозяйства, чтобы оплатить долги, упомянутый выше Миха Коркия (однорукий по причине георгиевского кавалерства) начал меня ругать, бросался драться, ругал правительство и особый отряд (последние два слова Симон дважды подчеркнул) и сказал, что он устроит восстание, после чего его схватил припадок, так как он есть припадочный. Сын Артема Коркия Виссарион, который коммунист, пошел в Красную армию к большевикам, а перед тем, как пойти к большевикам, едва не застрелил эконома князя. Имя эконома — Гоги Дгебуадзе, и он это подтвердит.

По причине всего вышесказанного, прошу выселить семью Артема Коркия

из селения Сагвасалио, а старшего сына его, по имени Миха, арестовать, как явного большевика, потому что он подстрекает народ уничтожить мое хозяйство, которое я имею в помянутом выше селении».

Закончив письмо, Симон положил перо и задумался. Он высчитывал, насколько расширится площадь его виноградников, если к ней присоединить землю Коркия и Илико.

— Главная сила, дорогой Соломон, — это земля! — сказал Симон, заклеил конверт, положил в карман и вышел из комнаты.

Он пошел по делам. Симон никогда не откладывал на завтра то, что можно сделать сегодня.

II

Дверь скрипнула, и яркий солнечный зайчик вскочил в темный чулан. Илико проснулся.

— Кто там? — спросил он.

— Я! — ответил тоненький голосок. — Гвация говорит, тебе нужно вставать, а то хозяин увидит, что ты долго спишь. Вставай!

Илико в первую минуту никак не мог сообразить, где он находится и что это за хозяин и кто такой Гвация. Не было знакомого обкуреного потолка над головой. Над ним запыленными ветошками свисала паутина, вблизи стояла большая осмоленная кадка, вокруг валялось много всякого хлама, а вместо окна были узенькие щели в двери, через которые пробивались солнечные лучи. Наконец Илико припомнил: Симон. Поты, Гвация, шелковая рубаша и новая чоха. Он быстро вскочил и начал одеваться.

— Ты не спишь? — спросил из-за двери тоненький голосок.

— Нет. Я встал. А что, Симон ожидает?

— Какой Симон?

— Рыжий.

— Так нельзя про хозяина говорить, — ответил голосок из-за дверей.

Через минуту Илико вышел из чулана. В коридоре, у окна стояла маленькая девочка. У нее были длинные чер-

ные косы, смуглое лицо и очень большие глаза, которые в одно мгновение оглядели Илико с ног до головы и остановились на его заспанном лице. Илико почему-то стало неловко.

— Что ты на меня так смотришь? — спросил он, жмурясь от света, резавшего ему глаза.

— Я думала, что ты маленький! — ответила девочка. — А ты совсем большой...

Она говорила так, словно жалела, что Илико большой. Но это ему понравилось.

— Я не маленький, — довольно сказал он. — Мне девять лет.

— А мне семь, — сказала девочка. — Я еще маленькая. А как тебя зовут?

— Илико. А тебя?

— Маро. Мою маму зовут Саломэ. Она кухарка на кухне, а папу убили на войне. У тебя есть мама?

— Нет. Я один живу... Я приехал в Поти учиться торговать товарами.

— Ну, так пойдем, — сказала Маро. — Мама тебе даст поесть, а потом ты будешь мыть бочки. Так сказал Гвация.

— Бочки? — спросил Илико, идя вслед за Маро. — А какие бочки?

— От вина...

Маро быстро сбежала вниз по деревянной лестнице, и они очутились на обширном дворе, со всех сторон окруженном строениями. Тут Илико увидел Гвация. Он выкатывал бочки из погреба.

— Гамарджоба! — сказал Илико, снимая свою круглую шапку.

— А, купец! — засмеялся Гвация. — Беги поскорей на кухню, а потом сюда. Есть работа.

Маро уже ждала у дверей кухни.

Дальше все пошло совсем не так, как Илико представлял себе. На завтрак вместо харчо, на которое он рассчитывал, помня вчерашний ужин, были мацони¹ и хлеб. Только когда Илико уже собирался уходить, Саломэ дала ему куриную ножку и сказала, чтоб он с'ел поскорее, — пока никто не видит. Это удивило Илико, но он поступил так, как

сказала Саломэ. После этого начались неприятные неожиданности. Гвация, увидев Илико, сказал:

— Ну, купец, снимай рубаху!

— Зачем? — спросил Илико.

— А как же ты в рубахе полезешь в бочку? Снимай, она у тебя еще хорошая. И подверни штаны... Замочишься, как длиннохвостая мышь.

Илико стоял смущенный и не знал, что ему делать. Из кухни то-и-дело выходили то Саломэ, то другая женщина, поодаль стояла Маро; неудобно было раздеваться.

— Маро, иди отсюда. Сейчас встанет хозяйка, — сказал Гвация. — Снимай рубаху, Илико. Уже несут воду.

Женщина, которую он видел на кухне, принесла ведро. Из ведра шел пар.

— Вон в ту, в большую, — сказал Гвация и помог женщине вылить воду в бочку. Потом он повернулся к Илико.

— Скорей, купец! Выйдет хозяин, беда будет. И так опоздали, потому что я тебя пожалел рано будить. Ну, живо!

Илико решился наконец и снял рубаху. Потом Гвация взял его под руки, поднял в воздух и начал медленно опускаться в большую бочку.

— Ай! — сказал Илико, как только ноги его коснулись воды.

— Горячо? — спросил Гвация. — Ну, я подержу тебя... Привыкай...

Некоторое время он продолжал держать Илико под руки, медленно опускающая его вниз. Вода была очень горяча, у Илико занялось дыхание, он покраснел.

— Привыкнешь, привыкнешь, — утешал Гвация, — дорогой мой, я тоже парил пятки не раз. А ну! Гоп!

Илико встал на дно и сразу почувствовал себя как будто лучше. Он уже немного привык к воде и, кроме того, был доволен, что никто не видит его без рубахи, так как он скрылся с головой. В бочке было гулко, душно от пара и густой вони. Дно и стенки оплыли скользкой плесенью. Илико поднял голову и увидел в голубом чистом небе кудрявое легкое облако, пронизанное солнечными лучами.

¹ Мацони — простокваша.

— Ну, купец! — раздался голос Гвацция. — Вот тебе инструмент. Мой стень, пока вода горячая.

В воду шлепнулся сухой пучок какой-то жесткой травы. Когда мальчик взялся за работу, он сначала боялся, как бы не порезать руки. Но трава быстро размокла, и работать стало легче.

В полдень на дворе стало жарко. Солнце стояло почти прямо над головой и припекало так, что куры, бродившие по двору, раскрыв клювы, сами полезли в погреб. Гвацция все время работал там. Он снимал крышки с бочек, которые Илико должен был затем мыть, сбивал на них обручи. После этого, как объяснил Гвацция, бочки нужно будет обкурить, чтоб не осталось плохого запаха, от которого портится молодое вино. До полудня Илико вымыл две бочки. Он привык уже к горячей воде, но Гвацция, который по собственному опыту знал эту работу, перед тем, как пересадить Илико в третью бочку, перекатил ее под навес, чтоб мальчику не докучало солнце.

Именно тогда и вышла из дому мадам Гамрекели. Обычно она редко появлялась на дворе, тем более в такое жаркое время. Но ей сказали, что хозяин привез нового работника, и она пожелала на него посмотреть.

— Где он? — спросила мадам Гамрекели.

— Там! — показала Маро.

Она повела хозяйку под навес, и та с интересом заглянула в бочку.

— Маленький совсем! — гулко сказал кто-то над Илико.

Мальчик вскочил и увидел широкое женское лицо.

— Он не маленький, — сказала Маро, — он большой.

— Маро, — сурово остановила девочку мадам Гамрекели, — тебя никто не спрашивает!

— Мне девять лет! — донеслось из бочки.

Но мадам Гамрекели уже вышла из-под навеса. Гвацция, посмотрев хозяйке вслед, швырнул окурок и полез в погреб. На обширном дворе стало пусто.

После обеда и короткого отдыха Или-

ко чувствовал себя очень усталым. Болели ноги, а руки были, как чужие. Но Гвацция сказал, что хозяин будет сердиться, и Илико снова полез в бочку. Когда стемнело, Илико пошел на кухню и заснул на скамье. Саломэ не могла его добудиться и заставить поесть. Утром Гвацция рано поднял Илико и стал торопить его: хозяин приказал, чтоб до воскресенья все бочки были перемыты; до воскресенья осталось пять дней, а бочек еще много.

Так прошло три дня. Гвацция то работал в погребе, то складывал вымытые бочки под навес, то пропадал куда-то по каким-то делам. Симона Илико не видел с той самой минуты, когда он слез с линейки. Не видел он больше ни хозяйки, ни Маро, которая всегда находилась при мадам Гамрекели. Илико перелезал из бочки в бочку, куча их росла под навесом, а Гвацция все грохотал в погребе и говорил, что бочек еще много. Илико понемногу привыкал к этой работе, уже не так болели распаренные ноги и стертые руки, но мальчишка грызла тоска. Он вспоминал последний день в родной деревне, — длинные плетни, за которыми колышались золотистые метелки кукурузы, высокие тополя на улице, маленькие сады, такие, как сад Топурия, приятеля Ваню и мрачного Артема со шляпой в руках — так стоял он у ворот усадьбы Симона, когда Илико уезжал, — и наконец — знакомую гать, пестрых соек в густых зарослях и маленького коршуна, летавшего высоко над болотами. И еще вспоминал Илико, как Симон ругался, когда они ехали через плотину. А дальше была станция и встреча с черным страшлищем, которое называется паровозом. Симон сказал, что купит для Илико чоху и шелковую рубаху, а теперь выходит, что он обманул. Илико сидит в бочке, в вонючей жаре, с жестким венником в руках.

Теперь Илико даже и не думал о том, чтобы напомнить насчет рубахи с чохой. За те дни, что прожил Илико у Симона, он отвык и в мыслях называть его так, как звал раньше, — дядя Симон или просто Симон. Все — и Саломэ, и другая кухарка Элисабеди, и бу-

фетчик Гурген, и сам Гвация иначе не называли Симона, как «батону». Илико понял, что он не может обращаться запросто с Симоном, ибо он хозяин и, по словам Гвация, может сделать с Илико все, что захочет. Ничего больше не оставалось, как скрести скользкие стенки и изредка плакать.

Однажды, когда Илико плакал, к бочке подошел Гвация.

— Чего ты? — спросил он. — Устал?

Илико молчал, всхлипывая.

— Если устал, то вылезай и отдохни! Мне самому от этих бочек тошно, а ты еще дитя... Вылезай!

— Я убегу отсюда! — неожиданно для самого себя выкрикнул Илико и замолчал, испуганный. Это была его затаенная мысль с первого дня. Гвация оперся о край бочки.

— Дурень! — мягко сказал он. — Куда ты убежишь? Домой? Как ты туда доберешься, глупое дитя?.. И что ты будешь делать? Должно быть, не от хорошей жизни тебя сюда отдали!.. В свет пойдешь?.. Не знаешь ты, что теперь на свете делается!.. Эх, купец! На свете голод теперь, люди болеют холерой, все колокола в церквах поотбивали, а выхода нет... Он убежит!.. Здесь ты хотя бы кусок хлеба имеешь, а там... Терпи, купец! Я этот хлеб с детства ем... Я, брат, везде был, всего испытал...

Гвация шагнул и погладил взлохмаченную, мокрую голову мальчика. От этой неожиданной ласки чужого человека сердце Илико затрепетало, и мальчик громко заплакал.

— Эх, горе, горе! — сказал Гвация, махнул рукой и пошел в погреб.

Наконец пришел день, когда Гвация выкатил последнюю бочку. Под вечер на дворе появился хозяин. Он кинул короткий взгляд под навес и прошел в погреб.

— Молодчина, Гвация! — весело говорил Симон. — Приучай мальчика работать и сам учись быть хозяином. Видишь, когда еще будет вино, а у меня уже и бочки готовы.

— Устал мальчик... — угрюмо ответил Гвация. — Скучает...

— Ничего, привыкнет! И мы скучали...

Симон повернулся и вышел из погреба.

Над головой Илико неожиданно загремел гучкий смех.

— Ах-ха-ха... — залился Симон. — Илико, оказывается, хороший работник, ишь ты, как скребет и сколько наскреб! Молодец, мальчик, будет из тебя человек, сразу вижу!

Испуганный Илико молчал, глядя вверх. Наконец Симон перестал смеяться.

— Самое главное достоинство человека, — поучительно сказал он, — это, если человек трудолюбив. А если он — бездельник, то нуль и тьфу! Ты бери пример с меня. Я работаю день и ночь. И если тебе кто-нибудь будет что-нибудь такое говорить, то ты никому не верь, а бери пример со своего хозяина. И будешь человеком. Я сам тебя сделаю человеком. Слышал?

Илико молчал.

— Ты слышал, я у тебя спрашиваю?

— Слышал... — прошептал Илико.

— Ну, так помни!

Симон ушел в дом.

Вечером мадам Гамрекели прохаживалась по веранде, выходящей в сад. В открытое окно она увидела мужа. Симон сидел за столом и писал.

— Ты опять пишешь? — спросила мадам Гамрекели. — О чем ты все пишешь?

Симон не поднял даже головы. Он писал заявление в суд, требуя срочного взыскания долгов с Артема Коркия. У него не было времени для разговоров.

— Симон! — грозно сказала мадам Гамрекели.

Симон не отвечал.

— Мужик! — сказала мадам Гамрекели, отходя от окна.

Кликнув Маро, она медленно сошла с веранды в сад. Здесь росли аккуратно подстриженные кусты мирта и лавровишен, у забора пышно разрослась акация, цвели деревца мандаринов. Мадам Гамрекели заметила, как Гвация, привязывавший к тычку тонкий побег молодого лимонного дерева, спрятал в рукав окуроч, — в саду ему не разре-

шалось курить, — но простила ему этот поступок, потому что Гвация, кроме всего, был неплохим садовником. Клумбы, газоны и содержащиеся в порядке деревья свидетельствовали об его усердии и умении.

Мадам Гамрекели прошла через весь сад и грузно села на скамью. Маро заняла свое обычное место, у ее ног, на песке дорожки. Она держала в руках котенка.

— Ты мне занесешь в дом заразу, — заметила мадам Гамрекели. — Я скажу Гвация, чтоб он выбросил вон эту тварь. Что это у тебя за манера подбирать на улице всякую дрянь?!

Маро укрыла на груди теплый, пушистый комок. Ее глаза наполнились слезами.

— Ну, не плачь... — сказала мадам Гамрекели. — Можешь оставить его у себя, только всегда мой руки, когда приходишь в дом.

Мадам Гамрекели сама чувствовала себя обиженной и в таком состоянии бывала более милостивой.

— Принеси мне цветов.

Маро быстро исполнила приказание. Мадам Гамрекели успокоилась. В саду было тихо, на улице так же. Длинные тени деревьев ложились на песчаные дорожки — солнце склонялось к закату. Оно плыло над морем, заливая золотом неоглядный простор, но этого не было видно из сада. Здесь была только тень, аромат цветов и тишина, нарушаемая время от времени доносившимся сюда кашлем Симона и тихим плеском воды за забором. Это Иoliko мыл последнюю бочку.

Мадам Гамрекели вздохнула, прижимая нежные, пахучие лепестки к мясистым ноздрям. В такие минуты она острее чувствовала свою хроническую болезнь — обиду на жизнь, которая сделала ее женой Симона Гамрекели... В свое время уездный почтмейстер Самсон Дгебуадзе получил телеграмму, в которой директор тифлисской женской гимназии извещал, что гимназистка седьмого класса Тамара Дгебуадзе вышла без разрешения и ведома начальства в Санкт-Петербург с гусарским поручиком-ремонтёром. На следующий

день пришло письмо от Тамары, в котором она писала, что любовь зовет ее на жизнь и на смерть, что огонь ее сердца едва не угас в стенах гимназии и что гусар — именно та особа, которая способна поддержать этот огонь.

Через три месяца Тамара вернулась. Оказалось, что особа, способная поддерживать святой огонь любви, проиграла на биллиарде, в карты и другими способами значительные казенные суммы и угодила под суд, вдребезги разбив сердце Тамары. Однако, не разбитое сердце было главной бедой, — Тамара была в таком положении, когда женщине лучше всего быть замужем. На семейном совете было решено отправить ее в Поти, где двоюродный брат ее служил экономом княжьего поместья вблизи города.

Почти сейчас же по приезде Тамары в Поти брат познакомил ее с торговцем Симоном Гамреклия, который разбогател на армейских поставках и которому для полного порядка не доставало только жены. Гоги Дгебуадзе, эконом, имел касательство к делам Симона в такой же мере, как Симон к делам Дгебуадзе. Они быстро сговорились. Оказалось, что Гамреклия намерен жениться только на особе из дворянского рода. Поскольку Тамара этому требованию отвечала, дело было только за приданым. Гамреклия сам определил сумму, а когда семейный совет Дгебуадзе отклонил и сумму, и самое предложение, Гамреклия намекнул, что ему известно положение барышни и что, если ему выдадут означенную сумму, он берется ликвидировать конфликт. Семейный совет Дгебуадзе пошел на уступки. Что касается самой Тамары, то для нее другого выхода не было. Когда угрозы покончить самоубийством не помогли, она вняла разумным доводам и дала согласие быть женой Симона, поставив только одно условие: не Гамреклия, а Гамрекели. У нее, по крайней мере, будет знатная дворянская фамилия. Симон согласился, хотя предвидел лишние хлопоты. Это была единственная его уступка жене за всю их совместную жизнь.

Дитя неудачной любви умерло при рождении. Прошли годы. Стройная Тамара Дгебуадзе стала грузной мадам Гамрекели. На лице мадам Гамрекели застыло навсегда выражение обиженности и надменности. Веселый и порывистый характер Тамары Дгебуадзе преобразился в нрав ведьмы, как любил говорить Симон.

Вот сидит она, бывшая любовница гусара, теперь жена купца, нудно вспоминает свое прошлое и, прижимая к мясистым ноздрям нежные цветы, обдумывает, что нужно заказать на ужин, думает о том, что скоро придет на каникулы Гио, сын ее и Симона.

— Маро! — сказала мадам Гамрекели. — Принеси мне еще цветов.

Девочка вскочила и побежала к клумбе.

— Я не люблю этих... — мадам Гамрекели скривила губы. — Разве ты не знаешь, Маро? Принеси тех, голубых.

Маро побежала снова.

Еще некоторое время прошло в тишине. Листва деревьев стала темнозеленой.

— Беги в мою комнату, — сказала опять мадам Гамрекели, — там, на столике, лежат папиросы. У часов. Только смотри, не бери ничего, а то я тебя накажу!

Маро побежала в дом и быстро вернулась.

— Маро! — сказала мадам Гамрекели, закурив. — Принеси мне книжку, что в темной обложке, с белыми буквами. Только смотри, ничего не трогай! Книжка лежит на пианино.

Маро принесла книгу.

— Маро! — промолвила мадам Гамрекели, раскрывая книгу. — Унеси котенка в дом, помой руки и приходи ко мне. Только не носи его на кухню, а оставь в сених...

Маро побежала.

Крылатым и смелым

Был тот, кто влюблен.

Небо становилось темносиним. На землю сходила ночь, но звезд еще не было. По саду прошел легкий ветерок.

Мадам Гамрекели задумалась. На ее охлом лице выразительнее стала над-

менная гримаса, которую она носит полтора десятка лет. Гусар полка его величества — и торговец кукурузой! Дворянка Тамара Дгебуадзе и мещанка Гамрекели, жена купца второй гильдии! Нет, никогда мадам Гамрекели не простит этого своей неудачной судьбе...

— Маро, — сказала мадам Гамрекели, едва девочка опять появилась в саду, — беги на веранду и тихонько глянь в окно, что делает господин. Только смотри, чтоб он тебя не заметил!

Маро осторожно прошла по дорожке вдоль веранды. Мадам Гамрекели следила за ней, пока кудрявая голова Маро не исчезла в чаще акации у стены дома. Девочка вернулась скоро.

— Хозяина нет дома, — сказала она. — Комната пуста, а на столе лежат бумаги.

— Пойдем в дом, — вздохнула мадам Гамрекели. — Уже темнеет, я не могу читать. Иди на кухню и скажи матери, чтоб пришла ко мне. И вымой руки еще раз...

Мадам Гамрекели встала и медленно пошла по чисто выметенной дорожке. Ее большая, грузная фигура тихо проплыла мимо Гвацция, поднялась по ступенькам на веранду и исчезла за стеклянной дверью в неосвещенной комнате.

— Как живут люди! — сказал в раздумьи Гвацция. — Год безделья, два безделья, а как же двадцать лет безделья? Какое нужно иметь крепкое здоровье, чтоб с молодых лет до старости под кустом на скамье отсидеть!

Сказав это, Гвацция оглянулся. У него была плохая привычка вслух говорить с самим собой. Но его никто не мог слышать. Всюду была тишина. В вершинах деревьев звенели мошки. От земли поднималась вечерняя сырость. По улице кто-то проехал, глухо протопал конь, и клубы серой пыли поднялись за забором.

Гвацция срезал сухую ветку и бросил ее в корзинку.

★

Вскоре после того, как мадам Гамрекели удалилась в сад, Симон кончил

писать, взял тросточку, широкую праздничную шляпу и вышел из дому. Он немного постоял у ворот. На улице было еще светло и, если итти обычной дорогой, его обязательно заметит Пачулия, который в это время всегда сидит на крыльце, играя с приказчиками в нарды¹, и обязательно проследит, куда он пойдет. А Симону не хотелось, чтоб Пачулия знал об его визитах к Гунава: он подождал бы, пока стемнеет, но спешил, — через полчаса Гунава уже придется разыскивать по духанам.

Симон завернул в переулочек, сделал порядочный крюк и вышел с другого конца улицы, на которой жил Гунава. Надвинув шляпу на глаза, держась в тени, Симон боком пробежал по тротуару и быстро проскочил в калитку.

В глубине двора, под развесистым каштаном, сидел за столом Гунава. Он курил длинную старую трубку. На столе лежали бумаги, прижатые камнем. Под столом Симон заметил ведро, из которого торчало горлышко бутылки. У ног Гунава лежала громадная овчарка.

— Смелей иди, не укусит! — крикнул Гунава, заметив, как осторожно ступает Симон. — Она тебя не тронет, это только для жуликов, специальная собака!

— Возьми ее, придержи! — попросил Симон.

Гунава захохотал.

— Говорю тебе, она только для жуликов, чего ты боишься? Она только жуликов берет... Иди смелей!

Овчарка, до этого молча смотревшая на Симона, вдруг встала и оскалила зубы. Симон, увидев мощные желтые клыки, круто затормозил. Гунава взял собаку за ошейник.

— Э-э-э, Симон! — с упреком сказал он. — Так ты, оказывается, гм... Ну, что ж, иди и садись. Ничего не поделаешь, — все мы люди, все грешные...

Симон, обойдя каштан, зашел с другой стороны стола и осторожно сел на стул. Он не шевелился, боясь, что Гу-

нава не удержит собаку. Но овчарка сразу легла, как только Гунава взялся за ошейник, и больше не обращала внимания на Симона.

— Это мой опыт, — сказал Гунава, доставая бутылку из ведра. — Это я сам придумал. Как только скажу, что собака жуликов берет, все мои уважаемые клиенты готовы ударить через забор. И только один не удирал. Знаешь, кто? Наш дорогой Соломон Пачулия. Тот сразу пошел к столу и даже ногой ударил этого бедного пса... Я даже удивился: вот, думаю, наконец святой человек пришел! Оказывается, Соломон знал, что собака стара и оскаливается лишь для того, чтоб ей дали корку хлеба!.. Так что, дорогой мой друг, Соломон проворней тебя. Ну, как тебе нравится опыт? Хочешь вина?

«Свинья... — сердито подумал Симон. Он понял, что сваял дурака из-за своей панической боязни собак. — Божий угодник нашелся — жуликов с собаками ищет... Положил моих сто золотых в карман и еще издевается! Говорили умные люди: поцелуй свинью — укусит!»

Но вслух Симон высказал свои мысли иначе.

— Когда первой встречает гостя собака, а последним — хозяин, — сказал он, подвигая к Гунава стакан, — то это гостю, мой дорогой Акакий, не очень приятно. Но отчего мне сердиться?! Каждый в своем доме, что хочет, то и делает, а гость, как это говорят, может быть не хуже нищего и не лучше младшего брата! Тем более, я к тебе посоветоваться пришел!

— Ничего, Симон, ничего, — засмеялся Гунава. — Не сердись, мой дорогой, не стоит!

Он собрал бумаги со стола и положил их в сумку, лежавшую рядом, на скамье. На эту скамью перебрался и Симон. Ему было неудобно сидеть на стуле, ножки которого проваливались в землю.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Гунава. — Да будет мир. Ломи! Пошел вон! Эй, Степанида!

Овчарка послушно встала и поплелась куда-то в угол двора. Только те-

¹ Нарды — восточная игра в кости.

перь Симон заметил, что собака в самом деле старая, с облезлыми боками, и его опять уколола злоба. Однако Гунава был приветлив и гостеприимен. Босоногая Степанида — сильная, широкоплечая, откормленная женщина — бегала в дом и из дома, на столе появлялись разные блюда, и Симон, почувствовав себя в своей стихии, скоро совсем забыл обиду. Начался разговор.

Когда стемнело, Степанида принесла лампу. Над столом закружились мотыльки. Друзья были уже навеселе.

— Я искрененно большевиков из этого проклятого селения Сабокучаво! — кричал Гунава, стуча кулаком по столу.

— Сагвасалио! — поправил Симон. — Селенье Сагвасалио.

— Все равно! И в Сабокучаво есть большевики! Сегодня туда поехал податной инспектор и отряд милиции! Они не платят податей, бродяги! Они готовы лежать десять лет вверх брюхом и хотят, чтоб их из собственных рук кормило начальство! Либо они заплатят подати, либо их кости будут грызть шакалы!

— Ну, как ты думаешь насчет моего иска? — спросил Симон. — Подать?

— На кой чорт? Давно, что ли, с тебя судья Пагава взятку содрал? Я еще допеку этого судью Пагава! Он мне в одном деле ножку подставил! Ну, да ладно. Останется он и без ноги, и без носа! Не так легко Акакию Гунава ножку подставлять, собачьи вы дети!

— Ну, как же насчет иска? — допытывался Симон. — Я хочу подать иск!

— Я тебе говорю, на чорта этот иск! С кем ты будешь судиться? Раз ты имеешь дело с Акакием Гунава и он тебе дал слово, приходи и бери все, что нужно, голыми руками. А когда ты мне штуку сукна принесешь?

— Завтра, — без запинки ответил Симон.

— Дай, я тебя поцелую, мой дорогой!

Друзья поцеловались.

Через некоторое время Гунава снова грохал по столу кулаком.

— Как только придет отряд из Сабокучаво, я дам себя знать этим воюнчкам из гнилой дыры Сагвасалио! Они ждут большевиков, а большевики, во-он они где, за горами, за степями, они бегут от войск его пре-во-сходительства...

В доме раздался телефонный звонок.

— Степанида! Подойди, послушай! — крикнул по-русски Гунава. — Если звонят из отряда, пошли к... это, скажи, что меня дома нет. О чем это я говорил?

— Ты о многом говорил, — сказал Симон. Его веселость несколько уменьшилась после напоминания Гунава насчет сукна. — Ты говорил, кажется, что скоро поедешь в Сагвасалио. И еще сказал, что заплатишь мне из казны, так как я заявил на большевиков...

— И поеду, — начал Гунава снова. — И заплачу! С Акакием Гунава ты можешь пройти босыми ногами сквозь самый ад!

Густая тьма обступала освещенный лампой стол, тихо шелестела листва каштана, который темным шатром возвышался вверх, заслоняя звезды этой тихой ночи. Мотыльки роем кружились вокруг лампы и падали на стол. Неожиданно появилась Степанида.

— Требуют к телефону, — громким шопотом сказала она. — Звонят из отряда. Ничего и слушать не хотят, кричат — подавайте начальника! А я говорю...

— Посиди, Симон, я сейчас.

Гунава встал, опираясь руками на стол, сделал несколько негвердых шагов и исчез в темноте. Вслед за ним отплыла Степанида. Симон остался один. Он слышал, как споткнулся Гунава о ступеньки крыльца. Потом донесся его голос. Гунава говорил по телефону.

«На чорта я пообещал сукно принести... — подумал Симон. — Сто золотых рублей сгрел, теперь возьмет сукно, а выйдет дело или нет, чорт его знает... Мало ли что он здесь плетет... Только тогда скажи — брод, когда на другой берег вылезешь. Ай, потянуло за язык... Глуп ты, Симон!».

Гунава задержался. Симон сидел, подперев щеку ладонью. Мотыльки все летали, кружились, одни падали, появлялись другие. Над лампой шевелился широкий лист каштана. Симону захотелось спать.

Гунава подошел так тихо, что Симон вздрогнул, когда высокая фигура появилась у стола.

— А я было заснул, — сказал Симон, потирая онемевшую руку. — Очень уж ты долго... Мне и домой пора...

Гунава вместо ответа сбросил со стола две тарелки на землю. Только теперь Симон заметил, что в руках у Гунава целая охапка каких-то ремней.

— Забери эти черепки, Степанида, — сказал Гунава. — Возьми, говорю, а то разобью в пыль.

Степанида, быстро собрав посуду, очистила край стола. Туда и положил Гунава свои ремни, и теперь Симон увидел, что это — боевая амуниция. Тут были широкий пояс с кольцами и крючками, походная сумка, большой револьвер в деревянной кобуре, кинжал и кривая, старинная сабля в ножнах, украшенных серебряной насечкой. Кроме того, Гунава поставил перед Симонем на стол какой-то предмет, похожий на бутылку. Симон, с почтением осматривавший военное снаряжение Гунава, притронулся к этому предмету и почувствовал под пальцами холодок металла.

— Не трогай! — сказал Гунава, беря со стола пояс. — Граната... Бомба...

Симон отдернул руку. Степанида унесла в дом посуду.

— Что случилось, Акакий? — спросил Симон. — Скажи, если не секрет!.. Куда ты собираешься? Может быть, не дай бог, война?..

— У нас всегда война!.. — ответил Гунава. — Это вы только торгуете бобами, и у вас мир за печкой. У нас же — война!..

Он протрезвел, стал важным и молчаливым. Увешанный оружием, перевязанный вдоль и поперек ремнями, он имел воинственный вид и совсем не был похож на того Гунава, какого привык видеть Симон у себя в духане. Это был другой человек. Симон не отва-

жился больше расспрашивать и молча сидел за столом, поглядывая на начальника особого отряда.

— А теперь, дорогой Симон, — сказал Гунава, прикрепляя к поясу гранату, — я, к сожалению, должен спешить. Иди, друг, и перед сном помни добрым словом Арсена, податного инспектора.

— А что с ним? — спросил Симон, вставая. — Ты же сказал, что он поехал в это... Сабокучаво.

— Он поехал в Сабокучаво, а оттуда его привезут, — сказал Гунава, беря Симона под локоть. — Осторожно, тут небольшая яма... Свинья, проклятая, выкопала утром. Вот здесь тропинка.

Симон остановился. Темнота после света ослепила его, от слов Гунава ему стало страшно.

— Что ты говоришь, Акакий? — сказал он, цепляясь за ремни Гунава. — Погоди! Как это Арсена привезут?

— Как покойников возят, не знаешь? — с насмешкой спросил Гунава. — В гробу, ногами вперед.

— Что ж такое с ним случилось? Ай-ва-ва!

— Бунт! — громко сказал Гунава. — Мужики в Сабокучаво взбунтовались, отобрали у милиционеров оружие, ранили двоих, а инспектора убили. Вот что случилось! Да иди ты по тропинке, ослеп, что ли? На мозоль мне наступил!

Перед Симонем на миг всплыло рыхлое лицо с усиками стрелкой. В последний раз Симон видел податного инспектора у себя в духане. Тогда же он подслушал разговор инспектора и сразу затеял дело с Гунава. Симона проняла дрожь. Он плелся рядом с Гунава, спотыкаясь на каждом шагу. Тьма была непроницаемой, ночь дышала угрозой. Пугливое сердце Симона гулко билось в груди. Наконец добрались до ворот. Гунава открыл калитку. Повеял свежий, легкий ветерок с моря, прошумели деревья. Слышен был далекий плеск прибоя.

— Вот она, жизнь человеческая, — прошептал Симон. — Ты поедешь туда, Акакий?

Вдали раздались голоса, фыркание коней.

— Иди, Симон, иди! — подталкивая гостя под локоть, сказал Гунава. — Мне некогда, я спешу! Будь здоров!

— Я забыл тросточку, — сказал Симон. — Там, под каштаном...

— Завтра прилетишь за тросточкой. Гунава на этот раз подтолкнул Симона довольно решительно.

— Счастливо, Акакый! — сказал Симон, сделав вид, что не заметил этого. — Всего тебе лучшего.

Пробираясь ощупью по доскам поперечного тротуара, Симон слышал, что к дому Гунава подехали всадники. Вскоре мимо Симона промчался конный отряд. За ним, поскрипывая рессорами, легко пролетел парный фаэтон Гунава.

Во дворах залаяли собаки. Симон тихо брел по тротуару, часто спотыкаясь, и ему все казалось, что сзади кто-то идет за ним по пятам. Горькая пыль щекотала пересохшее горло. Симон боялся откашляться.

«...Запасы хлеба, господа, это — богатство... Если б я был купцом, я бы скупал хлеб... — сам того не желая, припомнил Симон подслушанный совет инспектора. — Запасы хлеба, это...».

— Кто тут? — спросил шопотом Симон. Ему казалось, что кто-то стоит рядом.

Никто не ответил. Прижимая руку к груди, Симон осторожно сошел с троту-

ара и, не озираясь больше, стараясь не слышать ночных шорохов, тихо плывших отовсюду, быстро побежал серединой улицы. Так он добежал до своего дома и изо всей силы стукнул в дверь. Ему открыл заспанный Гвацзия. Симон молча прошел в спальню и, отирая пот, задыхаясь, сел на кровать. Теперь ему не угрожала опасность.

Но и здесь его еще долго грызло беспокойство. Зловещим пророчеством казались ему неожиданная смерть инспектора и его случайно подслушанный совет, который подтолкнул Симона на опасный путь захвата чужой земли. Вот, поедет он в Сагвасалио, когда Гунава сделает то, что он обещал, а оттуда привезут его, Симона Гамрекели, мертвого, с раскроенной головой. Вы слышали? Умер Симон Гамрекели, его убили в селении Сагвасалио, где он отсудил у мужиков землю. Приходите в субботу в церковь св. Давида, будут богатые похороны...

Не оставить ли свою затею, пока не поздно? Что значат для него, в конце концов, сто рублей, которых Гунава, наверно, не отдаст? За жизнь не жалко откупиться и тысячей, — думал Симон, сидя на кровати. За окном, затянутым кисеей, надоедливо пищали комары. Было душно. Заснул Симон только на рассвете, когда в чистом воздухе на горизонте обрисовались в тумане вершины далеких гор.

(Продолжение следует)

Голуби

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ

★

Шумным выводком, легкой стаей
Над окном они пролетают.
Покружат над фабричной трубой —
И потонут в волне голубой...

На высоком моем окошке
Вы гостями не раз бывали,
Вы клевали зерно и крошки
И водою их запивали.

Просто так — любопытства ради, —
Когда сын мой лежал больной,
Я нечаянно вас привадил
Прилетать на мое окно.

Подоконника узкую кромку
Будто вдруг заволакивал дым:
Вы устраивались — и негромко
Разговаривали с больным.

Не тревожа его покоя,
Ворковали ему за рамой:
Что-то трогательное такое,
Что-то ласковое, как мама...

Мальчик выздоровел давно —
И сегодня уехал в Крым.
Вы хотите лететь за ним?
Не хотите дружить со мной?

Только — он теперь далеко.
Мимо солнца и облаков,
Сквозь дождя голубую сеть
Вам до моря — не долететь!

Так проститесь с ним у заставы,
У последнего семафора.
Посмотрите степные травы —
И опять возвращайтесь в город.

Он, конечно, будет нас помнить,
Он напишет письмо про Юг, —
Прилетайте на подоконник,
Я его прочитаю вслух...

Далеко-далеко, — не знаю,
В направлении каких дорог, —
Промелькнула под солнцем стая —
И растаяла, как дымок!

★

Богдан Хмельницкий

1648—1654 гг.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ

АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК

Перевод с украинского Ник. Ушакова

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Богдан Хмельницкий	Горобец, сотник
Кривонос, полковник	Пивень, казак
Богун, полковник	Лях, шпион
Лизогуб, войсковой писарь	Сотник
Варвара	Козаки
Соломия, внучка Варвары	Беглец-крестьянин
Зося	Лентовский, епископ
Тур, казак	Потоцкий
Ганжа, полковник	Адам Кисель
Гаврило, дякон	Князь Четвертинский
Лубенко, куренной атаман	Пшигоцкий
Кошевой	Калиновский
Тыква, сотник	Чарнецкая
Саж	Корецкий, князь
Шайтан, полковник	Корецкая
Коряга, сын Шайдана	Диркенштадт
Опанас, полковник	Князь Трубецкой
Кожух, казак	Боярин Пушкин
Бунчужный, полковник	Боярин Каруза
Чарнота, полковник	Тугай-бей

Козаки, кобзари, пленные немцы и поляки,
послы: турецкие, татарские, молдавские; бегле-
цы-крестьяне, джуры.

★

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Запорожская Сечь. В открытые ворота крепости видны палатки, курень — церковь, а за нею синий Днепр. У ворот бочка. Стоят Лизогуб, сотники Тыква и Сажа. За крепостной стеной слышна песня. Мимо ворот проходят казаки.

Тыква. Не было, что ли, среди старшины людей получше Хмельницкого? И месяца не прошло, как он стал гетманом, а уж успел, своевольник, созвать сюда, на Сечь, своих: Богуна, Ганжу. И Кривоноса ждут. Смотри *(показывает рукой)*, как старый дурень кошевой его встречать вырядился.

(Пробегают казаки.)

Лизогуб. Куда вы, хлопцы?

Казак. Максима Кривоноса встречать, вон его челны уж к острову подходят.

Лизогуб. Беги, беги! Максима встретить должно хорошо. *(Казак побежал. Лизогуб Тыкве.)* Дождался гетман Кривоноса и заведет теперь у нас на Сечи Запорожской новые порядки. Рука у него твердая.

Сажа. Уж начал! Старшину, что жизнь свою отдала Сечи, в бараний рог согнул, и скоро такие дни настанут, что хоть беги.

Тыква. Сам он сбежит первый.

Лизогуб. Чем вы недовольны?

Тыква. Здесь мы хозяева и избрали его в гетманы, чтоб слушал атамана Лубенка. А он своих навез и на нас волком глядит.

Лизогуб. Знает, что с Польшей воевать вы не хотите.

Сажа. Мы не хотим из-за Хмельницкого попасть на кол. Ляхов десятки тысяч, а нас всего шесть. Чернь безоружна и к тому ж сражаться непривычна.

Тыква. С Потоцким помириться должно и двинуть в морской поход на турецкие города. Нам с Хмельницким не по дороге.

Лизогуб. А кого б вы желали в гетманы?

Тыква. А хотя бы вас. Вы — писарь войсковой. Казаки вас любят и уважают за понимание души нашей, за ум.

Лизогуб. Тот нам нужен, кто объединит весь народ, кто соберет силу великую, чтобы с нами считались в Варшаве. Начать должно Богдану, — все идет к тому! Изменить сего никто не волен.

Сажа. Так что же делать?

Лизогуб. Первого боя дожждаться, а там..

Тыква. Черную раду?..

Лизогуб. Прощайте, друзья, пойду встречать Кривоноса. *(Ушел.)*

Сажа. Первого боя дожждаться... Куда он гнет?

Тыква. Умен писарь. Гетманский ум у него. Как зададут нам жару пушки, рейтары, драгуны, — чернь разбежится, тогда созовем черную раду, и на ней Хмельницкому конец.

(Слышен шум, музыка, крики: «Слава!». Из ворот крепости спешат казаки к берегу Днепра. Сажа смотрит в ту сторону.)

Сажа. Кривонос сошел на берег... Целуется с кошевым. О! И с Лизогубом. *(Расхохотался.)* Целуйся, целуйся.

Тыква. Тыфу... Не терплю я Максима, дьявол кривоносый.

(Шум ближе. Вышли кузнецы, казаки из ворот, смотрят. Появляются беглецы, прибывшие с Кривоносом, они с косами, вилами и топорами... Выходит Кривонос, его приветствуют, беглецы целуются с казаками. Кривонос останавливается у пушки.)

Кошевой. Какие вести привез, скажи народу.

Голоса. Говори, Максим, говори, Кривонос!

Кривонос *(поднял руку, — стихло все)*. Дорогой смерти шел я к вам. От Нежина до Киева Потоцкий колы в землю вбил, и на них в муках страшных погибают люди наши. Сейчас нет хаты, где бы не точили кос да топоры, где бы не ждали Хмельницкого Богда-

на. Ждет Украина рыцарей Сечи Запорожской...

(Входит сотник.)

Сотник. Максим Кривонос, гетман войска Запорожского Зиновий Богдан Хмельницкий желяет тебя видеть.

Кошевой. Иди, Максим.

Кривонос. Передай гетману, что Максим Кривонос ждет гетмана войска Запорожского здесь, и пусть к народу он держит речь, когда в бой нас поведет. Коль немедля, то все повеленья гетмана для меня священны, коль передумал он итти на шляхту, то пусть не ждет меня. Так и передай.

Сотник. Передам, Максим! *(Ушел.)*

Кошевой. Говори, Максим!

Кривонос. Что говорить, послушайте их. *(Показывает на беглецов с косами.)* Послушайте Варвару, жену славного казака Нивы, ее от ляхов я спас и привез сюда.

Кошевой. А с Нивой как?

Кривонос. Сожгли ляхи старого Ниву и сынов его.

Кошевой. Добрый был казак. *(Снимает шапку, за ним снимают шапки казаки.)* Покличьте Варвару.

(Казак пошел. Слышен звон сабель. Из ворот крепости выбегают старые казаки, бьются на саблях, кричат... посторонились, выскочил казак, отступает, на него насадет Богун, его сабля, как молния. Наступает Богун, казак пятится, Богун увлечен, ничего не видит, в левой руке у него четыре сабли, правой рубится с казаком и кричит: «Бей, бей, смелее, давай!». Все замерли, смотрят.)

Кривонос *(выхватывает саблю, подскочил, ударил по сабле Богуна)*. А ну, давай, Богун, — со мной!

(Остановился Богун, выпрямился, крикнул: «Максим!». Обнялись.)

Богун. Прибыл!

Кривонос. А ты, Богун, все людям шуру портишь? *(Показывает на четырех молодых беглецов со шрамами на лицах.)*

Богун *(смеется)*. Зашивать не приведется. Заживет и так. А учить их надо.

Старый казак. Сами о том просят. Для зелени такой *(показывает рукой на молодых беглецов)* почетен шрам от сабли Богуна.

(Беглецы кланяются в знак согласия.)

Кривонос. Учи, учи их, Богун, чтобы крепки были у них руки, когда с панями ляхами встретятся. А ну, подойдите сюда. *(Смотрит на шрамы у них на лицах, на груди.)* Размалевал ты их важно, толк будет!

(Все смеются. Богун отдает им сабли.)

Богун. А нос у тебя, Максим, еще длиннее стал. Смотрите, хлопцы, — как у турецкого султана!

(Смех.)

Кривонос. Побереги-ка лучше язык — не то станет он короче, чем у султанского евнуха.

(Смех.)

(Входят жена казака Нивы — Варвара, ее внучка Соломия в казацкой одежде, Шайтан и сын его, с окованной железом дубиной.)

Кошевой *(к Варваре)*. Бью тебе челом, мать Варвара!

Варвара. Бью тебе челом, кошевой атаман! *(Кланяется казакам.)* Челом вам, славные лыцари!

Казаки *(кланяются)*. Челом, челом!

Кошевой. А это кто?

Варвара. Внучка моя, Соломия.

Кошевой. Да ты настоящий казак, только саблю отцепи. Саблю носит тот, кто ею добре владеет. Женщинам сабля не к лицу.

Соломия. Потому я ношу ее, что владею саблей, как казак.

Богун. Разреши, батько кошевой! Соломия. Попробуй.

Богун. Разреши, батько кошевой! Кошевой. Попробуй, если не боишься Богуна, а мы поглядим, верно ли, что у тебя казацкая рука.

Соломия *(выхватила саблю)*. Давай!

(Полковники расступились. Богун смотрит на Соломию.)

Кошевой. Чего стоишь, Богун?.. Испугался? Начинай! *(Смеется.)*

Соломия. Вытаскивай саблю! Ну? *(Взмахнула саблей.)*

Богун *(выхватил свою саблю. Пауза. И бросил ее к ногам Соломии).*
Сдаюсь!

(Все захохотали. Соломия смутилась.)

Кривонос. Сто палок ему за то, что сдался без боя. Сто палок! Тащите палки, я покажу ему, как сдаваться, тащите палки...

Богун *(не сводя глаз с Соломии).*
Сто, двести, тысячу на мне обломайте. Впервые побежден я без боя.

Варвара *(подняла саблю Богуна).*
Кто ж победил?

(Пауза.)

Кошевой. Ты победила.

Соломия. Нет, не я. Возвращаю тебе саблю. *(Подходит к Богуна.)*

Кривонос. Напрасно! Сабля теперь твоя, не отдавай.

Кошевой. Подойди, Шайтан!

(Шайтан подошел и поклонился.)

Я думал — ты помер, сказывали — кворал сильно.

Шайтан. Жив, слава господу!

Кошевой. А это с тобой кто?

Шайтан. Дитя. Мой сынок. Подойди, Иване, поклонись в землю батьку кошевому.

(Иван подходит и кланяется.)

Кошевой. Что это в руке у тебя?

Шайтан. Коряга, железом кованая. Не могу подобрать для него саблю. Какую ни возьмет, — легка. Так и дерется этой корягой, и здорово дерется.

Кошевой. А сколько в твоей коряге весу, сынку?

Иван. Пуд... может, два...

Кошевой. А ну, помахай. *(Иван замахивается дубиной, как саблей. Все отскакивают.)* Погоди, погоди! Доброе дитя у тебя, Шайтан, добрый сынок. Отныне Корягой называться будешь. Так и в курень тебя запишем.

(Иван поклонился и отошел.)

Казак *(крикнул).* Гетман идет!

(Головы повернулись в ту сторону, все смотрят. Входит Бунчужный, остановил-

ся. Вошел Хмельницкий, за ним Лубенко, полковник Опанас, старшина.)

(Пауза.)

Хмельницкий *(издали).* Ты звал меня, Максим Кривонос?

Кривонос. Не я один, но и войско, что я привел с собой, беглецы с косами. Украина ждет тебя, гетман!

Варвара. Спеши, Хмель, Максим правду говорит.

Хмельницкий. Варвара!

Варвара. Я, Богдан!

Хмельницкий. Что привело тебя сюда? Где муж твой Иван? Его не вижу.

Варвара. Сожгли друга твоего и сынов моих... Как горел он, кричал сынам: «Плюйте, дети, плюйте панам ляхам в лицо. Богдан отомстит за нас...». Спеши, Хмель, на Украину, горят хаты, церкви, бродят матери по лесам, ищут детей своих. Время шляхетскою кровью пожары погасить. Спеши, Хмель! Не выступишь сейчас, — не живые, мертвецы вас встретят и проклянут.

Кривонос. На Украине слух прошел, что ты, гетман, гонцов послал к королю Речи Посполитой и на год отложил войну со шляхтой.

Тыква *(издали).* Слыхали, с королем в сношенья вступил.

Голоса. Отвечай, гетман, отвечай Кривоносу!

(Зашумели казаки. Хмельницкий поднял булаву. Наступила тишина.)

Хмельницкий. А ты поверил, Максим?

Кривонос. Хмель, я жду ответа, а ты задаешь вопрос!

Хмельницкий. Слушайте все. Гонцов послал я, верно, но не к королю, а к народу русскому о помощи просить. Ис ханом заключил союз против ляхов. Сегодня ночью будет рада старшин, а завтра на великой войсковой раде назначим мы не год, а день похода. О чем хочешь ты еще спросить, Максим?

(Кривонос подошел, поклонился, обнял Хмельницкого, взлетели шапки казаков. Крики: «Слава!». Хмельницкий и Кривонос пошли в крепость. Народ расхо-

дится. Через минуту из крепости выходят казак Кожух, голый до пояса, несет ведро горилки и кружку-квартику, за ним казак Тур и запорожский дьякон Гаврило, в руках у него большой крест, а поверх рясы на поясе пистолет и сабля.)

Тур (ставит на бочку чернильницу, кладет гусиные перья, бумагу). Садись, дьяче, писать будешь.

Кожух (поставил ведро на бочку, достал из широких шаровар одну тарань, понюхал). Добрая тарань! Жаль, горилки мало. Выпьем по единой, да и почнем. Уже челны подходят. (Зачерпнул кружкой из ведра.) Пей, дьяче, людей время принимать.

Гаврило (перекрестил кружку). Во здравие господя нашего! (Выпил, понюхал тарань и зачерпнул из ведра вторую кружку.) Во здравие девы непорочной! (Выпил, понюхал тарань и снова хочет зачерпнуть, но Кожух отставил ведро.)

Кожух. Подожди, дьяче, ты что ж, на свадьбе, что ли? Бачишь, горилки мало.

Гаврило. Грешник ты, Кожух! Дай выпить во здравие апостолов святых. В раю, ведь, не дадут уже ни капли.

Кожух. А тебя в рай пустят?

Гаврило. Меня, раба божьего, в рай возьмут, а вас, грешников, — в пекло. А в раю горилкой не потчуют.

Кожух. Беда!

Гаврило. Вы отправитесь сначала в пекло, будете котлы со смолой блюсти, дрова таскать, смотреть, чтобы добре кипели смола и сера. А в котлах вариться будут иезуиты, униаты, шляхта... и чтоб не угореть казакам у котлов тех от смрада, вам черти горилку подносить станут... Так годов сто при котлах будете, а уж потом господь наш милосердный в рай вас вознесет.

Тур. Годов сто?

Кожух. Вот уж напьемся!

Гаврило. Во здравие апостолов святых! (Зачерпнул квартику.)

Кожух. И тех чертей, что будут подносить нам горилку. (Пьет из ведра.)

Тур. Аминь! (Берет ведро и тоже пьет.)

(Все по очереди нюхают тарань и кладут ее на бочку. Входит казак, за ним четверо беглых с Украины.)

Казак. Бью вам челом, казаки! Принимайте в крепость беглецов из неволи ляшской.

Тур. Подходи по одному. (Первый подошел.) Как звать?

Первый. Тарасом.

Кожух. Откуда?

Первый. С Дубовой Балки.

Тур. Зачем на Сечь явился?

Первый. Не спрашивай, казаче, иль не знаешь, — жизни не стало.

Тур. Кто паном в вашем селе, и что ты можешь о нем сказать?

Первый. Пан Скоринский. Сказать о нем ничего не могу.

Тур. Что так?

Первый. Я его убил и бежал сюда.

Тур. Свято дело сотворил. Покажи руки.

Первый (протянул руку). Смотри!

(Тур и Кожух смотрят.)

Тур. Наш!

Гаврило. Унией не обольщался? Веры христианской не продавал?

Первый. Нет, святой отче.

Гаврило. Добре, а «Отче наш» знаешь?

Первый. Знаю.

Гаврило. Горилку пьешь?

Первый. Пью.

Гаврило. Истинно христианская душа! Целуй крест, раб божий.

(Первый целует.)

Тур. Пиши его в третий курень. Дальше?

(Подходят еще двое беглецов.)

Первый. Из моего села. Вместе кончали пана.

Кожух. Покажите руки.

(Показывают.)

Тур. Наши.

Гаврило. Унией не обольщались? Веры христианской не продавали?

Беглецы. Нет, святой отче!

Гаврило. Добре, а «Отче наш» знаете?

Беглецы. Знаем.

Гаврило. Горилку пьете?

Беглецы. Пьем.

Гаврило. Истинно христианские души. Целуйте крест, рабы божьи. *(Беглецы целуют крест.)*

Тур. Пиши их в третий курень.

(Дьякон пишет.)

(Подходит четвертый беглец, крайне оборванный.)

Тур. Откуда?

Беглец. С Манькивки, пан у нас Потоцкий, мучает людей.

Кожух. Знаем... покажи руки... покажьвай...

Тур. Ты что делал у пана?

Беглец. Всё — пахал, сеял.

Гаврило. А не шляхтич ты от Потоцкого?..

Беглец. Побойся бога...

Гаврило. Горилку пьешь?

Беглец. Пью.

Гаврило. Истинно христианская душа, перекрестись и целуй крест.

(Беглец крестится по-католически и хочет поцеловать крест.)

Гаврило. Стой! Ты крестился, как католик, ты лазутчик Потоцкого. *(Вытянул пистолет.)*

Кожух. Кто послал тебя сюда?

Беглец. Я бежал...

Гаврило. Не брешь, лях! Взгляни на небо. Видишь, солнце божье, сейчас ты его больше не увидишь! *(Направил пистолет. Входят атаман Лубенко и сотник Горобец, издали наблюдают.)* Ну, говори...

Лубенко. Стой, Гаврило!

Гаврило. Челом тебе, атаман Лубенко, лазутчика схватили.

Лубенко. Не убивай. Пытать его! Сотник Горобец, возьми ляха и учини допрос.

Кожух. Говори, лях, не то потешится над тобой сотник Горобец так, что сам дьявол ударит гопака.

Лубенко *(лазутчику)*. Ступай вперед! *(Толкнул его.)*

(Лях пошел впереди, за ним Лубенко и Горобец.)

Гаврило *(обращается к записанным)*. Подойдите сюда, рабы божьи. Сейчас пойдете в крепость. Пью за здоровье ваше, а вам горилку там дадут, потому у нас всего полведра осталось, а тарань еще не почата. *(Выпил и понюхал тарань.)* Слушайте, люди, скоро поведет нас Богдан Хмельницкий биться с ляхами за волю нашу и веру. Смотрите, рубите панов до самого пупа и за это непременно получите царствие небесное. А плохо будете рубить шляхту, все, как один, пойдете в геенну огненную, и там иезуиты с чертями сало из вас топить будут, и чорта лысого, а не рай, побачите. Ступайте в крепость и помните, что сказал вам смиренный божий раб, полковой дьякон Гаврило, а коль забудете...

Тур. Ступайте, хлопцы, наш дьякон Гаврило — муж святой. Как начнет проповедь, так сам батько кошевой остановит его не может. Веди их, казаче.

(Казак ведет беглецов в крепость. Входят Богун, Шайтан с сыном, приближаются к бочке.)

Богун *(взял квартиру, зачерпнул горилки и выпил)*. Слушай, дьяче, раб божий, наказал Богдан Хмельницкий послать тебя не в рай, а к чертям в пекло, и немедля. Шайтан с тобой пойдет.

Гаврило. Хотя я и слуга божий, но и промез чертей у меня есть приятели. Скажи, полковник, когда и куда отправляться?

Богун. Ночью гетман скажет, куда путь держать вам, а теперь идите и готовьте коней. Путь дальний лежит перед вами.

Шайтан. Препоручаю тебе, Тур, Ивана, дите свое. Кошевой Корягой его прозвал.

Тур. Добре! Будь здоров! *(Целуются.)*

Шайтан. Смотри, сынок, блюди себя и в бою не отставай, чтоб не посмеялось надо мной товариство, если приведет бог снова встретиться.

Коряга. Добре, тату, не отстану.

Гаврило. Прощай, Тур, и не пребывай в печали. Прощайте, все, не плачьте, дьякон Гаврило еще вернется, он в огне не горит, ибо душу имат воз-

вышену. Прощай, отрок! *(Подошел к Коряге, нечаянно достал из-за пояса пистолет вместо креста, перекрестил пистолетом Корягу и ушел с Шайтаном.)*

Тур. А ну, сынку, покажи, что можешь ты, чему учил тебя старый Шайтан.

Коряга. Да не на ком!

Тур. Давай со мной на кулаки.

Коряга. Не надо, дядько!

Тур. Не бойся, я легонько. *(Подходит ближе к Коряге.)*

Коряга. Не надо, дядько, случайно я могу вам ребра поломать или печенки отбить.

Тур. Мне? *(Смеется.)* Да я тебя в решето обращу. На, хлебни горилки, понюхай тарань...

(Слышать дудку, выходят трое казаков, среди них великан с сопилкой, он играет, двое танцуют вокруг него.)

Вот, хлопец, видишь — казак с сопилкой? Це — Пивень. Он кулаком коня может повалить. Как выпьет, не подходит. Тогда он бешеный — много бедь наделал. Ударит раз — полегит казак и богу душу отдаст.

Коряга. А за что он бьет?

Тур. Так, заденет кто его, не смолчит перед ним, ну и лезет Пивень с кулаками. *(Приплясывает.)*

(Пивень и казаки подошли ближе.)

Пивень. Здорово, Тур!

Тур. Здорово, Пивень!

Пивень. Чего это ты на раде так распинался за Хмельницкого?

Казак. Что Хмельницкий сделал для Сечи, ответь нам!

Пивень. Молчишь... А, может, скажешь, за сколько злотых булаву купил Хмельницкий?

Тур. Слушай, Пивень, с тобой на кулаках я биться не стану, а на саблях давай.

Пивень. Не станешь, а я хочу на кулаках, вот желаю.

Коряга. Давай со мной на кулаках.

(Казаки захохотали.)

Пивень. Что за воробей? Подойди сюда, я тебя одним перстом уложу.

(Коряга хочет подойти, Тур остановил его.)

Тур. Постой, Иван, постой, Пивень. *(Выхватил пистолет.)* Это сын казака Шайтана, и если ты хлопца тронешь хоть пальцем, я уложу тебя на месте.

1-й казак. Шайтана сын? Не тронь его, Пивень! Это ж дитя, теля неразумное.

Коряга. Стой! Эй вы, глядите, я сейчас его буду бить, а потом вас. Это за Богдана Хмельницкого. *(Подскочил, ударил кулаком, и Пивень упал. От неожиданности все замерли.)*

Пивень *(поднялся)*. Ах, ты... *(Носова молниеносный удар, и Пивень упал вторично.)*

Коряга. А это за дядька Тура.

(Пауза.)

Жаль, за себя и не пришлось. Готов!

1-й казак. Убил?

Коряга. Нет, тащите его в Днепр, в воде отойдет. Тащите быстрее, а то сейчас и вам будет... Ну!..

(Казаки поспешно схватили Пивня за ноги и поволокли.)

Тур. Кто ж тебя, сынку, такому обучил?

Коряга. Батько. Лет пять били меня, дюже били, аж пока не обучили. Тогда я батьку дал так, что они месяц отлеживались, хворали.

Тур. Так... так... добрая у тебя школа.

(Выходят из ворот кобзари, среди них Кривонос, Ганжа, вокруг большая толпа казаков. Голоса: «Прощайте, счастливой дороги!».)

Кривонос *(кобзарям)*. Идите эт села к селу, по всей Украине, пусть раздастся ваша песня. Подымайте народ, слагайте думы о Хмельницком Богдане... Летит Хмель, как орел с орлятами, ведет силу необоримую, чтоб вспыхнул льцарский дух, чтоб крылья росли у всякого, кто в холопах не хочет помирать, чтоб запылали замки и дорожку войску нашему освещали в ночи. Прощайте, седые льцаря!..

Старый кобзарь. Прощай, Максим! Может, больше не побачимся.

(Обнялись, целуются. Сели кобзари, возле них стоят Кривонос, Ганжа, казаки, старый кобзарь начинает первый куплет песни, потом поют кобзари вместе с казаками.)

Розлилися круті бережечки, гей, гей,
по роздолі,
Пожурились славні козаченьки, гей, гей, у
неволі,
Гей, ви, хлопці, ви добрі молодці, гей, гей,
не журітеся,
Посідлайте коні воронії, гей, гей, садовітеся.
Та поїдем у чистее поле, гей, гей, у Варшаву,
Та наберем червоної китайки, гей, гей, та на
славу.
Гей, щоб червона китайка, гей, гей, не
злиняла,
Та щоб наша козацькая слава, гей, гей, не
пропала.
Гей, щоб наша червона китайка, гей, гей,
червоніла,

А щоб наша козацькая слава, гей, гей, не
змарніла.
Гей, у лузі червона калина, гей, гей,
похналася,
Чегось наша славна Україна, гей, гей,
засмутилася.
А ми ж тую червону калину, гей, гей, та
піднімемо,
А ми ж свою славу Україну, гей, гей, та
розвеселимо.

(С последним куплетом уходят кобзари, за ними казаки. Остаются лишь Кривонос и Ганжа, смотрят им вслед, слушают песню, затихающую вдаль. Тихо начинает петь Ганжа, а за ним и Кривонос.)

А ми ж тую червону калину, гей, гей, та
піднімемо,
А ми ж свою славу Україну, гей, гей, та
розвеселимо!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ночь. Большой курень, в котором происходит рада — военный совет старшин Запорожской Сечи. На земле шкуры диких зверей, на стенах оружие, в центре — над столом — малиновое запорожское знамя. По стенам лавки, покрытые турецкими коврами. За столом сидит куренной атаман Лубенко, перед ним — сотник Горобец.

Лубенко. Что лях сказал тебе?
Горобец. Молчит.
Лубенко. Прикажи привести его сюда.

Горобец. Слушаю. *(Вышел, через минуту возвращается.)* Сейчас лазутчик будет здесь.

Лубенко. Стражу проверил?
Горобец. Да. Позволь слово сказать, батяко куренной.
Лубенко. Говори.
Горобец. Ночью на том берегу Днепра стали табором беглые с Украины.

Лубенко. А сколько их?
Горобец. Поди, с десять сотен.
Лубенко. Ого! Вчера десять сотен, позавчера — пять, сегодня — десять, завтра придет, того гляди, двадцать. Как саранча, летит на Запорожье чернь.

Горобец. Богдану удача. Это он чернь сюда сзывает. Они уже величают его гетманом.

Лубенко. Гетманом? *(Смеется.)*

Было это безоружное под Кодаком будет наголову разбито. Тогда они Хмельницкого разорвут.

Горобец. У кошевого атамана горит огонь целую ночь. Там Хмельницкий, Богун и полковники.

Лубенко. Пьют?

Горобец. Ходил, слушал — не слышать, чтоб пили.

Лубенко. Совет держат?

Горобец. Выходит, так...

(Пауза.)

И вас не кличут...

Лубенко. Я караул несу в крепости...

Горобец. А, может, кошевой нарочито вас в стражу выделил?

Лубенко. Ты думаешь?

Горобец. Уверен в этом.

(Входят два казака, вводят польского лазутчика.)

Лубенко. Кто такой? Говори!
(Лазутчик молчит.) Молчишь?! Подо-

жди, ты у меня разговоришься. Сотник Горобец, начинай допрос, а вы ступайте.

(Стража вышла.)

Сотник, стань у двери.

Горобец. Слушаю.

Лубенко. Почему замешкался, пан поручик? Я ждал тебя во вторник, и все прошло бы спокойно.

Поручик. В плавнях, пся крев, заблудился! Едва не погиб. Дай напиток... и отпусти ремень...

Лубенко *(подал кубок с вином и ослабил ремень)*. Я слушаю.

Поручик. Хмельницкий тут?

Лубенко. Да.

Поручик. А Тугай-бей?

Лубенко. Ждем сейчас на раду старшин.

Поручик. Сколько войска у него?

Лубенко. Три тысячи.

Поручик. А казаков?

Лубенко. Шесть тысяч.

Поручик. А холопов много при- было?

Лубенко. Тысяч пять. Каждый день идут.

Поручик. Как казаки?

Лубенко. Мой курень мне послу- шен. Остальные пойдут за Хмельниц- ким.

Поручик *(торжественно - тихо)*. Коронный гетман Жечи Посполитой велел тебе передать, если приказ его исполнишь, то ты, куренной атаман Лубенко, будешь гетманом войска Запо- рожского.

Лубенко. Припадаю к стопам гет- мана коронного и, как верный раб, слу- шаю его приказ.

Поручик. Когда приедет Тугай- бей, тут, на Сечи, твои люди должны его убить.

Лубенко. Почему Тугай-бея, а не Хмельницкого?

Поручик. Убьешь Хмельницкого, его место займет Кривонос, а убьешь Тугай-бея, — с ордой война неминуе- ма. Жолнеры быстро будут тут, обло- жат острова, и тогда без боя казаки приволокут на аркане изменника Хмель- ницкого к нам.

Горобец. Писарь идет.

Лубенко. Жди в плавнях, там же. Горобец, выведи... С богом!

(Горобец и поручик быстро вышли. Лубенко открыл ларец, стоявший на столе, достал булаву, смотрит на нее, входит войсковой писарь Лизогуб. Лубенко прячет булаву.)

Лизогуб. Не прячь, атамане, дай поглядеть. Близок час, взмахнешь ты булавой — и войско, как море, зашумит, встречая тебя. Тогда не забудь, нынче ночью я первый приветствовал Лубенка.

Лубенко *(положил булаву)*. Благодарю, Лизогуб. Где Богдан?

Лизогуб. У кошевого. Всю ночь сочиняли грамоту к черни. У меня даже рука писать устала. Утром тридцать грамот я отошлю на Украину.

Лубенко. Утром, Лизогуб, ты мою грамоту запишешь?

Лизогуб. Слушаю, ясновельмож- ный гетман.

(Во дворе слышен шум, кого-то при- ветствуют казаки.)

Лубенко. Что там?

Лизогуб. Верно, Богдан вышел. Его встречают казаки и чернь.

Лубенко. Погляжу. *(Выходит.)*

Лизогуб *(подошел к двери, при- слушивается, потом возвращается к сто- лу, достает булаву, смотрит, поднес ее к щеке)*. Холодна ты, как смерть, холодна. Кто брал тебя в руки, тот властели- ном был над войском, и завидовал то- му не один король. Но держать тебя всю жизнь никто не смог. Сильные бра- ли тебя руки, да ума нехватало гетма- нам... *(Спрятал булаву в ларец. Входит Кривонос, за ним Лубенко.)*

Лизогуб. Бью челом, батьку Кри- воносе!

Кривонос. Здорово, Лизогубе!

Лизогуб. И любят же тебя каза- ки, Максим! Величают, что гетмана.

Кривонос. Окружили, бисовы де- ти, насилу вырвался.

Лубенко. Когда б Богдана так любили.

Кривонос. Полюбят, друже! Бог- дан теперь — наше знамя. А знамя свое народ умеет любить.

Лизогуб. Лубенко о казаках говорит, а народ — чернь. Сегодня любит, а завтра — не угодишь ей — разорвут.

Кривонос. Кто угождает, того разорвут неминуемо; народ обмануть нельзя. Запомни это, писарь, навеки.

Лубенко. Правду говоришь, Максим, а, впрочем, бывают случаи...

Кривонос. Не было и не бывать им!.. Дай тютюну. Мой отсырел.

(Лубенко подает табак, Кривонос набивает люльку. Лизогуб выходит.)

Где Богдан?

Лубенко. Верно, спит у кошево-го... Послать за ним?

Кривонос. Нехай спит.

(Входит Хмельницкий.)

Хмельницкий. Максим, где про-падал? Тебя искал я.

Кривонос. На том берегу с наро-дом говорил. Десятки сотен беглых при-были к нам.

Хмельницкий. Беглых много, да все безоружны.

Кривонос. Веди в бой, а там пи-щали и сабли у панов ляхов добудем.

(Входят кошевой и Богун.)

Кошевой. Лубенко, как ночь про-шла?

Лубенко. Спокойно.

Хмельницкий. Слышал, лазут-чика схватили?

Лубенко. У крепостных ворот пой-мали ляха.

Хмельницкий. Где он?

Лубенко. Я приказал сотнику Го-робцу допросить.

Хмельницкий. Почему не сам до-прашивал? Тебе известно, как важен для нас язык?

Лубенко. Сотник управится.

Хмельницкий. Позови его не-медля. Привести ляха сюда!

(Лубенко вышел.)

Хмельницкий *(к Джурам—орди-нарцам)*. Позвать Гаврилу и Шайтана!

Джура. Слушаю! *(Вышли.)*

Кривонос. Как орда тебя приня-ла?

Хмельницкий *(рассмеялся)*. Хо-рошо!

Кривонос. В толк не возьму, как поверил в нашу дружбу Ислам-Гирей.

Хмельницкий. Почему?

Кривонос. Ведь с тех пор, как народ наш живет на берегах Днепра и стал хозяином степи, столетия протек-ли, а не было и года, чтобы не воевали мы с ордой. Или хан в бахчисарайских гаремах отдал сердце жинкам?

Хмельницкий. Я подал хану в бахчисарайском дворце грамоту короля, в которой он призывает запорожцев итти с войском Речи Посполитой свя-щенной войной на орду. Хан и мурзы шумели долго и вынуждены были за-ключить договор с нами. Оно и прият-ней в союзе с нами бить ляхов, нежели драться с Сечью! Кого-кого, а нас они боятся, как сатаны.

Кривонос. Дай боже от ляхов на-род освободить, а тогда твой договор с ханом я мечом нарушу.

Хмельницкий. Вызволим народ из-под шляхты, с ордой борьбы крова-вой не избежать, но ныне надо заклю-чить союз с Ислам-Гиреем, или нам орда грянет в спину.

Кривонос. Слышал, с сыном ез-дил ты к хану?

Хмельницкий. С сыном... А вер-нулся... один.

Кривонос. Где же Тимофей?

Хмельницкий. Сыном скрепил я договор с ордой.

Кривонос. Хан заставил тебя от-дать сына, и ты согласился?

Хмельницкий. Да.

Кривонос. А знаешь ли, первая неудача, и...

Хмельницкий. Знаю, Максим... Первая неудача, и слетит в Бахчисарае голова моего сына. Добре знаю.

(Продолжительная пауза.)

Кошевой. Доставай люльку, Бог-дан, закурим, и на душе легче станет. *(Подает табак, набивают трубки, заку-рили. Слышно, где-то поют казаки. Молча, в глубокой задумчивости, сидят Хмельницкий, Кривонос и кошевой.)*

(Входят Богун и Ганжа.)

Ганжа. Бью челом, батьку Максиму, Кривонос. Здорово, Ганжа!

Богун. Казаки проснулись, и есть пьяные.

Хмельницкий. В котором курене?

Богун. В пятом. Думаю, пьют с вечера.

Хмельницкий. Их кто-то потчует перед радой. Чей курень?

Богун. Лубенка.

(Входят Лубенка и сотник Горобец.)

Лубенко (схватил сотника и бросил его к ногам кошевого). Проси прощения у батька кошевого, курвин сын! Не простит, так... (выхватил саблю) отрублю тебе голову тут же...

Кошевой. Что такое?

Горобец. Простите, батько кошевой.

Лубенко. Я приказал ему допросить лазутчика. Горобец повел его, лях вырвался и убежал. За это стоит снести ему голову.

Хмельницкий. Нет, убивать не надо. Ганжа, учини допрос сотнику. Тебе он скажет все.

Горобец. Батько кошевой, прости, батько! (Обнял его ноги.)

Кошевой. Вон! Веди его, Ганжа, и прикажи послать немедля две сотни и ляха разыскать. Убежать он далеко не может. Живым или мертвым он должен быть перед нами.

Ганжа. Добре!

Лубенко. Почему Ганжа? Сотник — моего куреня? Я сам допрошу его.

Хмельницкий. Тебе надлежит с нами встречать мурзу Тугай-бея. Иди, Ганжа!

(Ганжа вывел сотника.)

Кривонос (расхохотался). Вот будет встреча с Тугай-беем. Три года прошло с той поры, как я дрался с ним, едва унес он от меня ноги.

Хмельницкий. Когда Ислам-Гирей спросил, кто со мной, — какие полковники, я не знал, что и ответить. Залили мы им добре сала за шкуру.

Кривонос. Но сказал?

Хмельницкий. Пришлось. Когда назвал батька кошевого, тебя, Богуну, Чарноту, Бурляя, Лубенку, Ганжу, Морозенку и прочих, мурзы зашумели, схватились за сабли и, если бы хан не

прикрикнул на них, верно, зарубили бы меня.

Кошевой. (хохочет.) Добре, что помнят и сердятся, крепче будут уважать договор с нами.

(Входят дьякон Гаврило и Шайтан.)

Гаврило. Челом тебе, гетман! (Кланяется.)

Хмельницкий. Ты распознал лазутчика?

Гаврило. Я, гетман.

Кривонос. А что на небесах творится? Не примечал ли ты знамения какого? Что небо говорит?

Гаврило. Тревожны небеса господни. Узрел я дивное знамение прошедшей ночью. Звезда одна неслась стремительно в эфире и над нашей Сечью Запорожской взорвалась и озарила кровавым светом небесный свод.

Кривонос. А ты был пьян или трезв?

Гаврило. Ни пьян, ни трезв, как всегда. Вся жизнь моя прошла в муках великих, Максим. Напиться не мог я никогда и трезвым себя не помню.

Хмельницкий. Что же означает знамение сие?

Гаврило. Для толкования знамения великое напряжение ума и сердца нужно, дабы родилась мысль точная, дабы истину познать. Все, что зрят очи наши, гетман, что ощущаем мы, — все сие происходит из огня. Огнь — первопричина сущего, и когда в душе у нас оный огонь горит, то мысль наша эфира легче и проникает в тайны естества.

Кривонос. Дай ему горилки, а то у него в душе огонь потух и вместо мыслей одно болтанье языка.

Гаврило. О, великий воин, Максим Кривонос! Ты мудр, яко змий, и добр, аки пресвятая богородица.

(Гетман наливает вино в огромную чару, подает Гавриле.)

Гаврило (перекрестил чару, выпил). Еще одну, гетман, и тайна знамения будет открыта. (Выпил еще одну.) Слушайте: кровавый свет над Запорожьем в небе есть знак Марса. В боях очистится Украина наша от шляхты. Ты победишь, Хмельницкий, тако

вещало небо. Немедля выступать ты должен в бой.

Кривонос. За пророчество дай обниму тебя.

Хмельницкий. Святой ты человек, Гаврило, о знаменнии, виденном тобой, народ должен знать. Тебя я вызвал и Шайтана — дать поручение. В Корсунь вы пойдете тотчас. Там коронный гетман с войском. Меж православных пустите слухи, что мы идем с войском в сто тысяч, чтобы до самого нашего прихода ляхи трепетали, а реестровые казаки тикали к нам, чтобы ночи озарялись огнем кровавым не на небесах, а на земле. Замки панов ляхов гореть должны.

Шайтан. Так будет, гетман!

Гаврило. В Корсуне по церквам мы проповеди почнем, и народ подымать станем.

Хмельницкий. Только берегись, чтоб ляхи не словили. А то посадят тебя на кол, опечалятся казаки, потому как любят они твои проповеди пуще горилки.

Кривонос. Прощай, Гаврило! Прощай, Шайтан! Мы скоро будем в Корсуне.

Хмельницкий. С богом!

(Гаврило и Шайтан, поклонившись, вышли. Со двора доносится шум. Голоса, крики.)

Хмельницкий. Что там?

Лубенко (подошел к дверям, посмотрел, крикнул). Тащи сюда его! (Вводят избитого польского лазутчика.)

Казаки. Поймали, гетман. Украл он челн и в плавнях пробирался.

Хмельницкий. Допроси его, Лубенко.

Лубенко. Ты кто такой?

(Поручик молчит.)

Говори, не то пытаться будем! Дозволь, гетман, его огнем попробовать. Я отведу его к себе в курень, и там он скажет все.

Хмельницкий. Пусть это сделает Кривонос.

Кривонос. Добре.

Поручик (быстро повернулся в сторону Кривоноса, увидел приближаю-

щегося к нему Кривоноса, отступил, крикнул: «Кривонос! Матка боска!»).

Кривонос (расхохотался). Так сейчас скажешь все или погода?

Поручик. Все скажу.

Кривонос. Кто подослал тебя?

Поручик. Потоцкий.

Кривонос. К кому пробирался?

(Поручик молчит.)

Лубенко (встал, взволнованно смотрит на поручика). Ну, что ж молчишь? Мы знаем, ты к Горобцу шел? Это он тебя выпустил?

Поручик. К Горобцу.

Кривонос. Зачем ты шел к нему?

Поручик. Узнать, сколько войска у вас.

Кривонос. Сколько войска у Потоцкого? (Схватил поручика за рубашу, подтянул к себе, смотрит ему в глаза.) Сколько?

Поручик. Тридцать тысяч, пан Кривонос. Пусти!

Кривонос. Тридцать тысяч.

Поручик. Коронный гетман с войском в тридцать тысяч стоит под Корсунем. Восемнадцать тысяч выступили против вас. Ведет их сын Потоцкого, Стэфан, с ним Шемберг, Чарнецкий, Сапега.

Хмельницкий. Старые знакомцы.

Кривонос. Дальше! А пушек сколько у Стэфана?

Поручик. Больше пятидесяти.

Кривонос. Рейтар много?

Поручик. Тысяча.

Кривонос. Давно Стэфан из Корсуни вышел?

Поручик. С десять дней.

(Слышна пальба из пушек.)

Хмельницкий. Тугай-бей вступил на остров. (Джурам.) Возьмите его и к Ганже отведите.

(Лазутчика выводят. Слышны шум и музыка.)

Не брешет?

Кривонос. Боюсь, что нет. Не мало встречал я таких, как он. Передо мной они врут редко.

Хмельницкий. Ганжа проверит. *(Шум и музыка ближе. Входит Чарнота.)*

Чарнота. Мурза Тугай-бей, великий рыцарь Перекопский.

(Полковники встали, входят Тугай-бей, за ним начальники его отрядов.)

Тугай-бей. Великий хан Ислам-Гирей мир и ласку передал могучим рыцарям Запорожья. Светлейший хан приказал мне мечом помогать вам в борьбе с Ляхистаном: три тысячи рыцарей моих ждут вашего приказа.

Хмельницкий *(встал)*. От всего сердца нашего мир и ласка великому хану и тебе, его верный мурза Тугай-бей. Прошу к столу. *(Тугай-бей садится за стол. Начальники его отрядов рассаживаются по лавкам.)*

Кошевой. Вести войсковую раду будет Зиновий Богдан Хмельницкий. *(Достал из ларца булаву, передал ее Богдану. Все встали, Богдан взял булаву, поклонился. Полковники ответили ему поклоном. Садятся.)*

Хмельницкий. Ляхи во главе с коронным гетманом Потоцким стоят под Корсунем. Они ждут, чтобы обсохла земля, а потом двинутся на Сечь. Коль не солгал лазутчик, то сын Потоцкого, Стэфан, в четырех днях пути от нас.

Тугай-бей. Стефан Потоцкий... А войска сколько у него?

Хмельницкий. Лазутчик сказал — восемнадцать тысяч. Нам надо подойти к Желтым Водам и стать лагерем.

Тыква. Дозволь, гетман.

Хмельницкий. Говори.

Тыква. Выступать надо, но ляхов идет тридцать тысяч. Тридцать тысяч — це сила! Рассудите. У них пушек много, рейтары, драгуны. А у нас всего шесть тысяч.

Тур *(перебивает)*. Рассудите, товариство. У нас шесть тысяч и только один трус — сотник Тыква.

(Хохот.)

Голоса. Вон его! Геть!

Сажа. Тыква правду говорит.

Кривонос. Сотник Тыква просил, чтоб мы рассудили — там тридцать

тысяч, множество драгун, рейтары, ксендзы, черти, иезуиты, а у нас шесть тысяч да беглые с косами, а у Тугай-бея?

Тугай-бей. Три тысячи.

Кривонос. Так вот, товариство, кто мне напомнит хоть бы случай, когда запорожцы боялись врага? Бывало так? *(Пауза.)* Не чую.

Голоса. Ни, не было.

Кривонос. Не было! Там народ нас ждет. И я присягаю перед вами, если хоть одна Тыква будет здесь своих турусы разводить и позорить честь народную... то сделаю я из этой тыквы *(выгаскивает саблю)* кашу!

Тугай-бей. Сломайнос, не надо сабли. Не надо! Он тебя понял.

(Кривонос засмеялся и вложил саблю в ножны.)

Лубенко. Дозволь, гетман!

Хмельницкий. Говори!

Лубенко. Нам надлежит отойти вниз от Сечи Запорожской, ляхи придут на Сечь, на остров, и тогда мы ночью окружим их и уничтожим.

Кривонос. Кто в хату врага пускает, тот либо дурак, либо пьян.

Лубенко. Что скажешь ты?

Хмельницкий. Ждать ляхов здесь, — отрезать себя от живой силы!

Кривонос. На Украину пробиваться надо, правду, гетман, говоришь.

Хмельницкий. Мы на Желтых Водах станем.

(Входит Ганжа и кладет перед Богданом бумагу. Богдан читает, смотрит на Лубенку, продолжает читать. Лубенко положил руку на пистолет. Ганжа тоже и следит за ним. Снаружи слышен шум. Входит сторожевой казак.)

Сторожевой. Более ста казаков лубенковского куреня с оружием стоят у дверей и требуют освободить сотника Горобца.

Лубенко. Дозволь, Богдан, пойти и успокоить их, может, беда какая стряслась.

Хмельницкий. Не надо. Впустить нескольких!

(Сторожевой казак вышел. Шум снаружи увеличился. Входят пятеро казаков с обнаженными саблями.)

1-й казак. Где Хмельницкий?

2-й казак. Хмельницкий где?

Хмельницкий. Вот!

1-й казак. Выходи во двор и дай ответ, что с Горобцом.

3-й казак. Выходи, да пошевеливайся.

Лубенко. Иди, Богдан, казаки желяют.

Хмельницкий. Иду! *(Выхватил пистолет и выстрелил в Лубенку. Лубенко упал. Хмельницкий казакам.)* Возьмите его и бросьте в Днепр. Скажите тем, кто на дворе шумит, Лубенка убил Хмельницкий за измену. Сотник Горобец тоже предатель и будет повешен. *(Смотрит в бумагу.)* Если сейчас же не приведете к полковнику Ганже казаков Пешка Ивана и Хорька Петра — предателей, я прикажу каждого пятого в вашем курене казнить. Уберите эту падалу, ступайте. *(Казаки подняли Лубенку, вынесли.)*

Хмельницкий. Трубачам трубить поход!

(Выбежали джурь.)

Выступать должно немедленно!

(Все встали. Слышно, заиграли трубы, поднялся шум. В лагере звон оружия, бьют в котлы, вбежали старые казаки, беглецы с косами. За окнами видны возбужденные лица. Слышен конский топот, крики, ржание, скрип возов. Гул нарастает. Выстрел из пушки. Тишина.)

Хмельницкий. Сечь поднялась!

Кошевой. Жизнь и судьбу вручаем тебе, Хмельницкий! Скажи народу, куда сегодня поведешь, слово твое, гетман, свято.

Хмельницкий. Не мало лет я прожил, спрашивал у старых людей, но и они не упомнят, чтобы Днепр разлился так, как в эту весну. Поглядите, берегов не видать, — море... А откуда вода прибывает? То не снег растаял и не лед, то ручьи слез народных потекли в Днепр, то земля украинская больше не принимает крови замученных детей, отцов, дедов и прадедов наших. А шляхта на сеймах в Варшаве, Потоцкий, Вишневецкий, Калиновский, князья, князьки, ксендзы и прелаты хвалятся, что «огнем и мечем» уничтожат хлопов. Схизмат, быдло, хлоп — презренье, — вот что Польша нам дала, а отобрала все — честь, волю, веру. Вспомните еще недавние жертвы предков наших и всей братии, замученной ляхами. Живьем сожгли в медном быке Наливайка. Воззрите, льщари, на срубленные, ободранные головы гетмана Павлюги, обозного Гремича. Вспомните Острилицу, обозного Сурмилу, Недригайла, Баюка, Рындыча. Это их и других славных запорожцев на площади в Варшаве колесовали да из живых жилы тянули. А премногих с ними казаков на спицы садили и иными еще более лютыми муками живота лишали. А кто из вас забыл безвинных детей, которых ляхи жгли на пепелище домов ваших? Все народы защищают жизнь свою и волю. Мученики во гробах вопиют о мщении. Идем под Желтые Воды на первый бой, а там мечами будем гнать панов ляхов с Украины до самой Вислы!

(Указал булавой.)

(Заиграли трубы, сверкнули сабли за окнами — покатилось по Сечи: «Слава!»)

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лагерь Хмельницкого под Желтыми Водами. На переднем плане большой шатер гетмана. Вдали — палатки запорожцев. Ночь перед самым рассветом. В гетманском шатре горят свечи.

Лизогуб пишет, Богдан диктует, в стороне стоят Кривонос и Ганжа.

У шатра на страже Тур и Коряга, несколько поодаль сидят джурь.

Хмельницкий. А также заметь, видел я огонь в твоём таборе. Распорядись погасить, раз'езды ляхов близко, — могут открыть нас. Всё! *(Лизо-*

губ передает бумагу Богдану, тот подписывает.) Джуря!

(Вбежал ординарец.)

В лес! Тугай-бею в руки, стрелой!

(Джура выбежал. Кривоносу.) Где же твои хлопцы? Ночь на исходе.

Кривонос. Я и сам тревожусь.

Лизогуб. А как не найдут языка они?

Кривонос. Я из них душу вытрясу.

Хмельницкий. Язык нужен нам — без него, как впотьмах.

(Рассматривает карту.)

Кривонос. Сам пойду за языком.

(Идет из шатра.)

Хмельницкий. Не шути, Максим!

Кривонос. Я не шучу! (Вышел.)

Хмельницкий. Вороти его!

(Ганжа вышел.)

Лизогуб. Пусть идет. Максим быстро добудет языка.

Хмельницкий. Брось болтать...

(Входят Кривонос и Ганжа.)

Полковник Кривонос, приказываю тебе без моего разрешения табора не оставлять.

Кривонос. Да что ты, Богдан? (Хочет итти.)

Хмельницкий (резко). Не Богдан, а гетман приказывает тебе, полковник Кривонос. (Смотрит снова на карту.)

(Кривонос взглянул на Ганжу, пожал плечами и сел.)

Хмельницкий (достал трубку). Дай табаку, Максим, твой крепче. (Кривонос дает табак. Они закуриваются.) А что, Максим, тебе снилось в эту ночь?

Кривонос. Я не спал.

Хмельницкий. А тебе, Ганжа?

Ганжа. Тоже не спал.

Хмельницкий. А ты, Лизогуб?

Лизогуб. Вздремнул с час, не боле, но сон мне странный привиделся, его я вам не расскажу.

Хмельницкий. Расскажи. Перед боем сны вещие.

Лизогуб. Не хочу! Такое приснилось — зазорно рассказывать.

Хмельницкий. Коль дивчата — можешь не говорить.

Лизогуб. Нет, не дивчата.

Хмельницкий. Рассказывай!

Лизогуб. Ладно. Снилось мне, вышел я из шатра, а на дворе день и солнце ослепительное, невиданное мной досель, — глаза от света режет. Смотрю, у шатра сидит орел большой, расправил могучие крылья и смотрит прямо на солнце.

Кривонос (перебивая). Верно, кроме орла, ни одна тварь божья не может глядеть на солнце.

Лизогуб. Долго смотрел орел, вдруг что-то зашуршало: вижу — к нему тихо ползет змея. Орел не замечает, расправил крылья, хотел взлететь, да змея подползла и ударила его в сердце жалом.

Кривонос. А ты стоял, чорт!

Хмельницкий. Погоди, это лишь сон. Продолжай, Лизогуб!

Лизогуб. Упал орел, а дальше не хочу говорить, такое померещилось.

Хмельницкий. Говори!

Лизогуб. Подхожу я к орлу, и вдруг исчезло все. Вместо орла лежишь ты, Богдан, мертвый...

(Пауза.)

Кривонос. Тыфу, нечистая сила. Молчи!

Лизогуб. А рядом стоит над тобой — Максим Кривонос. (Показывает на него рукой.) Вот и все.

(Продолжительная пауза.)

Что же вы молчите? Это лишь сон... Почудилось... Не хотел я говорить, да вы сами... (Уходит.)

Кривонос. Молчи!

Ганжа. Дурной сон!

(Хмельницкий опустил голову и закрыл лицо рукой. Кривонос вышел и стал возле шатра. Хмельницкий смотрит на карту, потом взглянул на Кривоноса, встал и подошел к нему.)

Хмельницкий. Светает, Максим... (Кривонос едва кивнул в ответ.) Когда бы день скорее... (Кривонос молчит. Хмельницкий посмотрел на него.) Максим, я вижу у тебя на глазах...

Кривонос (отвернувшись). Что-то в глаз попало. (Трет глаза.)

Хмельницкий. Максим!

(Пауза.)

Максим...

Кривонос (тихо). Что?

(Хмельницкий обнял его, смотрят друг другу в глаза, поцеловались.)

Светает, Богдан... Солнце встает...

Хмельницкий. Солнце встает... Иди, Максим, и ты, Ганжа, — скоро поднимется лагерь, при полках должно вам быть.

(Кривонос и Ганжа вышли. Доносится конский топот. Входят три казака, несут что-то завернутое в бурку, положили у шатра.)

1-й казак. Челом, гетмане, с разведки вернулись.

Хмельницкий. Рассказывай!

2-й казак. Первые раз'езды драгун от нас верстах в тридцати. На наш табор прямахонько скакали. Потом остановились и повернули.

Хмельницкий. Сколько их было?

1-й казак. Человек двадцать.

Хмельницкий. Вас не заметили?

1-й казак. Ни.

Хмельницкий. Добре. А это что за чучело?

1-й казак. Шляхтич с шляхтянкою проезжали. Мы и нагнали их. Шляхтича и трех слуг, что драться начали, мы того... отправили в пекло, а шляхтянку едва связали, вырывалась, как кошка.

Хмельницкий. Внесите ее в шатер и развяжите. (Пошел в шатер.)

(Казаки внесли шляхтянку, поставили на ноги и развязали, упала бурка, и, почти голая, стоит испуганная женщина.)

Хмельницкий (казакам). Ступайте!

(Казаки ушли.)

Шляхтянка (молитвенно сложила руки). Убей меня, не медли, я уже помолилась богу, он накажет вас всех, схизматов. Убей!

Хмельницкий. Сейчас, панна. (Подходит к ней. Шляхтянка закрыла лицо руками. Хмельницкий поднял бурку и накинул ее на плечи женщине.)

Не бойся, с жинками не воюем. На, выпей меду! Ты дрожишь? Озябла. (Подает ей мед.)

Шляхтянка. Не надо, я смерти жду.

Хмельницкий. (Лизогубу). Скажи Варваре — пришла бы.

Лизогуб. Добре. (Вышел.)

Хмельницкий. Выпей меду.

Шляхтянка. Кто ты?

Хмельницкий. Я — гетман, Богдан Хмельницкий.

Шляхтянка. Хмельницкий? Хмельницкий... Нет, не может быть!

Хмельницкий. Почему?

Шляхтянка. Ты не такой, как о тебе говорят.

Хмельницкий. Что тебе про меня говорили? Скажи, не бойся.

Шляхтянка. Что ты ужасен... Что... Нет, не скажу... Дай меду.

Хмельницкий (подал, и она выпила). Ну, рассказывай. (Шляхтянка закрыла лицо руками и заплакала.) Успокойся. Я прикажу отвезти тебя домой.

Шляхтянка. Нет, нет, не надо! Лучше убей, домой я не вернусь.

Хмельницкий. Вот так так! Почему не вернешься?

Шляхтянка. Зовут меня Зосей, сирота я. У меня в Киеве дядя — ксендз, больше никого. Жила я у опекуна — пана Осташевского. Два года тому назад он отдал меня без моего согласия за пана Слуцкого и взял много денег. Проводил меня такому же псу, как и сам. Шестьдесят пять лет было моему мужу, ты понимаешь, что это за жизнь? (Крестится.) Матка боска, прости меня, но я счастлива, что казаки его убили. Я свободна... Хотя нет, я несчастна, я в неволе... Убей меня, Хмельницкий. Убей, я одна во всем мире, и мне некуда идти.

Хмельницкий (поднял ее). Куда же он вез тебя?

Шляхтянка. Узнал, что ты ведешь стотысячное войско, бежал к Поццокому в Корсунь.

(Пауза.)

Так пан не хочет убить меня?

Хмельницкий. Нет.

Шляхтянка. Тогда я останусь здесь, у пана в шатре.

Хмельницкий. Оставаться здесь тебе нельзя.

Шляхтянка. Почему? Я буду подавать пану мед...

Хмельницкий. Там, в Корсуне, во дворце, подашь ты мне мед, а теперь иди в палатку к Варваре, слушайся ее и уважай.

Шляхтянка. Она мать пана?

Хмельницкий (усмехнулся). Мать.

Шляхтянка. Хорошо... Я озябла и спать хочу.

Хмельницкий. Там, в палатке, выпишься.

(Входит Варвара.)

Вот панна Зося, она расскажет о своих злосчастьях, а сейчас возьми ее к себе в палатку и одень, а то казаки вон как ее отделили.

Варвара. Католичка?

Шляхтянка. Католичка.

Варвара. Может быть, ее в шатер к Тугай-бею отправить, там ей лучше будет.

Хмельницкий. Делай, как сказано.

Варвара. Иди за мной.

(Зося и Варвара вышли.)

Хмельницкий (разложил карту, смотрит, наносит пометки пером, тихо напевает):

Розлилися круті бережечки, гей, гей, по
роздолі,
Пожурились славні козаченьки, гей, гей,
у неволі...

(Входит Лизогуб.)

Лизогуб. Хороша панна. Такой я еще не видывал.

Хмельницкий. Хороша, да... Если бы пушки тут поставили, тогда б... (Встал, вышел к сторожевому.) Тур, иди сюда!

Тур. Слушаю. (Входит.)

Хмельницкий. Садись, с тобою посоветоваться хочу. (Лизогубу.) Подойди, поддержи так. (Лизогуб держит карту.) Смотри. Тут, в лесу, в засаде,

я поставил Тугай-бея с ордой и нашу конницу.

Тур. Хорошо сделал, гетман.

Хмельницкий. Здесь — мы. Пушки должны стать тут. Если они пушки направят к лесу против засады, — конница наша и татары разобьются об их пушки.

Тур. Верно.

Хмельницкий. Нам нужно их пушки отрезать. Нужно, чтоб вот здесь они пушки поставили.

Тур. Ляхи так свои пушки не поставят. С обеих сторон лес. Мы посередине. Ляхи решат — засада наша в лесу или с этой, или с той стороны. Пушки установят против обеих сторон и часть против нас.

Хмельницкий. Что же делать? Ляхи не татарва, без пушек их не одолеешь. Их же пушками должны мы их разбить.

Тур. Выход есть. Пойти кому-нибудь к ляхам, будто случайно в плен попасться, и под пытками показать, что вся конница наша и татары в лесу с этой стороны, а не с той. Показать, что там тысяч пятьдесят. Подойдут ляхи, пошлют туда для верности разведку, а мы и татары подпустим их к лесу и уничтожим. Ляхи тогда непременно поставят большую часть пушек тут. (Показывает.)

Хмельницкий. Так! Во время боя выпустить на них несколько сотен, ляхи начнут палить по ним, а тогда сзади, из этого леса, грянуть на табор ляхский, отрезать пушки и, пользуясь замешательством, повернуть их против ляхов. (Показывает.)

Тур. Так, гетмане! Посылай меня к ляхам в табор.

Хмельницкий. Тебя, старого Тура, на мученья послать, чтоб из тебя тянули жилы, чтоб кожу с тебя сдирали, чтоб пытали железом и огнем, — нет, никогда!

Тур. Велика ли мне цена — одному, когда весь народ наш стонет от шляхты. Не страшусь я огня и страданья, с радостью приму в адских мучениях смерть, если хоть чем малым помогу отечеству. Отпусти меня, гетман! Счастлив буду. Вот уж будут клясть меня

бисовы паны, когда вы ударите на них из того леса. Отпусти, гетмане, на кой ляд я, старик, тебе сдался! Ты же бережешь свои полки, их у тебя немного. Так что ж, будь здоров, гетман, вызволяй Украину.

Хмельницкий. Погоди. *(Обнял его.)*

Тур. Отпусти!

Хмельницкий (поцеловал его). Иди, Тур! Украина никогда не забудет тебя.

Тур. Прощайте. Ну, и посмеюсь же я над панами ляхами. *(Засмеялся и вышел.)*

Хмельницкий (смотрит ему вслед, тихо). Такой народ никто 'и никогда в рабов не обратит...

Лизогуб. Отважен лыцарь.

Хмельницкий. Коня, к Тугайбею еду!

Лизогуб (выскочил к джурам). Коня гетману!

Хмельницкий. Богун приедет, пусть ждет меня здесь. Ты же не отлучайся никуда.

Лизогуб. Слушаю.

(Слышно, как подвели коня. Богдан вышел. Топот коня растаял вдаль. Небо порозовело. Лагерь зашумел. Встают казаки.)

Лизогуб (поднял подсвечник, держит, прислушивается к нарастающему гулу). Вставайте, вставайте, казаки, встречайте солнце. Завтра многие из вас его больше не увидят, а уцелевшие саблями воздадут Богдану за все... Так будет. *(Гасит свечи. Вышел.)*

(Входит сотник Тыква.)

Тыква. Челом! Проснулись или не ложились?

Лизогуб. Писал всю ночь. Ты должен ехать к полякам. Богдан послал Тура в табор польский, чтоб Тур сказал...

(Слышны голоса. Входят Богун и Соломия в казачьей одежде с саблями. Лизогуб увидел их и вышел из шатра, за ним Тыква.)

Богун. Валы отменные! Теперь, паны ляхи, милости просим к нам в гости.

Соломия. А волчьи ямы так прикрыли, что и признать нельзя, где они.

Богун. Ты бы отдохнула, Соломия, всю ночь со мной ездешь.

Соломия. Знаю, ты хочешь итти в бой без меня. Я засну в палатке, а ты уйдешь. Нет, от тебя не отойду я ни на шаг.

Богун. Соломия, в бой тебе нельзя. У меня устал язык повторять одно и то же.

Соломия. А ты помолчи! Никто из казаков не догадался, что я дивчина. Думают — джура твой.

Богун. И гетман не позволит.

Соломия. Я и спрашивать у него не буду, гетман не узнает.

Богун. Я сам скажу ему.

Соломия. Эх, ты... А я-то думала...

Богун. Что думала?

Соломия. Что ты меня по-настоящему...

Богун. Соломия... *(Обнял ее и поцеловал.)*

(Входит Варвара, увидела их.)

Варвара. Впервые вижу, чтоб полковник так джуру целовал. Чем отличился он перед тобой?

(Соломия отошла, отвернулась.)

Богун. Сердцем нежным...

Варвара. Скверный джура у тебя. Казаку на войне не до нежностей. Где Соломия?

Богун. Она, матинько, здесь.

Варвара. Где ж она?

Соломия. Скверный джура перед вами.

Варвара. А... так вот какой из тебя джура...

Соломия. Видите ли... матинько.

Варвара. Вижу, вижу.

Богун. Благословите, матинько.

Варвара. Сейчас не время. На бой благословляю вас ныне...

Богун. Добре, матусю! Недолго ждать.

Соломия. Ныне вместе пойдем мы в бой, и, если вернемся живыми...

Богун. Нет той сабли в мире, которая посмела бы прикоснуться к тебе.

(Входят Лизогуб и Тыква.)

Богун. Сотник Тыква, возьми с собой десять казаков и мчись на Сечь, кошевому атаману скажи, чтоб двадцать возов рыбы дал...

Лизогуб (*перебивая его*). Сотник Тыква по приказу гетмана должен сейчас ехать в разведку...

Богун. Тогда поручи Ковалю.

Все. Будь здоров.

(Лизогуб вошел в шатер. Богун сбросил бурку, расстелил ее и сел рядом с Соломией.)

Соломия (*тихо запела*):

А мы ж тую червону калину,
Гей, гей, та піднімемо...

Будет ли так?

Богун. Будет. Много тяжелых боев нам вынести предстоит, Соломия, но отечество мы вызволим. Берега Днепра новыми селеньями покроются, и даже тут, в дикой степи, где сайгак и волк хозяева, мы оралом пройдем... Хатами белыми, вишневыми садами зацветет широкая степь, и новый пиит скажет о новом веке: «Вечно стояла весна, и нежное дыхание зефира ласкало цветы, никем не посеянные».

Соломия. Тысячи придут к нам, придут. Вся Украина подымется и заболнуется, как степной ковыль, и скоро Киев — седой наш отец — слезами радости встретит у Золотых ворот детей своих, истомленных в боях великих. (*Пушечные выстрелы. Богун встал. Вновь отдаленная пальба.*)

Гонец. Ляхи приближаются.

Богун. Гей, джурь, трубачей сюда!

(*Прибежали джурь.*)

1-й гонец. Полковник, ляхи идут на табор. В середине рейтары.

3-й гонец. Ляхи остановились.

(*Входят трубачи.*)

Богун. Трубите бой!

(*Трубачи заиграли. В таборе поднялся шум, звон оружия. Быстро входят полковники с джурами.*)

Полковник. Где гетман?

Богун. Гетман в лагере, ждать его здесь!

Лизогуб. Пыль-то какая — тысяча пятьдесят идет. Взгляните!

Богун. Хоть сто! Давай, давай, подходи ближе!

Чарнота. Где гетман?

2-й полковник. Богун, где гетман?

(*Слышны голоса: «Слава!». Крики приближаются.*)

Богун. Вот он.

(*Быстро входит Хмельницкий, за ним Кривонос, Ганжа. Все расступились, вытянулись перед гетманом.*)

Хмельницкий. Приветствую вас, полковники! Скоро начнем. Смотрите, ляхи уже стали табором.

(*Пауза.*)

Нам важно узнать, где пушки поставят. Послушают ли Тура.

Гонец. Дозвольте, гетмане!

Хмельницкий. Говори!

Гонец. У ляхов крылатые люди есть, верно, летать собрались.

Хмельницкий. И полетят к чорту в пекло. Это гусары с крыльями за плечами. Их бить легче.

Гонец. Две сотни скачут направо, к лесу.

Хмельницкий. А... проверять Тура. Ну, голубчики, там вас встретят. Чарнота, на вал! Следи за пушками... Немедля уведоми, куда поставят их.

Чарнота. Слушаю. (*Ушел.*)

(*Отдаленные выстрелы.*)

Хмельницкий. Закуривайте люльки, полковники! Скоро не до того будет. Дай, Максим, твой крепче! (*Достал трубку. Все закуривают.*)

Кривонос. Люблю с люлькой в бой ходить. Рубану и дымка потяну. Порой так хочется еще потянуть, однако сдерживаюсь, пока не рубану. Тогда и потяну. Нигде табак столь не полезен, как в бою.

(*Вбежал Чарнота.*)

Чарнота. Без малого все пушки перетащили направо, на лес наставили.

Хмельницкий. Послушали Тура, послушали старого.

Лизогуб. Послушали?

Хмельницкий. Все ко мне! Кривонос, своих поведешь налево и ударишь, заслышав трубу. Обойди там, вон где

хоругвь. *(Показывает.)* Налетай с конницей и отрывай тот угол.

Кривонос. Добре!

Хмельницкий. А ты, Богун, направо. Ближе к середине, любой ценой отрезать ты должен пушки.

Богун. Добре!

Хмельницкий. Ганжа, Опанас, в середину! Только итти не стеною, как всегда, а то из пушек перебьют народу много. Вперед пустите реденько, человек по десять, три сотни, а за ними подвозите свои пушки. А потом треугольником вклиняйтесь в середину и поджигайте табор, главное, следите за Кривоносом и Богуну, глаз с них не спускайте. Тут никого, кроме одной сотни и джур, около себя не оставлю.

Опанас. Позволь, гетман.

Хмельницкий. Говори.

Опанас. Во многих боях я сражался, но никогда не бывало, чтобы в таборе хоть трети не оставляли. В случае беды на поле сражения бросали туда подмогу. Издавна таков закон войны.

Голоса. Верно, так всегда бывало.

Хмельницкий. Я знаю этот закон, но сегодня его нарушу. Нас мало. Но от редких струй воздуха, собранных в единый вихрь, валятся дубы столетние, ударим же, как буря! Отступить некуда. Предупреждаю, кто заколеблется там *(показывает булавой)* и пришлет ко мне за подмогой, я собственной рукой уложу гонца из пистолета. Сегодня мы одолеем! Так я говорю?

Голоса. Так... Одолеем.

Хмельницкий. Ступай, полковник Кривонос, тебе выпала честь положить начало. *(Пожал руку.)*

Кривонос. Слушаю и благодарю за честь великую. *(Вышел.)*

(Палят из пушек.)

Богун. Уже стали кропить нас.

Хмельницкий. Пробуют.

Богун. Надо бы и нам из пушек ответить.

Хмельницкий. Сейчас ответим. Трубачи, последний к бою!

(Заиграли трубы. Ударили в котлы в лагере, а потом все стихло, и только слышна вдалеке песня:

А ми тую червону калину, гей, гей,
Та піднімемо... А ми нашу Україну,
Гей, гей, розвеселимо...).

Хмельницкий. Максим вышел с песней... Спокойно ведет казаков.

(В польском лагере трубы.)

Богун. Зашевелились ляхи.

Хмельницкий. Драгуны скачут навстречу Кривоносу. Глядите.

Богун. А Максим спокойно ведет своих... Вон... Блеснула его сабля... Пригнулся он к коню, летит. Ох, и конь!

Лизогуб. Гусары скачут к лесу, туда, где татары засели. Одна, две, три сотни.

Хмельницкий *(повернулся в ту сторону)*. Вот черти, засаду откроют. Богун, вперед! Ганжа, в бой!

(Богун, Ганжа побежали.)

Лизогуб. А отряд мчится к лесу все ближе и ближе. Татар сейчас открывают.

Хмельницкий. Сам дьявол ляхов туда послал.

(Пальба, шум.)

Лизогуб. Гусары на опушке... О!.. влетели в лес.

Хмельницкий. Полковник Опанас!

Полковник Опанас. Слушаю.

Хмельницкий. Обходят Кривоноса, он не видит. Врезайся туда. *(Показал булавой.)*

Полковник Опанас. Слушаю. *(Побежал.)*

Сотник. Раз'езд выскочил из лесу, за ним гонятся татары.

Лизогуб. Ляхи пушки перевозят, поняли, что там засада... Перевезут на ту сторону, а Богун только выступает.

Хмельницкий. Не успеют... Давай, Богун, давай!

Сотник. Ганжа уже начал.

Хмельницкий. Ему ближе... Давай, Богун! Эх, и летит... Ну... Ну...

Лизогуб. Пушки повернули уже, перевозят на ту сторону.

Хмельницкий. Не успеют, давай, Богун!

Лизогуб. Не поспеет Богун, не поспеет...

Хмельницкий. Не бойся, успеет... давай... давай!

Лизогуб. Ему навстречу мчатся три сотни драгун, ввяжутся в бой, и пушки перевезут... Гляди...

Хмельницкий. Он драгун сметет... Еще немного, ну, Богунчик... А... врезался!

Лизогуб. А пушки уже везут.

(Пауза.)

Хмельницкий. Так их! Видишь, где три сотни? — как не бывало... Еще немного, и пушек он достигнет.

Лизогуб. Не поспеет, гляди, гетман! Оттуда на помощь пушкарям мчатся конница, конных несколько тысяч.

Хмельницкий. Летите, кони... Богун, поторопись!

Лизогуб *(смотрит в сторону поляков)*. Летите, летите, кони, налетайте!

Хмельницкий. Налетай... вот... вот уже Богун около них... Еще, еще!

Лизогуб *(в сторону поляков)*. Еще... еще... еще... немного.

Хмельницкий. Врезался. Слава! *(Положил руку на плечо Лизогубу.)* Поспел, а ты боялся, Лизогубе.

Чарнота. Татары вырвались и остановились... испугались тех крылатых. Мчатся одни казаки.

(Хмельницкий повернулся в их сторону.)

Лизогуб. Худо, крылатые гусары их опрокинут, гусар впятеро больше...

Хмельницкий. Ничего, казаки начнут рубить им крылья и головы, татары тогда опомнятся. Не бойся, Лизогубе, сегодня мы одолеем. Смотри, казаки рубят крылатых. Ох, и рубят — перья сыплются.

Лизогуб. А татары стоят.

Хмельницкий. Стоят.

(Пауза.)

Нет, двинулись!

Чарнота. Кривонос вот-вот в самой середке ляхского табора будет.

Хмельницкий *(повернулся в ту сторону)*. Руби, Максиме, руби. А что Богун?

Лизогуб. Пыль, не видать... Ганжа отступает...

Чарнота. Его обходят.

Хмельницкий. Чарнота, твой черед! К Ганже, стрелой!

(Чарнота побежал.)

Лизогуб. Ганжа отступает, да как поспешно!

Хмельницкий. Постой, постой! Полтабора метнулось на Богуна... Спасают свои пушки.

Лизогуб. Богуна сейчас сметут. Их вдесятеро больше. Сметут!

Хмельницкий. Нет! Коня!

Лизогуб. Опасно, гетман! Сотника пошли!

Хмельницкий. Держись, Богун! Иду к тебе! Лизогуб, оставайся здесь. *(Сотнику.)* На коня, сотник! За мной! *(Побежали.)*

(Коряга бросился за ними.)

Лизогуб. Стой, кто позволил тебе бросать стражу!

Коряга. Я гетмана сторожу, а не шатер пустой. *(Побежал.)*

Лизогуб. Хлоп! *(Смотрит.)* Не поспеешь, гетмане, сперва раздавят Богуна, а потом и тебя...

(Выходит Варвара.)

Варвара. Что, сынку, крепко наши бьют?

Лизогуб. Поглядите.

Варвара. Далеко, далеко, не вижу... Взгляни, сынку, где Богун.

Лизогуб. Пыль — не видать ничего. А это что у вас?

Варвара. Пистолет. Еще покойного мужа. Соломия один с собой взяла, а этот зарядила, да, видно, забыла о нем. Хотела я отдать какому-нибудь казаку. Лишняя пуля в шляхту не помещает, да никого здесь нету.

Лизогуб. Там все.

Варвара. Пройду по табору, может быть, раненого встречу — помогу.

Лизогуб. Идите, идите!

(Варвара ушла.)

(Смотрит на поле боя.) А Кривоноса теснят... так... так...

(Вбегает сотник Сажа.)

С а ж а. Где гетман?

Л и з о г у б. Там. Что случилось?

С а ж а. Рейтары отбили татар и повернули на Ганжу. Жмут их. Ганжа упал с коня. Опанас ранен...

Л и з о г у б. Гляди, гляди! Хмельницкого перехватывает двенадцать всадников, а сотник с сотней отстал.

С а ж а. А кто это с Богданом на коне?

Л и з о г у б. сторожевой казак, он даже без сабли,— с одной дубиной.

С а ж а. Настигают... настигают... Вот... вот врезался. Упал гусар, второй.

Л и з о г у б. Сабли, что молнии... Чорт, еще один упал — девять осталось. Спешите, налетайте!

С а ж а. Их уже восемь.

Л и з о г у б. Дьявол!.. Окружают, так, так! Под гетманом споткнулся конь, налетели на гетмана.

С а ж а. Гетман упал!

Л и з о г у б. Всё. *(Закрыв глаза рукой, отвернулся.)* Наконец-то! Кричи «слава», Сажа! Что ж ты молчишь, кричи!

С а ж а. Кричать рано. Тот, с дубиной, двух сразу сбил перед самым гетманом. Еще одного сбил... Ой, молотит, ой, молотит дубиной... Еще один слетел... Ой, молотит... Остальные бегут. Подоспела сотня. Гетман вновь на коне.

Л и з о г у б. Люциферу душу продал Хмельницкий, если выскочил живым.

С а ж а. Должно быть. Мчится, живой! Не видать больше. Пыль затянула все.

Л и з о г у б. А сейчас, Сажа, и нам пора в бой вступать. Рубить, гетман, ты можешь добре, но я тебя без сабли одолею. Беги, Сажа, среди табора сено, подпали у возов, займется тотчас весь табор. Подумают — ударили нам с тыла, начнут тикать казаки — и конец.

С а ж а. Да как же это так?

Л и з о г у б. Иди, говорю, ты будешь кошевым на Сечи. *(Вытащил пистолет.)* Иначе обойм нам смерть... Ступай, кошевой!

С а ж а. Слушаю, гетмане! *(Ушел.)*

(Снова палят из пушек.)

Л и з о г у б. Бейте... крушите их из пушек... Так... так...

(Бьют пушки. Раненый казак приносит тяжело раненого старого полковника Опанаса, кладет его на землю.)

Что там?

К а з а к. Пушки отбили у ляхов.

Л и з о г у б. Значит, не ляхи бьют из пушек?

К а з а к. Ни, наши бьют по ляхам... Ой, голова горит!

(Где-то недалеко слышен пистолетный выстрел.)

Л и з о г у б. Что такое?

К а з а к *(полковнику)*. Умираю, полковник. Прощай, Опанасе, встретимся на том свете. *(Целует мертвого.)* Скоро и я помру.

(Входит старая Варвара, в руках у нее пистолет.)

В а р в а р а. Старый пистолет, а добре бьет.

Л и з о г у б. Это ты стреляла?

В а р в а р а. Я. Какой-то лях переделся сотником, пролез сюда. Стою я около сена и тихо молюсь богу, чтобы победу послал нам. Гляжу — крадется лях, меня не видит, высек огня и поднес к сену. Лег и дует, а я тихо подошла, подняла руку и выпалила в него. Он только вытянулся и сдох. Господи *(крестится)*, прости, что я в пятницу святую из пистолета стрельнула.

К а з а к. Пить! воды...

(Варвара поспешила в шатер, принесла воды, перевязывает голову казаку.)

Л и з о г у б. Я гетману расскажу, как спасли вы табор от пожара, как убили врага. *(Ушел в шатер.)*

В а р в а р а. Что с полковником?

К а з а к. Помер Опанас.

В а р в а р а *(сняла платок, прикрыла мертвому глаза)*. Богуна не видал?

К а з а к. Богуна ранили, но он на коне еще держался.

В а р в а р а. А джура около него был?

К а з а к. Нет, не видал джуры.

(Варвара встала и медленно пошла к своей палатке. Заиграли трубы — одна, вторая, третья. Выбежал Лизогуб из шатра.)

Лизогуб. Чьи трубы?

Казак. Наши трубы, наши!
(Встрепенулся.) Победа, слава! (Поднимает мертвого полковника Опанаса, поворачивает лицо к бою и говорит.)

Гляди, Опанасе, гляди, мы победили... гляди... Слава!.. Слава!.. (Лизогуб выхватил пистолет, оглянулся, крикнул «Слава!» и выстрелил в раненого казака. Упал казак с мертвым Опанасом. Снова труба, одна, другая, третья, четвертая. Шум приближается... Трубы ближе... ближе... Входят сотники, казаки. Несут польские знамена.)

Чарнота. Принимай хоругви ляхские!

Лизогуб. Приветствую вас, славные льцари, с победой над нашим врагом заклятым!

(Входят Ганжа, Кривонос с пленниками, Чарнота и Хмельницкий, за ними Коряга, казаки ведут пленных польских полковников, драгун, гусар и немецких командиров в латах. Казаки, казацкие полковники встретили гетмана криками: «Слава!».)

Хмельницкий (поднял булаву. Все стихло. Пленным). Прошу ближе, панове полковники. Сражались вы достойно, достойно бились, за это горилкой я попотчую вас. Сюда с горилкой бочки! Но как это вы с пушками напутали, расскажите. (Смеется.)

Немецкий полковник. Данке, герр Хмельницкий. Лисьей своей хитростью вы ввели нас в заблуждение и вот... разбили.

Чарнецкий. Похвала врага —

высшая похвала. Это любезно с твоей стороны, а о пушках известно тебе самому. Сам подослал ты к нам своего хлопа, под пытками хлоп лгал, до самой смерти лгал в адских муках.

Хмельницкий. Вот это уже не любезно с твоей стороны. Когда б припекли тебя огнем, как старого Тура, ты бы продал всю Польшу.

(Казаки вносят замученного Тура. Кладут перед Хмельницким. Продолжительная пауза.)

Прощай, Тур, прощай, славный льцарь!.. (Чарнецкому.) Такому хлопцу недостойно ты ноги целовать. Войско ваше мы разбили без пушек и едва ль не голыми руками. И даже эти немцы в латах (показывает на немцев) не могли вам, — мы били их и всегда будем бить. Не было и не будет силы той, что могла бы сломить гнев народа, и ни пушки, ни латники немецкие вас не спасут! До Вислы будем гнать вас.

Кривонос. Снимите шапки, склоните стяги пред великим сыном народа нашего!..

(Снимают шапки казаки, Кривонос посмотрел искоса на пленных, схватился за саблю, крикнул.)

Шапки долой!

(Польские полковники сняли шапки. Казаки склонили знамена.)

Хмельницкий. Над ним насыпем курган высокий, чтоб не одно столетие видели люди могилу славного казака Тура...

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Замок под Корсунем: кабинет Потоцкого. В кабинете духовник-иезуит Лентовский. Несколько шляхтичей и шляхтянок.

Чарнецкая. В Корсунь приехал кто-то с Запорожья и пустил слух, что у Хмельницкого стотысячное войско.

Пшигоцкий. Схизматы хотят напугать нас и поднять хлопов.

Чарнецкая. Почему же до сих пор не изловили шептунов?

Пшигоцкий. Запорожцев схизма-

ты прячут хорошо. Мы напали на след, но захватить никого не удалось.

Чарнецкая. Когда же прибудет гонец от пана Стефана?

Пшигоцкий. Должен был вчера быть, — так обещал пан Стефан, выступая на Сечь.

Корецкая (издали). Почему нет гонцов?

Пшигоцкий. Пан Стефан сюрприз готовит нам и гонцов не шлет.

Корецкая. Но дамы наши в тревоге. Пани Чарнецкая даже побледнела.

Чарнецкая. Нет, княгиня! Я горжусь, что мой муж вместе с паном Стефаном схизматов бьет и не спит ночами в походе. Мы же с вами каждую ночь на балу.

Князь Корецкий. Я был бы счастлив променять балы на сражения, но, увы, пани Чарнецкая, нет врага.

Чарнецкая. Кто врага ищет, князь, тот его находит.

Кн. Корецкий. Это дело рыцарей, а не женщин, пани Чарнецкая. (Входит управитель.)

Управитель. Ясновельможная пани Потоцкая просит ясновельможную княгиню Корецкую и пани Чарнецкую к себе.

(Они вышли.)

Кн. Корецкий. Правда, пан Пшигоцкий, что три дня тому назад хлопы сожгли два замка?

Пшигоцкий. Да! Каждый день новые вести.

(Входят Потоцкий и Калиновский, все встали.)

Потоцкий (Корецкому). Я был в лагере нашем и заметил — у вас не было сегодня муштры.

Кн. Корецкий. Я дал два дня отдыха моим драгунам.

Потоцкий. На что это похоже, князь? Мы на войне — и об отдыхе не может быть и речи!

Кн. Корецкий. Слушаю, ясновельможный гетман.

Пшигоцкий. Полковник Диркенштадт прибыл из лагеря и желает говорить с вами вновь.

Потоцкий. Я же ответил ему в лагере — пусть рейтары подождут.

Пшигоцкий. Но он ждет вас здесь.

Потоцкий. Заплатите ему...

Пшигоцкий. Я готов — нечем.

Потоцкий. Как нечем? Что за ответ, пан Пшигоцкий? Неужели мне учить вас, откуда добывать деньги?!

Пшигоцкий. Хлопы больше не дают. Я выжал из них все. За год вперед собрали, а мы подати увеличили втрое по сравнению с прошлым годом.

Потоцкий. Увеличили втрое, и хлопы заплатили? Значит, в прошлом году они нас обкрадывали. Они платили только треть того, что платят сейчас? Так, пан Пшигоцкий?

Пшигоцкий. Так, ясновельможный гетман!

Потоцкий. Позовите полковника. (Пшигоцкий пошел, возвращается с полковником.)

Приветствую друга Жечи Посполитой!

Диркенштадт. Я хотел передать — германские рейтары согласны умирать за наш гетман фон-Потоцкий!

Потоцкий. Благодарю! Что в лагере?

Диркенштадт. О, зер гут, герр гетман! Три ряда больших валов насыпали. Я хлопю приказал — хлоп сделал. Пушки поставил на валы, и нет сил, которая одолела бы нас.

Пшигоцкий. А нужно ли укреплять лагерь? Пан Стефан расправился с Сечью Запорожской, и нам, увы, воевать с схизматами не придется.

Потоцкий. Как сказать, пан Пшигоцкий! Предатель Хмельницкий разослал универсалы, коззарей и запорожцев по всей Украине. Хлопы поднимают головы, и еще не известно, где враг сильнее — на Запорожьи или здесь, около наших замков.

Диркенштадт. Правда, правда! Германские рейтары просят, герр гетман, денег.

Потоцкий. Я сказал — пусть подождут.

Диркенштадт. Я передал, — ждать не можем. Три месяца пан Пшигоцкий не платил, больше нельзя.

Потоцкий. Даю вам город Смелу и двадцать сел на десять дней. Там хлопы должны нам за прошлый год. Согласны? (Диркенштадт молчит.) И Черкассы с селами, где быдло головы подняло.

Диркенштадт. Данке зер, герр гетман! (Поклонился и сел.)

(*Входит управитель, он что-то шопотом сказал Потоцкому.*)

Потоцкий. Ведите их сюда. Панове, Хмельницкий подослал к нам двух казаков; вот кто пустил слух, будто у Хмельницкого сто тысяч вооруженного быдла. Это первые наши пленные, и я решил их показать вам.

Пшигоцкий. Великим счастьем буду считать, ясновельможный пан гетман, если вы позволите допросить их здесь. В одно мгновение я развяжу хлопам язык.

Потоцкий. Хорошо.

(*Вводят запорожцев — Гаврилу и Шайтана.*)

Пшигоцкий (*казаков подводят к нему.*) Слушайте вы, быдло, хлопы, разбойники, схизматы, на колени перед ясновельможным паном гетманом! (*Показывает на Потоцкого. Запорожцы молчат. Пшигоцкий выхватил саблю.*) На колени... На колени!

Кн. Корецкий и духовник. На колени, хлопы... схизматы... на колени!

Потоцкий. Тише, панове! Спокойствие, спокойствие! Не мешайте пану Пшигоцкому.

Пшигоцкий. На колени, пся крив, я зарублю вас! (*Взмахнул саблей.*)

(*Запорожцы молчат.*)

Будешь говорить? (*Ткнул Шайтана саблей в руку.*) А, быдло?

Шайтан (*почесал руку, сказал Гавриле*). Замок добрый, а блох до чорта, — бачишь, одна укусила.

Пшигоцкий. Пся крив! На колени станешь! (*Кольнул саблей Гаврилу в спину.*)

Гаврило. И меня блоха укусила — развелось их тут!

(*Входят дамы.*)

Кн. Корецкий. Так его... еще... сабэлькою схизматов, сабэлькою...

Пшигоцкий. Пся крив! (*Колет острием сабли Гаврилу в спину.*)

Дамы. Сабэлькой, сабэлькой... пся крив... хлопы... схизматы... Огнем их... огнем... Быдло.. на кол... на колени...

Корецкая. Украина наша. (*Ударила по лицу Шайтана.*)

Шайтан. Бей, бей, а Украине вашей не бывать!

Пшигоцкий. На колени, быдло!

Шайтан. Держись, скоро Хмелю привезут сюда, от него все блохи подохнут.

Потоцкий. Спрячьте саблю, пан Пшигоцкий. С ними надо говорить не так. (*Обращается к запорожцам.*) Слушайте, хлопы, вас сегодня ночью будут пытаться каленым железом, потом нарежут лент из ваших спин и посыплют раны солью, а утром посадят вас на высокие колы, чтоб мы из окон видели, как вы на колах станете плясать. А колы будут медленно проходить сквозь вас и только к вечеру выйдут из горла. Поняли?

Шайтан. Поняли, пане! Благодарим за ласку!

Потоцкий. Видите, пан Пшигоцкий, такой разговор хлопы понимают и даже благодарят.

Гаврило. Доброе сердце у вас, пан Потоцкий! Не откажите нам перед смертью в просьбе.

Потоцкий. Говори.

Гаврило. Прикажите посадить нас на низкие колы.

Потоцкий. Почему?

Пшигоцкий. Разве вам, хлопы, не все равно — посадят ли вас на высокий кол или низкий? И так, и так он у вас через горло выйдет.

Гаврило. Ни, пане! Если мы будем сидеть на низких колах, то вам, ясновельможный гетман, и всему вашему панству легче будет целовать нас в голый зад.

Шляхтичи. Пся крив... Пся крив! (*Выхватили сабли.*)

Потоцкий. Стойте! (*Остановились шляхтичи.*) За это они умрут лютой смертью, а не от сабли. Казнь придумаю я сам. Отвести их и на цепь посадить!

(*Казаков вывели.*)

Управитель (*входит*). Гонец из Варшавы от канцлера его милости короля Владислава.

Потоцкий. Просите.

(Управитель вышел. Входит гонец.)

Г о н е ц *(подошел к столу Потоцкого)*. Ясновельможный пан гетман! Канцлер его милости короля Владислава граф Осолинский и сенатор Жечи Посполитой Адам Кисель передают тебе письмо. *(Поклонился и подал письмо.)*

П о т о ц к и й. Прошу дорогого гостя сесть.

Г о н е ц. Благодарю. *(Сел.)*

(Продолжительная пауза. Все следят за Потоцким, читающим письмо.)

П о т о ц к и й *(прочитав письмо, скомкал его в руке. Встал. Тишина. Все следят за ним)*. Канцлер его милости короля Осолинский и сенатор Адам Кисель предлагают нам отвести войска назад и с хлопом Хмельницким начать переговоры, чтобы выиграть время, пока соберут войска в Варшаве и придут нам на помощь. Они пишут, что мы не представляем себе силы Хмельницкого и одни с ним не справимся. Как видите, панове, нам не доверяют. Господа из Варшавы желают явиться за славой сюда самолично, а нам разрешают только вести переговоры с хлопом Хмельницким, как равные с равным...

К н. К о р е ц к и й. Долой Осолинского! Долой!

Ш л я х т и ч и. Кисель — предатель!

Д у х о в н и к. Кисель — схизмат!

П о т о ц к и й. Долой Осолинского! Не позвалям!

Г о н е ц *(резко)*. Коронный гетман! *(Все стихли.)* Если они не перестанут оскорблять канцлера его королевской милости и сенатора Жечи Посполитой, я сейчас же уеду, и гнев канцлера и короля падет на их головы. *(Показывает рукой на шляхтичей.)*

Ш л я х т и ч и. Вон! Палками его!

(Некоторые вскочили из-за стола.)

П о т о ц к и й *(поднял руку)*. Остановитесь! Согласно универсалу короля нашего Владислава гонец двора — особа неприкосновенная. Потому за эту дерзость я приказываю дать ему десять палок, и пускай скачет в Варшаву.

П ш и г о ц к и й. Виват гетману!

Г о н е ц. Ясновельможный пан...

П о т о ц к и й. Уведите его! *(Гонца выводят.)*

К н. К о р е ц к и й. Как разрешает король писать подобные письма?

П ш и г о ц к и й. Если король и впредь будет слушать канцлера Осолинского и сенатора Киселя, то мы его на сейме...

К а л и н о в с к и й *(ударил кулаком по столу)*. Я запрещаю оскорблять короля Жечи Посполитой!

(Пауза.)

П о т о ц к и й. Здесь имеет право запрещать или разрешать один коронный гетман Жечи Посполитой, а не напольный гетман пан Калиновский. Когда пробош на приходе, викарий не у власти.

(Шляхтичи рассмеялись. Входит управитель.)

У п р а в и т е л ь. Посланец из лагеря Хмельницкого.

П ш и г о ц к и й. Разве пан Стэфан еще не дал боя?

П о т о ц к и й. Введите!

(Вводят казака Пивня.)

П о т о ц к и й. Ты кто такой?

П и в е н ь. Я запорожский казак Пивень. Вийсковый писарь Лизогуб послал меня предупредить вас о великой беде: войско ваше Хмельницкий порубал на Желтых Водах.

Д у х о в н и к. Матка боска... Езус, Мария!

П о т о ц к и й. А мой сын, где Стефан?

П и в е н ь. Помер на поле битвы, а реестровые казаки передались Хмельницкому.

К а л и н о в с к и й. А Чарнецкий?

П ш и г о ц к и й. А Сапега?

Ш л я х т и ч. А Шемберг?

П и в е н ь. Все у Хмельницкого в плену.

П о т о ц к и й *(подошел к Пивню, схватил его)*. Ты лжешь! Тебя подослал Хмельницкий! Хлоп Хмельницкий разбит, и это он послал тебя сюда, чтобы мы отступили и уцелевший его сброд мог пройти. Чем докажешь, что правду говоришь?

П и в е н ь. Я знак привез от Лизогуба, он приказал отдать его вашему ду-

ховнику. Побачите знак — и скоро узнаете, что я не брешу.

Духовник. Давай!

(Пивень подал клочок бумаги.)

Потоцкий. Что там? Какой-то рисунок? Что это значит?

Духовник. Не знаю, может быть, рисунок этот обладает потусторонней силой, — испытаем его на огне. *(Поднес к свече бумагу и сжег.)* Видите — пепел, и больше ничего. Что скажешь, хлоп?

Потоцкий. Пытать и на кол!

Пивень *(духовнику)*. Да я же прошу вас, скажите им — я знак от Лизогуба привез.

Духовник. На кол, хлоп, искупи грех свой! И хотя бы перед смертью негни.

Потоцкий. Увести его.

(Пивня вывели.)

Что там за знак был?

Духовник. Холопская хитрость.

(Входит польский полковник.)

Полковник. Ясновельможный пан гетман, десять сотен конницы Хмельницкого заметила разведка наша в двадцати верстах от Корсуня.

Потоцкий. Все в лагерь! Хмельницкий бежит и хочет пробиться. Все к войску!

(Все выбежали из комнаты, кроме духовника.)

Панцырь мне, меч! *(Ординарцы побежали.)* Наконец-то я возьму Хмельницкого на аркан. И как это Стэфан выпустил его...

Духовник. Знак, привезенный хлопом от Лизогуба, — знак ордена иезуитов. Лизогуб — негласный брат наш, иезуит. Об этом никто не должен знать, — только ты один.

Потоцкий. Значит, правду сказал хлоп...

Духовник. Правду. Бог наказал нас за тяжкие грехи. Помолись о сыне своем.

Потоцкий. Нет, не может быть, ты ошибся! Лизогуб — схизмат, он — враг наш заклятый. Вот универсалы Хмельницкого к черни, вот подписи Хмельницкого и Лизогуба.

Духовник. Лизогуб — тайный брат наш, иезуит в коротком платье. Хлоп правду сказал.

Потоцкий. Сын мой! Затем ли я дал тебе булаву над войском, чтоб ты променял ее на могильный заступ?.. Сын! Стефан...

(Вносят панцырь и меч.)

Духовник. Спешу к войску, гетман, в лагерь спешу!

Потоцкий. О, господи! Что скажу рыцарям моим? Дай силы, господи, научи меня!

Духовник. Огнем и мечем ты скажешь!

Потоцкий. Огнем и мечем схизматов... огнем и мечем... *(Распахиваются двери — вдали огромное зарево: где-то пылает замок, слышны отдаленные пушечные выстрелы.)* Что это? *(Молчат полковники.)* Что это... говорите!

Полковник. Хлопы Хмельницкого идут.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Киев. Резиденция гетмана Хмельницкого. В открытые окна видны колокольня и часть собора.

За столом Богун, у окна Варвара, Соломия и Лизогуб. С улицы доносятся музыка, песни.

Соломия. Сколько цветов несут... Взгляните — красные, белые... А люди всё идут и идут к Золотым воротам. Никого Киев еще не встречал так, как гетмана Богдана. Поспееет ли он сегодня?

Лизогуб. Поспееет. Богдан должен быть близко от города.

Варвара. Я не могла пройти у Золотых ворот.

Лизогуб. С рассвета киевляне ждут своего триумфатора.

Богун. Лизогуб, давай печать.

Лизогуб. Сейчас. *(Достает и ставит печать.)*

Богун. Отправить немедленно на Подол цехмейстеру. Копья нам нужны. Пять тысяч за три дня сделать должен.

Лизогуб. Ладно.

Богун *(просматривает бумаги, взял одну, смотрит, смеется)*. Вот пес!

Лизогуб. Почему ответ не дал ему?

Богун. Ответ? *(Скомкал письмо, бросил.)* Какой ответ? Встречу в бою — отрублю ему голову, — и весь ответ.

Лизогуб. Вот об этом и напиши ему. От злости лопнет князь до боя.

Варвара. Кому это рубить голову ты собрался?

Богун. Князю Вишневецкому. Идем, Соломия! *(Варваре.)* Может, и ты пойдешь?

Соломия. Идем... идем...

(Вбежала Зося, вся в слезах.)

Зося. Матка боска, матка боска!

Варвара. Что с вами?

Зося. Богун, спаси, спаси! *(Плачет.)*

Богун. Кого?

Зося. Моего дядю. Схватили его только-что и повели в крепость — пытаться. Прикажи освободить скорее.

Лизогуб. Пытать? Богун, пора прекратить это своеволие. Я напишу приказ, а ты подпишешь.

Богун. Не торопись, Лизогуб. Это я приказал ксендза Тарновского, вашего дядю, панна Зося, взять в крепость и допросить.

Зося. Ты... Ты приказал. Зачем?

Богун. Любопытствую, отчего к дяде вашему ездят гонцы из Варшавы, зачем вы к нему ходите каждый день.

Зося. Это ложь... это ложь...

Лизогуб. Ты ответишь за это гетману.

Богун. Ксендза я проверю, и тогда увидим, кого Богдан судить будет. Идем!

(Богун, Соломия и Варвара вышли.)

Лизогуб. Как ты узнала?

Зося. Я письмо твое понесла ему, только перешла Крещатицкий яр — гляжу, ведут моего дядю.

Лизогуб. Где письмо?

Зося. Вот. *(Дает. Лизогуб прячет письмо.)* Мы погибли!

Лизогуб. Нет, нет, любовь моя... *(Обнял ее, целует.)* Богун сразу выболтал все, и время есть, чтобы подумать.

Зося. Надо бежать, пока Богдан не приехал.

Лизогуб. Куда?.. От гетманской булавы бежать! Нет, Зося! Не затем жил я на Запорожьи столько лет среди этой черни. Дай поразмыслить. *(Ходит по комнате. Поднял с пола письмо Вишневецкого к Богуну и читает.)* «Гетманскую булаву тебе испрошу у короля, подумай, славный рыцарь Богун! Тебя вся Польша радостно примет. Жду ответа...». *(Положил письмо.)* Пстой! *(Взял письмо.)* Пстой, я отвечу ему вместо Богдана. *(Садится, пишет, шепчет.)* «Ясновельможный пан Иеремия...».

Зося *(долго смотрит на него)*. Как ловко пан пишет рукой Богдана, совсем его рука...

Лизогуб. На то я писарь войсковой.

Зося. А если Богдан не поверит?

Лизогуб. Поверит... Едва ли не все предводители восстаний против Речи Посполитой умирали не на поле брани, а от предательства, Зося. Так у нас уже повелось. Лев берет корону в бою, а носит ее всегда змий. Это Богдан знает хорошо и бережется. Хлопская честность и доверчивость погубят Богдана. Гетман через гонца приказал Богуну спешно прислать обозы с порохом и копьями в Умань, а я незаметно сделал так, что не в Умань, а в Чернигов пошли обозы. Теперь у Хмельницкого и у старшины Богун на подозренье сильном. Натуру вольницы этой я знаю добре. Когда же покажу письма, в бешенство придут полковники запорожские, и Богуну конец, а там пробьет и последний час гетмана.

Зося. Пан убьет его сегодня?

Лизогуб *(надел ей медальон на шею)*. Сегодня тебе надлежит хоть недолго побыть с гетманом наедине.

Зося. Мне он противен.

Лизогуб. Что делать, так надо. Настал час твоего подвига.

З о с я. Какие прекрасные камни. Это тоже подарок иезуитов?

Л и з о г у б. Налей Богдану вина, склонись над кубком вместе с медальоном, чтобы гетман не заметил, и нажми медальон здесь...

З о с я *(перебила)*. Это яд?

Л и з о г у б. Да.

З о с я *(отшатнулась)*. Я не смогу. Он умрет — меня схватят.

Л и з о г у б. Нет, он прохворает дней десять. Разве я и святые отцы твоей жизнью могли бы рисковать, Зося, любовь моя, гетманша ты моя. *(Обнял ее.)* Разве ты забыла заветы своего дяди, святого человека? Он сказал: «Церковь католическая ждет от тебя, Зося, подвига». Недалек час, король даст мне булаву, чтобы я сложил ее к твоим ногам. Недалек час, когда в Варшаве введут тебя иезуиты в королевский дворец. Вельможи склонят перед тобою головы, и сам его милость король наш сойдет с трона к тебе навстречу. Он поцелует тебя в лоб и скажет: «Вот панна Зося, она спасла Польшу от страшного врага». А я буду стоять вдали и плакать от умиления, как дитя. *(Вытер слезу.)*

З о с я. А пан уверен, что Хмельницкий умрет не сразу?

Л и з о г у б. Как перед богом, тебе говорю, десять дней прохворает, ты сегодня дашь ему яду, а завтра поедешь в Варшаву и там будешь ждать меня. Всё подготовлено мною к твоему отъезду.

З о с я. Хорошо. Пойду переоденусь... Скоро Богдан может приехать. Ты слышишь, как хлопы кричат на улице?

Л и з о г у б. Иди, любовь моя! Вот тут нажмешь. *(После паузы.)* Увы, нежная панна, погибнешь и ты сегодня, как только гетман выпьет вина. Так приказала твоя церковь, и я приказ ее выполняю.

(Входят Варвара и дьякон Гаврило в одежде сотника; он несет ларец.)

В а р в а р а. Сюда... сюда...

Г а в р и л о. Челом тебе, писарь войсковой. Что не встречаешь гетмана?

Л и з о г у б. Спешу навстречу. *(Вышел.)*

В а р в а р а. Ты был дьяконом, а ныне сотник?

Г а в р и л о. Был, мать, был даже попом, да грех со мной приключился великий. Спас гетман Богдан от греха мою душу, записал в сотники и оставил околю себя.

В а р в а р а. Какой же грех случился с тобой?

Г а в р и л о. Как замок Корсунский взяли, нас с Шайтаном освободили от гайдуков Потоцкого, — Хмель Шайтана полковником назначил, а меня воиереи поставили.

В а р в а р а. А кто же рукоположил тебя?

Г а в р и л о. Казаки выбрали, а гетман утвердил. Дали мне новехонькую ризу, в воскресенье я справил службу божию и пошел в шинок. Вот в этом-то шинке дьявол и искусил меня. В одну ночь пропил я все — деньги, рубаху и ризу.

В а р в а р а. Пречистая мать, грех-то какой!

Г а в р и л о. Поверите, и сейчас, как вспомню, мороз меня пробирает, и... выпить хочется, чтоб сердце от страха не плясало. *(Выпивает.)* Вот за это судил меня казацкий суд. Присудили мне сто палок. Привязали к столбу, аки мученика. Собралась братия запорожская поглазеть, как будут чертей палками выколачивать из моего брэнного тела. И в эту минуту господь случайно обратил взоры на мои муки, и меня осенило, и к православному христианству обратился я, аки святой апостол Петр... Братие, крикнул я... и все замолкли, братья запорожские, кто из вас не пропивал своих штанов и рубахи, пускай тот берет жезл, лежащий предо мной, и меня, грешника, молотит. Так никто к палке и не притронулся. Дознался об этом гетман и приказал записать меня в сотники.

(Слышен шум, который усиливается, все ближе и ближе музыка. Гаврило подошел к окну.)

Г а в р и л о. Что людей! Войско идет, вон на коне гетман, полковники.

(Подошла Варвара. Через минуту входит Богдан Хмельницкий с цветами, за

ним полковники: Кривонос, Ганжа, Чарнота, сотник. Шайтан, Лизогуб, Коряга, Кожух, Тыква.)

Хмельницкий. Хорошо, радостно встретили нас кияне, я и не ждал!

Кривонос. Добрая встреча и говорили важно. Вот только пииты из академии сказывали вирши, а на каком языке читали и ты отвечал им, я не разобрал. На турецкий не похоже.

Богун. Латынь, друг, латынь. *(Цитирует Горация и переводит.)*

Atque dum procedit «io triumphe!»

Non semel dicemus «io triumphe!»

«Когда он движется вперед, мы не раз воскликнем: «О, триумф! о, триумф!»».

Хмельницкий. Читали вирши латинские, и я отвечал на них латынью.

Кривонос. Латынью... Вот, сучьи дети, писали бы по-нашему, а то от латыни ксендзами смердит.

Хмельницкий. А ты, Соломия, все краше становишься.

Кривонос. От любви цветет она.

Хмельницкий. А где Зося? Почему не вижу ее здесь? Здорова?

Лизогуб. Да, здорова.

Хмельницкий. Богун, позови ее.

Богун. Сейчас позову и при тебе спрошу кое о чем.

Хмельницкий *(рассмеялся)*. Ладно, ладно, зови!

Чарнота. А почему ты, Богун, не прислал обозы с порохом и копьями под Умань?

Богун. Я послал обозы.

Шайтан. Куда послал?

Хмельницкий. Помолчите! Об этом на раде вечером, там даст ответ Богун.

Богун. Что случилось, гетман?

Хмельницкий. На раде будем говорить с тобою, зови Зосю.

Богун. Хорошо.

(Лизогуб подошел к Богдану, подал письма и тихо что-то сказал.)

Хмельницкий *(прочел письма)*. Женщин прошу выйти, рада старшин сейчас у меня будет.

Варвара. Пообедайте, вы голодны.

Хмельницкий. Потом, оставьте нас.

(Варвара и Соломия вышли.)

Чарнота, стань у дверей и не пускай никого и Богуна тоже.

Кривонос. В чем дело?

Хмельницкий. Сейчас услышишь. Чарнота, к дверям! Максим, Ганжа и вы, полковники, прошу сюда! Вот письмо заклятого врага народа нашего Вишневецкого Богуну. Читайте каждый.

(Читают по очереди. Кривонос прочел первым.)

Кривонос. Мерзкий гад!

Хмельницкий. Читай ответ Богуна.

Кривонос *(прочел)*. Господи, твоя воля!

Хмельницкий. Рука Богуна?

Кривонос *(снова смотрит)*. Его, Богдан. *(Передал Ганже.)*

Ганжа. Кто сыскал эти письма?

Хмельницкий. Лизогуб.

Ганжа. Как ты добыл их?

Лизогуб. Заметил, один лях к Богуну ходит, сперва я и не думал ничего, но, как ни войду, Богун умолкает и уходит. Меня это удивило, но, зная, сколько погибло предводителей восстаний против ляхов от предательства друзей...

Хмельницкий *(перебивает)*. Верно.

Лизогуб. ...я следить начал, и вчера, когда Богун спал тут днем, я достал у него из кафтана вот эти письма.

Хмельницкий. Позовите Богуна.

(Входит Богун. Пауза. Все глядят на него, как на изменника.)

Богун. Зачем звали?

Хмельницкий. Держи ответ. Тебя судить будем. Садись, Кривонос. *(Кривонос садится на место Богдана.)*

Кривонос. Начинаю суд старшин над полковником Богунуном.

Богун. Что такое?

Кривонос. Сейчас узнаешь. Полковник Богун, саблю сдай. *(Богун отдал саблю.)* Ты спал здесь вчера днем?

Богун. Спал?... Спал... а что?

Кривонос. Ты получил от Еремы Вишневецкого письмо это? *(Подает ему письмо.)*

Богун. Да, получил.

Хмельницкий. Почему не сказал нам?

Богун. Не успел.

Кривонос. Ты писал ему?

Богун. Нет.

Кривонос *(закрывает часть письма рукой)*. Твоя подпись?

Богун. Моя.

Кривонос. Слышали все? Подпись свою признал!

Полковники. Слышали.

Кривонос *(читает письмо)*. «Ясновельможный князь Иеремия Вишневецкий. Твое письмо получил. Много беседовал с шляхтичем твоим и согласие даю. В первом же сражении перейду к тебе. Шляхтич расскажет все. Склонив голову, тебя величаю. Полковник Богун». Ты писал это письмо?

(Богун молчит.)

Ганжа. Ты писал?

Богун. Нет! Не знаю, видно, сам дьявол сочинил его и подписал моей рукой. Кто его дал вам?

Кривонос. Кто бы ни дал, тебя это не спасет. Отвечай, Богун, правду, как предателем ты стал? Отвечай, кто с тобой еще? Куда дел обозы и копыя?

Богун. Молчи, Максим! От твоих слов сердце у меня...

Ганжа. Называй своих. Не виляй.

Богун. Что говорить. Я не писал — вот и все! Больше от меня не услышите ни слова.

Ганжа. Богун, лучше расскажи! Молчать перед судом старшин не годится. Ты знаешь это хорошо.

(Богун молчит.)

Хмельницкий. Будешь говорить?!

Кривонос. В третий и последний раз тебя спрашиваю. Будешь говорить?

(Богун молчит.)

Выведите его.

(Богун выводят. Продолжительная пауза.)

Кривонос *(еще раз рассматривает письмо)*. Пытать его, потом смерть... Как вы? *(Все молчат. Пауза.)* Пытать его, смерть ему! *(Полковники встают по очереди и каждый говорит: «Согласен».)* Что скажет гетман?

Хмельницкий. Согласен. Только пытать не надо. Почему не надо — сейчас скажу.

Кривонос. Знаем! Смерть без пыток. Согласны?

Все. Согласны.

Кривонос. Введите Богуну. *(Вводят Богуну.)* Суд старшин войска Запорожского тебя, полковник Богун, за измену народу и отечеству присудил к смерти. *(Богун молчит.)* Что хочешь сказать напоследок? *(Богун молчит.)* Будешь говорить? *(Богун молчит.)* Ну, и клятой же ты. Суд старшин кончен.

Хмельницкий. На прием послов приходите.

(Все расходятся. Остаются Кривонос и Ганжа.)

Богун. Проститься с Соломией можно?

Кривонос. Можно. Покличь, Ганжа!

(Ганжа вышел и возвращается с Соломией.)

Соломия. Почему обедать не идете? Богун, отчего глядишь на меня так? Что случилось? Почему вы молчите?

Кривонос. Прощайся с ним, Соломия, — он предал отечество, и его осудили мы.

Соломия. Кого, Богуну? Он — предатель? Не понимаю шуток вашей, дядько Максим! Пойдем обедать.

Кривонос. Этим не шутят. Прощайся.

Соломия. Богун... Богун... *(Богун молчит.)* Это неправда! Нет, неправда. Предателем он быть не может.

Богун. Спасибо, что поверила мне. Прощай! *(Хотел обнять ее.)*

Соломия. Подожди, подожди, понять я не могу... что случилось? Дядько Максим, и вы, и вы так думаете?

Кривонос. Я судил его.

Соломия. Земля заколебалась подо мной, Богун... *(Обняла его.)* Богун...

Нет... это сон, страшный сон... Разбудите меня, разбудите, еще мгновение, и сердце мое остановится... Разбудите!

Богун. Прощай, Соломия! Идем, Максим!

Кривонос. Идем.

Соломия. Стой! Стойте, а как же мать, я сейчас позову ее, подождите, дядько Максим, я Варвару позову, пусть простится с ним и со мной. Я смертью своей прерву сон этот. Постойте, постойте! *(Выбежала.)*

Ганжа. Скажи, Богун, хоть слово. Почему на суде молчал?

Богун. Душа моя, как солнце, светла перед вами. Что мне говорить? Неужто не знаешь, когда в сердце направлен удар, тогда уста молчат... *(Пауза.)* Прошу тебя, Ганжа, там, в крепости, ксендза допросите, взяли иезуита по фамилии Тарновский, дядя Зоси, проследи сам за допросом.

Ганжа. Добре.

Богун. Идем, Максиме... Не надо женщин.

Кривонос. Идем.

(Вышли. Остался Ганжа. Входят Варвара и Соломия.)

Соломия. Где он?

Ганжа. Поведи.

Соломия. Уже... А я просила... Прощайте, матинько!

Варвара *(схватила ее)*. Куда?

Соломия. В дальний путь пойду я с ним. Прощайте, пустите меня. *(Вырвалась и побежала.)*

Варвара. Ганжа, это правда?

Ганжа. Правда.

Варвара. Не верю. *(Медленно вышла.)*

(Входит Богдан.)

Хмельницкий. Куда ты, Ганжа?

Ганжа. В крепость, иезуита одного допросить.

Хмельницкий. Ступай.

(Ганжа вышел. Хмельницкий сел за стол. Продолжительная пауза.)

Богун... Богун... *(Встал, поднял со стола булаву, смотрит на нее.)* Ты булавы захотел, Богун... Знаешь ли ты, что легче всю жизнь держать в своих

руках обломок скалы, чем эту блистательную игрушку. *(Положил булаву.)* Из-за нее изменить народу, продаться ляхам... Проклятые, проклятые!.. Друга лучшего и льцаря великого украли вы у меня. Клянусь жизнью своей — за Богуну вы тысячи голов сложите. *(Сел, закрыл лицо рукой. Вошла Зося, тихо подошла, стала на колени перед ним, взяла его руку, прижала к своей щеке.)* Как жила ты здесь?

Зося. Хорошо. Только старая Варвара меня не любит. Не знаю, что я ей сделала. От нее мне жизни нет...

Хмельницкий. Завтра она уедет отсюда.

Зося. Почему?

Хмельницкий. Так надо.

Зося. Отчего пан печальный? *(Вдвери появляется Варвара, ее не замечают.)* Я дам пану вина?

Хмельницкий. Не хочу.

Зося. Я выпью с паном за его приезд... Я заждалась пана...

Хмельницкий. Если так, давай вина...

(Зося ставит на стол кубки, наливает вино, поглядела, увидела, что Богдан сидит, подперши голову рукой, наклонилась и раскрыла над кубком медальон. в кубок посыпался яд.)

Хмельницкий. Где ж вино?

Зося. Вот! *(Подает кубок.)* За твой приезд... Только пусть пан выпьет все. *(Смеется.)*

Хмельницкий. Никогда я не пил до половины. *(Хочет выпить.)*

Варвара *(вошла)*. Богдан, не пей. поставь на стол.

Хмельницкий *(поставил кубок)*. Что надо вам?

Варвара. Панна яду всыпала в кубок.

Хмельницкий. Что вы?

Зося *(Варваре)*. Ты ненавидишь меня. Ты лжешь! Ты все сделала для того, чтобы меня выжить... Ты говоришь, что я всыпала яд... О, матка боска... Дай кубок твой, Богдан, я сейчас же выпью его до дна и уйду отсюда... Сколько раз оскорбляла меня Варвара, сердце мое больше не может тер-

петь... Дай кубок твой, Богдан, дай, я сейчас выпью его...

(В другой двери незаметно появляется Лизогуб, следит за ними.)

Хмельницкий *(резко)*. Варвара, уйдите!

Варвара. Богдан!

Хмельницкий. Идите! Не хочу слушать я вас! Идите!

Варвара. Хорошо! Я сейчас уйду... Но ты выслушаешь меня, Богдан. *(Метнулась к столу, схватила кубок Богдана.)* Ты выслушаешь... *(Выпила.)*

Зося. Ой!

Варвара. А... Ты побледнела... Не ошиблась я... нет? Кто же лгал, я или ты?

Хмельницкий. Что с вами?

Варвара. Молчи! Ты еще будешь говорить. *(Пауза.)* О... уже началось... быстро! Где достала, панна, яду? Где? *(Протянула руку к Зосе. Идет к ней.)* Где достала, ответь! Кто послал тебя? Кто?

(Зося пятится от нее. Варвара упала.)

Хмельницкий *(крикнул)*. Эй, джурь!

(Выхватил пистолет и направил на Зосю. Входит Лизогуб.)

Лизогуб. Что случилось?

Хмельницкий. Она отравить меня хотела, а отравила Варвару. Тащи эту пададь... в подземелье и береги лучше глаз своих. Туда я сейчас приду.

Лизогуб. У, пададь!

(Схватил Зосю за руку и потащил.)

Хмельницкий *(опустился на колени перед Варварой)*. Варвара... Варвара...

(Слышен выстрел. Вбежал джура.)

Кто стрелял?

Джура. Лизогуб убил панну.

(Входит Лизогуб.)

Хмельницкий. Зачем убил?

Лизогуб. Бежать хотела.

Варвара. Богдан, слушай... Ты слушаешь...

Хмельницкий. Слушаю, матинько.

(Входят полковники, сотники.)

Варвара. Помни... Судьбу свою тебе вручили люди... Народ измучен в неволе... Враги... враги близко... Богдан...

(Продолжительная пауза. Хмельницкий целует Варвару в лоб.)

Лизогуб *(опускается на колени перед Варварой)*. Спи спокойно. Подвиг совершила ты великий. Своей жизнью спасла орла народа нашего. О, будьте прокляты, палачи! Спи спокойно, тебя мы не забудем вовеки.

(Вбежал Ганжа.)

Ганжа. Богдан, жив?.. Жив...

(Лизогуб поднялся, хочет выйти.)

Не спеши, Лизогуб! *(Выхватил пистолет.)* Иезуитам продал душу?! Гетмана задумал отравить?

Хмельницкий. Иезуитам...

Ганжа. Ксендз Тарновский показал, что душу ты продал им, Иуда!

(Лизогуба схватили.)

Лизогуб. За промах жизнью отвечу, но и вам недолго жить. Больше ничего не скажу.

Ганжа. Ведите его в крепость, там заговорит.

(Лизогуба вывели.)

Хмельницкий. Богун... Богун, где он? Возьми булаву и останови Кривоноса. Скорей!

(Полковники взяли булаву и выбежали.)

Хмельницкий. О, боже правый! Воззри на печаль мою и скорбь. Зачем позволил ты покрыть землю чумой в сутанах? Чума... чума покрыла землю, и тропами иезуитов смерть идет незримо... В кровавой сече, в боях неравных я распознавал хитрость и коварство врага. Отчего же не замечал я, как в лицемерии своем и в низкопоклонной покорности тихо изгибался передо мной гад, чтобы ударить нас в самое сердце. *(Пауза.)* Скажите, полковники мои, скажите, лыцари, есть ли на свете кара за мученья народа нашего?.. Где предел страданиям?!

(Продолжительная пауза.)

Склоните же головы в последний раз перед великим сердцем, изменою убитым. В гроб твой я кладу и свое сердце. Отныне в груди моей его больше нет. Нечеловеческая злоба у наших врагов. Отныне в груди моей нечеловеческая нена-

висть вместо сердца. Над челою твоим холодным клянусь — скоро услышишь, как содрогнется небо от моей мести. Кара постигнет врага, его могилы покроют степь. *(Пауза.)* Прощай и прости! *(Целует Варвару.)*

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Резиденция Богдана Хмельницкого. Зал для приема послов. В глубине зала большое кресло, рядом с ним столик, на котором кляйноды, чернильница, гусиные перья, песочница. За креслом на стене малиновые знамена войска Запорожского. Далее по стенам, склоненные к креслу, знамена польские, взятые в боях. Налево и направо по стенам — скамьи с высокими резными спинками. Над креслом гетманский бунчук. По обе стороны кресла стоит почетная стража — казаки с пиками. В зале сидят послы польские, русские, молдавские, турецкие, крымские.

Адам Кисель *(посол Польши. Тихо)*. Когда же он выйдет? До чего дожили, — сидеть принуждены с врагами Жечи Посполитой и ждать милости от своих хлопов.

Кн. Четвертинский. Молчите, сенатор! Я и так не знаю, выдержит ли мое сердце и не блеснет ли сабелка в моих руках, когда воссядет схизмат на этом кресле.

Лентовский. На все воля божья, князь. Заклинаю вас господом, будьте осторожны и тише говорите. И у стен — уши. Взгляните, послы русского царя князь Трубецкой и боярин Пушкин, беседуя с послами турецкими, незаметно следят за нами.

Кн. Четвертинский. Обратите внимание, как хлопы над нами насмеваются. Знамена гетмана коронного, стяги Жечи Посполитой, в боях захваченные, схизматы сюда принесли и склонили вниз до самой земли.

Лентовский. Король наш подымет их быстро.

Адам Кисель. И Богдана поставит на колени, а сейчас, князь, отвернитесь, не смотрите на наши знамена, за нами с насмешкой следят русские.

(Князь Трубецкой и боярин Пушкин направились к польским знаменам, осматривают их, к ним подошел посол Молдавии Каруза.)

Лентовский. Русские осматривают знамена наши.

Адам Кисель. Повернемся к ним спиной. Повернемся скорее, будто нас это не касается.

(Повернулись. Трубецкой заметил их движение.)

Трубецкой *(громко)*. Нет, сия хоругвь принадлежала гетману коронному Потоцкому, а сия — немцам рейтарам.

Каруза. Князь Трубецкой ошибается, это знамя сына коронного гетмана Потоцкого — Стэфана, оно взято гетманом Хмельницким под Желтыми Водами. А это знамя самого коронного гетмана Жечи Посполитой и захвачено в бою под Корсунем.

Трубецкой. Спор наш решить не столь трудно. Спросим послов королевских, им надлежит различать свои хоругви.

Пушкин. Прилично ли, князь, сие спрашивать?

Трубецкой. Зело прилично. *(Адаму Киселю.)* Ясновельможные послы Речи Посполитой, посол молдавского господаря боярин Каруза сказывает, что сия хоругвь *(показывает рукой)* принадлежала коронному гетману Потоцкому, я же думаю — сия. Пособите нам в споре нашем.

Кн. Четвертинский *(вздвинулся, положил руку на саблю, крикнул)*. Князь Трубецкой!

Трубецкой. Что, князь Четвертинский? *(Тоже положил руку на саблю.)*

(Входят полковники и старые казаки. Запорожцы рассаживаются по лавкам с обеих сторон кресла. Среди них Ганжа, Чарнота, полковник Шайтан и сотник Гаврило. Входит Богун.)

Богун. Великий гетман всея Украины, старшина войска запорожского и рестрового казачества обоих берегов верхнего и нижнего Днепра, хорунжий киевский, полковник переяславский, Зиновий Богдан Хмельницкий!

(Все встали. Стража с пиками взяла на караул. Вошел Богдан Хмельницкий с булавой в руках, за ним Кривонос. Гетман остановился у кресла, к столу подошел Кривонос с грамотой.)

Хмельницкий *(послам)*. Рад приветствовать дорогих гостей, послов держав великих, которые несут мир земле и человечеству! *(Сел в кресло. Вслед за ним сели и послы.)*

Кривонос. Великий гетман, первыми прибыли к тебе послы его милости короля Яна Казимира Речи Посполитой — посол сенатор Адам Кисель, посол князь Четвертинский, посол епископов Лентовский.

(Польские послы встали, поклонились, снова сели.)

Здесь также посол его величества турецкого султана — паша Ага-Асман. *(Паша встал, поклонился.)* А также ясновельможного господара молдавского Липули посол — боярин Каруза. *(Каруза поклонился.)* А также послы могущественного хана Ислам-Гирея — Оранбей и Тимур. Последними к нам прибыли послы его величества царя московского, самодержца всея Руси Алексея Михайловича — князь Трубецкой и боярин Пушкин. *(Послы поклонились.)*

(Адам Кисель вышел вперед, за ним послы польские, но не успел он и слова сказать, как Хмельницкий встал, и поднялись все.)

Хмельницкий. Не торопитесь, ясновельможные послы Речи Посполитой. Послов русских я, моя старшина и казаки Сечи Запорожской слушать намерены первыми.

Шайтан. Послов русских просим.

Все. Просим русских послов.

Адам Кисель. Ясновельможный гетман! Послы его королевской милости Яна Казимира прибыли первыми к тебе, послы же русского царя — последними. По законам междержавным...

Хмельницкий *(перебивает)*. Сенатор Кисель, тут я законы учреждаю. Князь Трубецкой и боярин Пушкин, мы радостно вас слушаем. *(Сел в кресло.)* *(Поляки вернулись на свои места, все сели, к Хмельницкому подошли Трубецкой и Пушкин.)*

Трубецкой. Великий гетман Украины! Его царское величество государь всея Руси и великий князь московский, пресветлые князья и бояре премного утешены твоими победами и началом вызволения Украины от ига латынян. Возликовали сердца русские, возрадовались православные братья вашими победами православного войска Запорожского. Прими грамоту его царского величества, в ней государь наш радостно отвечает тебе на твою грамоту, и ему угодно ждать твоих послов в Москве. *(Поклонился и подал грамоту Хмельницкому. Хмельницкий встал, обнял Трубецкого.)*

Хмельницкий. Передайте великому царю московскому и народу русскому сердечную благодарность за привет и ласку. Народы наши суть братья. Мы единой веры греко-русской, мы одних прадедов внуки, и мысли наши устремлены к единению. Украина в пожарах, в крови, в боях с супостатами ждет помощи русской. Настало время Украине освободиться и жить в родной семье. Завтра же я своих послов с подарками отряжаю в Москву.

(Богдан сел. Послы вернулись на свои места.)

Хмельницкий. Я, моя старшина и казаки радостно будем слушать послов могущественного крымского хана Ислам-Гирея.

(Послы подошли и поклонились.)

1-й посол. Великий гетман Украины! Наш хан, могущественный Ислам-

Гирей, приветствует тебя с победой, прими грамоту великого хана.

2-й посол. Наш хан могущественный Ислам-Гирей прислал тебе подарки: золотой лук и двенадцать золотых стрел. *(Повернулся к дверям. Оттуда вносят золотой лук и стрелы и кладут перед Хмельницким.)*

Хмельницкий. А сын мой Тимофей где? Почему до сих пор он в Бахчисарае? За привет и подарки благодарю могущественного хана, но разве не ведает он, что наибольшим подарком было б вернуть мне сына.

1-й посол. Великий гетман, сын твой захворал, и мы боялись брать его в дальний путь.

Хмельницкий. Тимофей захворал? *(Поднялся.)* Что с сыном? Только не брешите. Что с ним?

1-й посол. Его лечат лучшие врачи Бахчисарая.

Хмельницкий. Завтра ответ на грамоту получите. Ты же, Кривонос, сегодня отправь гонца в Бахчисарай. Хочу знать, что с сыном. Жив ли он? А если нет, то кто в его смерти повинен.

Кривонос. Добре.

Хмельницкий. Послов польских намерены слушать.

(Послы подошли.)

Адам Кисель. Пан гетман!

Кривонос. Не слышим тебя, Адам Кисель!

Адам Кисель. Пан гетман!

Кривонос. Не слышим тебя, Адам Кисель!

Полковники и казаки. Не слышим! Не чуем!

Адам Кисель. Великий гетман Украины!

Кривонос. О, теперь слышим.

Адам Кисель. Его милость ясно-вельможный король великой Жечи Посполитой дарит тебе знаки приязни и благоволения. Прими эту булаву гетманскую *(открыл ларец и достал булаву)* и знамя Жечи Посполитой *(достал знамя из того же ларца Четвертинский и развернул)*. Его королевская милость передает войску Запорожскому свою ласку...

Богун *(перебивая)*. Зачем ты принес эти игрушки? Мы вас добре знаем, — хотите снова нас в неволю прибрать. Нехай пропадают ваши льстивые дары. А ты, Кисель, кость от костей наших, отщепился от нас и пристал к ляхам, катуешь народ и помогаешь нас взнуздать.

Кривонос. Нынче не взнуздать нас! Не словами — саблями отвечать станем. Есть у вас ваша Польша. Украина наша, и носа своего к нам не суйте.

Хмельницкий. Тише, Максим, я хотел что-то сказать, а ты перебил, продолжай, Кисель.

Адам Кисель. Его королевская милость надеется, что вы, как верный слуга и подданный короля, приложите все силы, чтобы прекратить кровопролитие и внушите хлопам уважение к их господам. Король полагает, что вы немедленно приступите к переговорам с нами... За это его милость прощает вам вашу вину...

Хмельницкий. Его королевская милость премного щедр. За дары отблагодарю послов, а сейчас ответ дайте: почему литовское войско вырезало Мозырь и Туров, а Януш Радзивилл на кол сажал наших? Клянусь богом, за каждого христианина четырех панов на спицы вздену.

Лентовский. Пан гетман, возможно, эти вести не совсем верны... Может быть, ваши казаки...

Гаврило. Молчи, поп! Не твоё дело нам вопросы задавать. Выйдем, поп, лучше во двор, там я научу тебя уважать запорожских казаков.

Хмельницкий. Что ещё имеешь сказать, Кисель?

(Кисель молчит.)

Кн. Четвертинский. Поверь, гетман, первые успехи ещё не говорят о твоей силе. Жечь Посполита непобедима. Ты воевал с коронным гетманом, с отдельными отрядами нашими, но ты ещё не встречался с посполитым рушёнём. Знай, король объявил посполите рушенье и с войском, достойным великой Жечи Посполитой, стоит на гранях Волини. О наши пушки и панцыри не раз

вдребезги разбивалось могущественное войско турецкого султана, крымское, молдавское. Подумай, пока не поздно. Шведы спешат к нам на помощь. Пора по-другому говорить, гетман!

(Большая пауза.)

Адам Кисель. Князь Четвертинский сказал немного резко.

Хмельницкий. Нет, Кисель, знаю, король объявил посполите рушенье. Мне известны силы ваши, они велики, но отвечаю вам, что тратите слова понапрасну! Завтра будет суд и расправа. Было время со мной толковать, когда Потоцкие меня гоняли за Днепром, было время и после Желтых Вод, и после Корсунской потехи, а теперь я уже исполнил то, о чем раньше и не помышлял, и исполню все, о чем помышляю. Вырву из ляхской неволи народ украинский весь. Поможет мне вся чернь ваша до самого Люблина, до самого Кракова, а я от нее не отступлюсь. Народ — первая порука нам: мы черни не обидим и казаков не оскорбим. Поможет мне народ русский, поможет братьям своим в борьбе за веру православную с униатами, иезуитами, кармелита-

ми — со всеми чертями, супостатами папы римского. Я приказал войску Запорожскому кормить коней и выступать без возов и пушек. Знайте, паны ляхи, без пушек иду на вас, их получу я в стане вашего короля. Не сложим оружия, пока всех панов сенаторов, дуков и королей не выгоним с Украины. Вислы достигну и, став на ней, скажу и всем дальним ляхам: сидите, паны, помалкивайте, а будете шуметь — и за Вислой вас найду. Пугаете меня шведами и немцами — и те моими будут. Выступаю сегодня, а завтра мы на поле брани добудем свое право, и там будет расправа.

(С улицы доносится песня, она приближается — это идут полки, поют:

А мы ж тую калину, гей, гей, та
піднімемо,
А мы ж нашу славу Україну, гей, гей,
та розвеселимо.)

(Музыка.)

Хмельницкий. Слышите? Это движутся полки мои на вашего короля. *(Указал булавой.)* Это народ наш украинский идет сражаться за волю свою, за свое отечество, за честь, за жизнь, — и этот народ никто не победит!

Пять долларов

В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

★

Я уволен. Если бы я мог это предвидеть, я не истратил бы двадцать долларов на новый воскресный костюм, ботинки и кепи. В настоящий момент в кошельке моем четырнадцать долларов. Из них пять долларов необходимо выделить в «забронированный фонд» для уплаты частной бирже труда на случай, если она найдет мне работу. Оплата обязательно вперед. Без помощи этой биржи — «акулы», как называют ее безработные, — самому немислимо найти работу.

Но мало надежды и на биржу. «Акула» не в состоянии всех удовлетворить, и если квалифицированные рабочие вынуждены братья за любую работу, то что же ожидает меня, чернорабочего? После вычета из моего капитала пяти долларов (забронированный фонд) на жизнь остается 9 долларов.

А если безработица протянется несколько месяцев? Правда, еще есть некоторые шансы на получение работы, если я сохраню пять долларов для «акулы». И если продать кое-какие вещи и воскресный костюм, можно будет при очень суровой экономии выдержать эти несколько месяцев. За это время, несомненно, толпы безработных уменьшатся: обремененные семьями или люди со слабым характером съедят свои «фонды» и вынуждены будут искать заработка вне биржи; они разбредутся по другим городам и штатам в надежде найти там работу или просто превратятся в бродяг. Но я отсюда не уйду, потому что

кризис охватил всю страну, и потому, что в этом городе, в Калифорнии, мягкий климат. Сейчас октябрь, а солнце светит и греет, как в разгар весны. Это много значит для безработных. Это экономия в одежде и жилище. В случае крайней нужды можно будет ночевать и на открытом воздухе. Да, я должен выдержать испытание, потому что я молод и крепок и люблю жизнь. Я решительно вынимаю из кошелька пять серебряных долларов и кладу их в особое отделение кошелька.

★

Первый месяц — это жестокая экономия в отношении жилища. Из комнаты в 50 центов сразу перехожу в ночлежку в 10 центов. Гораздо труднее молодому и крепкому организму экономить в пище. С обеда в 50 центов я пока перехожу на обед в 25 центов и ем только раз в день. Теряю в весе, в желудке «точит червячок». Но с этим можно мириться, только бы надежда на работу!.. К сожалению, унылые лица безработных, слоняющихся по биржам, их отупевшие взоры, вздохи, похожие на стоны, могут кого угодно лишить надежды. В толпе я вижу стариков и женщин. Каково же им? Я начинаю стыдиться своей молодости, своего здорового вида. И когда за перегородкой, где помещается администрация биржи, раздается голос: «Работа!» — и толпа стремглав бросается к конторке, я остаюсь в нерешит-

тельности на месте, смущенно улыбаюсь. Давка, крики, проклятья, визг женщин, треск перегородки. Но хозяин биржи, «акула», краснощекий фронт, спокойно шныряя хищными глазами по толпе, выбирает подходящее лицо и жестом приглашает за перегородку. По внешнему виду безработного он безошибочно определяет состояние его кошелька. «Акула» не верит в долг и не занимается благотворительностью. Злобно ворча, медленно откатывается волна безработных. Да, надо беречь свои пять долларов до последней возможности.

★

Второй месяц... Ем раз в день в пятнадцатидесятицентовой столовке. За шесть долларов продал свой пятнадцатидолларовый костюм. Я осунулся, побледнел. Начались муки при виде витрин ресторанов, действующих на меня, как магнит: не в силах пройти мимо. Не могу не остановиться перед дразнящими яствами. Но я должен экономить каждый цент, чтобы прожить на свои средства минимум еще 3 — 4 месяца. Не может быть, чтобы за это время толпы безработных не рассеялись, не уменьшились... Туже стягиваю на животе ремешок.

— Плохо дело, — говорит столяр, тощий, пожилой человек с желтым лицом и добрейшими глазами. — Плохо... Я как будто болен. В диспансере мне дали капли, но никакого толку.

Я смотрю на его болезненное лицо и думаю про себя: «Не капли тебе нужны, а хлеб...».

★

Третий месяц... Ночую в пятицентовой ночлежке, сидя на стуле. В бирже, по ту сторону перегородки, на румянном лице «акулы» — жизнь, страсть хищника, проходи; по эту — отчаяние, лишения, голодный блеск в глазах. Я уж не смущаюсь больше и на зов: «Работа!» — отчаянно продираюсь к перегородке и, подобно другим, кричу, называю себя, чтобы обратить на себя внимание. Но что толку?..

— Когда будет революция, — тихо, после мучительного приступа кашля, говорит столяр, — первым делом надо будет сделать миллионеров безработными.

Я с ним охотно соглашаюсь, но маляр, стоящий рядом, иронически, зло смеется:

— Ты к этому времени еще сто раз околеешь!.. У меня другой выход.

— А именно? — интересуется столяр.

— Получу работу — по центам буду копить деньги, чтобы открыть москательную лавочку. Надоело мне мучиться в шкуре рабочего.

— А голосовать будешь за кого во время выборов?

— Разумеется, за хозяев, раз я сам буду хозяином...

— Ты к этому времени еще сто раз околеешь, — говорю я ему.

Безработные мало разговаривают. Им не до бесед, а если говорят, то только о работе и еде: когда и что ел...

А в центре города шум, движение, магазины, кафе, рестораны...

— Какая разница между этими улицами и необитаемым островом? — говорит столяр. — И здесь, и на острове одинаково можно околеть с голоду.

— Здесь хуже, — угрюмо замечаю я. — На острове, по крайней мере, нет этих раздражающих ресторанов.

— Ты прав, — уныло кивает головой столяр.

Пожилая, некрасивая дама в богатом мантио, с бриллиантовым ожерельем на морщинистой, как у старой собаки, шее, надменно садится в роскошную машину. По нашим приблизительным расчетам, этого ожерелья хватило бы на сто тысяч десятицентовых обедов. Сто тысяч обедов!

— Стерва! Стерва! — злобно ворчу я.

— Подло устроен мир, подло! — шепчет столяр.

★

Четвертый месяц... Я уже перешел на «домашний стол». Покупаю мясо «для кошек» (шесть центов кило). Этим воичным мясом питаются преимущественно негры, мексиканцы, беднота вообще

и безработные. В жестянке варю бульон. Мне бы хватило на два-три дня, но я делюсь со столяром. Бедняга болен, и ни цента за душой. У него во время приступа кашля вытащили из кармана кошелек вместе с «забронированным фондом». Я с ним познакомился на бирже, а кажется, будто давно его знаю. Хороший парень. И жаль его. Если б я нашел работу, честное слово, взял бы его на свое иждивение. Ночуем мы с ним в его палатке, на пустыре. В палатке больше дыр, чем полотна. Ночи сыроватые, и мы зябнем. Тогда мы приходим к выводу, что лучше укрыться палаткой, чем «жить» в ней. Мы сдираем остатки холста и укрываемся. Мне теплее, но столяр все зябнет. Он набивает себе под пиджак старые газеты, но дрожь не унимается. Только на солнце он чувствует себя лучше. Кашель его изводит, особенно по ночам. Днем в парке мы с ним на солнышке «досыпаем». На языке безработных это называется «ночлежка днем». Дремать в парке не разрешается, и мы прибегаем к хитрости: усевшись рядом, плечом к плечу, спим поочередно — один дремлет, другой дежурит. При появлении полисмена дежурный толкает спящего плечом, будит его. Уткнувшись в старую газету, делаем вид, будто читаем, и с замиранием сердца ждем, пока пройдет полисмен. На пышном фоне парка наш вид может показаться ему малопривлекательным. Он может прогнать нас. И вообще к нашему брату у полисменов такое отношение, как к назойливой бездомной собаке. Столяру доставляет большое удовольствие сидеть на солнышке. Но сидеть в конце концов тоже утомительно.

— Полежать бы, — виновато и жалобно шепчет он. Я нахожу ему укромное место, между забором и кустами, на зеленой бархатной травке.

— Хорошо... — блаженно закрывая глаза, говорит он. — Хорошо...

— А ты иди, друг, не возись со мной. Я никуда не пойду. Какой толк?..

Да, действительно, какой толк? Куда он пойдет? Да и мне, собственно, некуда итти. Апатия и слабость в ногах

и меня тянут к земле, но вместе с тем какая-то другая, скрытая, сила влечет меня из парка, влечет властно. Я подчиняюсь ей, не отдавая себе отчета. Иду... Невидимый магнит притягивает к себе... Я выхожу из парка и останавливаюсь, как вкопанный, у витрины ресторана. Вот он, магнит: бифштексы! Салаты! Вина! Фрукты! Часами стою, как за гипнотизированный. Уж столько раз, проклиная себя, давал слово не останавливаться! И, как назло, так много витрин...

А в кармане пять долларов. Они жгут мой карман. С каждым днем они меня все более и более беспокоят, дьявольски искушают. 5 долларов — это 50 десятицентových обедов! А между тем нельзя потратить ни одного цента. «Акула» требует взнос полностью, до последнего цента. Что за пытка носить при себе такую сумму! Сколько раз я вынимал из кошелька эти дьявольские деньги! Дух захватывает при одной только мысли, что их можно превратить в фасоль со свиной, ветчину с яйцом, в холодный стакан пива!..

А на биржах народу не убывает... Выдержу ли я?

★

Пятый месяц... «С'ел» уже свой костюм, бритву. Продав воскресные ботинки. По ночам и меня знобит. И меня кипа газет за рубахой уже не согревает. А со столяром дело совсем плохо. Он плюет кровью...

— Пропал, — говорит он мне. — Скоро финиш... — Он так кашляет, что кажется, вот-вот задохнется. Он отказывается принимать от меня те крохи, которые я с ним делю. В больнице, куда я звоню, отказываются его принять: полно! А у меня сердце разрывается, глядя на него... У него такое мученическое лицо и такие добрые, хорошие и честные глаза! Труп с живыми глазами. В последнее время то-и-дело подбирают трупы на улицах и парках. Ощущение такое, будто вокруг тебя разрастается эпидемия, вроде чумы. Невесел и малар. Но у меня к нему какая-то инстинктивная неприязнь.

— Здорово, хозяин! — иронически приветствую его. Он что-то бормочет, вероятно, ругается.

В городе растет возбуждение: волнуется безработные. Газеты кричат об убийстве миллионера, о бурной демонстрации. Демонстрация действительно получилась бурная. Бесчисленные толпы безработных заправили центральные улицы, площади, скверы, требуя работы и помощи. Полисмены орали, угрожали. От этого крика даже выдавшие виды лошади конной полиции становились на дыбы. Полиция пустила в ход свои дубинки. Еще миг, и загремели бы выстрелы. Но примчались пожарные команды, и шангли их, с треском выбрасывая могучие струи воды, смыли толпу. На асфальте улиц остались только те, кто не в силах был подняться. С трудом выволок я из толпы своего друга-столяра. От удара струи в спину он едва не задохся. Печать требует применения закона «о подозрительных» (высылки безработных за пределы города).

У биржи появились наглые полисмены. Толпы безработных тают. Народ куда-то исчезает, расплывается. Но работы все же нет. Устал ждать. Нет уж сил. Потерплю еще месяц. Последний месяц! А потом... Пропадай мои пять долларов! Смешно, нелепо носить при себе такой капитал и подбирать на рынке остатки овощей, фруктов. На рынке я не один, — мексиканские и негритянские дети и такие же безработные, как и я. Дети проворнее нас, взрослых. Стайками, щебеча, как воробьи, они порхают по рынку. И часто уходишь, не проглотив даже листка салата. О, если бы можно было есть глазами! Я тогда не стоял бы часами, как проклятый, у этих витрин, сумасшедше уставившись в сочный бифштекс, румяно поджаренную курицу, ветчину, сардины, пуддинги, вина. Глотая слюну, двигаю челюстями, «мысленно» жую. В конце концов это доводит меня до исступления. Требуется огромное усилие, чтобы в припадке безумной ярости не вышибить ногой стекло витрины. Что может быть унижительней для моего человеческого достоинства, чем видеть, как другие едят,

в то время, как я могу только жадно смотреть на еду! Что может быть мучительней приступов голода, когда молодой, полный жизни, организм отчаянно протестует, требует, кричит! Кажется, будто хищный зверек гложет нутро. Железные клещи сжимают желудок. Раскаленная игла щупает сердце. Свернувшись в клубок, сжимая руками живот, мычу, вою.

★

Шестой месяц... Ночь. Столяр лежит, завернутый в полотнище. Он еле шевелит губами. Он умоляет меня не столько словами, сколько глазами не вызывать карету скорой помощи.

— Зачем? Я знаю! Я обречен... Не тревожь меня. Я тебе и так благодарен. В последние дни я убедился, что смысл жизни — это дружба.

Кашель прервал его бормотанье. Он замолк, замер... Я сидел, не шевелясь и прислушиваясь к его дыханию.

— Когда свершится революция, надо будет наказать магнатов голодом, — забормотал он вдруг. — У меня в кармане завещание...

«Бредит» — подумал я.

Во мраке, в глухом пустыре, жутко было ощущать присутствие смерти. Тихо, на цыпочках, я отошел от товарища. Минут через десять я звонил по телефону. Из трубки телефона женский голос спокойно ответил, что мест нет. Может, к утру освободится. Я бросил трубку.

Может, к утру освободится — это означало: если кто умрет...

Вернувшись, я укрыл товарища частью своего полотнища. Прижался к нему спиной. Мой мозг вдруг начал «творить», изобретать такую еду, которую можно получить бесплатно, которую никто, кроме меня, не догадается есть. Никто, кроме меня. Перебрав в уме все виды питания, я пришел к выводу, что есть еще много неиспользованных ресурсов.

Кто сказал, что мясо собак, кошек, ворон — несъедобно? Что за барские предрассудки! Мясо щенка, вероятно, вкусно и нежно, как мясо кролика. По-

падись мне сейчас, я бы здесь на пультре зажарил шашлык из щенка. Я даже ощущаю запах жареного мяса и вдыхаю его аромат. Жую, жую... Да и зачем, собственно, жарить, когда проще сварить его? И я снова жую, жую... Да кто сказал, что мясо обязательно надо жарить, варить, тушить, когда можно его есть сырым! И я жую, жую, жую... Лицо мое горит. Мелкая дрожь трясет руки и ноги... Потом — сон. Пять долларов. Монеты растут, растут, сверкая, вертятся, застилают небо. Потом — кошмар: на мне черная, мохнатая шерсть. Не то я волк, не то пещерный человек. Я грызу труп своего товарища столяра. На его мученическом лице укор. В диком ужасе, тяжело и шумно дыша, просыпаюсь. Чуть брезжит рассвет. Рука моя ударяется о что-то твердое, как бревно. Это тело столяра. Я отдергиваю руку, вскакиваю в ужасе... Куда-то бегу. Потом возвращаюсь. Наконец нерешительно сбрасываю с него полотнище. Он лежит лицом вниз. Перевертываю. Его добрые человеческие глаза закрыты навек. На лице покой. Из кармана пиджака торчит помятый конверт. Вспомнилось, что он бормотал о каком-то завещании. Уж не оно ли?

Читаю: «Завещаю свой скелет моему благороднейшему другу Вилли Брайту на право продажи его в анатомический музей». Число, подпись. На отдельной бумажке приписка: «Мой дорогой друг, это — все, чем я могу тебя отблагодарить».

Рассеивается утренний туман. Все гуще доносится шум пробуждающегося города, а я все еще сижу в немом отупении перед телом друга. Мир опустел для меня.

★

Седьмой месяц...

— А друг-то твой не дождался революции... — ехидно замечает маляр.

— И ты не дождался своей лавочки, — в тон отвечаю я. — На-днях окolleшь. Карета тебя ждет!

Он отходит, бормоча проклятия. Но карета ждет и меня. Все чаще и чаще

она попадает на глаза. У меня ни цента. Может, и я на-днях неожиданно заболею, умру, и мои пять долларов впрок не пойдут. Что делать? Я не в силах больше терпеть! Эти пять долларов сводят меня с ума.

Разговаривая вслух, обращая на себя внимание прохожих, я машинально плетусь к бирже. В последний раз хочу взглянуть на рожу «акулы», чтобы убедиться в беспечности ожидания работы. А там пусть будет, что будет. Глупо, бессмысленно хранить пять долларов, когда работы все равно нет. Так рассуждая, я незаметно очутился у биржи. Народу не так уж много, и на лицах беспросветная тоска и апатия. Нет. Больше ждать я не намерен. Больше сюда моя нога не ступит. Сегодня же загуляю. Закажу ростбиф, бифштекс, пуддинг и виски. Съем весь свой капитал, все пять долларов!.. Сразу! В один присест! В последний раз подхожу к перегородке так решительно, что «акула» удивленно вскидывает на меня свои колючие глаза. Но в это время звонит телефон. Идет короткий разговор.

— Хорошо! Адрес?.. — «Акула» что-то записывает, кладет трубку.

— В чем дело? — обращается ко мне.

— Работы!

— А деньги есть?

— Есть, есть! — встрепенулся я. — Есть! До сегодняшнего дня хранил! Владелец биржи испытующе смотрит на меня.

— Есть, есть! — торопливо повторяю я, вкладывая в это слово всю душу, все мои надежды. Я прошу, умоляю глазами. Но как он медлит с ответом! Каждая секунда — это вечность. Еще чего доброго, раздумает. Он переводит глаза на группу других безработных, шныряет по ним взглядом. От нервного напряжения я готов топнуть ногой, закричать!

— Ладно! — слышу я наконец. — Заходи.

Я бегу за ним в другую комнату. Он садится на стул.

— 30 долларов в месяц, — говорит он.

30 долларов — жалованье ничтожное, но время такое, что раздумывать не приходится.

— Хорошо, — соглашаюсь я.

— Деньги! — командует он.

Я вынимаю кошелек. «Акуле» полагаются десять процентов с месячного жалованья. Это означает три доллара. Мне, следовательно, еще останутся два доллара на еду, подкрепить себя перед работой.

Отлично. Трясущейся рукой я кладу на стол три доллара.

— Мало! — слышу я жесткий голос.

— Десять процентов, как полагаются, — бормочу я.

— Мало! — Он делает вид, что поднимается со стула. Я быстро кладу еще доллар.

— Мало! — в голосе раздражение, угроза. Он встает.

Я кладу на стол последний доллар — Все! — и выворачиваю наизнанку кошелек. Он поворачивается ко мне спиной.

«Уйдет! Уйдет!». Я теряю рассудок. В один прыжок загораживаю ему дорогу.

— Давай! — Рука моя угрожающе ищет за пазухой, хотя там ничего нет.

— Давай!

«Акула» испуганно отшатывается. Садится за свой стол и пишет записку. Уже в дверях я слышу голос:

— Вон!

Пулей вылетаю на улицу. Мне хочется кричать, бежать, смеяться... Где мой друг столяр? Мы бы с ним теперь так счастливы были. Перебегая улицу, я слышу скрип тормозов машин и проклятия шоферов по моему адресу. И только в сквере, в тишине, я прихожу в себя. Какой-то червь подтачивает мою радость...

А выдержу ли я эту работу? Ведь я истощен и слаб. Через четыре дня я должен явиться по записке на клеевую фабрику. Работа тяжелая. Будь у меня что продать, я поел бы, подкрепил бы свой организм за эти дни. Но у меня ничего нет, кроме галстука. С большим трудом мне удается продать его на рынке за 10 центов. Три дня трачу по центу в день. Покупаю на цент четыре кон-

фетки (ничего питательнее на эти деньги не найдешь). Эти четыре конфетки и маленькая сальная свеча, которая идет мне в пищу, — моя порция на день. (У меня случайно остались три свечи. При жизни столяра мы освещали ими палатку). А утром, на рассвете, перед тем, как идти на работу, впервые за несколько месяцев выпиваю чашку горячего кофе за пять центов и сразу с'едаю восемь конфет — на два цента. Чувствую себя бодро, но до фабрики несколько километров, и бодрости моей хватает только до ее ворот... Вот наконец и фабрика. Робко дергаю ручку звонка. С трудом перевожу дыхание, словно в тумане, я вижу какие-то сараи, надстройки, навесы и силуэты людей. Куда ни повернись, — кучи отбросов кож и жил. Тяжелый запах... Кто-то берет у меня записку. Потом подводит к какой-то яме, сует в руки тяжелые вилы и велит содержимое ямы выбросить наверх, на платформу. Я спускаюсь в яму. Ноги мои ступают по липкой, вонючей массе. Как бы ни было тяжело, я должен выдержать до вечера. Во что бы то ни стало! Вечером, попросив расчет за день, я поем, за ночь выплосью и к утру окрепну. Дальше пойдет легче.

★

Но через полчаса я уже дышу, как испорченный паровоз. Пот заливает глаза. А масса — густая, твердая и клейкая. Я с трудом отрываю вилами куски. Прежде с такой работой я справился бы легко, но сейчас я истощен.

— Никуда не годится!

Я вздрагиваю и задираю вверх голову. Говорит мастер.

— Тяжело... — хриплю я в ответ. — Голодал...

— Пожалуй, и до обеда не дотянешь, — продолжает мастер. Покачав укоризненно головой, уходит. Неужели не дотяну? Ведь я уплатил за это место «акуле» пять долларов. Пять долларов! С проклятием глубоко вонзаю вилы в массу, как в грудь смертельного врага. Рванул! Вырвал большой кусок, но одновременно послышался треск.. Отчаяние на миг придало мне огром-

ную силу. Я сломал стальной зуб увил. Вернувшийся мастер только руками развел.

— Простите, — упавшим голосом говорю я. Он приносит новые вилы.

— Не напрягайся так... Совсем выдохнешься, — говорит он. — Я пустил пар. Теперь тебе легче будет. Сказал бы раньше, я бы это раньше сделал.

— Но откуда я мог знать?

— Это верно.

Когда он отошел, под ногами вдруг зашипело, захлюпало, от массы пошел вонючий пар. Постепенно масса мякла, превращаясь в клейкую жижу. Ноги увязают. Стало легче, намного легче, но, увы!.. Поздно. Последняя вспышка ярости сменилась такой усталостью, что я едва держусь на ногах, чтобы не упасть в эту жижу.

Почему он раньше не пустил пар?!

— Бос идет! — доносится голос мастера сверху. — Ворочай! — Я слышу его удаляющиеся шаги. На смену им приближается тяжелый, мерный шаг, хозяйский шаг. Сердце мое замирает. И снова я напрягаю всю силу, чтобы не выдать себя. Шаги замерли над мной... Пыхтит трубка... Я боюсь взглянуть. Проходит вечность, и наконец страшные шаги удаляются. Осторожно подымаю голову. От сердца отлегло, но, кажется, от напряжения теряю сознание. Едва успеваю опереться спиной о стену ямы, закрываю глаза...

— Вылазь, — слышу я голос мастера. — Сюда другого пришлю. Иди вон к нему, — указывает он на высокого, добродушного парня. Парень участливо смотрит на меня.

— Воды! — хриплю я. Он мигом подает мне бутылку. Я жадно глотаю до дна.

— Голодал? — спрашивает парень.

Киваю головой.

— Такова наша доля, — задумчиво произносит он. — Ну, а теперь берись за носилки.

Большие кучи отбросов лежат на носилках. Я берусь за носилки и чувствую, как у меня разжимаются пальцы. Парень, опасливо оглянувшись по сторонам, снимает часть груза.

— Сил нет, — оправдываюсь я, чувствуя, как глаза мои становятся влажными. Парень растерянно топчется на месте.

— Как бы бос не увидал!..

Бедняга не знает, чем мне помочь, но вот он увидал проходящего с тачкой товарища. Он подзывает его жестом в что-то говорит на незнакомом языке. Взглянув на меня, не говоря ни слова, рабочий берется за ручки носилок. Быстро, бегом, они вдвоем переносят восемь полных носилок.

— А теперь пойдем дальше! — зовет меня высокий парень.

Товарищ его стремглав мчитя к своей тачке. Мы вышли во двор, к грузовику, нагруженному большими мешками с солью.

— Давай разгружать, — указывает парень на мешки. — Под этот навес.

Первый мешок берет он себе на спину и легко уносит. Второй мешок достается мне. Кажется, у меня треснет позвоночник, лопнет грудь, разорвется сердце. С трудом отрываю ногу от земли, делаю шаг, спотыкаюсь и падаю лицом на асфальт, придавленный мешком. С меня стаскивают мешок, поднимают на ноги. Шофер хохочет, но парень что-то строго шепчет ему, и у шофера быстро меняется выражение лица.

— Иди под навес, полежи. Мы без тебя... — говорит шофер.

Я лежу на мешке в полумраке, в каком-то забытьи. Одна только мысль сверлит мой мозг: «Пропали мои пять долларов! Пять долларов!».

Рука парня тормозит меня.

— Пойдем!

Шофер, обтирая потный лоб, приветливо кивает головой.

— Дотянуть бы до обеда. За час перерыва, может, окрепну...—произношу я вслух.

— Мастер человек не плохой, но бос — волк, — отвечает парень. — Всюду нос сует.

Возвращаемся в здание. Мастер указывает мне на площадку под самой крышей, на высоте трех этажей. Там лежит глыба соли.

— Всю ее на тачке кати сюда, — говорит он. — Смотри, осторожней...

С площадки круто идет широкая схода. Я всхожу на площадку с видом человека, подымающегося на эшафот. Внизу, подо мною, люди. Не сорваться бы. А впрочем все равно! Насыпаю тачку солью. Берусь за ручки. Пошел. Тачку не надо толкать, она сама катится вниз и тащит за собой. Ее надо сдерживать, тормозить... С грехом пополам довожу первую тачку до места. Вторую на повороте приходится задерживать. Третью, — чувствуя, как разжимаются пальцы, — задерживаю несколько раз.

Четвертую я уже не в силах удерживать... Тачка катится в сторону, тащит в пропасть... Я делаю отчаянное усилие, чтобы остановить ее. Но пальцы разжимаются. Тачка на самом краю сходни...

— Берегись! — раздается мой отчаянный вопль...

Я слышу крики внизу. Оглушительный грохот и треск...

★

Когда сторож запирает за мной калитку, неверным шагом, шатаясь, добираюсь до какой-то рощи в стороне от дороги и валюсь на землю...

Солнце вызывающе весело сверкает, играет... Я лежу беспомощно, чуть дыша. Мне не холодно и не жарко. Ни голода, ни боли в желудке. Какая-то сковывающая и даже приятная истома. Такое состояние, вероятно, испытывает замерзающий.

Солнце щедро дарит земле свои лучи, свое тепло, свет. Дарит жизнь. К нему, как бы простирая радостно руки, тянутся ветви магнолий, пальм, кипарисов. Тянется трава, цветы. Земля, кажется, дышит. Приникши к ней ухом, я

будто слышу ее могучий пульс. Поют, порхают, деловито щебечут птицы. Так много света и красок! Все цветет, все дышит... И только я один чуть живу, чуть дышу. Но я тоже хочу жить! Ведь я еще так молод! Я тяжело жил, но именно потому хочется добиться лучшей жизни, ощутить ее радость. Неужели я должен навсегда распрощаться с этим миром и уйти из него? И только потому, что мне нечего есть. О как это дико, нелепо! Как это обидно! Прижавшись лицом к земле, как ребенок к груди матери, я глухо рыдаю.

★

Мрак. Голоса. Грубые руки. Автомобильные гудки. Легкая качка машины.

★

До ушей моих доносятся стоны, будто я нахожусь на поле битвы, среди раненых. Тяжелый запах нашатырного спирта и иода. Электрический свет ослепляет меня. Не в силах пошевелить головой, ворочаю глазами направо, налево. Всюду койки, койки. Из-под серых одеял глядят головы. И у всех одно и то же выражение лица: тоска и боль. Рядом, спиной ко мне, сидит какой-то человек в черном сюртуке и что-то бормочет. Пастор. А перед ним, на белой наволочке подушки резко и страшно выделяется восковое лицо с закрытыми глазами и заостренным носом. Покойник. Я вздрагиваю. Ко мне с чашкой в руке направляется сестра. В этой чашке, вероятно, бульон. Возможно, что я не умру, возможно, что я выживу. Но кто возвратит мне мои пять долларов? Пять долларов!

Он отдан нашей родине в наследье, —
А у тебя — подделкой заменен.

Где твой огонь, твой смех, твое железо?
В какой золе каких истлевших тел
Рассыпалась на части Марсельеза? —
Вот все, что я сказать тебе хотел.

2

О, народ! Я тебя оболгал.
Ты навек восхищенья достоин,
Угрожающий Цезарю галл,
Работяга, насмешник и воин!

Будь морского прибоя белей,
Сединою сравнись со снегами, —
Справишь ты все равно юбилей
В ярых митингах, в праздничном гаме.

О, народ! Этот праздник возник
Не в бахвальстве напыщенных статуй.
Отдает он не затхлой цитатой
Из давно пережеванных книг.

Посмотри на задворки Парижа,
На асфальт этот — цвета свинца,
Посмотри, посмотри, посмотри же,
На себя, на детей, на отца.

На шофера усталого, что ли,
На усталую эту швею...
О, республика! В горестной школе
Ты историю учишь свою.

Разгляди по верченью рулеток,
По мигающим буквам реклам,
По тому, как старается хлам
Нашуметь о себе напоследок.

Разгляди, наконец, по всему
Вихревую воронку Начала.
Оцени этих лет кутерьму!
Ça ira!.. И пошло, и помчало...

Ça ira! В один миг отхватив
Расстояние между веками,
Возникает веселый мотив,
В баррикады слагается камень.

Он в тебе возникает самом —
Тот мотив! Он в тридцатом не
прерван,
Не обуглен он в сорок восьмом,
Не расстрелян и в семьдесят первом!

Твой хозяин запрет на засов
Магазин, если слушать не любо,
Если страшен раскат голосов
За дверьми якобинского клуба.

Может он прихватить чемодан,
Разменять свою честь на валюту,
Ибо первый сигнал уже дан:
Будет бешено-людно и люто!

Ибо первых же выстрелов дым —
И Париж от версальцев отрезан,
Не своим юбилеем седым,
А декретом Марти и Торреза.

★

Париж

АРКАДИЙ КОЦ

★

Париж, Париж! Кто был однажды
В твоих объятиях живых,
Тот будет помнить камень каждый
И гул парижских мостовых.
Запомнит живость их преданий
О бурной славе прежних лет,
Запомнит жар твоих восстаний
И праздники твоих побед.
Запомнит дни людского гнева,
Когда, несясь, как грозный шквал,
В раскатах мощного припева
Гремел «Интернационал»...

Я знал тебя. Я сам когда-то
Шагал по этим мостовым,
Невольным трепетом объятый
Пред их дыханьем грозovým.
То было в памятное время,
На грани двух веков, когда
Минувший век влачил, как бремя,
Свои последние года.
Из царства векового гнета,
Из стен чудовищной тюрьмы,
Из моря крови, слез и пота,
Где жили мы, где гибли мы,
Оставив кров, поля родные,
Степной равнины ширь и тишь.
К тебе я рвался, — и впервые
Я увидел тебя, Париж!
И, кинувшись в твои просторы,
Спешил я, жадный и хмельной,
Наполнить слух, насытить взоры
Виденьем, вставшим предо мной...

Вот здесь, круша и негодуя,
Раздался бури первый гром,
Когда Бастилию седую

Сметал народный бурелом,
И грохот падающих сводов
Над старым миром прозвучал,
Как клич к восстанию народов,
Как штурма боевой сигнал.
Вот в этой ратуше когда-то
Дышали страстью огневой
Речь Робеспьера, речь Марата,
Дантона голос громовой.
Вот площадь. Здесь, кипя от гнева,
Глядел без жалости народ,
Как шли король и королева
В последний путь на эшафот.

Кружится быстро рой видений...
Стою пред скорбною стеной,
На Пер-Лашез! Иные тени
Здесь вырастают предо мной.
Вот голова... За ней другие...
Ладонь, зажата в кулак...
Глаза! В них — ужас агонии,
Предсмертный свет, огонь и мрак...
Но сквозь пальбу и дым пожаров,
Как свет звезды из темноты,
Сияют лики коммунаров,
Коммуны светлые черты.

Я вышел в город, за ограду...
«Прощай, стена на Пер-Лашез!».
И вновь в Париж, в его громаду,
Я окунулся — и исчез.
Я слился с уличной волною,
С толпой, бурлящей, как в котле,
И славил солнце надо мною
И день грядущий на земле,
Когда последняя расплата
Подымется, как вихрь с полей,

И будет штурм, и будет смята
Бастилия страны моей.

Как облака, промчались годы..
Но вот однажды на заре,
Сгоняя тучи с небосвода,
Поднялся ветер в Октябре.
Как взорванный землетрясением,
Мир изменил свои черты:
Геологическим давлением
Людские вздыблены пласты.
Как будто юная природа
Впервые в мире создала

Людей невиданной породы,
Неокрушимых, как скала!

О, как твое, Париж, обличье
Померкло в блеске наших дней
Пред обаяньем и величьем
Москвы, наследницы твоей!
Не в ней ли, будто в урагане,
Звучит умолкший твой язык,
Внушавший страх и содроганье
Сердцам монархов и владык!
Не коммунарь ли, сын твой юный,
Мужая, крепнет в цвете лет
В великом городе Коммуны,
В стране, несущей мир и свет!

★

Страдиварий на оброне

ПОВЕСТЬ

С. ГОЛУБОВ

★

Знойным летом, ополдень, граф Николай Петрович Шереметев сидел в полутемной опочивальне Останкинского дворца, у постели своей больной супруги Прасковьи Ивановны. По бледному лицу его стекал пот. Совсем на простой, мужицкий, лад — до манер ли тут? — он обтер кружевной манжетой лоб. И, тяжело вздохнув, вымолвил:

— Словно бы в Калабрии или в Сицилии живем... О-ох, Прасковьюшка, друг сердечный! Навек памятно будет мне лето года сего...

Графиня лежала неподвижно и молчала. Доктор Фрез, ловкий щеголь, с «Гамбургской газетой», всегда засунутой под пуговицу шелкового камзола, внезапно появился перед малиновой занавесью алькова. И подал кому-то быстрый знак. Окно опочивальни распахнулось. Жар и свет ворвались в комнату. На подушках четко обозначился острый профиль графини. Исковерканное болезнью, но прекрасное от природы лицо ее выглядело трогательно. Графиня коснулась рукой колена мужа. Вероятно, она хотела что-то сказать ему. Может быть, — ободрить улыбкой. И не успела. Кашель подбросил на постели ее худенькое тело. Голова запрыгала по подушкам.

Граф вскочил с кресла, махая руками и отчаянно крича. Но доктор Фрез живо оттеснил его к выходу из опочивальни. Незаметно Николай Петрович очутился в соседнем покое — огромной зале, полной мраморов, бронзы и весе-

лой игры света в зеркалах. Когда дверь тихонько скрипнула за спиной графа, он выхватил из кармана батистовый платочек. Крепко прижав его к глазам, отвернулся в угол. И неслышно заплакал.

Доктор Фрез неумолим: у графини припадок кашля, — граф может итти, куда ему угодно.

Придерживая у глаз платочек, Николай Петрович медленно вышел на террасу. Из-за полукруглого строя колонн, связанных наверху легким куполом, виднелись убежавшие в горизонт холмы. Они были покрыты бледно-лубоватой зеленью ивняка и темной листвой ольхи. Перед самой террасой лежал английский парк — пахучий лабиринт фиолетовой и белой сирени, калины, черемухи, вишневых и яблоневых деревьев, лип, дубов, татарской жимолости. За переплетом желтых дорожек ослепительно поблескивали покатые стекла парников и оранжерей. Кое-где переливались серебром гладкие пруды в разноцветных ожерельях клумб. Белели стройные мостики, воздушные галереи и павильоны. Один из павильонов был особенно любим Николаем Петровичем. Именно здесь прелести молоденькой Прасковьюшки когда-то распалили его страсть. Здесь чаще всего предавался он теперь сладким воспоминаниям. Павильон звался: «Вместилище чувств вечных».

Пока Николай Петрович оглядывал Останкинский парк, разбитый тридцать

лет назад по указаниям знаменитого Дидро, его мокрые глаза постепенно обсыхали. И вдруг он ощутил мучительное трепетанье в брюхе. Это случилось с Николаем Петровичем всякий раз, когда возникал в нем хозяйственный гнев. Он сильно ударил в ладоши. Обжег их. И рассердился окончательно. На разных концах террасы, которая только-что казалась совсем пустынной, вдруг появились люди, — много людей. Они стремительно бежали к графу, обгоняя друг друга. Впереди неся отставной майор из дворян, исполнявший обязанности церемониймейстера при графском «дворе». Потом — крепостной архитектор. За ним — старший приказчик, «гардемебель», сержант, дозорный, «учитель концертов» и дюжина лакеев.

Граф разгневался не на шутку.

— Блюдолизы, бездельники! — визливо кричал он, держась обеими руками за живот. — Сколько раз уже приказывал я сделать подсадку у «Вместилища чувств вечных» вишнями на голой земле!.. Чтоб весной цветочки на деревьях были белые. Ибо так весьма для глаз приятно бывает... А вы безо всякого прилежания служите, бездельники, олухи... Вишь, дармоеды, что сочинили, — самую простую осину посадили!..

Он вырвал из рук майора палку, с которой этот бывший воин открывал по воскресеньям торжественные шествия графа в церковь. И швырнул в приказчика.

— Воры, дармоеды, воры! — кричал Николай Петрович, спускаясь с террасы в парк. — Воры, воры... Постой, уж научу я вас служить... Воры!..

Брань не относилась к майору. Поэтому он выдвинул вперед свою статую. И доложил не без робости:

— Сиятельнейший граф! Имеет совершиться нынче суд вашего графского сиятельства над купцом Василием Владимировым и подданным вашим, скрипичным мастером Иваном Батовым. Осмелюсь о том на память привести, поелику ответствовать за распорядок и точность всегда должен. Оба лица подсудные с утра ожидают...

— Где?

— У египетского павильона, ваше сиятельство.

Николай Петрович махнул платочком.

— Шествуйте, господин майор, а я за вами вслед...

У египетского павильона стоял высокий человек с бородой, в длинном купеческом кафтане. Завидев графа, он быстро сорвал с головы шапку, потом огладил бороду, одернул кафтан. И так странно поджал ноги в коленях, что вдруг из верзилы превратился в малорослого человечка. Он приветствовал графа всем своим существом: и восторженным выражением одутлого лица, и молитвенно сложенными на груди толстыми руками, и звонкой дрожью тенористого, злого голоса. Это был Василий Владимиров — лучший и известнейший из московских музыкальных мастеров. Его заведение в Каретном ряду славилось с давних пор. Оно было не только мастерской, но еще и школой. Тонкому инструментальному делу постоянно обучалось у Владимирова около десятка учеников. Один из бывших учеников мастера, его многолетний помощник, стоял теперь рядом с ним на коленях и судорожно обминал в руках поля праздничной островерхой шляпы. По виду казалось этому человеку лет тридцать с небольшим. Его худое, бритое лицо было бледно. Острые плечи дергались под голубой ситцевой рубахой. Подмастерье Иван Андреев Батов был шереметевским крепостным.

На желтом песке надпрудной дорожки стояло высокое кресло. Николай Петрович сел в него. И ногой, обутой в бархатную туфлю с красным каблуком, досадливо оттолкнул ласкавшуюся левретку. Потом опустил тяжелые, белые веки.

— Говори, Владимиров, о деле твоём, — угрюмо сказал он.

Владимиров продвинулся на несколько шагов вперед. И стал еще меньше ростом. Его голос заиграл на высокой и сладкой ноте.

— Уж не прогневайтесь за доuku, ваше высокографское сиятельство. Толь-

ко как же мне быть-то с ним, — «купец» махнул бородой в сторону подмастерья, — когда прямой от него убыток имею? Дольше всех работает, злыдень, что хошь! Я и так, и сяк... А он все копается... Вы — наш отец! Рассудите детей своих по правде и милости...

Владимиров еще долго говорил в этом роде, жалуясь на крепостного шереметевского человека. Проработав больше десяти лет в его мастерской, человек этот знал все таинственные свойства смычков, дек и грифов, способные влиять на тон и степень звучности инструментов. Владел удивительной сноровкой слуха и рук. Умел с величайшим тщанием добиваться необыкновенной точности и чистоты в отделке своих произведений. Но решительно отказывался спешить с исполнением заказов.

— Прямой ущерб, — твердил Владимир, — прямой от него имею ущерб, ваше высокографское сиятельство...

★

Николай Петрович жил в таком веке, когда знатному человеку почти невозможно было не уважать наук и искусств. Он и уважал науки. Однако называл их «прилагательными». И почитал «существительною» наукою только одну из всех — «фифиологию». Под этим странным словом он разумел умение пользоваться людьми и обстоятельствами. Любил граф также искусства. Особенно — театр и музыку. Но все-таки важнейшим из искусств представлялось ему то, с помощью которого люди хватают случай за шиворот. В сущности, претензия Василия Владимировича казалась ему справедливой.

Николай Петрович концом туфли ударил собаку в нос и сказал сердито:

— Теперь ты говори, Ванюшка Батов, отчего хозяину не графишь быстро? Да дельно, слышь, говори!

Иван Батов переступил с одной кренки на другую. Праздничная его шляпа выпала из рук. Пониже ремешка, державшего на лбу пряди светлорусых волос, вздулась синеватая жилка.

— Батюшка, Николай Петрович, высокый граф, господин, — сказал он

голосом, который при всех внешних признаках волнения оставался спокойным и твердым, — доношу я вашему сиятельству, что хозяин мой верно на меня, раба вашего, жалится. Изю всех подручных Василия самый я неспешливый. Только не от того, что старания мало, а от большого старания то происходит. Хочу я гордиться каждым инструментом, который из рук выпускаю. Вот, к примеру...

Батов запнулся.

— Ну, Ванюшка?... — отозвался граф, с любопытством прислушиваясь.

— К примеру сказать, батюшка, не просто хочу хлеб заслужить и господину оброк уплатить, а еще душу свою работой насытить. А что Василий Владимирову от меня убыток, — не знаю, как это быть может. Ведь Василий-то мои скрипочки втрое дороже иных прочих уступает...

Батов замолчал, глядя графу прямо в лицо.

Николай Петрович был самым богатым человеком в России. Число крепостных душ, составлявших его родовую и приобретенную «крещеную собственность», подходило к двумстам тысяч. Ему принадлежали промышленные села-города Иваново, Павлово, Ворсма. Между его крепостными мужиками было немало богачей-перекупщиков, «ходивших» в сотнях тысяч рублей. Однако, несмотря на все это, он был из тех людей, о которых говорились: хозяин вокруг дома обойдет — копейку найдет. Николай Петрович любил и умел прижимисто хозяйствовать. И отчетливо знал, что такое выгода. Людское двоемыслие, когда дело шло о барышах, редко сбивало его с толку. Поэтому он без труда уловил в простых речах Батова то самое, чем хотел Василий Владимиров обойти «суд».

Николай Петрович отшвырнул левретку ногой. Кресло затрещало.

— Ты мне, купец, скажи, — спросил он Владимировича, — сколько смычков сделает плохой твой подручный, покамест Ванюшка Батов один приготовит?

— Два-с, два-с, милосердный граф, — с торжеством ответил Владимиров, при-

падая почти до земли в низком поклоне, — говорю, как перед господом... Хоть самому Ивану прикажите доложить, — не оспорит... Не меньше, как два-с...

Николай Петрович махнул белой рукой в перстнях. Молнии пробежали в глазах Владимирова и Батова.

— Вот и видать, что дурень, — грозно сказал он «купцу», — ведь сам же ты соглашался наемни с Иваном, что за смычок его берешь вдвое дороже, чем за прочие. Стало быть, расчесть не трудно, — за меньшую работу имеешь ты от Батова выгоды больше, чем от любого подручного. А это значит, что Батов против своих товарищей несравненно искусен. Ты же лезешь с жалобами, утруждаешь, егозишь... Самую скверную свинью нахожу в тебе я...

Граф гневно поправил парик. И вдруг смутился: а что, как приметилась подлым этим людям скупость в торгашеском его рассуждении? Опасение это окончательно вывело Николая Петровича из себя.

— Вон отсюда, свинья! — закричал он на «купца», топая ногой по песку дорожки. — Вон, борода мерзкая!.. Из Ванюшки моего славный артист выходит, а ты — коверкать?! Да я его, Ивана, за границу пошлю... Вернется — свой Страдиварий у меня будет... Иди, слышь, с глаз прочь. Пошел, брысь! А не то прикажу в кнуты тебя, вшивого...

Граф почти задохнулся от гнева. Владимирова уже не было поблизости. Его длинный кафтан маячил за кустами. Но Батов все еще стоял на коленях.

— Вставай, — сказал граф и протянул руку для поцелуя, — вишь, как рассудили мы тебя с Василием-дурнем. Выходи-ка теперь из хозяйской мастерской, да садись за свой верстак собственный, — бог в помощь! Оно-нхья говорил мне о тебе господин камерный скрипач двора его величества Хандошкин, будто великий вышел из тебя артист скрипичного дела. Старайся, Иван. Впредь будешь инструменты составлять для певческой капеллы моей. Со стороны же брать за-

казы отнюдь не смей. Не хочу того! Понял? Ступай...

Граф милостиво кивнул головой и отвернулся. Старший управитель поднес ему для подписания какую-то бумагу из вотчинной канцелярии. Но Батов не ушел. Он отступил в толпу лакеев, встревоженный и печальный. «Суд» кончился в его пользу. Однако повеление графа работать исключительно на музыкантов шереметевской капеллы казалось ему страшнее любого взыскания.

Иван Андреевич Батов давно уже знал, что хорошая скрипка для виртуоза-скрипача — почти то же, что для певицы голос. Или — отличный оптический инструмент для астронома. Как-то случилось ему прослышать от одного из заказчиков Василия Владимирова, что во всем мире знамениты астрономы Шуберт да Бессель. И что успехами этих ученых навсегда прославлены мастера оптических инструментов Гершель и Фраунгофер. Батов не запомнил имен. Но факт зарубил в памяти. Он хорошо понимал, что яркий свет музыкальных гениев Паганини, Роде и Ромберга падает и на тех мастеров, которые создали для них инструменты. Иван Андреевич был готов на всякие лишения, жертвы и даже на страдания, чтобы стать со временем прославленным скрипичным мастером. Он мечтал добиться в своем ремесле такого совершенства, которое перенесло бы его скромное имя в будущий век.

Но среди музыкантов графской капеллы не было крупных художников. Кто же теперь оценит по достоинству тон и звучность, которые Батов — один только Иван Батов — умеет придавать своим певучим изделиям? Приказ графа Николая Петровича загораживал перед мастером путь. Замешавшись в толпе лакеев, Иван Андреевич переживал приступ горькой тоски. Комок слез застрял в его пересохшем горле. Эх, расподлая жизнь!..

★

За парком пронесся легкий раскат грома. Граф поднялся с кресла, крестясь. Майор захопотал. Процессия быстро

двинулась по дорожке к дворцу. Батов шел в хвосте, все еще на что-то надеясь.

Огненная черта рассекла небо. Страшный удар грома упал на парк. Ветер понес по дорожкам желтый песок. Граф уже не шел, а мчался впереди. Майор с трудом догонял его, предлагая укрыться в ближайшем павильоне. Но Николай Петрович не слышал. Шляпы не было на его голове, — сбросило вихрем. Одной рукой он придерживал парик. Другой — мелко и быстро крестился.

Батов видел, как из дворца навстречу графу выбежал высокий, стройный человек в шелковом кафтане, с газетой подмышкой. Он махал руками, громко восклицая не по-русски. Возле последнего мостика перед террасой граф и человек с газетой сбежались. Граф схватился за перила мостика и застонал, — мокрый с головы до ног, обрызганный до колен грязью. Свиту облетел быстрый шопот. Батов уловил:

— Графиня, слышь, преставилась... Воля господня!..

★

Прошло полгода. Батов делал для графской капеллы вторую скрипку. Его одолевали грустные мысли. Но тщательность батовской работы оставалась попрежнему безупречной.

Готовя к сдаче законченный инструмент, Иван Андреевич радовался этому событию, как празднику. Он нежно оглаживал тонкое тело красавицы-скрипки ласковыми пальцами. И, прощаясь, шептал:

— Голубушка, проказница, резвушка...

Скрипки были для него живыми существами, детьми любимыми и дорогими. В каждую из них он вкладывал то лучшее, что было в нем самом, — жаркую страсть любителя и талант мастера.

Он был счастлив среди пил, пилок, терлугов, ножей, струн, винтиков, смычковых палок, футляров со скрипками, альтами, виолончелями, басами, контрабасами, — среди звонкого мира вещей, заполнявших его низенькую рабочую каморку...

★

В мастерскую Батова вошел человек. Медвежья шуба на нем была распахнута. Букли парика развились и падали белыми клочьями из-под шляпы, лихо надетой набекрень. От человека этого воняло водкой и луком. Его глаза слезились, лицо было оранжевого цвета.

— Хандошкин, — назвал он себя, устало отдуваясь и без церемоний усаживаясь возле хозяйского верстака.

Иван Андреевич вздрогнул. Гость был знаменит. Имя виртуоза-скрипача и композитора Ивана Хандошкина гремело в те годы в России и за границей. Сын бедного портного, он необыкновенным талантом пробил себе путь в Италию. Учился у Тартини. Победоносно соперничал с Виотти и Местрико. И состоял теперь камерным музыкантом российского двора. Хандошкин написал больше ста сочинений для скрипки. Екатерина и Потемкин восхищались ими. Но никакие успехи не могли вытравить из него жгучей памяти о пережитых в молодости обидах.

— Ваня! — хрипло проговорил он, обращаясь к Батову так, словно давным-давно знал его, — вот что, Ваня... Ты не смотри, что от меня сивухой разит... Я — Хандошкин! Вчерась пробовал я в графской капелле по желанию Николая Петровича новую твою скрипку. Не в первый раз просит он меня сказать, что за человек ты. Еще летом, когда ты у Владимирова в подручных состоял, я твои скрипки проверял. И с той самой поры твержу графу, что ты, братец, — великий мастер. Артист ты, вот что, Ваня!

Иван Андреевич смотрел на Хандошкина с горьким удивлением.

— Барин твой — полный урод. Ты ему славу и честь принести можешь. А он не хочет, чтобы ты работал на посторонних музыкантов. Ур-родина!

Хандошкин вдруг побледнел и спросил деловито, отрывистым басом:

— Водка есть?

Жена Ивана Андреевича, круглолицая Аксинья Кузьминична, вскинулась, захлопотала у печки.

— Гаврюшенька, беги-кось на угол за чистой...

Старший сын Батова, Гаврила, подросток лет четырнадцати, живо накинуд рваный ягнячий тулупчик и метнулся за дверь.

Хандошкин говорил:

— Все взбесился барин твой, Ваня, после смерти супружницы, ей-ей... На Останкине, Кускове, на Москве и богатствах, им же счету нет, в шереметевском роду испокон веку собранных, — на всем крест ставит...

— Любил, слышь, его сиятельство графиню-то свою, — сочувственно отзывалась Аксинья Кузьминична.

— Молчи, баба! — сердито крикнул Хандошкин. — Болтать неча, коли понятия нет. Любил, любил... — передразнил он Аксинью, — да разве такой человек любить может? Прыгнула покойница в истомленное его сердце прямо со сцены. А допрежь того актеркой на крепостном Останкинском театре была. И знавал я ее попросту Прасковьей Жемчуговой, холопкой природной. Не слышали, небось, о том? Вот тут и надобно понять, в чем необыкновенность случая заключена. А ты: любил... любил!..

Хандошкин схватил скрипку и скользнул по ней смычком. Его хриплый бас дружно пристроился к голосу послушно го инструмента:

— Здравствуй, девица-красотка,
Из какого ты села?

— Вашей милости крестьянка. —
Отвечала ему я...

Эту песню, сочиненную покойной графиней Прасковьей Ивановной, певали во всех шереметевских вотчинах. И Батов хорошо знал ее. Но никогда не подозревал, что в ней рассказана начальная история любви его господина. А между тем Хандошкин говорил правду. Именно так все и было: потрясенный чудесной новизной своего чувства к крестьянке, граф Николай Петрович не убоился скандала и женился.

Хандошкин отложил скрипку. И захотел, приговаривая:

— По части любви страстной на свете нет стариков, а есть одни лишь лени-

вые. Счастливо жил со своей холопкой Николай Петрович, слов нет. А теперь — тю-тю... Любовь, любовь... Никакой тут любви не было и нет... Горюет же он оттого, что под ударом судьбы рушился единственный закон всей его жизни. И остался он при порожнем корыте. Ась?

— Что же то за закон жизни его? — с тревожным любопытством спросил Батов.

— Закон прихоти, Ваня, — отвечал Хандошкин, грозя кому-то кулаком, — есть такой закон — простейший. Всегда был Николай Петрович тяжким бременем для многих десятков тысяч людей. Ныне же ощущает он в существовании своем бремя для самого себя. И уж ничего на свете нет, что могло бы ему удовольствие доставить. Вчерась шептал мне, что спать совсем перестал. Каково это? На сына-малютку смотреть не хочет. Сбирается вовсе бежать из Москвы, чтобы всю жизнь кругом изменить до корня. Скатертью дорога!..

Хандошкин передохнул.

— А ты, Ваня, о чем думаешь? Надо бы и тебе лыжи вострить...

— Куда же мне вострить их? — с недоумением проговорил Батов. — Смеяться изволите надо мной, господин Хандошкин...

— Как, то-есть, куда? Тетерев ты, косач глупый... На волю, вот куда!

При слове «воля» Иван Андреевич затрепетал. Никогда не относился он к этому слову равнодушно. И теперь жадно глядел на гостя, — что еще скажет этот удивительный гость? В горницу влетел розовый от мороза Гаврила. Хандошкин ловко вырвал из-под его полы штоф.

— На волю! — загремел он. — Али хочешь ты, Ваня, чтоб и сынишка твой до гроба ползал перед уродами? Не хочешь? Ага!.. Так ты сделай, чтобы имя твое на весь свет славным стало... Чтобы без попреков и стыда не мог байбак тебя в собственности своей содержать... Вот как сделай!

Он хлебнул из бутылки. И забыл закусить.

— Силен ли Гаврюшка твой в мастерстве?

Иван Андреевич грустно покачал головой.

— Несручный он у меня. Бился я с ним, бился — ничего перенять не может. Только и дошел, что песенки на скрипке ладит. А к мастерству необычен вовсе...

Гаврила стоял у двери, опустив руки и сторбившись... Акси́нья Кузьминична вытирала глаза. «Несручность» сына к отцовскому ремеслу была большим впросом в семье Батовых.

— Сгинет парень, коли таланту нет, — говорил между тем Хандошкин, прихлебывая из штофа, — сгинет на господском оброке. Уж это так! Выводи-ка лучше сам себя, Ваня. из крепости, — тебе легче. За тобой и Гаврюха выйдет. Верно говорю...

★

Дверь распахнулась. В горницу вступил огромный человек в расшитой галунами ливрейной шинели. Он отбил с сапог снег у порога, затем, отдуваясь и хлюпая носом, полез за пазуху.

— Скрипичному мастеру Ивану Батову из вотчинной села Останкина канцелярии, именем его сиятельства графа Николая Петровича Шереметева, непрменный указ.

Иван Андреевич сбросил со лба на нос очки в медной оправе и развернул бумагу. Несколько минут он читал про себя, неслышно шевеля губами. Ровные строчки приказа разбегались у него в глазах. Лихие завитки писарского почерка прыгали и катились с голубоватого листа вниз.

— Да ты вслух чти, вслух, Ваня, чти, — взмолилась, наконец, Акси́нья Кузьминична.

— И впрямь вслух, — сказал Хандошкин.

И выдернул указ из побелевших пальцев Ивана Андреевича. В бумаге значилось: скрипичному мастеру Ивану Батову предложит вместе с семьей немедленно сниматься с места для переезда на жительство в город Санкт-Петербург, ибо графу благоугодно было перед отъездом своим из Москвы, на завтрашнее число назначенным, в список необходи-

мых к отправлению людей и предметов включить и его — скрипичного мастера Батова.

Первым заревел Гаврила. Потом застонала, заахала Акси́нья. Иван Андреевич стоял перед верстаком неподвижно. Переезд — зачем, почему? С одной стороны, это, повидимому, было признаком благоволения господина. С другой — ломало жизнь и бросало всю семью Батовых в непонятное будущее.

— Коли ты, Батов, грамотен, — положи руку в прочтении, — сказал посланный из графской канторы.

Иван Андреевич расписался. Хандошкин отставил штоф на подоконник. И поднялся с табурета. Его багровое лицо было серьезно.

— Не тужи, Ваня, авось, не пропадешь и в Питере. С талантом нигде не пропадешь, братец. Славу, славу зарабатывай. Да попомни слова мои насчет... того самого..

Он подозрительно оглянулся на лакея. И добавил:

— Чего курочки не клюют...

А затем вплотную подошел к Ивану Андреевичу. Туго обнял его за шею и шепнул:

— Воли ищи, дружок!..

★

Фортепьянная мастерская Гаука плавала в звуках. Вырываясь из окон, они наполняли собой почти всю Большую Садовую улицу, — от Публичной библиотеки до Третьей с'езжей.

Рыжий, как подсолнух, Гаук прохаживался между коричневыми ящиками инструментов, стуча фортепьянным ключом по головам учеников.

— Клавиш белый, клавиш черный, а русский дурак — всегда дурак. — приговаривал он свою любимую побасенку.

Если Гаук не играл в соседней портерной на биллиарде «для моциона» или не пел, запершись в своей комнате, лютеранских гимнов, он обязательно прохаживался по мастерской. И бил ключом учеников. Кроме этого, ничего другого он никогда не делал.

Среди учеников был один, вовсе не похожий на прочих. Уже немолодой,

молчаливый, он с очевидной неохотой занимался фортепьянным делом. И трудно было понять, зачем, собственно, каждый день, с раннего утра, приходит он в мастерскую Гаука.

Хозяин часто бранил его:

— Осел ленив, бык ленив, Иван Батов ленив... О, как ленив! Буду доносить ире ерлаухт¹. Потом сечь буду, стегать буду...

Иван Андреевич угрюмо выслушивал ругань. Не лежали к фортепьянному делу его искусные руки. И стоило Гауку выйти из мастерской, как Батов уже снова сидел, подперши кулаком худую щеку. И грустно думал о скрипках-резушках, к которым накрепко привязано было его сердце...

Вскоре по переезде в Петербург пришло к нему приказание графа Николая Петровича явиться в Ульянку — на графскую дачу по Петергофской дороге. Николай Петрович не хотел видеть людей. И потому поселился не в пышном шереметевском дворце на Фонтанке, а в сыром и холодном ульянском доме.

Лакеи провели мастера в кабинет — огромную, полутемную комнату, на стенах которой круто пузырилась от сырости золоченая кожа. Граф сидел у окна, в бархатной шубке. Белое, как лист чистой бумаги, лицо его распухло от бессонницы. Глаза были неподвижны. Батов хотел встать на колени.

— Не надо, Иван, — равнодушно сказал граф, — вовсе не надо мне этого. Другое мне нынче потребно: кончай, слышь, делать скрипки. Довольно ты их наделал...

Батов почувствовал, как тело его вдруг стало легким и словно прозрачным. О чем это говорит граф? Не услышался ли Батов?

— Кончай делать скрипки. Довольно. Будешь учиться фортепьянному мастерству. Всему у меня ныне на новый лад надлежит быть, всему без из'ятия... Понял?

Батов опустил глаза. И увидел кончик своего носа. Он был зеленый. Граф, пузыри золоченой кожи, разноцветные

узоры паркета, — все завертелось. Да как же это? Что ж делать-то?

— О-ох, — простонал Иван Андреевич, — о-ох, жизнь лютая!

Горячие слезы потекли по его лицу. Граф отвернулся и сделал слабый знак рукой.

И вот Батов — на выучке в фортепьянной мастерской Гаука. Легко ли в тридцать шесть лет переучиваться заново? Да и зачем переучиваться, когда осталось только совершенствоваться в старом мастерстве? Иван Андреевич тосковал. Графская прихоть давила его. Что делать?

★

Гаука в мастерской не было. День кончался. Батов со вздохом сложил инструменты в мешок и надел шапку. Потом натянул на плечи казинетовую чуйку с короткими рукавами.

Петербург утопал в жидкой мартовской грязи. Прохожие бежали по дощатым мосткам, проложенным вдоль домов. Пронзительный северо-западный ветер дул с присвистом. Сумерки густели с каждой минутой. Батов хотел было остановиться возле квасника, чтобы выпить кружку теплого суsla. Так он делал каждый вечер, возвращаясь из мастерской. Петербургская сторона — путь не близкий. Но сегодня жестокая тоска не пускала его домой. Он торопко прошел мимо квасника, вглядываясь в вывески и отыскивая одну, недавно отмеченную:

«Погреб Вавилон или вход в источник красноречия.»

*Здесь веселится компания,
Без ссоры и руганья».*

Никогда раньше не случалось этого с Батовым. Сладкая дрожь пробежала по его телу, едва поровнялся он с кабаком. Ноги сами перенесли его через высокий порог.

Брюхастый сиделец разливал за стойкой вино. Лампа, подвешенная к черной потолочной балке, мигала красным языком. В «Вавилоне» воняло спиртом, махоркой, мокрой овчиной. Иван Андреевич подступил к стойке. Выложил перед кабатчиком два алтына. Порылся в

¹ Его сиятельству (нем.).

кармане и бросил еще три. Кабатчик отлил. Жидкость остро ударила в нос и глаза. Батов закусил селедочным хвостом. И снова выпил.

У стены за столиком сидели двое — мещанин в полушубке и лакей в шинели со множеством пелеринок, одна короче другой. Батова поразили слова мещанина:

— Вам, конечно, невдомек, — говорил он, обращаясь к лакею, — как вы всегда в господском доме проживаете. А нам, как мы человек бывалый и даже на Новую Землю ездили, все досконально известно. И потому оный Коперник несообразен с истиной, и сам я на Новой Земле видел, как солнце кругом катается, земля же неподвижно на месте уставлена...

«Как это — солнце кругом катается?» — подумал Иван Андреевич. И, со стаканом в руке, подошел к собеседникам.

— Все сие середь дня брехня, — возражал мещанину лакей и ставил на край столешницы локоть.

Но локоть тотчас же срывался вниз, увлекая за собой грузную голову своего хозяина.

— На это моего согласия нет. Выпьем!

И они чокались.

Вскоре Батов сидел вместе с ними и тоже чокался. С непривычки он захмелел быстро и сокрушительно. Лакей выводил песню:

Как пошел наш козельчик
Во лесочек гулять;
Зум-зум, зум-зум,
Во лесочек гулять...

Мещанин ругал Коперника. Иван Андреевич заметил, что философ кос. Одним глазом он глядел кверху, а другим будто искал чего-то на земле. Этот природный недостаток мещанина показался Батову достойным великого сочувствия. Он вспомнил о своих собственных горестях. И заплакал.

— Дружок, — говорил он мещанину, — несчастные мы с тобой... А уж мне как обидно, сердечно обидно! Дай-ка палец свой, дружок, не бойся, дай сюда... Чуешь слезы мои?

Палец мещанина бродил по мокрым щекам Ивана Андреевича. А пятерня шарилась в кармане батовских штанов. Неожиданно обнаружив это, мастер закричал:

— Эй, любезный, что ж ты...

Но тут произошло непонятное. Мещанин изо всей силы ударил Батова в ухо.

— Держи вора! — взвизгнул он бабьим голосом и исчез.

Кабатчик живо выскочил из-за стойки и кинулся к двери. Батов еще соображал, что именно случилось, как в горнице, среди облаков дыма, замаячила фигура в треуголке и куцом мундире с узенькими фалдочками. За этой фигурой виднелись две других, в куртках серого сукна и в киверах, похожих на пивные жбаны. Длинные ржавые алебарды покачивались в руках бутарей.

— Друг у друга воруют-с, ваше благородие, — говорил кабатчик квартальному, — дерутся-с... Насмерть бьют-с...

Бутари выступили вперед. Квартальный быстро и ловко стукнул Батова по лицу костяшками пальцев, Иван Андреевич ощутил на языке горячую соль.

★

Полицейская часть оказалась недалеко. Задержанных встретил пристав, из бывших морских офицеров. Уже несколько часов подряд он был сильно занят: составлял для памяти длиннейший реестр пасхальных приношений, поступивших за последние дни в часть от домовладельцев, фабрикантов, трактирщиков и содержателей публичных домов. Появление задержанных отвлекло его от этого интересного и приятного дела.

«Вот чортова служба, ни минуты покоя!» — раздраженно подумал он, выходя в канцелярию. И спросил грозно:

— Господские люди?

Лакей повалился в ноги:

— Милостивец, не погуби...

Пристав сердито зевнул. И, перекрестив рот, отвернулся.

— На ночь обоих в подвал, — приказал он, — а утром мести улицы с арестантами. Засим — по двадцать пять

каждому в пересыпку и при записках разослать по господам.

Подобно всем старым морякам, постав был скор в решениях. И немногословен в способе выражения самых сложных мыслей. Под «пересыпкой» он разумел телесное наказание палками и розгами по очереди с обеих сторон.

★

... Постоянное население подвала состояло из больших рыжих крыс, известных под названием «водяных».

Батов уже несколько раз сбрасывал себя этих вонючих зверей. Наконец один из них куснул его за руку с таким остервенением, что Иван Андреевич вскрикнул.

— А ты, маята, не кричи, — мрачно сказал лакей, повидимому, неоднократно вытрезвлявшийся и раньше в полицейских частях, — кричать завтра под розгой будешь...

Батов ничего не ответил. Чувства и мысли как-то странно застыли в нем. О розгах он не помышлял вовсе. Они были лишь опротивительным дополнением к основному, главнейшему бедствию. Славного скрипичного мастера Батова нет и больше не будет. Хандошкин ошибался: талант не спасает, а губит...

Неожиданный шопот лакея вывел Ивана Андреевича из оцепенения.

— Мать пресвятая пятница, — шептал лакей, — светы мои, решетка-то, кажись, не замкнута...

Батов вскочил, словно в нем развернулась могучая пружина. Он не знал, о какой решетке говорит лакей... Все равно какая... Но ведь она не замкнута... Действительно, по застарелому недосмотру, оконная решетка подвала свободно ходила взад и вперед под рукой батовского товарища. Стекол в раме не было. Окно глядело на задний двор полицейской части, и прямо оттуда поступали в подвал холод и вонь помойных ям. Лакей выдохнул:

— Бежать нады-ть...

★

...У Казанского собора дороги Батова и лакея разошлись. Скоро Иван Андре-

евич вышел к Неве, на набережную, неподалеку от Исакиевского разводного моста. Ветер гудел, разворачиваясь в бурю. Синие тучи катились по серому небу и рвались в клочья. Вокруг Батова все вертелось и плясало.

Нева еще не вскрылась. Но лед уже пучился и страшно голубел на разводьях. Батов огляделся и прыгнул с набережной. Под ногами треснуло, ухнуло. Однако снежный наст был тверд и крепок.

Батов подтянул на чуйке ремешок и поглубже надвинул на лицо шапку. Затем пустился наискось, к крепости, старательно обходя темные пятна разводий. Впрочем, метель живо забросала провалы снегом. Пятна исчезли. Тогда Иван Андреевич зашагал быстрее, — оставалось надеяться только на удачу.

★

...Рядовой лейб-гвардии Семеновского полка Ефим Голиков бежал в казармы. «Термин» его дневного отпуска наступал через полчаса. Ровно через полчаса ему надлежало стоять перед дежурным по батальону офицером с рапортом о явке. А между тем Голиков должен был еще перейти бесконечную Неву. Да и за Невой до казарм Семеновского полка — не ближний свет... Сидя на Петербургской стороне у земляка-огородника, солдат не рассчитал времени.

Ефим Голиков бежал по льду, не обращая внимания на опасные места, — как попало, без размышлений и остановок. Страх опоздания гнал его прямо вперед. Буря рвала полы жесткой шинели, била в глаза и резала щеки льдистой пылью. «Видать, и верно, что на небесах креста нет» — пришло на мысль Голикову. Но он сейчас же отбросил эту мысль, как греховную. Он не хотел, чтобы к ожидавшему его земному наказанию присоединилось небесное.

Сильно рвануло ветром и загудело, словно в избе под клетью. Откуда-то принеслись легкие запахи сена, навоза и дегтя. Голиков вдруг представил себе добрые глаза молодой рыжей буренки, которую оставил дома пять лет назад. Стояла буренка всегда в сарайчике, неходяя гумна. А под ее набухшим ро-

зовым выменем — ведро. Теплая струя парного молока звонко ударяет о днище. Хорошо дома! Вот буренка махнула хвостом. И задела Ольку по уху. Олька заревела. Анята, жена, шлепнула ладонью по крутому коровьему боку и крикнула:

— Батюшка, подь сюда, христа ради. Уведи ты Ольку в избу. Из'егозилась тутотка, ничем не выгонишь...

Старик воткнул вилы в навоз. И, обтирая руки о клок сена, побрел к сараю. Хорошо дома! Каково-то после службы через двадцать лет будет... Каков-то еще сам Голиков будет, отмаячив на учениях и парадах двадцать лет...

Вой ветра донес до солдата слабый крик. Анютин голос лишь попритчился, а этот был настоящий. На Неве по ночам часто грабили. Ахнет ограбленный раз или два, отбиваясь от воров. И примолкнет, уткнувшись разбитой головой в снег.

Но человек не переставал кричать. Голиков невольно придержал быстрый шаг. Что бы это могло быть? Неужто в польный бедняга попал? Чего проще... Голиков остановился. И оглядел белое провалье метели. Человек кричал. От его криков страх Голикова перед последствиями опоздания как-то вдруг ослабел. Пожалуй, еще и можно было бы поспеть в казармы до «термина». Надо только не задерживаться ни на секунду. И точно итти своим путем. Но ведь тонет человек-то... Голиков уже почти не думал об опоздании. Крики прерывались, как далекий собачий лай. Солдату причудилось, будто в глазах встало: барахтается в польнье тонущий человек... Ломаются вокруг него кромки хрупкого льда. Больше Голиков не раздумывал. Обдернув на себе шинель и крепко прижав локти к бокам, как на ученьи, он помчался широким, ровным, беговым шагом навстречу крикам.

★

...Когда Батов и Голиков добрались до Василеостровской набережной, — она казалась по расстоянию до берега всего ближе, — пурга еще усилилась. Казинетовая чуйка Ивана Андреевича превратилась в твердый ледяной панцирь. Ве-

тер поддувал и подсвистывал с неистовой злобой.

— Лезь, лезь, — говорил Голиков Ивану Андреевичу, — али не в силах?

Батов хотел ответить. Но губы его были деревянными, а язык таким непослушным, что вместо ответа Голиков услышал только:

— Ы-ы-ы-ы!..

— Эх ты, парень, — сказал Голиков, — вишь, как разобрало...

Он живо вскочил на гранитный молик. И, сняв с себя тесачный ремень, опустил его вниз. Иван Андреевич ухватился и пополз. Голиков старался разглядеть спасенного им человека. Батов дрожал, странно ударяя руками по коленям. Ему казалось, что тело его смерзлось с ледяной шкурой чуйки. А чуйка — с ветреной и морозной ночью. И все вместе составило один нестерпимый холод. Голиков заглянул в глаза Ивана Андреевича и поразился: мутная пленка покрывала полумертвые глаза.

— Эге, парень, — сказал Голиков, — быстро стащив с себя шинель, набросил ее на Батова, — куда же теперь вести тебя?

— Ы-ы-ы! — отвечал Иван Андреевич.

Из белого ада вьюги вынырнула лошадь. За широкой спиной кучера сидел в санках закутанный в шубу офицер. Порывавшись с тем местом, где происходило переодевание, санки остановились посреди набережной. Офицер выскочил из-под медвежьей полости. И, быстро шагая к берегу, пальцем манил к себе Голикова. Солдат подбежал по уставу: за четыре шага отдал честь, а за два замер, вытянувшись во фронт.

— Кто таков? — спросил офицер.

— Отпускной, ваше благородие, — тихо отвечал Голиков.

— Покажи билет!

Голиков сунул было руку за левый обшлаг мундира. И вздрогнул, но не от холода уже: билета за обшлагом не было. «Когда снимал шинель, выронил, ветром угнало, — мелькнуло у Голикова в голове. — Царь небесный, что ж теперь будет?..»

Офицер махнул перчаткой и закричал:

— Врешь, лайдак... Не отпускной, а бегун ты! Со службы его императорского величества бегун... Или не вижу — уж и перевзвездку затеял, знаю я вас... Под видом сего человека пьяного уйти хотел... Знаю...

Офицер кричал и ахал от злости. Голиков сказал отчаянным голосом:

— Никак нет, бог видит, человек тонул, ваше благородие...

— Человек? Тонул? Медаль за спасение погибающих вздумал получить? Я покажу тебе медаль! Свол-л-лочь!

Офицер примолк на мгновение. Для Голикова это мгновение тянулось ужасно долго. Вероятно, оно не было коротким и для офицера. Обдумав что-то, ему одному известное, офицер перестал шуметь и ругаться. В его голосе послышалось даже нечто ласковое, когда он повернулся к Батову.

— Пьян?

— Не-ет, — выстукал зубами Батов.

— Не пьян? Хм! Ну что ж, и то дело... Садись ко мне в сани, вот так. А ты, бегун, на облучок к кучеру примостись, — едем!

— Куда? — хотел спросить Батов.

Но не сумел выговорить нужное слово. Лошадь рванула. Подреза взвизгнули. Снег залепил глаза и рот мастера. Василеостровская набережная полетела назад...

★

Комендантский ад'ютант поручик Суровцов возвращался домой из Демутова трактира в необычном настроении духа. Полчаса назад за карточным столом в трактире он чрезвычайно удачно исправлял ошибку фортуны. Золото богатых партнеров уже приятно тяжело его карманы. И все, вообще, шло превосходно.

Вдруг пьяный банкومت обозвал его шулером. А соседний понтер поднес к длинному носу поручика здоровенный кулачище. И нагло пригрозил оплеухой. Немедленно оставив трактир, Суровцов поскакал домой.

«Хорошо бы, чорт возьми, какого-нибудь ребенка вытащить из пожара, —

размышлял он, выезжая на Василеостровскую набережную, — или хоть отбить человека от толпы грабителей. Тогда — благодарность в приказе и в свете — шум... Начнутся толки: «Вы слышали про Суровцова?». — «Да, но расскажите подробно, как и когда это было?». — «Представьте, в тот именно вечер, когда этого благороднейшего человека ни за что, ни про что обругали у Демута...». — Ах! Хорошо бы, чорт возьми! Но... пожар и грабители... Хм! Сгоришь или самого ограбят, чорт возьми! Нет, это не то, не то...».

В таком именно настроении находился поручик Суровцов, когда налетел на обмерзшего Батова и полураздетого Голикова.

★

...В дежурной комнате комендантского управления, куда поручик привез своих пленников, было тихо и сонно. Полдюжины гарнизонных инвалидов спали у печек и по углам. Два унтер-офицера дремали на стульях, запрокинув назад головы. Все это вскочило и заметалось, когда в комнате появился Суровцов.

Поручик прошел за ширму. Там храпел на кожаном диване, застегнутый на все крючки и кнопки, дежурный ад'ютант. Суровцов разбудил его. Офицеры долго говорили по-французски. Наконец, дежурный ад'ютант захохотал, зашелкал языком. И, снова опрокидываясь на диван, сказал Суровцову уже по-русски:

— Плыви, моя гондола... Благословляю!

После этого Голикова увели в арестантскую. А Батова втокнули в обширный кабинет, ярко освещенный несколькими многосвечными канделябрами. Вода ручьями стекала с Батова. Его сапоги жалко хлюпали в огромной луже, разлившейся по зеркальной глади паркета. Иван Андреевич решительно не понимал, что с ним происходит.

Поручик Суровцов закурил сигару. Раскинувшись в большом кресле, у заваленного бумагами стола, он внимательно посмотрел на Батова. И улыбнулся:

— Экая фигура у тебя, братец мой! Прямой, можно сказать, встамп...

Батов опустил глаза и увидел лужу. Поручик еще раз добродушно улыбнулся. А потом вдруг нахмурился.

— Кто ты таков? — спросил он Батова.

Иван Андреевич рассказал о себе все, — вплоть до того, как попал в невольную полынью. Суровцов нахмурился еще грозней. И крепко почесал длинный нос, отчего по нему расползлись беловатые узоры.

— Итак, любезный, ты утверждаешь, будто спас тебя беглый солдат?

— Он-с, — пробормотал Батов, — только того не знаю, беглый или нет...

— Хм! Значит, ты хочешь одного беглого солдата вовсе сгубить... Что? Не хочешь? Нет, любезный, непременно так, — именно этого ты и хочешь, потому что солдат, затеявший для сокрытия следов своих при бегстве поменяться с тобой одеждой, уже не солдат, а изменник присяге и государю. Погубишь ты солдата того безвозвратно...

Батов замер в ужасе. Эта мысль не приходила ему в голову. Глядя на сердитое лицо поручика, он чувствовал себя в такой страшной яме, по сравнению с которой подвал Казанской полицейской части был вершиной благополучия. Погубить своего спасителя, — да разве мог желать этого Батов?

— Ваше благородие, — быстро проговорил он, — не затем солдат шинель снимал. Будьте милостивы, — поверьте, оттого снимал, что захолодал я сверх меры.

Поручик ударил кулаком по столу.

— Ага, завертелся, ярыга! Да, может, ты и сам у него шинель отобрал? А? Говори прямо!

— Сам отобрал... — прошептал Батов.

— То-то... Кажись, в разум входить начал, — опять ласково сказал поручик. — Вот теперь и подумай, дружок. Сдается мне, что не солдат вовсе тебя из полыни вытащил, а? Подумай, да глянь-ка на меня попристальней, любезный... Не узнаешь, кто вытащил тебя?

Батов хотел ответить отрицательно. Но темная догадка вдруг откуда-то вынырнула. И, раскрыв уже рот, он по-

перхнулся. Несколько минут Суровцов и мастер молчали...

★

— Тэк-с, любезный, — серьезно и доброжелательно вымолвил поручик, — бывает иной раз, что причудится спяна человеку всякая дрянь. А потом и несет тот человек околесную. Это самое, как вижу я, с тобой теперь приключилось. Но ты пойми, дружище, весьма простую вещь. Ведь при таком случае надобно, чтобы всем хорошо было. Ты слышь, крепостной человек графа Николая Петровича? И мастер, говоришь, редкий по скрипичному делу?

— Не мне судить о том, сударь, — сказал Батов.

— Знаю, знаю... И детки, небось, имеются? Тоже — по скрипичному делу?

Иван Андреевич рассказал о Гавриле, об его несручности к мастерству. Упомянул, что на скрипке начинает изрядно ладить. Поручик покачал завитой головой.

— Вишь ты... Значит, быть твоему Гаврюшке крепостным у графа скрипачом. И то — дело. Ныне покупают-продают скрипачей нехудых по двести целковых за душу, — дешевле лягаша хорошего. И не в пример намного дешевле матки английской с конского завода. Но и то дело...

Поручик вынул сигару изо рта и задумался. «К чему это клонит он? К чему клонит?» — со страхом соображал Иван Андреевич. И удивлялся грустному выражению лица Суровцова. Было похоже на то, что поручик растроган тяжелой судьбой Гаврюшки. В самых словах его о невысокой цене на крепостных скрипачей — жестких и барышнически грубых словах — Батов уловил тонкую нотку сочувствия.

— Тэк-с, тэк-с, любезный, — продолжал Суровцов уже совершенно теплым голосом, — коли ты не вовсе дурак и себе не неприятель, послушай, что из ночного твоего приключения выйти для всех может. Надобно для сего только, чтобы согласился ты подписать сейчас объявление, что из лю-

лыньи я тебя собственноручно вытащил, как оно, впрочем, и на деле было. От сего произойдет, во-первых, что солдата беглого ты тем самым от тягчайшего наказания избавишь. Пойдет солдат от нас прямо в казарму, при моей записочке и будет служить себе с богом, как и допрежь сего. Дальше: надлежит тебе ведать, что я персонально вхож в дом господина твоего, графа Николая Петровича. И ежели ты Николаю Петровичу редкий какой-нибудь инструмент изделия своего поднесешь, то, пользуясь сим случаем, обещаюсь я перед графом ходатайствовать о даровании тебе с семьей увольнения из крепости, как человеку, мною спасенному. И уверен я, что граф уважит. А что, собственно, до сына твоего Гаврюшки, — дело вполне пустое. Скажу — и принят будет скрипачом в Демутов трактир. Ну-ка, рассуди обо всем, любезный, да скорей языком шевели...

Поручик еще не кончил своей речи, а Батов уже плакал. Слезы текли из его глаз двумя потоками. В сердце и в голове его все перепуталось. Он не предполагал никогда, что бывают в жизни такие случаи, когда ложь оказывается полезней правды. А сегодняшний случай был именно таков. На доводы поручика невозможно было возразить никакими другими. И вместе с тем, при всей очевидности несомненного блага, которое должна была дать ложь Батова, что-то связывало его язык. Он тихонько плакал и молчал.

— Экий оболтус ты, любезный мой, — ласково сказал поручик, — право! Да ведь солдатик-то беглый в ножки тебе поклонится, коли ты его от «зеленой улицы» освободишь. Ты бы хоть это в разум взял. Ну, скажем, и сын, и собственная воля, — все тебе ничо чем. А человек-то живой под удары смертные из-за глупости твоей пойдет, — это каково?

Батов взглянул на поручика. Иван Андреевич понял, что уйти от этого человека нельзя. «Проклятый!» — с крайним ожесточением, почти с ненавистью в сердце, подумал мастер. И сказал:

— Где прикажете руку приложить. ваше благородие?

★

Не напрасно около двух лет ходил Батов в мастерскую Гаука. Замечательная сметливость в инструментальном ремесле и здесь вывела его вперед. Он постепенно овладел всеми секретами фортепьянного производства. Естественно: первый же инструмент, изготовленный им к осени для подношения графу Николаю Петровичу, оказался по силе звука, точности тонов и изяществу отделки решительно выше всего, что когда-нибудь выпускала в свет мастерская Гаука.

Батовское фортепьяно отправили в Ульяновку. Через несколько дней туда же был вызван и сам Иван Андреевич. Он шагал по гладкой петергофской дороге и обливался потом, несмотря на то, что со взморья дул холодный и резкий ветерок. Нетерпение подгоняло мастера.

В старинном деревянном флигеле ульянского приказчика, за чайным столом, Батов узнал странные вещи о Николае Петровиче. За месяц граф старел больше, чем другие стареют за год. По-прежнему не спал по ночам, постоянно окруженный чтецами, музыкантами, рассказчиками. Даже и днем не ложился в постель. Он с часу на час ожидал смертной минуты. И ждал явиться на загробное свидание с графиней Прасковьей Ивановной обязательно в прибранном виде. Случалось и так, что посещали его страхи. Слепая ночь вдруг обнимала графа среди яркого полдня. Словом, Николай Петрович изнемогал.

Именно таким, изнемогающим, увидел его Батов в кабинете большого ульянского дома поздно ночью. Граф сидел у окна в коротенькой бархатной епанче испанского покроя, подбитой соболями. И медленно говорил кому-то из находившихся в кабинете:

— Гудут мои кости... Слышишь? Нет? Неужто нет? А я ясно так слышу — гудут, ох, гудут...

Глаза его были наполовину прикрыты красными веками. Лицо желто, как

лимонная цедра. Он хотел музыки, чтобы не слышать стопа своих костей. Батовское фортепьяно стояло в углу. Человек в синем фраке сел за клавиатуру. И вот сильные, мягкие и отчетливые звуки наполнили кабинет. Батов приткнулся к дверной портьере. И наслаждался, вовсе забыв о своих планах. Наконец музыкант встал. Шопот похвал разбежался по кабинету. Многие жали музыканту руки. Поручик Суровцов с азартом ударял себя кулаком в грудь, украшенную золотисто-бронзовой медалью за спасение погибающих.

— Превосходно, — с трудом выговаривал граф, приподнимая веки и поднося кончики пальцев к бледным губам, — но что скажете вы, господин артист, об инструменте?

— Ни в Париже, ни в Вене я не играл на таком точном, звучном и послушном инструменте, — отвечал пианист, — а между тем это замечательное фортепьяно еще совсем ново и совершенно не обыграно...

Что-то похожее на удовольствие изобразилось на лице графа. К Батову бросились. Схватили его под руки и поставили перед графом. Поручик Суровцов действовал особенно выразительно. Он обнимал Ивана Андреевича, прижимал его к своей наваченной груди, подталкивая впритык к самому креслу Николая Петровича. Граф взглянул на Батова и сказал:

— Раб верный, не лукавый... Прости! Только скорей, слышь, прости, покамест не отдумал я...

Иван Андреевич тронул губами длинные пальцы графской руки, испещренной синими жилками. И прошептал:

— Не соизволите ли, ваше сиятельство, отпустить мне, холопу своему, пожаловать?.. Не для себя молю — для деток. Об них вся мысль...

Рука Николая Петровича вздрогнула, отрываясь от холодных губ мастера. Глаза вспыхнули и погасли. Он засмеялся со злостью и презрением:

— Вишь, чего хотеть осмелился, хам! Не бывать тому вовеки. Иль не знаешь? Не бывать!

Случалось, что Николай Петрович отпускал на волю своих разбогатевших крепостных мужиков. Но ни одного крепостного артиста не отпустил никогда. Так держал он в рабстве до последнего дня крепостного композитора Степана Дехтярева, архитектора Григория Дикушева, — того, что построил Останкинский дворец, — славных живописцев Аргуновых. Слишком поздно вспомнил обо всем этом Иван Андреевич. И с горьким упреком взглянул на поручика Суровцова.

Но Суровцов уже толкал к графу всегда находившегося поблизости медика. Вместе с медиком поручик заботливо щупал пульс Николая Петровича и подносил к его носу освежительную соль. Ему было вовсе не до Батова. Граф задыхался и хрипло сопел. Это был припадок удушья. Однако он не был похож на те припадки, которые приходили к графу после каждого волнения. Соль не помогала. Николай Петрович рванул с шеи кружево галстука. Кровь брызнула из его ноздрей. Зубы застучали.

— Эй! — закричал он отчаянным голосом, выходящим прямо из живота. — Эй, дармоеды, отомкните дверь... Я не хочу оставаться один во «вместилище чувств вечных»... Не хочу... Эй! Люди! Сюда! Я вас, воры!..

Поручик Суровцов держал полотенце и таз. Медик закатывал к плечу рукав графской сорочки. Он считал необходимым сейчас же отворить больному кровь. Но граф вскочил с кресла, отбиваясь. Крепко ухватив медика за волосы, он несколько раз плюнул в лицо поручика. Затем охнул, закричал и упал навзничь...

★

... Утром Иван Андреевич подходил к Петербургу. Бледный рассвет лежал на петергофской заставе и окружавших ее деревянных сараях. Батов присел возле какого-то строения отдохнуть. Голова его бессильно падала на грудь. Мысли были тяжелые и безотрадные. Надежда, казавшаяся такой верной, не оправдалась. Да и есть ли на свете на-

дежды, которые оправдываются? Было время, Батов жил, как растет молодое деревцо: выйдут теплые дни — оно разворачивает почки и зеленеет; грянет мороз — его листья блекнут, свертываясь. И, готовый распуститься, цвет опадает. Но давно уже разучился Батов жить так беззаботно. Много лет светса его душа вон из ревисских списков. Неожиданная смерть графа Николая Петровича придала жадности и силы этому порыву. Но действительность не стала от того радостнее.

— Надежда — цыганка, — грустно прошептал Батов, поднимаясь и надевая шляпу.

Где-то поблизости грянул барабан, выбивая дробь. Это заставило Батова оглядеться. На ровном плацу, между длинными дощатыми бараками, вытянулись две шеренги семеновских солдат. Зеленый блеск утра помешал Ивану Андреевичу сразу различить высокие, тонкие прутья в солдатских руках. Когда он ближе подошел к месту действия и приметил их, сердце его забилось в болезненной тревоге. На плацу происходило наказание штрафованных солдат шпицрутенами.

Барабан бил дробь. Флейта посвящала. Офицеры медленно расхаживали. В стороне стояла тележка. Возле нее — фельдшер и оголенный до пояса солдат. Два дюжих ефрейтора живо скрутили наказываемому руки за спиной и привязали их к ружью. Аудитор в черном мундире выступил вперед. Барабан и флейта смолкли. В сентенции, которую читал аудитор, говорилось: военный суд, руководствуясь всему свету известным милосердием его императорского величества и законами блаженныя и вечно достойныя памяти предков его величества, постановил наказать рядового лейб-гвардии Семеновского полка Ефима Голикова за побег со службы, через переодевание учиненный, вместо лишения живота, прогнанием сквозь строй через тысячу рядов. Аудитор кончил читать. Осужденного подвели к тому месту, откуда открывалась зеленая улица из солдатских шеренг. Батов смотрел и почти ничего не видел. Глаза его застилало слезой...

Ефрейторы тащили полуголою солдата между шеренгами. Шпицрутены свистели и ложились поочередно то справа, то слева. И вдруг отчаянный крик Батова заглушил барабанную дробь. Иван Андреевич узнал Голикова. Однако на крик никто не обратил внимания. Ефрейторы волокли тележку дальше. Шпицрутены качались, и кровь снова закапала с их верхних концов...

★

Батовы «окортомили» квартиру на заднем дворе большого купеческого дома, в Караванной улице. После смерти графа Николая Петровича Шереметева никто уже не вмешивался в дела скрипичного мастера. Жестокое распоряжение, запретившее ему заниматься любимым ремеслом, быстро забылось. Да и некому было вспомнить о нем. Молодой граф, Дмитрий Николаевич, жил в Ульянке с опекуном, двумя сотнями комнатной и дворовой прислуги, — как маленький принц растаскиваемого прихлебателями шереметевского королевства. Слышно было, что этот белокурый подросток готовится к поступлению на военную службу. Говорили, что тайнствам строя и парадировок обучает его майор Суровцов. Ни Дмитрий Николаевич Батова, ни Батов молодого графа никогда в глаза не видали. Исправно внося оброк в шереметевскую контору, Иван Андреевич чувствовал себя почти на свободе. Он усердно работал над скрипками. И все с большим совершенством изготовлял их по заказам со стороны. Знаменитые скрипачи-виртуозы Пьер Роде, Август-Фердинанд Тиц, Пьер Бальо, виолончелист Ламаре, а также многие другие первоклассные музыканты часто приезжали в Россию. И все они охотно пользовались услугами Ивана Андреевича. Не раз случалось ему возвращать к жизни принадлежавшие им драгоценные итальянские инструменты. Мастера-немцы — а их было немало в Петербурге — старались отыскать недостатки в новых изделиях Батова. Они завистливо толковали, будто его скрипки несколько

туговаты в игре. Иван Андреевич не спорил.

— Может быть, все может быть, — отвечал он. — Но когда проживут мои скрипки столько лет, сколько старинные итальянские, то, пожалуй, и поравняются с ними...

И он вырезывал на своих созданиях скромное имя Ивана Батова, так как хотел, чтобы будущие мастера знали, у кого надо после итальянцев учиться умению придавать инструментам безупречную крепость, силу и звучность.

Батов давно уже не искал заказов, они сами шли к нему.

— Резвый набежит, — тихонько шутил он, — а на смиренного бог найдет...

★

Одним из заказчиков, для которых Иван Андреевич исправлял инструменты, сделался по приезде из-за границы сам император Александр. Еще в детские годы император обучался игре на скрипке. И теперь, в зрелом возрасте, любил иной раз взять в руки смычок, чтобы пропиликать какой-нибудь вновь введенный в армии военный сигнал.

Известность Батова с каждым годом становилась громче. Но темное беспокойство ни на минуту не оставляло славного мастера. В своей мастерской он был попрежнему одинок. Неоднократно пытался Иван Андреевич приспособить в помощь себе учеников. Ведь именно из таких маленьких предприятий, производивших музыкальные инструменты, выросли двести лет назад художественные школы Амати, Гварнери, Руджиери и Страдивария в Кремонне, Маджини и Гваданини — в Брешии. Главное в скрипке — устройство смычковых приспособлений. Приложив смычок к струнам и вызвав первый летучий звук, знаток сразу узнает мастера, когда-то выпустившего инструмент. Или по крайней мере — школу этого мастера. Кто из новых мастеров, почитавших малейшее отступление от великолепных итальянских образцов XVII века рискованным заблуждением, мог бы сравниться с Батовым в искусстве подбирать слои дерева, сушить его, точить, резать, выгибать, заставляя мертвые

ткани звучать прекрасными голосами жизни? Никто. Но Батов был одинок. Ученики один за другим оказывались «несручными». Школа не создавалась. На сына Гаврилу Иван Андреевич давно уже не рассчитывал. У Гаврилы был свой путь.

Из множества обещаний, полученных когда-то Батовым от господина поручика Суровцова, оказалось выполненным одно. Гаврила служил, по протекции Суровцова, скрипачом в музыкальном хоре Демурова трактира. Но что представлял собой крепостной скрипач и как трагически могла обернуться в любой момент его судьба, — об этом Батов не забывал никогда. К горькому чувству непрочности одинокого успеха присоединялись мучительные опасения за будущее сына. Гаврила ходил в рединготе песочного цвета и шелковом цилиндре. Умел при случае поддержать французский разговор. Но и он отлично знал себе цену: дешевле чистокровного лягаша и много дешевле английской матки с конского завода...

★

Однажды молодой Батов вернулся домой из портерной в необычно радостных чувствах. Несколько часов, проведенных в беседе с приятелем — лакеем недавно приехавшего в Петербург славного виолончелиста Ромберга — удивительно действовали на Гаврилу.

— Ваша страна, — говорил ему Жозеф, взбивая на голове кудрявый хохолок, — смесь Азии с Европой. Но, чем дальше я наблюдаю, тем яснее для меня, что вовсе не правы те, которые полагают, будто в России наверху — Европа, а внизу — Азия. Это неверно. И господин мэтр Ромберг, обездивший весь свет, думает на этот счет совершенно так же, как и я. По правде сказать, отвратительно положение образованных молодых людей, вроде вас, дорогой мой Гавриэль, которых судьба оскорбила званием невольника. Это — Европа, опрокинутая вниз. С другой стороны, я вижу вознесенных наверх азиатов. Таков, например, майор Суровцов, ежедневно бегающий к господину мэтру Ромбергу и прикидывающийся глубоким

любителем музыки. А между тем ведь он решительно ничего не понимает ни в ней и ни в чем вообще, кроме искусства грабить вашего молодого господина, Габриэль. Но Суровцов — наверху, то-есть наверху — Азия. Я все это прекрасно знаю от господина мэтра Ромберг, который совершенно так же смотрит на эти грустные вещи, как и я. Мы думаем с господином мэтром Ромберг, что Россия, вообще, давно погибла бы, если бы на самом верху вашей общественной лестницы не стоял подлинный европеец, император Александр...

Тут Жозеф хлебнул портера. Затем поправил пышный галстук и, закрутив на лбу кудерку, продолжал развивать мысль:

— Знаете ли вы, Габриэль, — русский император так очаровательно любезен, что привстает с кресла, когда лакей подает ему стакан воды! Да, именно так. Мы с господином мэтром Ромберг имеем эти сведения из самых верных источников.

Гаврила почесал затылок и сказал половому:

— Еще пару.

Он не понимал, куда клонит свои рассуждения Жозеф. Канарейка звонко пела в клетке над окном. Орган гудел, хрипя и откашливаясь. Половой принес и поставил перед друзьями пару.

— Так-то оно так, — задумчиво проговорил Гаврила, — но вы, мусье Жозеф, того не ведаете, что по изволению государеву у нас по всей матушке-России секут и порют, и в войсках, и в деревнях помещичьих.

Жозеф пожал плечами.

— Дорогой Габриэль, я ничего не могу сказать о «матушке» кроме того, что я сказал, и не знаю, что такое сечь и пороть. Еще десять лет путешествий с господином мэтром Ромберг, — я точно рассчитал это, — и я сам буду иметь в своем услужении лакея, которого, конечно, бить не стану. Я поселюсь в Оверни, где живут мои родственники. Но не в этом дело. Очень возможно, что император Александр, находясь в тяжелом положении несомненного европейца, окруженного со всех сторон Азией, просто не может рассмотреть со сво-

ей высоты копошащуюся под его ногами маленькую русскую Европу. Мы как-то говорили об этом с господином мэтром Ромберг. Вот мой совет вам, дорогой Габриэль, — совет истинно просвещенного человека: пусть ваш отец поднесет императору скрипку своего изделия — лучшую скрипку из всех, которые он когда-нибудь делал. И я уверен, что могучее словечко императора, сказанное опекунам малолетнего графа Шереметева, сразу выведет из несносной неволи и вашего отца, и вас, Габриэль...

Мысль была нова и поразительна. Когда Гаврила, задыхаясь от восторга, прибежал домой и пересказал ее Ивану Андреевичу, мастер крепко задумался. Он не раз слышал, что подношения императору всегда отзываются приятно для подносителей. Иногда подносители получают милостивые рескрипты, иногда — чины, перстни или табакерки из кабинетских сокровищниц. По крепостному своему положению Батов, конечно, не мог рассчитывать ни на что подобное. Но словечко, одно только словечко... Почему бы императору, в самом деле, не произнести его? Это казалось вероятным. Главным образом потому, что в это очень хотелось верить. Чем шире и громче становилась известность Ивана Андреевича, тем труднее было ему ни на что не надеяться.

Батов поставил возле себя в ряд Аксинью Кузьминичну, Гаврилу и меньших детей. Затем перечитал все подходящие к случаю молитвы. Подкрепив таким способом надежду-цыганку, он нежно перецеловал свою семью. Сердце его было облегчено слезами. Лицо горело верой в успех. Не теряя времени, Иван Андреевич приступил к изготовлению такого инструмента, которому предстояло поразить всех без исключения знатоков.

К лету скрипка была готова.

★

... Император жил в Каменноостровском дворце. Он просыпался в пять часов утра. И, стоя в опочивальне перед трюмо, быстро обтирал себя льдом. Яр-

кое солнце прорывалось сквозь окружавшие дворец липы, заливая потоками света его розовое, пухлое тело. Император ежился, фыркал. Шершавое полотенце горячило кожу. На кресле были аккуратно разложены приготовленные к утреннему туалету мундир и узкие брюки. Возле кресла сверкали лакированные ботфорты. Все кругом императора было чисто, свежо, красиво и щеголевато. И сам он с удовольствием спешил привести себя в порядок, чтобы дополнить собственной элегантной фигурой несравненный блеск обстановки.

Камердинер расчесывал рыжеватые волосы Александра, ловко прикрывая ими плешь. Император следил за работой. Его близорукие голубые глаза щурились перед стеклышками золотого лорнета. Он всегда обращал большое внимание на тщательность своей прически. Ему хотелось, чтобы его голова походила на головы с античных каменей и медалей. Кроме того, парижские красавицы не раз говорили ему, что, когда его пушистые, мягкие волосы хорошо причесаны, они кажутся созданными для тройного венца из лавра, мирта и оливы.

Покончив с туалетом, но еще в шлафроке, император быстро прошел в кабинет. Это была огромная комната, наполненная щетками для усов, дощечками для чистки пуговиц, стеклянными колапаками, из-под которых тупо глядели желтые лица восковых фигур. В кабинете стояли, выпятив грудь и выкатив глаза, ординарцы, посыльные, ефрейторы, рядовые разных гвардейских полков, одетые в мундиры последних образцов. Император оглядывал эти живые манекены со всех сторон. Ставил мелком знаки на мундирах. Задумывался, приподнимая то рукав, то фалду. Поправлял усы, бакенбарды, ремни амуниции. И снова задумывался. Некоторым образцам он приказывал раздеться. Щупал их исподнее платье и даже нюхал портки. Его красивое, тонкое лицо было серьезно и выражало глубокую работу мысли. В этот ранний утренний час Александр чувствовал себя в казарме. И час этот был для него приятней-

шим временем делового дня, состоявшего из приемов, министерских докладов, церемонных обедов, молебствий и балов. Император наслаждался в полной мере.

— Дайте мне скрипку,—сказал он,—ту, новую...

Камердинер подал. Александр встал перед образцовым горнистом и осторожно прижал подбородком корпус инструмента. Потом взмахнул смычком. И пропиликал новый сигнал к стрельбе:

— От груди наведи, попади...

Пропев этот же сигнал бархатистым баригонном, он приказал горнисту:

— Ну-ка, повтори на голос.

Солдат взвыл страшным басом. Лицо императора сияло.

★

Ровно в семь часов Александр вышел в залу. Он был затянут в темнозеленый кавалергардский вицмундир. На груди его поблескивали русские, шведские и английские ордена. Император был ловок и мягок в движениях, нетороплив. Его окружала свита из дежурных военных и гражданских придворных чинов. Глядя на него, было невозможно подумать, что этот величественный властитель только-что с трудом оторвался от самого пустого из всех занятий, которыми могут предаваться властители. Александр тщательно хранил тайну своих утренних фельдфебельских наслаждений. Больше всего на свете он боялся насмешки над собой. Впрочем, он знал, что люди, с которыми будет сейчас разговаривать, бесконечно далеки от подозрений. Эти люди видели в нем полубога, тогда как он был всего-навсего умелым фокусником.

Между шеренгами раззолоченных лакеев выстроились особы, назначенные к представлению. Эти почтенные особы были увешаны крестами, унижены звездами. Среди них казался необыкновенным белокурый подросток лет пятнадцати, в синем фракке от Буту, в бриллиантовых перстнях, с растерянным и жалким выражением веснушчатого лица. Позади него стояли два румяных, толстых старца в красных сенаторских мун-

дирах. За ними — вычищенный с головы до пят, судорожно вытянутый вверх и как бы окаменевший майор.

Император поклонился. И каждому из представлявшихся померещилось, будто поклон относился именно к нему. Фокус этот составлял еще одну тайну Александра. Церемониймейстер называл представлявшихся, они выступали вперед. Низко кланялись. И со счастливыми лицами получали улыбку и два-три любезных слова.

— Граф Дмитрий Николаевич Шереметев.

Император остановился перед подростком. И внимательно осмотрел его. Александру было известно, что этот испуганный, вснуцатый мальчик — самый богатый человек в России. Он знал также и то, что сенаторы в красных мундирах, пользуясь темным правом опекунства, бесстыдно грабят его. Все вместе казалось ему забавным.

— Я читал ваше прошение, граф, — сказал он, улыбаясь, — вы хотите служить в кавалергардском полку, — похвально. Но конный и пеший строй, ружейные приемы, рубка саблей, караульная служба и еще многое, что каждый офицер моей армии обязан знать, — ведь это нельзя приобрести, даже заплатив миллион рублей. Это надо изучать. Это — целая наука...

Молодой граф побледнел. Губы его затрепетали. Вытянувшись по-военному, он ответил звонким голосом:

— Осмелюсь донести вашему императорскому величеству, что все науки сии мне весьма ведомы через обучение у господина майора Суровцова. Могу на любое испытание по приказу вашего императорского величества выйти...

Александр перевел взгляд на каменного майора. Под действием этого взгляда майор моментально ожил. Медаль за спасение погибающих нестерпимо сверкнула на его крутой груди.

— Вы обучали графа Шереметева? За что получен вами сей уважения достойный знак?

Суровцов отчеканил:

— За спасение из невской полыньи по весеннему времени крепостного чело-

века господ графов Шереметевых, скрипичного мастера Ивана Батова, всемиловитивейший государь.

Александр поднял брови, вспоминая.

— Батова? Скрипичного мастера? Не тот ли это Батов, который с ревностью истинного русского патриота представил мне на днях скрипку своего ручного изделия при письме, отменно памятном по чувствам, кои в нем заключены были?

Спрашивая, император с удовольствием думал: «А все-таки хорош новый сигнал к стрельбе!».

— Сей самый Батов, ваше императорское величество, — хором пропели опекуны в красных мундирах, — известнейший мастер в деле своем.

Неожиданное соприкосновение обстоятельств начинало занимать Александра. Он любил вмешиваться в подобные случайности, полагая, что анекдоты должны войти обязательной составной частью в будущую историю его блестящего царствования. Он сделал важное лицо, выпрямился и произнес торжественным тоном:

— Благодарю вас, граф. И вас, господи опекуны, за старание, с коим в низкие души рабов вселяете высокие чувства любви к престолу и родине. Батов и чистосердечное подношение его — тому пример и доказательство наглядные. Благодарю!

Обращаясь к дежурному флигель-адъютанту, стоявшему наготове за его плечом с раскрытой записной тетрадкой, он договорил:

— Пиши. Первое: завтрашним приказом зачислить графа Дмитрия Шереметева прапорщиком в кавалергардский ее величества полк; второе: тем же приказом майора...

— Суровцова, ваше императорское величество, — со слезами радости на глазах грянул майор.

— Простите, господин майор. Итак... Суровцова не в пример прочим со старшинством произвестъ в полковники; третье: крепостному человеку графа Шереметева Ивану Батову, за поднесенную нам скрипку своего ручного изделия, выдать из кабинета стоимость той скрипки по оценке знатоков...

Император поморщился, потом улыбнулся:

— ...но не свыше двух тысяч рублей. Деньги сии не в подарок идут, а в уплату.

Подросток в синем фракке выступил вперед, чтобы поцеловать нежную, чуть тронутую желтоватым пухом, царскую руку. Александр отдернул ее. Губы подростка чмокнули холодную серебряную пуговицу с орлом.

— Вы богаты, граф. Один лишь я богаче вас. Однако учитесь у государя своего бережливости, — поучительно сказал император.

И пошел дальше.

★

Давно уже граф Дмитрий Шереметев превратился из веснущатого несмысленныша в блестящего кавалергардского штаб-ротмистра. Он был пуст и бессердечен, как того требовали век и мода. Его любовницы славилась красотой и мотовством. Лошади — чистой крови и рысистой. Обеды — неслыханным гурманством и продолжительностью. С его именем уже крепко связалось ходовое присловье бедняков: «На счет графа Шереметева...».

Давно никто не вспоминал о Батове в пышных хоробах на Фонтанке. Да, впрочем, и знаменитый мастер вспоминал о них только в те досадные дни, когда подходило время вносить оброк. Иван Андреевич постарел. Полных пятьдесят четыре года накопилось у него за спиной. Серебром проступал на щеках его волос, и глубокие морщины пучками собирались вокруг усталых глаз. Батов не любил разговоров о прошлом — особенно о милости, оказанной ему императором Александром. Эту «милость» — четыре столбика по пятьдесят золотых империалов — он не потратил. Раз-навсегда уложил он ее в сундук. И сказал при этом Аксинье Кузьминичне:

— Не наша еда — лимоны! Бог с нами, мать, — пусть лежат... Еще вожжа под хвост попадет, — возвращать придется...

Не любил также Иван Андреевич

разговоров о воле. И часто осаживал горячего Гаврилу:

— Эй, сынок, уймись. Не наша, слышь, еда — лимоны-то!

Тогда Гаврила говорил тихо:

— Ох, батюшка, да ведь под лежачий камень и вода не течет...

Пробовали женить Гаврилу. Но он отмахивался:

— Не охочу я рабов плодить...

По вечерам, когда сын уходил в Демутов трактир, Аксинья Кузьминична подсаживалась к верстаку мужа. Зорко оглядевшись, снимала нагар со свечи, отчего по стенам начинали скакать черные тени. И, прикинув к уху Ивана Андреевича, шептала:

— Боюсь, ох, боюсь... Сорвется Гаврюшенька наш... Не стерпит, да и пойдет хвостом о припрыг молотить... И все его зудит мусье Жозефишка проклятый... Намедни опять часа два битых калякали... О чем? Вот, навязалась чума французская!

Аксинья Кузьминична сердцем чуяла, что сын что-то затевает. Так оно и было в действительности. Только Гаврила, прежде чем ударить «хвостом о припрыг», решил еще один раз по-честному испытать мачеху-судьбу. Дело не обошлось и теперь без Жозефа. В коридоре у Демута, где занимал апартаменты господин мэтр Ромберг, Гаврила грохнулся перед знаменитым музыкантом на пол. Охватил колени мэтра дрожащими руками. И, прижимаясь лицом к атласным завязкам его коротких черных панталон, застонал. Присутствовавший при этой сцене Жозеф прослезился. Взволнованный Ромберг побледнел. И, быстро подняв Гаврилу, увел его в спальню. Там они долго объяснялись при содействии Жозефа. Тут же составил и план — обдуманый и тонкий.

★

Через несколько дней Гаврила почти насильно привел к Ромбергу отца. Иван Андреевич сидел на кончике стула. И смотрел, как мэтр переодевался к обеду. Привычка Ромберга холить пальцы не позволяла ему собственноручно застегивать пуговицы или появлять галстух. Это с артистической

ловкостью совершал Жозеф. Принесли обед. Ромберг каким-то особенным манером держал нож и вилку, вовсе не нажимая на них пальцами. Батов все это примечал. И слушал, что говорил мэтр. Гаврила переводил...

Получалось так, что, стоило только Ивану Андреевичу изготовить в подарок молодому и рассеянному своему господину виолончель, — и дело уже почти сделано. Все остальное брал на себя Ромберг. Было в знаменитом музыканте, когда он говорил об этом, что-то искренно сочувственное, серьезное и верное. Ивану Андреевичу почудилось даже, будто для Ромберга освобождение его, Батова, — только часть какой-то большой и важной задачи. Эту-то большую задачу и собирался, собственно, разрешить мэтр. Иван Андреевич послушал, помолчал. Подумал и — согласился.

Принявшись за виолончель, старый мастер работал без жара. Но со старанием необыкновенным. Он мало верил в успех. Однако ударить лицом в грязь перед прославленным иностранцем не хотел ни за что. Готовя виолончель для графа Дмитрия Николаевича, он, в сущности, делал ее для Ромберга. Инструмент должен был прежде всего изумить самого мэтра.

★

... Славное имя Бернгарда Ромберга гремело в России. Этого блестящего виолончелиста знали при дворе, ласкали во дворцах вельмож. Каждый концерт его был праздником тонкого вкуса и торжеством высокого искусства. Вероятно, не было в Петербурге человека, который получал бы ежедневно столько приглашений на вечера и балы, столько раздушенных записочек со страстными «*La toute votre*»¹, как Ромберг. Личное знакомство с ним почиталось несомненным признаком безупречно хорошего тона. Этого знакомства добивались. Внимание Ромберга было предметом охоты и соперничества.

С некоторого времени этот замечательный артист стал устраивать у себя, в номерах Демутова трактира, неболь-

шие утренние приемы. Они быстро сделались лакомой приманкой для всех жадных почитателей его великолепного таланта, — русских и иностранцев, действительных знатоков музыки и светских завсегдатаев музыкальных салонов. На утренних приемах Ромберга, конечно, появлялся и строго следовавший моде молодой граф Дмитрий Шереметев. Его сопровождала толпа прихлебателей. Из них самым деятельным и настойчивым в приобретении выгод оставался попрежнему полковник Суровцов.

В одно из таких утр Бернгард Ромберг вышел к своим гостям в чрезвычайном волнении. Следы недавних слез еще горели на его живых черных глазах.

— Господа, — сказал он, — я пробовал сейчас новую виолончель, которую мне принесли, чтобы я сообщил о ней свое мнение. Я трижды садился играть и трижды спрашивал: точно ли тот мастер делал ее, который принес? Это — изумительный инструмент. Мне не случилось видеть лучшего. Если бы у меня не было моей превосходной древней итальянской виолончели, я не пожалел бы ничего, чтобы приобрести эту. Сломайся моя виолончель, — я прискакал бы из Франции в Петербург за этой...

— Но кто же мастер? — с почти-тельными любопытством спрашивали гости. — Вы говорите, что он здесь? Покажите его...

Ромберг покачал головой:

— Он, действительно, здесь. Но как я могу ввести этого простого человека в общество, среди которого находится господин граф...

Музыкант бросил быстрый взгляд на белокурого кавалергарда в супервесте молочного цвета. Шереметев рассмеялся, предчувствуя шутку.

— Однако, почему бы и мне не познакомиться с таким замечательным мастером? Я не вижу, господин Ромберг, причин...

Лицо мэтра было серьезно, почти строго.

— Этот человек, граф, — ваша собственность. Виолончель, которая им сделана, тоже будет вашей собственностью.

¹ Вся ваша (франц.).

так как он хочет подарить ее вам. И я хотел бы уберечь вас от некоторого чувства неловкости, которое вы неизбежно испытаете, граф, принимая в присутствии моих гостей подарок от этого человека. Подумайте, — подарок от человека, которого вы в свою очередь можете подарить или даже... продать!

Дмитрий Николаевич меньше всего ожидал такого оборота в приятной беседе с мэтром. Неловкость, о которой говорил Ромберг, вдруг наступила. Граф покраснел. И смущенно огляделся. Длинный секретарь английского посольства нюхал табак, ядовито улыбаясь. В углу громко хихикали. Граф по привычке вскипел было. Но сейчас же понял, что это нелепо. И растерялся окончательно. Именно в этот тяжелый момент, быстро скользя по паркету гостиной, подскочил к нему полковник Суровцов. И затараторил с развязным воодушевлением:

— Ах, какой чудесный случай для вас, мой дорогой граф, выказать вашу любовь к искусству и сердечную доброту! О, господин Ромберг, вам трудно представить себе, какую услугу оказываете вы графу, давая ему возможность быть самим собой! Как мало знаем мы себя и тех, кто нас окружает, — увы, это, к сожалению, верно! Не правда ли, дорогой граф?

Дмитрий Николаевич поймал говорящий взгляд Суровцова. И подумал с негодованием: «Чорт знает, как надоела мне эта скотина и как вместе с тем она мне необходима...».

Единственно возможный выход из скверного положения был ясен.

— Ради бога, господин Ромберг, — решительно сказал Шереметев, — позовите сюда этого человека с его инструментом. Я с радостью приму в подарок замечательную виолончель, освященную руками славного маэстро. А мастера, который произвел на свет эту редкость, сегодня же награжу свободой...

Ромберг подошел к Дмитрию Николаевичу и крепко сжал его руку. Лакеи кинулись за Иваном Андреевичем, который в спальне мэтра смиренно ожидал развязки представления. По этажам и лестницам Демутова трактира побежал шопот восхищения.

★

В «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась статейка, подписанная лите-рами «Гв. полк. С.». Она произвела в городе волнение. И даже некоторый шум. В статейке была рассказана история освобождения скрипичного мастера Ивана Батова из крепостного состояния. В качестве главного героя произведения выступал молодой граф Шереметев. Это он великодушно отворил дверь свободы своему подданному. Редкая доброта графского сердца была до сей поры известна только цыганкам из Новой Деревни, да француженкам с Излеровых минеральных вод. Теперь о ней узнали все. Автор статейки отмечал также глубокую любовь графа Дмитрия Николаевича к музыке. Попутно указывались и некоторые достоинства скрипичного мастера Батова. Стоило графу услышать о них, как он тотчас сделал одаренного человека счастливым.

★

Гаврила служил на положении вольного человека уже второй месяц скрипачом в оркестре казенного театра. Он-то и принес домой газету со статьей. Едва перескочив через порог, не успев снять с себя ни цилиндра, ни песочного редингота, он уже стоял среди горницы. И громко читал статью вслух. Иван Андреевич слушал, качая седой головой. Наконец не сдержался. И выговорил с тихим смешком:

— Гаврюшенька, сынок, а ведь сдается мне — не весьма трудно отгадать, кто сие про нас сочинил-то?

Гаврила пошарил глазами в нижней части газетного листа и сказал важно:

— Вот-с: «Гв. полк. С.».

Тут уже Иван Андреевич рассмеялся в полный голос:

— Да ведь это не иной кто, как господин гвардии полковник Суровцов, — сиречь, друг мой старинный. Эх, ма!

★

Известность Батова перешла в славу. Он получал заказы со всех концов Рос-

сии и даже Европы. На петербургской выставке музыкальных инструментов его произведения были превознесены по заслугам. Грудь почтенного Ивана Андреевича украсилась большой серебряной медалью. Висела медаль эта на красно-желтенькой «аннемской» ленточке. И уже никак не думал знаменитый мастер, что суждено в его жизни еще раз столкнуться новому со старым.

Воскресный день 13 декабря 1825 года навсегда запомнился Батову. Утром пришло по почте письмо в необыкновенном конверте и с необыкновенными печатями. Ни сам Иван Андреевич, ни Гаврила ничего не могли сообразить из написанного на конверте и в письме. Даже усомнились: нет ли тут какой-нибудь полицейской штучки? Гаврила побежал с письмом в Демутов трактир, где всегда проживало много иностранцев. И вернулся радостный: в конверте оказался заказ на скрипку от богатого любителя музыки из Филадельфии. Вот, куда доплыло имя Батова!

После обеда пришло другое письмо, — с Фонтанки, от управляющего шереметевской капеллой, господина Ломакина...

★

... Господин Ломакин провел Батова по чугунной лестнице наверх. И остановился перед раскрытым настежь чуланом. Невозможно было бы и предположить, что в роскошном дворце Шереметевых водятся этакие скверные норы. Все в чулане было сыро и гнило. В одном углу громоздилась пестрая груда из осколков золоченой мебели. В другом — ключьями висели из подрамников ветхие холсты портретов. Господин Ломакин шагнул через бронзовую люстру, лежавшую посредине кладовой. И прошипел с возмущением:

— Варварство, подлинное варварство, почтеннейший друг! Как иначе наименовать возможно звериный обычай ничем не дорожить, ничего не щадить?

Он указывал в дальнюю часть чулана, где тускло поблескивал футляр огромной виолончели. Люди уже тащили находку из чулана, на лестницу, на свет.

— Вчерась обнаружил случайно, а сегодня прошу вас, почтеннейший друг, — горячился управляющий капеллой, — исследовать сей инструмент... И сказать, не являет ли он ценность по старине и кто мастером его признан быть может...

Иван Андреевич раскрыл футляр холодевшими пальцами. И затрясся. На мастера глядело превосходнейшее создание его собственного искусства, — виолончель, заслужившая ему свободу. Не раз вспоминал о ней Иван Андреевич. И всегда повторял, что виолончель эта «особо красовалась духом и телом» среди всех прочих его произведений. Теперь же она грустно глядела на него из футляра — отсыревшая, глухая, почти беззвучная, грязное гнездо пауков и мышей...

Батов прижался щекой к холодному, мертвому грифу.

— Голубушка, проказница, резвушка, — шептал он чуть слышно.

Господин Ломакин сердито взмахнул маленькими желтыми кулачками:

— О, варвары! Все понятно, почтеннейший друг мой... И ценность, и мастер сего изделия известны весьма...

Иван Андреевич с охотой согласился привести в порядок искалеченную виолончель. Не для графа, не для Ломакина брался он за это, а ради какой-то совсем другой цели, ясной ему самому, но трудно объяснимой на словах.

— Коли наше не в лад, мы со своим назад! — угрюмо проговорил он, прощаясь с господином Ломакиным у мраморного камина в сенях шереметевского дворца.

Сени были похожи пышной огромностью на многоколонный храм.

— Впрочем, долго не задержу, — будьте благонадежны...

★

На следующий день, в понедельник, 14 декабря, Батов уже с утра работал над виолончелью. Он тщательно осмотрел инструмент снаружи и внутри. Отчистил его до блеска. И перещеловал все раны, нанесенные ему людьми и временем.

Иван Андреевич старался понять и не мог: кому и зачем понадобилось так безжалостно искалечить этот когда-то столь певучий, совершенный в отделке и тоне инструмент? Слезы дрожали в его мутных, старческих глазах.

Свойства дерева — главное условие для достижения звучного тона. Иван Андреевич извлек на свет запас драгоценного дерева. Он хранил его в течение сорока лет, — еще с тех времен, когда работал в мастерской Василия Владимировича. Запас был отборен и неповторим. Батов хотел с такой тщательностью подогнать по слоям дерева все вставки и дублировки, чтобы тон исправленного инструмента стал еще звучнее прежнего. И с торжеством пересматривал таинственные, ему одному известные рецепты, с помощью которых можно составлять лак, ничем не уступающий старинному итальянскому...

По двору, за окном, гуляла поэмка. В трубе свистело. Иван Андреевич растопил печку. И, сидя перед ее багровым зевом на корточках, помешивал узловатой кочергой жарко трещавшие поленья. Вдруг кочерга выпала из его рук. Иван Андреевич поднял голову и прислушался.

— У-у-ух!

В оконном стекле отдавался могучий звук пушечного выстрела. И выбил из стекла звонкий стон.

— У-у-ух! У-у-ух!

Иван Андреевич насчитал, по крайней мере, семь или восемь ударов. Потом перестал считать — так часто они стали повторяться. Наконец прекратились.

— Что бы могло, мать, случиться? — сказал Иван Андреевич жене, выходя в столовую. — Ведь это из пушек стреляют...

— Сигналы с крепости подают, — успокоительно заметила Аксинья Кузьминична, — али в царском доме новый князек родился... празднуют...

Объяснения жены показались Ивану Андреевичу пустыми. Но он промолчал. Было около четырех часов дня. Сумерки за окном густели, переливаясь полосатым туманом. Вдули огонь. Зажгли свечи. Пообедали. Иван Андреевич в самом беспокойном духе вернулся к се-

бе в мастерскую. И, почти принуждая себя к работе, снова принялся за переборку дерева.

Ни с того, ни с сего в столовой заголосила чем-то насмерть перепуганная Аксинья Кузьминична. И по маленьким комнатам квартирки на Караванной прокатился гулкой топот бегущих ног. Дверь рабочей горницы Ивана Андреевича рванулась и взвизгнула. На пороге стоял седой солдат лейб-гвардии Семеновского полка. За ним — Аксинья Кузьминична, бледная, с раскрытым ртом, со свечой в трепетавшей руке. Солдат был в одном мундире. Кивер еле сидел на его затылке. Но не лихо, а отчаянно. От виска, вдоль щеки и бакенбарда, свисал длинный клок кожи с курчавыми седыми волосами. Мундир солдата был вымаран кровью. А бледное лицо походило на неумело, но ярко раскрашенную святочную маску. Солдат шатался.

— Укройте, добрые люди... За несчастных бог платит...

Иван Андреевич несколько секунд неотрывно смотрел прямо в лицо солдату. Потом вскочил и кинулся к нему:

— Голиков? Ефим? Ты ли, друг?..

★

... Через полчаса Голиков лежал на мягкой перине батовской постели, обмытый, обвязанный, одетый в свежее белье. И бредил. Иван Андреевич с Аксиньей Кузьминичной суетились возле раненого. Из его криков и шопота, из отдельных слов постепенно складывалась картина того, что произошло на Сенатской площади. Иван Андреевич начинал понимать. Восстали... Погромили их из пушек... Разогнали, а теперь ловят по городу...

— Смертушка, ох, — говорил Ефим, быстро перебирая пальцами кромку одеяла и глядя на дверь, — верный знак скорого конца, — ох, любезные мои... Жарко! Гляди, Анята, зашибет лошадь Ольку-то! Ох!.. Чего, ребя, вздумались? Али штык — не товарищ?

Голиков страшно застался. И сел на постели. Аксинья Кузьминична обняла его за плечи. Солдат медленно, как бы

с недоумением, развел руками. Что-то забулькало в его груди. Глаза широко раскрылись...

★

Мастер, сгорбившись, шел на Гороховую. Там после недавней своей женьтибы жил Гаврила отдельным домком. Надо было оповестить сына о случившемся. Иван Андреевич знал: смерть солдата не может пройти мимо военных властей и полиции. Ефим был бунтовщик. От Гаврилы старик ожидал толкового совета и помощи.

Но он никак не ожидал того, что застал на Гороховой. Завидев свекра, жена Гаврилы, молодая брюхатая бабенка, на тоненьком лице которой предродовые пятна казались следами небывалых побоев, взвизгнула и с разбега обвисла на слабой стариковой шее мертвым грузом. Потом заголосила, истошно причитывая:

— Улетел соколик мой, Гаврюшенька... Ах-ти, улетел, пропал, сгинул... Горе по горю, беды по бедам...

Иван Андреевич поглядел вокруг. Ноги его подкосились. Что это? Простоволосая, в одной исподнице, сноха... Беспорядок в горницах, словно через них Мамай прошел... Где же Гаврила?

— Увели родимого, в железа куют, — голосила сноха. — Слышь, видали его на Сенатской площади... Будто брал он камень в руки да кидал тем камнем в генералов царских... О-ох, закатилось мое счастьеце...

Слушая причитания молодой женщины, мастер молча расхаживал по комнатам и с какой-то странной рассеянностью припоминал разные мелочи из прошлого. Так вспомнилось ему вдруг смешное словцо Аксиньи Кузьминичны, давным-давно сказанное о Гавриле.

— Ударил-таки Гаврюха хвостом о припруг, — повторил Иван Андреевич это словцо. — У кого в глазах порох, тому и боль... Не стерпел сыночек...

★

Иван Андреевич возвращался на Караванную, загораживая воротником Ли-

цо от наскоков ледяного ветра. По улицам маршировали патрули. Скакали конные раз'езды. Копыта лошадей звонко брякали о мерзлые торцы.

Иван Андреевич пересекал пустынный Невский. По широкому проспекту мчались парные сани.

Иван Андреевич метнулся из-под раската в сторону. Ветер рванул. Сбросил с его головы шляпу и развихрил длинные, седые волосы. Момент, когда Батов и сани очутились почти рядом, был страшно короток. Кони стремглав летели вперед. Но, если бы граф Дмитрий Николаевич Шереметев и его спутник, генерал Суворцов, были меньше взволнованы тяжелыми происшествиями дня, они, вероятно, узнали бы старика с развевающимися по ветру волосами. Батов еще долго стоял посредине проспекта, глядя им вслед. И грозил кулаком. Потом медленно двинулся к дому.

Аксинья Кузьминична хлопотала, обряжая покойника в гроб. Иван Андреевич велел пустить на расход лучший свой сюртучок и праздничные панталоны со штрипками. Покончив с этим, сунул в печь сперва мундир, затем кивер, штаны, сапоги, — всю амуницию Голикова. В печке вспыхнуло и затрещало. Мастер пошел к себе в каморку. Там за притворенной дверью он несколько минут вздыхал, кашлял, сморкался. Затем вышел в столовую с виолончелью в руках. Аксинья Кузьминична хотела что-то спросить. Но не успела. Иван Андреевич высоко поднял над головой виолончель. И с размаху ударил о печку. Фонтан тонкой щепы брызнул по горнице.

— Ах! — крикнула Аксинья Кузьминична. — Никак спятил...

— Не учи, — строго сказал Иван Андреевич, — подбирай да жги без оглядки...

Он швырял в печь легонькие коричневые осколки дерева. И ему казалось, что чудовищные горы страха, которые он всю жизнь таскал в себе, с такою же легкостью падают в огонь, исчезая в нем без остатка...

Вальпургиева ночь сего дня

АРГО

★

I

Тучи в клочьях. Молний бивни.
Огоньки, блуждающие вдали.
Стена сплошного серого ливня —
От самого неба до земли.

Это для глаза.

А для уха

Предлагаются:

буря и гроза,

И тысяча глоток, галдящих глухо:
«Hólla! Hólla! Hólla! Heizà!».

И ночные костры... И детские трупы...

Чорт верхом на чертовке к одной
черте...

Ступы, метелки, метелки, ступы,

И, как говорится, «все заверте»...

Шакалы, гиены, совы, удавы!

Гульба во всю сатанинскую мочь.

Читатель! Ты знаешь, попал куда ты?

Ведь это знаменитая

Вальпургиева Ночь!

В облаках, коричневей черного кофе.

Гоня лошадей коричневых вдаль,

Сегодня Фауст и Мефистофель

Спешат на Коричневый Фестиваль!

Так что же творится в этом мире?

Я двинусь за ними, а ты — за мной!

Раскрой глаза и уши пошире,

А нос непременно крепче закрой!

II

Фауст

Тебя ль я вижу, старый Брокен?

Твой ли туман передо мной?

Твою ль вершину дикую облек он

Непроходимой пеленой?

Привет тебе, привет! Признаться нужно
честно:

К тебе дорог снега не замели, —

Ты был всегда незаменимым местом

Для сбора пузырей земли!

Чего мы только здесь увидеть не
могли!

Я помню профиль злобного Лемура

И черный зад зловонного Козла!..

Но интересно знать — вся эта

процедура

Теперь какую форму приняла?

Ужели техника сегодняшнего века,

Всегда волнуясь и спеша,

Проникла в дело шабаша?

Мефисто

Зафилософствовался, лекарь!

Забудь о скорби мировой,

Следи упорней и прилежней

И сравнивай мир нынешний и

прежний,

Смелей на Брокен, чорт с тобой!

Герольд (возглашает)

Девуца сия — внимание! —
 Во дни былых королей
 Была известна в Германии
 Под именем «Лорелей»!
 Глаза ее были кристаллы...
 И волосы — чистая медь,
 И пела она, как пристало
 Порядочной нимфе петь,

Насчет мировой печали
 И скорби, и тоски,
 И от песен тех погибали
 Немецкие рыбаки!

Но мы дознались келейно,
 Подтвердил полицей-префект,
 Что водился с ней некто Гейне —
 Подозрительнейший субъект,

Который, имея навык
 В осмеяньи честных людей,
 Оказался согласно справок
 Злостный иудей!

Подобное гнусное дело
 Позорит арийскую честь —
 Немецкая фея посмела
 В стихи еврея залезть!

А если она жила бы
 В стихах немецких вполне,
 Никакие юные швабы
 Не гибли бы в рейнской волне!

Оттого-то и потому-то
 Мы решаем ее судьбу:
 Да будет она приткнута
 К позорному столбу!

И мы руками своими
 Удавим того, кто днесь
 Презренное автора имя
 Осмелится произнестъ!

А песня «Ich weiss nicht, was soll es
 Bedeuten, запятая, dass ich...»
 Пускай на тот же голос
 Поется во всех пивных.

Поскольку в порядке чуда —
 И только чуда — она
 Пришла, неизвестно откуда,
 И никем не сочинена!

IV**Фауст**

Ты слышишь ли? Неведомо отколе
 Вдруг страшный до меня донесся
 ветра свист...

Мефисто

Тут ветер не при чем! То педагог-
 фашист
 В арийской образцовой школе
 Сечет, штаны с него спуска,
 Одно арийское дитя!
 Дитя вопит, а плетка порет,
 А ветер так, он, между прочим, вторит!

**Педагог (хлещет мальчика
и приговаривает)**

Плетка укрепляет плоть,
 Ты кричи потише;
 Подрастешь — начнешь пороть
 Собственных детишек!

Мальчик (вопит и думает про себя)

Дай мне только уцелеть
 И расправить спину —
 Я направлю эту плеть
 На тебя, скотину!

Фауст

Сюда, Мефисто, погляди:
 Идет парад солидным маршем,—
 Два генерала впереди:
 Один моложе, а другой
 постарше.

Мефисто

Вот парочка, достойная вдвойне
 Внимания! Юнец беды не ожидает
 И грезит все о будущей войне,
 Ну, а старик — о прошлой вспоминает.

Молодой генерал

Какая слава!
 Какой престиж!
 Молчать, Варшава!
 Дрожи, Париж!
 Пройдем все тропы —
 И на-авось

Дубье да мордобой — все это было
встарь!
Представь, что думает какой-нибудь
кустарь,
Когда глядит на новые машины!

Фауст

О, как печален ваш удел,
Герои прежней черной сотни!
Легко ль смотреть из подворотни
На роскошь гитлеровских дел!
Какие призраки! Какие гниды!
Какой нелепых подлостей запас!

Мефисто

Нет, я, как старый чорт, выдавший
в жизни виды,
Открыто заявляю: пас!
Я адский смрад пред этим смрадом
Готов почесть весенним садом,
А пытки, что в комедии своей
Воспел покойный Данте
Алигьери,
В сравненьи с этими они по крайней
мере
Покажутся забавой для детей!

Фауст

Но мы с тобой не убежим, Мефисто,—
Не скажет ни один из мерзостных
фашистов,
Что не сумели мы позора перенести.

Пускай они плетьюми и газом
Искоренили Совесть, Честь,
И самый Разум,—
Еще живут и Ненависть, и
Мечь!

Я остаюсь среди кровавой этой чуши.
Среди всего, что есть, чему придется
быть,
Чтоб слушать и смотреть, открыв глаза
и уши!

Мефисто

А нос не позабудь закрыть!

Фауст

Я вижу: каждый день, который ими
прожит,
Ведет к концу их озверелый бег,—
Так мы ли не сумеем подытожить
Позорный список пакостных потех?
Я остаюсь. А ты?

Мефисто

Я тоже.

Фауст

Я остаюсь, как Стыд.

Мефисто

Я остаюсь, как Смех!

Танкисты¹

ЮРИЙ ШЕР, АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЕВ

★

«...Тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти оружия смерти и разрушения, не слушай сантиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса...»

Ленин.

АРИФМЕТИКА ПАТРИОТОВ

Спать в эту ночь лейтенанту Эрнесто Ферреро пришлось не больше трех часов. Ремонт мотора оказался сложнее, чем он думал вначале. Только около четырех часов утра Эрнесто удалось справиться с делом и привести машину в состояние боевой готовности. В мирных условиях — в этом командир танка совершенно уверен — на такой ремонт ухлопали бы по крайней мере двое суток, никак не меньше. Здесь же, в пяти километрах от Бриуэги, половины ночи оказалось предостаточно.

Быстро умылся ледяной, мартовской водой, отчего почувствовал себя бодрым, словно отоспал все полагающиеся восемь часов. Солнце уже взошло. Оно было бледное, тусклое и холодное, — его лучи поглощала прозрачная дымка, затягивавшая все небо.

На мгновение внимание лейтенанта привлек ландшафт. Но и он не радовал. Хмурый в это хмурое утро, он был чужой и совсем не отвечал представлению Эрнесто о солнечной стране. И все же лейтенант полюбил этот ландшафт, полюбил настолько, что за счастье городков этих и селений он готов был пожертвовать своей жизнью.

— Хорошо соснул, Федерико? — спросил он у подошедшего башенного стрелка.

¹ Из книги «Тебе дадут ружье», выходящей в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

— Надо бы лучше, да некуда, — ответил тот. — Пошли, лейтенант?

— Пошли... Смотрю на городки эти, на села. Вот бы не мог здесь жить. Ну, будет недельки через две много зелени. Так не в ней одной ведь счастье. Правильно я говорю?

— Правильно-то оно, правильно...

— Автомобили гоночные мировые... Лучше бы о танках своевременно подумали...

Эрнесто — коренной житель города. До армии в его биографии были шахта, забой, сложная американская врубовая машина. Командир танка владел этой машиной так же хорошо, как владел он теперь танком. Стране нужен был уголь, с каждым днем все больше угля, и Эрнесто считал своим долгом давать его столько, сколько можно выжать из умной машины. А Федерико — его сменщик — никогда не отставал. Оттуда-то, из забоя, и пошла дружба между командиром и башенным стрелком. Когда Эрнесто призвали в армию, Федерико пошел добровольцем.

— Только в ту же часть, куда Эрнесто, — попросил он комиссара на призывном пункте.

— Танками интересуетесь? — задал вопрос комиссар, с нескрываемым восхищением оглядывая обоих шахтеров.

— Что ж, неплохо...

— По полям, по лесам будете ходить в разведку, пехоту поддерживать в на-

ступлении. Широкое поле деятельности...

Так Эрнесто и Федерико стали танкистами. Первый вскоре уже командовал танком, второй был башенным стрелком. И экипаж Эрнесто Ферреро стал лучшим в роте и соединении...

... То были трудные для республики дни. Не успело закончиться Харамское сражение, как черные дивизии итальянских интервентов навалились с северо-востока на Гвадалахару. Слабый заслон республиканцев беспорядочно отходил к Мадриду. Фронт был прорван. Позиционная война — такой она была вокруг столицы, здесь, у Гвадалахары, приобрела маневренный характер. Бои шли в местах, где не было сложной системы окопов, проволочных заграждений, обжитых артиллерийских позиций, забетонированных огневых точек.

Снова и снова водил Эрнесто Ферреро свою машину в самые трудные места, отбивая атаки фашистов, ведя свою пехоту в контратаку. Он бил вчера, позавчера, пять дней назад, громил итальянскую пехоту, моторизованные колонны, артиллерию. Накануне, после четырех боевых выходов, возвратившись на сборный пункт своим ходом, несмотря на повреждения в моторе, — докладывал командиру роты, сумрачный, недвольный.

— Отлично, Ферреро, неплохо сработано, — подытожил командир рапорт Эрнесто. — Необходимо во что бы то ни стало привести машины в полный порядок. Чорт их знает, фашистов, что они выкинут завтра.

— Машины будут готовы, начальник.

— Между прочим, Ферреро, — командир решил немного подбодрить Эрнесто, — я слышал, вторая бригада танков завтра будет здесь... Вот тогда заживем! А... заживем?!

— Заживем... — нехотя и очень тихо сказал Эрнесто. Он знал, что второй бригаде танков так скоро взяться неоткуда.

Но теперь, шагая рядом с Федерико, он все же снова и снова возвращался к мысли о второй бригаде. Думал, как бы

хорошо можно было ударить по врагу, как помогла бы бригада, — одна только бригада, и даже с тем количеством пехоты, какое было здесь, — погнала бы прочь всю эту сволочь. Эрнесто шел бы впереди и показывал дорогу. О, здешние места он хорошо знает!

Первым, кого Эрнесто увидел на сборном пункте, был командир роты.

— Знаете, Ферреро, обещанная бригада еще не прибыла. А разведку сделать необходимо. Только, пожалуйста, не ввязывайтесь в драку.

Он расстелил на коленях карту и особым, непередаваемым движением руки, растопырив ладонь, служившую ему масштабом, объяснял задачу:

— До этой лоштинки, вот здесь, доберетесь, определенно доберетесь. Посмотрите, что делается в долине, и донесите. Вторым возьмете экипаж Паоло... Только, повторяю, не ввязывайтесь, пожалуйста, в большую драку, лейтенант.

Минут пять заняла проверка обеих машин. Потом захлопнулись надежные зеленые люки, и Эрнесто, сразу успокоившись (он всегда немного волновался, когда получал задание), почувствовал себя в привычной и близкой ему обстановке.

По лесному проселку, держа курс на северо-запад, вышли на опушку редкого леса. Федерико, клянясь потом всеми святыми, уверял, что с семью итальянскими легкими танками они столкнулись «нос к носу». Конечно, Федерико преувеличивал, утверждая, что итальянцы были так близко. До них оставалось добрых четыреста метров, когда Эрнесто скомандовал:

— Огонь!

Он знал, что его две пушки стоили сейчас куда больше четырнадцати пулеметов врага. Тотчас после четвертого залпа — на пристрелку ушло ровно по три снаряда — увидел в перископ: два итальянских танка как-то смешно повернулись. У одного катки бешено крутились, не задевая больше за гусеницу. Другой дал крен и начал пятиться назад.

— Как в кино! — крикнул он Феде-

рико. — Давай, дядя... Еще давай, еще... еще...

Два итальянца, расстрелянные в лоб, выбыли из строя, два других последовали за ними, а три оставшихся, нестройно отстреливаясь, начали уходить на предельной скорости.

Уже пройдена лощина, о которой говорил командир роты, уже преодолен небольшой подъем на седловину. Опьяненный успехом, Эрнесто считал его предостережения неподходящими к данному случаю. Он считал три ускользнувших танка своей неотъемлемой собственностью. Он преследовал их так, как преследует орел облюбованную жертву. Сердца людей в двух закованных в прочную броню машинах стучали в эти минуты единым ритмом, шесть человек жили единой волей.

Добить! Добить, чтобы ни один не ушел!..

Подъем преодолен. И... перед зачарованным взором двух экипажей открылось изумительное, непередаваемое зрелище. Такое зрелище потом остается на долгие годы в памяти танкиста. А подвиг отважного танкиста становится гордостью всей его части. То, что увидел Эрнесто Ферреро, способно было остановить биение сердца. В долине, на расстоянии километра, у автоцистерн стояло до двадцати итальянских танков. Они заправлялись горячим. Водители и стрелки возились у машин.

Эрнесто не помнит, скомандовал ли он:

— Беглым огнем из всех пушек!

Да и не нужна была эта команда, если он ее и подал.

Загорелась первая цистерна... За ней вторая, третья... О, стрелки в башнях знали свое дело. Черный столб дыма, подрезанный золотистыми языками пламени, поднялся вверх, гонимый порывистым ветром.

Эрнесто ясно видел, как метнулись в сторону от цистерн и танков маленькие фигуры людей. Кое-кто, очевидно, пытался вывести отдельные машины из гигантского очага огня. Напрасные усилия! Пулеметами Эрнесто закрыл врагу выход из района пожара. Одного из итальянцев, очевидно, офицера, пуля

настигла в тот момент, когда ему уже почти удалось скрыться в своей машине.

Пушки продолжали делать свое дело, словно рядом стоял командарм и речь шла о зачетной стрельбе, решавшей годовые показатели огневой подготовки.

Ферреро был настолько увлечен зрелищем методического уничтожения противника, что оторвался от перископа лишь тогда, когда его запястье больно схватил мехводитель. По дороге, влево от сборного пункта итальянских танков, быстрым ходом двигалась колонна грузовиков с пехотой.

— Пятнадцать машин! — крикнул мехводитель, наклонившись к уху Эрнесто.

Ферреро почувствовал, как от волнения непонятно обмякли ноги, задрожали руки. Уже много после, рассказывая товарищам события этих горячих минут, Эрнесто не скрывал своего состояния, сам удивляясь, что с ним тогда произошло.

— Федерико, ты их видишь? — полностью овладев собой, крикнул он башенному.

— Пехоту? А как же! — ответил тот. — Посылаю им пряников с шоколадом.

Башня быстро повернулась. Одновременно стрелок открыл огонь. Вторая пушка также начала стрелять. Ферреро приник к перископу и следил за точностью попаданий обеих пушек. В одном месте проселок уже затянулся сизым дымом, и в этом сизом дыму исчезали машины с итальянскими легионерами. Словно игрушечные, проваливались они за непроницаемую завесу. Пять последних остановились, и солдаты начали прыгать на землю. Оба стрелка, вероятно, заметили это одновременно с Эрнесто, так как его приказание перенести огонь почти совпало с первым залпом по новой цели. Пулемет командира танка опередил его секунд на десять.

Цель была достаточно крупная и доступная, чтобы уничтожение ее представляло какие-либо трудности. Облако сизого дыма теперь переместилось влево. Скоро и здесь прорвались первые языч-

ки пламени. Они быстро разрастались. Дерев' грузовых кузовов было для них благоприятной почвой.

Теперь настала очередь боезапаса на итальянских танках. Взрывы следовали один за другим, и огонь весело довершал уничтожение того, что еще осталось от механизированной группы. Ферреро понял, что свое дело танковая разведка сделала. Больше здесь ничто их не задерживало.

— Всех, Эрнесто? — послышался из башни торжествующий голос Федерико. Боясь поверить собственным глазам, башенный требовал подтверждения командира.

— Всех, Федерико! — откликнулся Эрнесто...

Часом позже докладывал он командиру роты, докладывал так, словно ничего особенного и не случилось. Но внутри все клокотало, все плясало от буйной радости. И впервые за много дней командир увидел, как исчезло выражение озлобленности на лице Эрнесто Ферреро, выражение бойца, не могущего ответить двойным, уничтожающим ударом на удар врага.

Да! Удар, нанесенный танковой разведкой лейтенанта Эрнесто Ферреро, был действительно страшный. Он задержал на три часа атаку ударных частей итальянцев, вынудил последние итти без поддержки танков, следовательно, обрекал на верный провал, сопровождаемый гяжелыми потерями. Так оно и получилось.

ПАРАГРАФ, КОТОРОГО НЕТ В ТАНКОВОМ УСТАВЕ

День, когда танкист, младший командир Хименес, получил отпуск на одни сутки, выдался ясный, погожий. Башенный стрелок очень любил эти кратковременные отлучки. Прожив недолгую свою жизнь в сельской местности, танкист с затаенным дыханием шагал по улицам Мадрида. Подолгу останавливался перед зданиями, внимательно разглядывал их замечательно красивую архитектуру. Несколько раз побывал он в публичной библиотеке, продолжавшей работать под огнем германской артилле-

рии, задумчиво перелистывал альбом рисунков Гойа, репродукции с картин Веласкеза. Больше всего на свете любил Хименес рисовать. Рисование он любил даже больше, чем свою башню, пушку, которая в его руках приобретала новые, совершенно особые свойства.

«Когда демобилизуюсь, — мечтал он, — пойду учиться в Академию художеств...».

Это было дерзкое, невероятно дерзкое желание, и сам Хименес часто удивлялся своей смелости. Но он хотел учиться, и это было самое важное.

На этот раз, однако, прогулка по городу не состоялась. У башенного стрелка было дело. И дело не из легких.

Еще два дня назад фашисты подбили один из танков его роты. Несколько снарядов основательно его разрушили. Вспыхнувший пожар довершил дело. Обгоревший остов боевой машины торчал на «ничьей земле» как-раз в том месте сектора, где окопы врага имеют форму глубоко вогнутой дуги. Он попал под перекрестный артиллерийский огонь.

Вчера Хименес основательно обследовал район, где лежал танк. Свыше двух часов провел он в наиболее выдвинутом вперед окопе республиканцев. Пушка на танке была, очевидно, цела. А раз так, ее нужно снять. Правда, в танковом уставе про такой случай ничего не сказано, но башенный стрелок и без устава хорошо знает, что к чему.

Хотя предприятие было явно рискованное, он быстро нашел необходимых ему трех спутников. Об'яснять существо дела дважды не пришлось. Танкисты — народ понятливый.

План экспедиции Хименес подготовил заранее; они подползли к машине, когда начало смеркаться. Каждый знал, за что отвечает. Себе башенный стрелок оставил перископ и пулемет. Одному поручил пушку. Двое оставались оборонять подступы к танку, на случай, если фашисты попытаются к нему подойти.

Беглый осмотр разбитой машины. Пушка, перископ — целы. Пулемет сильно поврежден. Тотчас закипела горячая работа.

Как это часто бывает, испортила все дело излишняя поспешность. Парень, который снимал пушку, неосторожно нажал спусковую педаль. Раздался выстрел. Ответ не заставил себя долго ждать. Враг открыл огонь по танку с обеих сторон дуги.

Оставаться теперь в развороченном танке и около него было просто неразумно. Следовало отойти и переждать. Так четверо танкистов и поступили. Недалеке нашли старый, заброшенный окоп, где все они поместились, правда, без особых удобств.

— Не будут же фашисты палить до скончания века, — открыл импровизированное совещание Хименес, — а раз не будут, возвратимся и закончим. Дела там осталось всего минут на сорок, не больше. Идет? Возражений не встречается, — повторил он после паузы, внимательно оглядывая каждого из товарищей.

— Нет, встречается, — ответил один. — Ну ее, твою пушку, Хименес! Гляди, какую пальбу подняли фашисты... Надо быть довольными, что целыми ушли...

— Домой захотел?.. Ни с чем?.. Да?.. А вы, ребята, — обратился лейтенант к двум другим, — тоже домой? Ты?.. — схватил он за руку прямого виновника неудачи.

— Я? Я, как другие... Когда ты позвал, ведь я первый с тобой пошел, — попытался оправдаться тот.

— Понятно. Можешь дальше не продолжать, — перебил его башенный. — Будь я здесь начальником над вами, таких разговоров не было бы. Но в этом деле все мы равны, каждый волен... Всего!..

Младший командир с легкостью оперся на руку и перекинулся через полуобвалившийся парапет окопа.

— Хименес!.. Хименес, подожди!..

Он даже не обернулся. Тремя перебежками покрыл пятнадцать-двадцать метров, отделявшие окоп от подбитого танка, скрылся в нем...

Возвратился в свое расположение за долго до окончания срока суточного отпуска. Молча вошел к командиру танкового взвода, положил снятую с подбитой машины пушку, перископ. Из

брюк вытащил связку ключей для ремонта и, как бы взвешивая каждый, разложил рядом с пушкой. Так же молча ответил командиру на пожатие руки, на крепкое товарищеское объятие.

— Вы можете взять свой суточный отпуск хоть завтра, Хименес, — сказал командир.

— Благодарю... У меня есть просьба.

— Выкладывайте.

— Просите там, наверху, чтобы в устав записали такую статью: «Оставляя выведенную из строя машину, танкист должен снять ее вооружение».

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ — ДРУГ

Танк лежал на «ничьей земле». Фашисты подбили его прямым попаданием. Один снаряд попал в башню. Даже отсюда, из республиканских окопов, неворуженным глазом можно было различить рваную рану на ее стальном теле. Башенный стрелок был, вероятно, убит.

Танк лежал на боку. Опытным взглядом танкисты определили, что, по крайней мере, одна гусеница абсолютно цела. Если цела и вторая, боевую машину можно выручить из беды. Самое главное, конечно, то, что фашистской сволочи не удалось поджечь ее.

Всю ночь мехводитель, младший командир Эмилио Маса, из взвода, в который входил подбитый танк, провел в окопах первой линии. Он напряженно смотрел в ночь и еще более напряженно слушал. Иногда, утомленный, закрывал глаза и на несколько минут оставался ко всему безразличным. Потом, отдохнув, снова старался разглядеть, не движутся ли оттуда, из «ничьей земли», к окопам тени или тень. Сколько раз, с наступлением темноты прорывались республиканские танкисты с подбитых машин к себе домой. Может быть, и сейчас возвратятся они сюда. Мехводитель перебирал в памяти много событий, послуживших прочной основой того большого, сильного товарищества, которое связывало его с экипажем подбитого танка, товарищества, возможного только в армии, его воспитавшей. События были подчас значительные, подчас и

маленькие. Но сейчас все они казались одинаково важными.

Ночь слегка поредела, сменилась серым, туманным рассветом, когда до его слуха донесся крик человека. Крик шел из «ничьей земли», оттуда, где тяжелой глыбой возникал подбитый танк. Значит, там, в танке, в мертвом танке, теплилась жизнь, билось сердце боевого товарища. Решение пришло сразу. Эмилио Маса доберется до танка и выведет его в свое расположение. Если же окажется невозможным спасти машину, он вынесет товарища, а танк взорвет. Не достанутся машина и тела его экипажа фашистским гадинам! Мертвые, они тоже принадлежат нам, сражающимся за Республику!

Маса приготовился уже перебраться через парапет, когда перед мехводителем выросла фигура пехотинца.

— Туда? — спросил пехотинец, показывая в направлении танка.

— Да.

— Какой ты быстрый, танкист. Жизнь тебе не мила, что ли?

— Да, не мила, — огрызнулся мехводитель.

— Не мила? Так... зато мне твоя жизнь нужна. Тебя на тот свет отправят, а, пока новый твое место заступит, мне в окопах сидеть прикажешь? Далеко я без танков уйду!.. Ты мне живой нужен. Живой, понимаешь меня?

— Пусти..

Но пехотинец, схватив Маса за руку, крепко ее держал.

— Рассвет... Итти поздно. За день просмотришь расположение противника. Здесь каждая точка под пулеметом. А чуть стемнеет, — счастливого пути! Хочешь, я пойду с тобой. Я знаю здесь каждый бугорок...

О том, что кто-то из экипажа подбитого танка жив, Маса донес немедленно командиру танковой роты. Весь день республиканцы держали под заградительным артиллерийским и пулеметным огнем район, где лежал танк.

Стемнело, когда, с разрешения своего командира, мехводитель Эмилио Маса с двумя пехотинцами выбрались из своих окопов и медленно поползли к танку. Продвигались предельно осторожно.

Метр за метром неуклонно оставались позади. Один из пехотинцев считал:

— Два... три... шесть... Два... три... шесть...

Так прошли метров около пятисот. До танка оставалось, вероятно, не больше тридцати, когда фашисты обнаружили три движущиеся фигуры. Тотчас они повели по ним ураганный пулеметный огонь. Танкист и пехотинцы залегли за бугорок. Вражеские пули со свистом пронеслись справа, слева. Одна ударила в шлем второго пехотинца и отскочила. Мехводитель несколько раз спрашивал:

— Целы?

— Целы...

Огонь стих. Тогда тройка броском перекинулась к танку. Мехводителю казалось, что никогда в своей жизни он так быстро не бегал. На твердом грунте дивизионного стадиона Эмилио Маса проходил стометровку за 11,2. Но там на нем были тапочки, майка, трусики. Здесь же полное обмундирование, — кожаный костюм, личное оружие, металлический шлем стесняли движения.

— Стой! Кто идет?.. Стрелять буду...

Слова эти произнесены тихим, полным страдания голосом. Маса сразу узнал его. Это был водитель подбитого танка, младший командир Рабасольс... Значит, он жив. Значит, помощь все-таки не опоздала...

— Свои, — отозвался мехводитель. — Ничего, друг, дело поправимое, — добавил он, склоняясь над товарищем. Рабасольс лежал с запрокинутой головой у самого корпуса боевой машины. Одной рукой раненый инстинктивно держался за звено гусеницы, казалось, черпая силы в этом прекрасном создании его Родины. В другой — судорожно сжимал рукоятку пистолета.

— Командир и башенный убиты, — прошептал раненый. — Два прямых падения...

— Лежи, лежи, сейчас во всем разберемся... Выпей вот глоток-другой.

Мехводитель поднес к запекшимся устам раненого плоскую фляжку с коньяком.

— Машину вывести можно?

- Нет... Перебита гусеница.
- Замки, перископ — целы?
- Перископ — да, пулемет — тоже...
- Ладно. Перископ так перископ.

Отдельные пулеметные очереди, которыми фашисты непрерывно тревожили район нахождения танка, уступили теперь место сплошному дождю свинца. Несмотря на темноту, противник бил точно.

— Пристрелялся, чорт, — пробормотал один из пехотинцев. Он выдвинул шлем на острие примкнутого штыка на уровень башни. Опустил. Ощупал:

— Две пробоины, — спокойно сказал он.

Из одеяла и винтовок сделали носилки. Осторожно положили на них раненого мехводителя. В урагане ожесточенной стрельбы двинулись в обратный путь. Было невероятно тяжело ползком нести товарища. Но несли.

Пулеметным шквалом ранило второго пехотинца. В руку, повыше локтя. Спустя мгновение ранило мехводителя Маса.

— Дойдем? — спросил Маса.

— Все дойдем, — услышал одного из пехотинцев.

«Как меняется голос у раненого, — мелькнула мысль у Маса. — Только бы не тяжело их хватило, моих парней. А так дойдем... Обязательно дойдем».

— Маса, оставьте меня, — прошептал Рабасольс. — Только прикончи. Из-за одного меня двоих ранило, чорт бы вас всех забрал.

— Таких чорт не забирает, — проворчал мехводитель. Прерывисто дыша, продолжал ползти. А второй пехотинец отсчитывал.

— Два... три... шесть... Два... три... шесть...

Доползли до своих все.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЧАСОВ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА

Это был знойный, душный вечер. Море тихо плескалось о гальку пляжа. Луна поднималась в просвете длинной аллеи столетних кипарисов, сливавшихся в настоящую стену. За аллеей сереб-

рилась уходящая далеко в море дорожка.

Из зала доносились звуки рояля. Исполнялась бетховенская «Апассионата».

— Вот, вы говорите, музыка... — задумчиво сказал один из двух собеседников, сидевших на балконе. Черты лица говорившего скрывал полумрак. Был лишь виден белый его костюм. — Что общего, скажите, пожалуйста, между Бетховеном и танковым боем? Ничего, конечно. А я слушаю третью симфонию или вот эту сонату и, кажется, все бы бросил и на фронт... Что я видел в прошлом? До того, как я переступил порог казармы, Бетховен был для меня пустым звуком. А теперь душе моей он говорит... Вот что...

Другой понял, что человек говорит о самом для него сокровенном. Не прерывая собеседника, он следил за ним. Другой понимал чувства молодого командира и весь вечер умело, тактично готовил им выход.

— Вы пережили один из ярчайших эпизодов войны, — сказал он. — Двадцать пять...

— Ничего подобного, — выдал себя тот. — О чем вы говорите?

— Двадцать пять часов в танке...

— А, вы об этом... — сдался он...

Протяжный пароходный гудок на минуту заглушил пианиста. Буря первой части сонаты уступила место спокойствию, плавной уверенности второй.

— Действительно, нам тогда туго пришлось. Но было бы необходимо, — готов в три раза больше просидеть...

... Ну, началось, как всегда такие вещи начинаются. Рота получила свою обычную работу — прошупать фашистов, привести в божеский вид их окопы и обеспечить атаку нашей пехоте. Где это происходило? На восточном фронте. Территория там сильно пересечена. Маса канав для воды. Сушь зверская, удивляешься, как только здесь растет что-нибудь. Но, когда дожди, вода разливается, и весь район превращается не то в болото, не то в озеро.

Еще до атаки командирам машин и мехводителям на местности объяснили

обстановку и задачу. Нам предстояло пройти сначала пустые окопы, и только после этого мы добирались до окопов фашистов.

Подали сигнал. Рота развернулась, пошла вперед. Когда проходили свои окопы, соседний с нами экипаж, очевидно, потерял из виду остальных. Башенный открыл верхний люк, высунулся, взглянул, кто где. И ведь, правда, одному идти жутковато. Помощь от товарища под вражеским огнем, конечно, относительная. Важно здесь другое — сознание, что рядом идут свои.

Шли все, конечно, правильно. Будто и не фронт. Сознаю, только здесь я понял, какой блестящей вычкой обладают наши мехводители.

Как только мы выбрались за свои окопы, фашисты встретили нас сильным огнем. Были здесь и артиллерия, и пулеметы, и винтовки. Снарядов около нас, правда, не разорвалось ни одного. Зато от пуль впечатление было такое, будто идет сильный дождь с градом. Стучат по броне, звенят.

Метров за тысячу двести — тысячу триста от переднего края встретили свой танк, подбитый противотанковой пушкой врага. Казалось, он был поврежден не сильно. Экипаж, вероятно, цел. Подошли к нему вплотную. Рассчитывали, что ребята перейдут. Но они не подавали признаков жизни. Так как долго стоять под обстрелом не рекомендуется, тем более, что рота успела уйти вперед, двинулись и мы.

Путь преградила канава, наполненная водой. Мехводитель решил лучше обойти ее, резко взяв вправо. Дал газ и минуты через три возвратился в строй. Отход вправо оказался больше. Чтобы не нарушить линию, начал принимать несколько левее. Вот тут-то и случилась неприятность... Мотор на третьей скорости не потянул. Не потянул и на второй... Внезапно танк весь осел, и в люк мехводителя пошла вода. И это было самое важное. Мы шли по местности, залитой водой. Не приходилось и думать о том, чтобы развернуться. Командир танка решил — будем ползти до твердого грунта. А там как-нибудь разберемся.

Фашисты били по машине с трех сторон. Видимо, мы залезли в хорошо пристрелянный мешок. Ни я, ни Эмиль — командир танка, — разумеется, не давали им спуска. Все триплексы¹ к этому времени оказались уже поврежденными, и Педро вел машину фактически вслепую. Чтобы нас подбодрить, он только и делал, что через каждые три минуты обещал хорошую местность.

«Но, но, двигай, друг-приятель, двигай!» — кричал он на машину. Она стонала, скрипела, но двигалась.

Вместо хорошей местности последовал жестокий удар, от которого танк весь вздрогнул. И в следующую же секунду со стороны люка Педро широко потоком хлынула вода. Чтобы посмотреть, какая новая беда свалилась на нашу голову, командир танка выбросил вперед створку своего люка. В ту же секунду я ощутил в левой руке, чуть выше кисти, острую, режущую боль. Дело было летом, в августе, на всех нас — легкие рубашки с короткими рукавами. Ощупал. Пальцы попали во что-то липкое и теплое. Понял: ранили, подлые. Впрочем, тотчас поблагодарил, что попали в левую руку, а не в правую.

«Лейтенант!» — крикнул я.

«Ну?...».

«Ранили, — говорю, — подлые».

«Тяжело?».

«Ни... В руку, выше кисти».

«Педро тоже. Стрелять можешь?».

«Лейтенанту лоб поцарапали, — слышался голос мехводителя. — Держись, башенный, выезжать буду».

Выезжал Педро минут двадцать. Все это ни к чему не привело. Машина крепко завязла...

Соната кончилась. Последние ее победные аккорды еще мгновение поддерживали рассказ. Не слыша знакомых звуков, удивившись собственному голосу, танкист замолк.

— ...Да, — продолжал он после паузы, — тут-то мы услышали крик.

«Эй, камарадо! — орет кто-то, коверкая слова. — Выходи, камарадо! Генерал приказал приводить всех к нему. Он

¹ Триплекс — небьющееся стекло, предохраняющее смотровые щели в танке.

дает много деньги. Не будешь, камарадо, работать, а жить хорошо станешь».

Командир танка говорит мне:

«Фашисты».

«Ясное дело» — отвечаю.

«Стреляй их из пистолета» — приказал мне Эмиль.

Так я и сделал. Открыл свой люк и из пистолета дал два выстрела. Тотчас после выстрелов фашисты стали сыпать угрозами. Слышу, кричат:

«Облить их бензином! Сжечь! Сжечь живьем!».

Сознаюсь, подумал: «Сейчас нам крышка». Решил на прощание посчитать им ребра. Занял место у пушки, навел ее на фашистов. Они продолжают истошно вопить:

«Смерть! Смерть им!».

И агитацию свою забыли, хорошую жизнь поминай, как звали... Одним словом, пошел другой разговор...

А я как дам разочек, дам другой по ним из пушки! Фашисты начали забрасывать нас гранатами, из пулеметов стреляют. Бедная машина так и стонет.

Нехорошо говорить о себе, но, честное слово, я не унывал в те минуты. Веду огонь в разные стороны, стараюсь не подпустить фашистов к танку.

Вышли мы со сборного пункта, вероятно, часов в четырнадцать. Теперь было около двадцати. Смеркалось. В танке совсем темно, зги не видать. Света, конечно, нет. Внезапно раздался орудийный выстрел. Сразу стало светло, как днем. Эмиль и Педро, оба выскочили из машины и начали заливать водой очаг огня.

«Эмиль, Педро!» — крикнул я. Оба отозвались. Командир танка позвал меня на помощь. Выскочил я и сантиметров на шестьдесят, может, и на все семьдесят, погрузился в воду. Командир и мехводитель лежали в канаве с водой. Нужно было переждать, пока огонь противника станет менее интенсивным. Высунуть нос — значило наверняка распрощаться с жизнью. Когда стрельба немного ослабела, — это случилось минут через двадцать, — помог им водвориться в танк, накрыл пальто, которое как-то случайно оказалось в машине. Сам же снова сел за пушку. Тьма кро-

мешная. Огонь повел в направлении довольно громкого разговора. Очевидно, один из снарядов лег, куда надо, так как раздался крики.

Да, я забыл сказать, что очаг-то огня получился не от выстрела, а от бутылки с горючим. Теперь, в отместку, полетела новая бутылка с фосфором и бензином. Она вспыхнула, и внутренности машины опять осветились. Потом снова разорвался снаряд, и снова стало темно.

Как ни трудно было наше положение, но я от души рассмеялся. Вот ведь дураки какие! Сами зажигают нас своими бутылками, сами их и тушат. Правая рука не знает, что делает левая! Но обольщаться не приходилось. Долго продолжаться это не могло...

Посмотрел в револьверное отверстие. На нашем танке, держась левой рукой за ствол пушки, стоял какой-то субъект. Нет, это не был марокканец.

По силуэту видно, что одет он в форму европейского образца. В правой руке у него был какой-то зажженный квадрат. Выстрелом из пистолета я снял его с танка. Скатился мальчик кубарем... Сделал еще шесть выстрелов — всю обойму минус один. Последний выстрел сделал в потолок. Это должно было означать, что единственный оставшийся в живых защитник боевой машины покончил жизнь самоубийством...

Море все так же ласково плескалось о пляж. Серебристая дорожка, теперь еще более искрящаяся и широкая, уходила далеко-далеко к горизонту.

... Симуляцией самоубийства я рассчитывал получить передышку. Тихо, тихо, шел третий час утра. Полезно было подремать часок-другой. Но, подлые, подожгли еще раз танк, и снова пришлось пережить несколько неприятных минут. Выручили... фашисты. Разорвался снаряд, который отлично потушил очаг. Потом все стало спокойно...

Положил голову на пушку, стал прислушиваться и незаметно для себя задремал. Разбудила трескотня. По танку, — в который раз, — били из пулеметов и винтовок. На всю эту возню не отвечал. Стрелять, не видя, — бессмысленно. Важно выиграть время. Ко-

гда рассветет, видно будет, что делать. Снова вздремнул.

А когда очнулся, уже светало. Погасли все звезды, исчезли лиловые тени; черное бархатное арагонское небо, еще более бархатное, чем вот это, стало серым и совсем негостеприимным. Примерно метрах в двухстах я увидел танк из нашей роты. Он был подбит. Около машины вертелись какие-то люди, на солдат похожие весьма отдаленно. На танке стояли большие бутылки с горючим. Хотел было снять всю эту компанию, потом раздумал. Решил без крайней нужды не стрелять. Где-то в стороне начал барабанить одинокий пулемет.

Проснулись Эмиль и Педро. Вместе стали думать, что делать дальше. Остановились на таком плане: если днем наши не пойдут в атаку, выбрать удачный момент и ударить.

Прошло еще сколько-то времени (мои ручные часы остановились, — очевидно, купание в канаве не прошло для них бесследно), видимо, часа два, прежде чем фашисты оставили соседний танк в покое. Лишь у башни сидел один парень. Последил за ним, вижу — лезет внутрь танка, вытаскивает продовольственные запасы, ест, вернее пожирает, снова лезет, снова ест. Наконец ушел и он.

Где-то вдали прокатилось мощное «ура». Одну минуту сердце захолонуло от счастья, — показалось, что оно приближается... Обманутые надежды! Пехота наступала на другом участке, километрах в полутора к северу, и нам на ее помощь рассчитывать не приходилось.

Решили бежать. В пушку заложили снаряд без гильзы. Затвор сняли, бросили в канаву. Вывели из строя пулемет. Эмиль снял перископ.

Прыгали из танка в воду по очереди. Первым нырнул командир. За ним пошли и мы двое.

Первая часть пробега прошла благополучно. Лучшего ожидать не приходилось. Двинулись гуськом, по канаве. Я замыкал. Вода была сначала по пояс, потом — по грудь. Педро, самый низкорослый из нас троих, ушел почти до самого подбородка. Он все время под-

шучивал над собой. От его шуток становилось как-то веселее и легче идти.

Так добрались до другого танка. Как мы и ожидали, он оказался вскрытым. Машина преграждала нам дальнейший путь. Конечно, не могло быть и речи, чтобы вылезти из канавы. Снимут — оглянуться не успеешь. Опять по очереди ныряем под танк.

Когда я последним выплыл по ту сторону машины, командир молча протянул к ней руку. Взглянул туда, и... стало нехорошо, очень нехорошо стало. На ремне болталось тело Хуана — меховодителя второго танка, нашего замечательного товарища. И такая во мне злоба сразу закипела, сказать не могу. Перебил фашистской падали с тех пор я немало, стреляя в упор, так, что клочья только летели, но считаю, что за смерть Хуана и его товарищей расплатился не сполна. Должок еще есть.

Здесь, по горло в воде, наш экипаж дал клятву драться до последней капли крови и пощады не давать. Это может показаться обидным — «до последней капли крови». Но шла клятва от сердца.

Мы хотим, чтобы Бетховен звучал для нас вот так, как звучал он сейчас. Есть силы, которые стали нам поперек дороги. Их нужно снять. И я не я буду, если их не снимаю толику, другую...

— ... Канавы вывела в дрянную речушку, — продолжал танкист после новой, еще более продолжительной паузы. — Пошли по ней. Шли в воде уже час с лишком, и, несмотря на жару, дело это порядком нам надоело. А вылезать на берег — все так же невозможно. К прежним опасностям прибавилась новая. На берегу стояла 75-миллиметровая пушка.

Но речка стала накрывать с головой, и пришлось волей-неволей вылезать. Метров пятьсот, а то и всю тысячу, ползли, притираясь к земле. Потом снова влезли в воду.

По обоим берегам тянулись окопы, за которыми открывалась ровная местность. Однакоже, решили держаться реки...

Еще через километр набрали на окопы, залитые водой. Пришлось пробив-

раться ползком. Я было чуть высунулся, но рядом с противным свистом ударила пуля и послужила всем нам хорошим предупреждением. Возвратились назад.

Хоть стыдно, признаюсь, потеряли ориентировку. Разобраться, чьи окопы, — наши или фашистов, — не могли. Решили снова двигаться вдоль реки. Так оно будет вернее.

И действительно, вскоре показалась деревушка, как будто бывшая на нашей стороне. Впереди нее мы различили укрепленную полосу. Деревня, действительно, оказалась нашей. Когда подползли метров на двадцать, я крикнул:

«Камарадос, свои идут, пропустите!..».

Из окопов ответили.

По команде Эмиля, вскочили, бегом покрыли последний участок и — скок в окоп.

Приняли нас пехотинцы на славу. Целовали. Обнимали. Вымыли. Пистолеты вычистили. В перевязочную свели. Но мы рвались к себе в роту. И, кажется,

высшей мечтой было — привычное место в машине и сигнал стартера: «Пошли!»...

... Из аллея парка доносился смех. Кто-то лениво перебирал струны гитары.

— Слава народу, имеющему таких сыновей, — тихо, очень тихо сказал слушатель. — Знаете, башенный, я всегда гордился своей страной, своим народом. Сегодня я горжусь им еще больше.

— Мы не сделали ничего особенного, — ответил танкист. — Будь на нашем месте любой другой экипаж, он сделал бы то же. Танкисты не сдаются. А если умирают, товарищи оплачивают фашистам за их смерть. Чтобы весело смеялись наши девушки, чтобы учились в школах детвора, чтобы море и кипарисы и все, все улыбалось и радовалось...

— Так по домам, спать? — спросил он. — Или заход-другой по парку, размяться малость?..

Песня про Алёну-Старицу¹

ДМ. КЕДРИН

★

Что не пройдет, —
Останется,
А что пройдет,—
Забудется...

Сидит Алёна-Старица
В Москве, на Вшивой улице.

Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железам.

Бегут ребята, дразнятся,
Кипит в застенке варево...
Покажут ноне разинцам
Остратку судьи царицы!

Расспросят, в землю метлами
Брады уставя долгие,
Как соколы залетные
Гуляли Доном-Волгою,
Как под Азовом ладили
Челны с высоким застругом,
Как шарили да грабили
Торговый город Астрахань!

Палач-собака скалится,
Лиса-приказный хмурится...
Сидит Алёна-Старица
В Москве на Вшивой улице.

Судья в кафтане до полу
В лицо ей светит свечечкой:
— Немало, ведьма, попила
Ты крови человеческой!
Покуда плахе-матушке
Челом ты не ударила, —
Пытают в раз остаточный
Бояре государевы:
Обедню чорту правила ль,
Сквозь сито землю сеяла ль
В погибель роду царицу,
Здоровью Алексееву?

— Смолой приправлен жидкою,
Мне солон царский хлебушек!
А ты, боярин, пыткою
Стращал бы красных девушек!
Хотите — жгите заживо,
А я царя не сглазила.
Мне жребий выпал — важивать
Полки Степана Разина.
В моих ушах без-умолка
Поет стрела татарская...
Те два полка,
Что два волка,
Дружину грызли царскую!
Нам, смердам, двери заперты
Повсюду, кроме паперти.
На паперти слепцы поют,
Попросишь, — грош купцы дают.

Судьба меня возвысила!
Я бар, как семья, шелкала,
Ходила в кике бисерной,
В зеленой кофте шелковой!

На Волге — что оконницы —
Пруды с зеленой рыскою,

¹ Алёна-Старица — полулегендарное лицо русской истории. Нищая старуха, она, по преданию, командовала полками Степана Разина и в ряде битв наголову разбила царские войска. Казнена в Москве.

В них раки нынче кормятся
 Свежинкою дворянскою.
 Боярский суд не жаловал
 Ни старого, ни малого,
 Так вас любить,
 Так вас жалеть,—
 Себя губить,
 Душе болеть!..

Горят огни-пожарища,
 Дымы кругом постелены.
 Мои друзья-товарищи
 Порубаны, постреляны.
 Им глазыньки до доньшка
 Ночной стервятник выклевал,
 Их греет волчьё солнышко,
 Они к нему привыкнули.
 И мне топор, знать, выточен
 У ката в башне пыточной,
 Да помни, дьяк,—
 Неровен час:
 Сегодня — нас,
 А завтра — вас!

1939.

Мне б после смерти галкой стать,
 Летать под низкой тучею,
 Ночей не спать—
 Царя пугать
 Бедою неминучею!

Смола в застенке варится,
 Опарой всходит сдобною,
 Ведут Алёну-Старицу
 Стрельцы на место лобное.
 В Зарядье над осокою
 Блестит зарница дальняя.
 Горит звезда высокая...
 Терпи, многострадальная!

А тучи, словно лошади,
 Бегут над Красной площадью.
 Все звери спят,
 Все птицы спят,
 Одни дьяки
 Людей казнят.

★

Пути-дороги

(По степному Казахстану. Записки геолога)

И. ФРОЛОВ

★

Там, в суровой природе, пусть закалится в борьбе с невзгодами природы наше молодое поколение...

Академик А. Е. Ферсман.

РАССКАЗ О ПРОПАВШЕМ КАМНЕ

Аул был пуст. Я прошел его из конца в конец дважды и не встретил ни одной живой души. Не было даже собак на улице. Лишь на реке, позади аула, не охраняемые никем, паслись две стреноженные лошади. Было ясно, что аул Жана-Джол всем составом населения выехал на уборку хлеба, не оставив дома никого. Только в одной юрте я услышал жалобное мяуканье котенка. Выругав себя за неудачно выбранное время для поездки в этот аул и за потерянный день, я решил направиться восвояси. Выйдя на берег реки, я увидел в обрыве выход сланцев, смятых мелкими, причудливыми складками. Это обнажение было так эффектно, что мне пришла в голову мысль сфотографировать обрыв. Аппарат, к счастью, я заватил с собой.

Вдруг чей-то громкий и гневный голос окликнул меня. Оглянувшись, я увидел старого казаха, с лоснящейся от солнца лысой головой, одетого в белую рубашку и такие же белые широкие ситцевые шаровары. Он приближался ко мне с решительным видом и недвусмысленно потрясал в воздухе палкой.

— Кет! — гневно кричал он мне, и это надо было понимать, как «убирайся вон». Я прибегнул к старому, испытанному в нашей практике средству. Не те-

ряя внешнего равнодушия, я расставил перед собой треножник.

— Твой какой человек будет, ай? — спросил старик уже по-русски, налетая на меня коршуном.

— Не мешай, подожди, — ответил я и поднял руку, запрещая ему приближаться к моей треноге. Все с тем же безразличием глядя на старика, я вынул из футляра аппарат и нажал кнопку затвора. Аппарат коротко щелкнул и внезапно раскрылся, эффектно сверкнув на солнце никелированными частями.

— Ой-бай-ой! — произнес старик с изумлением и отшатнулся назад. — Что такой делает? Стреляйт не будет?

— Нет, стрелять не будет!

— А-а-а...

— Я сейчас тебе все расскажу, а пока не мешай мне работать, — строго предупредил я и стал готовить аппарат к с'емке.

Пока производилась с'емка, старик стоял, опершись на палку, с интересом рассматривая и меня, и мою диковинную машину. И, видимо, начиная понимать меня, он опять повторил вопрос, но уже без всякой подозрительности:

— Твой какой человек будет? Землемер?

Я подробно рассказал ему о себе и о том, что намерен заниматься в окрестностях аула поисками золота, меди и других руд.

— А-а-а... — произнес он и одобрительно затряс жиденькой бородой. — Знаем, знаем! Алтын знаем, инженер знаем, — все знаем. Наша решушка туда-сюда ходить будешь, камень разный смотриай будешь, знаем... Аман, товарищ, здравствуй!

Это было неожиданно, и я тоже ответил ему «аман», и мы потрясли друг другу руки, как старые друзья.

Так началось мое знакомство с этим человеком. Я узнал, что его звали Иса, что ему вверена охрана всего аула и строго-настрога заповедано, как зеницу ока, стеречь лошадей. Он долго следил за мной, пока я заглядывал в окна домов и стучался в двери пустых юрт; видел он и то, как я, убедившись в отсутствии людей, пошел к реке, где паслись колхозные кони. Теперь это показалось нам очень забавным, и оба мы от души посмеялись над такой замечательной нашей встречей. Потом разговор перешел на другое, что и являлось причиной моего приезда в аул.

— Скажи мне, Иса, — спросил я старика, — где отыскать старого человека Исмагула?

Я не знал, кто такой был Исмагул. Мне было известно только имя, которое я вычитал из книги, написанной исследователем этого края много лет назад. Исследователь писал, что где-то в окрестностях этого аула должна находиться медная руда, что найти ее ему не удалось и что место это знает лишь один человек — Исмагул. Вот и все, что мне было известно об Исмагуле.

Иса помолчал, раздумывая над моим вопросом, и потом ответил мне. Я узнал, что если подняться вверх по реке на пять километров, то встретишь на невысокой сопочке могилу, заложенную камнями, — в ней зарыт Исмагул. Он умер лет сорок тому назад.

— Иса, — спросил я старика, — как это случилось, что только один человек знал о медной руде, и никто другой не расспросил о ней Исмагула?

Старик, поняв, чего я добивался от него, стал рассказывать мне по порядку. Это была поучительная повесть, и я, слушая ее, больше не жалел о потеря-

ном дне. Вкратце ее можно передать так.

Исмагул унес в могилу тайну о медной руде. Эту схороненную тайну знал казах Ерджан, молодой в те годы. Ерджан в молодости своей ездил по Уральским и Карсак-Пайским горам и научился отличать простой камень от рудного, из которого лютю железо и медь. Потом Ерджан возвратился к отцу и вместе с ним выехал весной на джейляу. И вот однажды он принес в юрту камень, найденный им на реке. Камень был бледно-травяного цвета, и Ерджан уверял всех, что то была медная руда — малахит. Тогда пролетела весть о руде по всему джейляу, и в тот же вечер съехались к Ерджану родственники и старые люди на совет. Для них был зарезан и зажарен баран, посланы самые лучшие ковры в юрте и поставлен турсук кумыса. Гости ели барана, обильно запивая его кумысом, и все по очереди рассматривали зеленый камень, который был очень тяжел и очень красив. А Ерджан говорил им, что из такого камня в Уральских горах лютю медь. Потом гости стали совещаться, что делать им с ерджановым камнем. И когда все высказались, поднялся со своего почетного места самый старший гость — Аксакал, у которого борода была белее пряди степного ковыля. Он взял камень в руку и строго сказал:

— Выйдем из юрты, Ерджан, и ты расскажешь мне, где и как нашел этот камень.

Скоро они вернулись, и старый человек продолжал:

— Ты не находил, Ерджан, никакого камня, и никто из нас не знает о нем ничего. Забудем об этом камне. Когда придет к нам русское начальство пытаться о камне, — мы ничего не видели и ни о чем не слыхали! И если кто-нибудь из вас забудет уговор, то здесь вырастут русские поселки, русские взроют сопки и прогонят нас с родной земли!..

Он обвел всех испытующим взглядом и гневно стукнул клюкой. Никто не посел возразить старому человеку. Он ушел, развевая своей бородой, унес ерджанов камень и забросил где-то его в воду. Тот старый человек и был Исма-

гул. Он скоро умер, не открыв никому своей тайны. А Ерджан снова уехал из аула, и с тех пор о нем не было слуха.

Но весть о медной руде все же дошла до начальства. Спустя два года оно приезжало сюда на тройках. Приехавшие искали Ерджана, спрашивали про Исмагула, ругались и грозили плетьюми, но уехали с тем, с чем приезжали.

Окончив свой рассказ, Иса сочувственно сощурил на меня подслеповатые глаза:

— Теперь как твой искать станет? Какое место нырять будешь?

— Зачем нырять, Иса? — ответил я. — Нырять не нужно. Надо узнать место, где камень был найден Ерджаном. И тогда ты придешь к нам на шахту, Иса.

Старик улыбнулся, поняв мою шутку.

— Мой совсем старый. Мало-мало аул караулим — вот и мой шахта. А молодой человек пойдет. Хороший цена даешь, спецовка даешь — любой человек пойдет.

— Ну, до шахты еще далеко, дед. Была бы руда, — о цене и спецовке поговорим как-нибудь.

— Знаем, знаем, — согласился Иса. — Шахта знаем, все знаем. — И он опять потряс белой своей бородой.

Мне пора было уходить, и я стал прощаться со стариком.

— Прощай, прощай, — сказал Иса и, когда я отошел на несколько шагов, крикнул мне вслед:

— Зеленый камень находишь, — наш кибитка таскай, пожалуйста, наш интересно такой руда смотреть, председатель позовем, мало-мало калякайт нада.

— Принесу непременно, Иса! — это я сказал уже самому себе. — Мы созовем знатных людей колхоза и будем смотреть эту руду и, сидя на ковре, будем говорить про нее. И я знаю: среди вас теперь не найдется Исмагула и никому не придет в голову схоронить медный камень в воде.

Я вышел в степь... Как велика она и как еще мало изучена нами! И не предание ли казахского народа рассказал мне словоохотливый старик? Так или иначе, но пусть не будет оскорблена память мудрого Ак-сакала: в наше время ты не

поступил бы так, Исмагул!..

АТЫН-УЛЬМЫ — ЛОШАДИНАЯ СМЕРТЬ

Афанасий дремлет. Он сидит на облучке, и нам видны его широкая спина и давно уже не стриженный затылок. Время от времени он встряхивает вожжами, незлобиво покрикивая: «Я вот вам, язви вас!»; потом голова его медленно клонится вниз и качается из стороны в сторону, отмечая все неровности дороги. Вслед за тем подается вперед весь его корпус, и тогда кажется, что при первом же слабом толчке наш кучер грузно рухнет под ноги лошадям. Геннадий толкает его в спину. Тот вздрагивает и с испугу хватается за вожжи:

— Опять вы, язви!..

Потом оглядывается и, виновато улыбнувшись, признается:

— Дремлется что-то...

Геннадий, мой коллектор, вертится на вазу с биноклем в надежде обнаружить где-нибудь среди ковылей и бурьяна пасущихся дроф.

Мы только-что закончили исследование небольшого гранитного массива и переезжаем на новый участок, в верховья реки Сары-Су. Я люблю такие далекие переезды по степи на лошадях. Выносливые казахские кони часами способны держать мелкую, неторопливую рысь. Легкий тарантас мягко идет по гладко накатанной степной дороге, поднимая облако тяжелой пыли. Безветренный день напоен приторно-сладкими запахами рано увядающих трав. И сколь долго мы ни едем, где-то недосыгаемо далеко все так же маячит гряда сопков, окутанная сизым маревом. То видны гранитные горы Конур-Адыр в верховьях реки Сары-Су.

Наблюдая очертания гор, я строю предположения о типах гранитов, об их контактах с вмещающими породами и о возможных рудных проявлениях. И кажется, что так вот, пустив лошадей некрупной рысью и опершись на борт повозки, можно ехать бесконечно долго... Ехать и видеть манящую гряду сопков, недвижимый в отдалении силуэт верблюда, застывшего, как монумент, и усы-

пляущее однообразие степи. И степь захватывает тебя задумчивой своей дремотой — полынной грустью сопок...

Мы ехали весь день и расположились на ночлег на берегу безымянного озера. Поужинав, мы с Геннадием заснули крепким сном в маленькой палатке.

Я проснулся от крика. Было совсем рано. Лучи восходящего солнца освещали голые вершины сопок и еще не касались палатки. И я никак не мог отдать себе отчет, слышал ли тот крик наяву или он пригрезился мне. Но призыв повторился. Геннадий спал непробудно, сбросив с себя одеяло и по-детски разметавшись. Мгновенно соскочив с постели, я схватил спящего коллектора за ногу и стал немилосердно тормозить его. Тот поднял голову и блуждающим взором обвел меня и палатку.

— Да, да, да... Я знаю, я сейчас заверну, — пробормотал он и безвольно упал на подушку. Я поднял его за плечи и крикнул в ухо:

— Бегите за мной, несчастье! — и, как был неодетый, бросился бежать из палатки. Я не понимал, куда, собственно, надо было бежать. Угрожал ли приближающийся степной пожар, или волки напали в камышах на лошадей?.. А может, возчик Афанасий имел неосторожность полезть в трясины за подбитой уткой?..

— Вожжи, скорее вожжи! — призывал голос, и, действительно, я узнал в нем голос своего Афанасия, — он кричал из камышей. Я повернул было обратно, но Геннадий, выскочивший следом за мной и на лету поймавший последние слова, уже бежал во весь дух ко мне, гремя кольцами вожжей. Мы скакали с ним по зыбкому берегу озера, стараясь попасть на кочки. Но кочки были малоустойчивы, и мы то-и-дело проваливались в холодную трясины. Наконец, обогнув гриву сухих камышей, мы очутились на месте происшествия. Афанасий, мокрый, залепленный грязью и в одном нижнем белье, стоял по пояс в воде, беспомощно разводя руками. И тут же, в нескольких шагах от него, из жидкой трясины торчала лошадиная голова — голова Рыжки, нашего пристяжного мерина.

— Вот ведь грех какой приключился, язвы его, — лепетал посинелыми губами Афанасий. — Пропадет лошадь!.. Ну-ка, бросай сюда вожжи!

Геннадий бросил ему конец вожжей. И, заплетаясь пальцами, Афанасий стал связывать петлю. Рыжка бил передними ногами, высоко поднимал голову и встряхивал лохматой гривой. От этого задние ноги его все глубже погружались в трясины. Липкая, вонючая грязь медленно и неотвратно втягивала свою жертву. Чувствуя неминуемую гибель, лошадь делала невероятные усилия, бросалась то в одну, то в другую сторону и все была скрытыми в грязи передними ногами. Она выбралась бы, будь свободны ее передние ноги. Но, увы, ноги ее были закованы в железные путы...

Наконец петля связана. Афанасий накинул ее на шею лошади, и мы с Геннадием стали тянуть вожжи.

— Давай, давай! — командовал возчик и, размахивая над головой свободным концом вожжей, полез в трясины. Я не верил, признаться, в благополучный исход этого происшествия, опасность потерять лошадь была очевидной. Выхода не оставалось. И мы тянули и тянули.

— Но, Рыжка! Но, вылазь! Еще капельку, язвы тебя!..

Было мгновение, когда казалось, что лошадь вот-вот преодолит препятствие и выскочит на твердое место. Но, выбившись из сил, она внезапно смирилась и устало положила голову в грязь. Пучина снова начала всасывать ее приподнявшуюся спину, а струйки жидкой грязи, перемешанной со стеблями сухого тростника, быстро-быстро потекли между ребер. Измученное животное, обезумев от страха, смотрело на нас широко раскрытыми глазами.

— Конец, — тихо произнес Геннадий, и его взволнованное лицо судорожно передернулось...

Как не хотелось верить, что это действительно конец! Было тяжело видеть гибель животного, было жалко терять хорошую лошадь, нельзя было наконец остаться с одной лошадью в такой ответственный момент. Позвать бы людей

на помощь... Настелить жердей, чтобы подойти к лошади ближе, подвести веревку ей под брюхо, сбить с ее ног пух!.. Жердей!.. Где взять жердей, когда вокруг вода, камыш и плешины каменных сопков, поросшие полынью да седыми лишайниками! А человека не встретишь на многие десятки километров...

И когда все уже было потеряно, когда вся спина лошади скрылась из виду, Рыжка вдруг тревожно захрапел и зашевелился.

— Ну, в последний раз-ок! — крикнул Афанасий. — Дружно!..

Мы взялись за вожжи. Рыжка внезапно прынул всем телом, выбросил из грязи передние ноги с уже разорванной цепью и зацепился копытами за кочку. Кочка тотчас же погрузилась вниз, не выдержав тяжести лошади, но Рыжка повторил прыжок, а мы во-время натянули вожжи. Теперь круп лошади был на поверхности, а ноги стояли на твердом грунте. Здесь, обессиленная, она снова свалилась в кочки. Но это было уже неопасно. Мы вздохнули и, точно сговорившись, переглянулись. Афанасий растерянно моргал глазами. Он предпочел бы в этот момент услышать поток проклятий и брани. Но я угрюмо молчал, и это было для него большее слов. Мы были грязны, каждый из нас ежился от холода и только-что пережитого волнения. По озерку совсем близко проплыли две гагары. Они поглядели на нас, высоко вздернув шеи, и канули вглубь. Больше нигде их не было видно...

После завтрака я велел запрягать лошадей и собираться в путь, сам же сел записывать вчерашний маршрут. Наше злополучное озерко не было отмечено на карте. Я нанес его туда и назвал «Атын-Ульмы», по-казахски это значит: лошадиная смерть.

САРЫ-СУ — ЖЕЛТАЯ ВОДА

Река называется Сары-Су: желтая вода. Иной ее трудно представить — она желтая. Хочется сказать несколько слов о том, как правдив язык географии степи. Если вы геолог и месяцами вынуждены колесить по степи, вы неволь-

но прислушаетесь к этому языку и проникнетесь к нему доверием. Намечая свой маршрут, вы с пристрастием разберете краткие и созвучные надписи на карте, заранее рисуя по ним предстоящий путь. Вас не устраивает, например, ночлег на речке Аши-Су: судя по названию, в ней горько-соленая вода.

Джаман-Куль — плохое озеро. У него топкие, густо заросшие берега, и есть опасность не достать здесь воды или утопить в грязи лошадей.

Зато в стороне от дороги, под сопкой, вы видите надпись «Суук-Кудук» и решаете сделать стоянку: там холодный колодезь, — видимо, родник.

Сарой-Дала занимает большое место на карте; плоская, нерасчлененная степная равнина, безбрежные ковыльные разгоны — царство непуганных дроф. О геологическом строении тех мест не узнать ничего, на десятки километров не встретите там выходов коренных пород.

Но вы не оставите без внимания Шубар-Тас-Чеку — гряду гранитных сопков. Среди безымянных сопков выделяется одна: Чабан-Ай — пастух луны. И вы представляете себе плоскую равнину, длинной цепью уходящие к горизонту сопки Шубар-Тас-Чеку и Чабан-Ай. Он поднимается выше всех, он стремится вершиной к небу, легендарный каменный великан, пасущий луну...

Итак, Сары-Су — это желтая вода.

Выжженные солнцем степные травы, сухие камыши да рыжие кустарники заполонили неширокую долину реки. Ржавая, желто-бурая вода чуть заметно сочится сквозь болотные заросли, то теряясь в песке и гальке, то образуя широкие и глубокие плесы. Весной здесь во множестве гнездятся криквые утки. А сейчас редко-редко встретишь пару беззаботных чирков да выпугнешь из-под камня оторопелого зайца.

Таковы эти умирающие степные реки... Обдумывая над картой маршрут на Сары-Су, я обратил внимание на надпись: «Ак-Тас-Джар-Тас». Это значит: скала из белого камня. Приехав, мы, действительно, нашли скалу из белого камня. Нет, это был особенный, свята-

щийся камень, белый, как сахар в свежем расколе, и густо пересыпанный искристой слюдой. Такие породы, известные у нас под названием грейзена, могут обещать многое. Стан тотчас же был раскинут на пойменной террасе Сары-Су.

Так возник на скромной пересыхающей реке полотняный хуторок. Застучали по камню кайлы, молотки и лопаты, берега стали покрываться сетью канав, шурфов и мелких закопушек. Это было настолько необычно для Сары-Су, что мы не ощущали и не ощущаем недостатка в гостях. Нас навещают председатели соседних колхозов и сельсоветов. Заходят охотники, рыболовы, пастухи. Одни спрашивают, как богат Сарысуйский район и будут ли вести сюда железную дорогу. Другой не прочь поступить на работу. Тот хочет узнать, что за люди разбили палатки на реке: цыгане или землемеры. А этот зашел дорогой покурить да поспросить, не продадим ли мы пистонов и дробы килограмма два. Казах-почтарь из соседнего аула ежедневно торгует у моего кучера жилетку, да все не сходится с ним в цене. Дед же Щербина, ночной сторож Сарысуйского совхоза, каждый вечер пьет с нами чай. Он любит рассказывать, как велика была пятьдесят лет назад Сары-Су, каких щук и линей в ней лавливали в старину, как техник, проезжавший здесь в 1898 году, признал наличие золота на Сары-Су, ниже Лаврушкиной плотины.

На той стороне реки, под сопкой, видны юрты и огромные гурты овцеводческого Сарысуйского совхоза. Как и у нас, по вечерам там загораются костры, играет домбра, ей подпевают пастухи. К ночи купаются в реке, брызжут и гогочут на всю Сары-Су. Иногда кто-нибудь переплывает через широкую в этом месте реку и, голый, подходит к нашему стану, чтобы пригласить в гости — пить кумыс и айран. Постояв немного и начав зябнуть, наш гость пускается бежать во весь дух, визжит и бросается сразбега в воду, прямо в лопухи. Дед Щербина, удивляясь такой отваге, одобрительно покрутит головой и скажет:

— Вот чортова орда!..

Молодой пастух Нургалий славится по всей Сары-Су, как первейший гуртоправ, как джигит-волкоборец и как великий мастер ловить щук на петлю. Пригнав гурты полднать на Сары-Су, Нургалий приходит к нашему стану. Он неразлучен со своей длинной палкой. Эта палка нагоняет страх на волоков. Нургалий прицепляет к ней проволочную петлю и идет к реке, где стоят неподвижно под берегом щуки. И палка в руках пастуха становится волшебной, сам же он — сказочным чародеем. Налавив щук, Нургалий курит с нами махорку и неизменно ведет разговор о тех линиях, что мы выловили на удочку: такой большой кара-балык, линь, не может быть пойман на удочку и тем более — на раковую шейку; таких линей можно выловить только сетью, потому что кара-балык — шибко хитрый балык. Перед уходом Нургалий напоминает нам про замечательную Джалан-Тюбе — змеиную сопку на Сары-Су, где не пройти человеку от несметного скопища змей. Старые люди говорят, что в той сопке змеи охраняют золото, скрытое в камнях. Никто не осмеливался проникнуть на Джалан-Тюбе и откопать богатства. И он, Нургалий, желает повести нас в змеиное царство и вместе с нами взломать сундуки золотой горы.

Подобные рассказы мне приходилось слышать не однажды и не только на Сары-Су. Может быть, они связаны с какой-нибудь старинной легендой казахского народа, она легко могла возникнуть в стране, где много и золота, и змей. В нашей практике приходится сталкиваться с самыми невероятными заявками. Мне случилось однажды захватить в русский поселок, расположенный у подножия высокой горы Тотогуз. И с кем бы я ни говорил в поселке, каждый утверждал, что в горе Тотогуз — богатый пласт каменного угля. А между тем гора эта вся сложена из гранита, который так же сродни углю, как огонь снегу.

Нам все же пришлось побывать на Джалан-Тюбе. Мы с Геннадием шли по реке и через каждые пятьсот метров брали из песка шиховую пробу. Недалеке от сопки нам встретился незна-

комый подпасок, он советовал не ходить дальше, ибо там живет «шибко большой джалан», то-есть змея. Мы двигались берегом реки и скоро натолкнулись на клубок гадюк, гревшихся на солнце. И дальше на нашем пути всюду лежали змеи; завидя нас, они неохотно уползали в траву и кустарник. Такого скопища тварей я не встречал никогда! Я оставил Геннадия промывать песок на косе, сам же пошел осматривать сопку.

Пока коллектор мыл шлих, из камней вылезла какая-то чудовищная змея, видимо, степной удав. Геннадий бежал, бросив на косе и ковш, и лопату. Вероятно, это и был тот самый «шибко большой джалан», о котором говорил подпасок. Нургалий, узнав от подпаса о нашем путешествии на Змеиную гору, наведаясь спросить, нашли ли мы золото на сопке. Мы ответили ему, что не нашли ни единой крупинки ни в камнях, ни в песке.

— Плохой дело, — сказал Нургалий. — Золото есть, только змея шибко много, не дает змея. Как его таскать можно?

МОИ ТРУБЫ

Мы шли с коллектором по берегу Сары-Су. Неожиданно за поворотом мы увидели двух мальчиков. Они стояли с удочками под скалой и, всецело поглощенные своим занятием, не замечали нашего приближения. Мы поровнялись с ними. Они дрогнули разом от испуга, и старший из них уже схватился было за котелок с окунями, намереваясь обратиться в бегство. Но я остановил их.

— Клюет ли рыба, ребята?

Старший поставил на место котелок и, все еще недоверчиво косясь в нашу сторону, ответил:

— Неважно. Раков нету. А на кобылку окунь плохо клюет.

Мы сняли с себя рюкзаки с камнями и принялись обстукивать молотками скалу. Дети с любопытством следили за нами. После продолжительного молчания тот, что был постарше, робко осведомился:

— Дядя, а что это вы ищите тут?

Услышав, что ищем мы руду, он просял.

— А-а-а, я знаю теперь, кто вы! Исследователи!

Они побросали свои удочки.

Исследователи!..

Мы были для них невиданной диковиной, реальным воплощением тех, кого они знали из книг да из рассказов учителей, кто жил в их затаенных детских мечтах: исследователи!..

Они очутились рядом с нами. Они желали ошупать наши рюкзаки, компасы, молотки. Когда же умерился первый порыв их любопытства, меньшей — ему было не более девяти лет — обратился ко мне, заглядывая прямо в глаза:

— Дяденька, а где же ваши трубы?

Я не сразу понял его.

— Трубы? Какие?

— А трубы, в которые вы сквозь землю глядите, где там руда лежит!

Я стал втупик от такого вопроса. Это было сказано с такой подкупающей искренностью! Мы многозначительно переглянулись с коллектором и стали показывать свои «трубы».

Продемонстрировав сначала незамысловатые инструменты — лупу, горный компас, рулетку и уже знакомый нашим почитателям геологический молоток, — мы показали им, как легко с помощью соляной кислоты отличить известняк от другой какой-либо породы. Известняк бурно вскипел в кислоте, вызвав столь же бурные вспышки восторга у детей. Но это было только начало. Мы занялись непосредственно самим известняком. Тут оказалось, что в серой скале, в той самой скале, что так хорошо знакома нашим рыбакам, был скрыт неведомый им доселе мир. Известняк переполнен окаменелостями. Тут были и колонии мшанок, и крупные одиночные кораллы, и целая серия разнообразнейших по форме и размерам ракушек. Все они являлись остатками подлинной морской фауны, населявшей воды древнейших морей — каменноугольного периода, — ныне исчезнувшей с лица земли. Каждая ракушка носила свое имя: спирифер пленус, или продуктус бурлингтонензис, а кораллы именовались — каниния полинози. Это было уже совсем увлекательным.

тельно. Море! Оно лежало вот здесь! И тогда не было ни Сары-Су, ни Джалан-Тюбе, — ничего. От моря остались здесь кораллы каниния полиенози, никто не может отвергать этого...

— Петрушка, давай скорее котелок, наложи в него кораллов.

— А окуни?

— Выкинь их в воду, — подумаешь, важность — окуни.

Петрушка пустил окуней в речку, и рыболовы с жадностью накинудись на канинию полиенози.

Вместе с нами они пошли дальше по реке. В берегах появился буроватый песчаник, в котором не встречались ни спириферы, ни кораллы. Но зато в песчанике мы нашли отпечатки листьев и целые куски окаменевшей древесной коры, те деревья мы называли каламитами. Их стало много, окаменелых древесных остатков, — целый слой. Это означало, что древнее каменноугольное море куда-то ушло, а на его месте выросли леса, самые большие леса на земле — леса каменноугольного периода. Еще дальше по реке, под деревней Соколовкой, — мы туда уже не пошли, а рассказали об этом на словах, — в таком же песчанике есть залежи каменного угля, образовавшегося из скоплений каламитов. О соколовских углях наши герои уже слышали много, но теперь эти угли стали им понятны.

ДНЕВНИК

21 июня.

«Хорошо спится в степи. За палаткой шелестит ветер. Над головой свисает полотняный потолок. Лучи солнца, пробиваясь сквозь полотнище, прыгают надо мной веселыми зайчиками, однако надо вставать... Умываемся прямо из реки, примостившись на камне. Чай только-что снят с костра, от него клубится густой пар. Все уходит на работу, я остаюсь один на стане и приступаю к своим обязанностям: мне поручена промывка шлихов. Когда я впервые увидел, как моют на ковше пески, мне это показалось простым делом: насыпал песку, опустил ковш в воду, и знай себе—мой!

Но не тут-то было. Пришел наш старший коллектор Миша, взял свободный ковш и сказал:

— Если ты моешь правильно, то в отходах песка, которые скапливаются после промывки на дне реки, почти не остается шлиха, т. е. тяжелых рудных песчинок, — шлих весь концентрируется в ковше. Вот мы проверим твою промывку.

Он зачерпнул со дна реки полный ковш уже перемытого мною песка и начал его мыть. Когда промывка была доведена до конца, он подал мне ковш. В нем было столько же шлиха, сколько получал я из непромытой породы. Я упустил из породы не менее половины шлиха... Оказывается, промывка требует умения и опыта. Я стал мыть внимательней и осторожней и добился наконец успеха.

Я беру ведро с привезенным для промывки песком, беру большой ковш, сажусь на камне и начинаю мыть. Вскоре появляются мои постоянные посетители — раки. Они подползают ко мне то поодиночке, то по нескольку штук разом. Я бесцеремонно хватаю их за бока и сажаю в котелок с водой: вечером будем на раков удить окуней. Вчера из-под камня выползла змея и поплыла по воде возле моего ковша. Я пристукнул ее палкой: не лезь, куда не полагается. Сажу в одних трусах и подставляю солнцу то бока, то спину. Однако скоро убеждаюсь, что с казахстанским солнцем шутки плохи. Начинает колоть спину, плечи и даже колени. Но что делать? Работать в одежде немислимо. От жары нет никакого спасения. Я прыгаю в реку, но едва только вылезла из воды, как все начинается сначала. По берегам растет тальник, но и тень не спасает: в тени, как в жаркой бане. В палатку же в эти часы и не показывайся: кажется, что она накалена докрасна. Удивительный климат: сейчас, того гляди, расплывишься от жары, а ночью — это уж я хорошо знаю — придется залезать в спальный мешок, поверх него наваливать одеяло и все же забнуть.

Но предаваться рассуждениям некогда. Скоро приедут наши и привезут еще ведер восемь песку из новых шур-

фов. Промывка не должна отставать от разведки.

За ужином ели жареную щуку, пойманную на жерлицу, и без конца пили чай «с вареньем», т. е. с клюквенным экстрактом. Кисло и чертовски приятно. Главное же — отбивает болотный запах воды. Когда совсем стемнело, над сопками поднялось зловещее зарево: где-то горела степь.

Иван Александрович, мой начальник, говорит, что степные пожары ужасны. Огонь идет стеной, пожирая на пути травы, скошенное сено, хлеба, скот и людей, и нет никакой возможности уйти от огня. Единственное спасение — поджигать степь впереди себя по ветру и стоять на выгоревшем месте. Жутко, но интересно.

Долго не засыпал, думая о пожарах и прислушиваясь к громкому лаю псов и неистовым крикам пастухов-казахов далеко за рекою. Они кричат каждую ночь, должно быть, отпугивают волков...

23 июля.

Приехал из деревни Миша и рассказал, что все население мобилизовано на тушение пожара. Пожары здесь тушат не по-московски: горящее место опахивают плугами, чтоб не давать растекаться огню, — прибавляют огонь метлами и забрасывают землей. Если не потушат пожара, огонь доберется до сохлых ометов, и тогда... Главное, не стихает ветер. Особенно сильно он разгулялся ночью: завывал в кустах, оглушительно трепыхал полотнищем палатки. Утром стало тише. Но после полудня набежало серое облако, и из облака внезапно сорвался ураган. И. А. занимался в палатке картой, а я мыл шихи. При первом порыве ветра я невольно оглянулся в сторону палатки. По воздуху летели колья, веревки, одеяла, фуфайки и книги. И. А. едва успел выскочить наружу, получив все же легкий удар колом по спине. Я бросился было ему на помощь, но ветер стих так же неожиданно, как и возник. Мы стали подбирать разбросанные вещи и не могли долго отыскать будильника, висевшего у нас в палатке на гвозде, вбитом

в передний шест. Нашли его только потом в кустах, у самой реки. Будильник отлетел метров на пятнадцать.

... Ветер не позволил затушить пожар. Весь день пахло гарью. Ночью снова польхало зарево. Оно разлилось теперь на полнеба. Тучи на небе светились красным светом.

ОБ ОЗЕРАХ, ОБРЕЧЕННЫХ НА ГИБЕЛЬ

С гидрогеологом Спицыным мы познакомились случайно, встретившись на базаре в небольшом степном городке. Мы были с дороги — запылены, одинаково сожжены июльским зноем, оба в брезентовых рабочих костюмах и с полвыми сумками в руках. Мы узнали друг в друге товарищей по работе: недаром говорит пословица, что рыбак рыбака видит издалека. Мой новый знакомый, гидрогеолог Спицын, работал по водоснабжению Омской железной дороги. В его распоряжении имелся специальный вагон, служивший ему одновременно лабораторией, гостиницей и средством передвижения. Спицын пригласил меня на обед, и я с большим удовольствием принял приглашение.

Мы сидели за столом в вагоне-лаборатории и оживленно беседовали на темы, одинаково волновавшие нас обоих. В лаборатории стоял шкаф, два стола, по стенам были прибиты полки. И всюду — в шкафу, на столе и на полках — были расставлены в бесчисленном множестве склянки, пробирки, колбы и бутылки с пробами воды, предназначенной на анализ. Рядом со шкафом, в ящике и прямо на полу лежала груда камней — геологическая коллекция хозяина. Молчаливый молодой человек в больших роговых очках, отрекомендовавшийся химиком, выпаривал на спиртовой лампе мутную жидкость, пахнущую аммиаком. Вагон-лаборатория стоял в тупике, на берегу большого озера, близ водокачки. С озера дул ветер, и в открытые окна вагона врвался бодрящий запах пресной воды.

Отлогий песчаный берег был усеян гольими телами горожан. По озеру, по всей его ширине, темнели силуэты ло-

док с неподвижными фигурами рыбаков.

— Вода, — многозначительно произнес гидрогеолог, глядя в окно восторженным взглядом, — не всякому понятен весь смысл этого слова. Вода в Казахстане — это все. Орошение полей, водоснабжение населения и скота, водоснабжение новостроек, таких, как Караганда, Балхашстрой, Джекказган... И вот представьте, что нет того, без чего немислима жизнь этих предприятий, воды нет...

Спицын посмотрел на меня продолжительным взглядом и прибавил:

— Да, да, нет воды. Зачем шестой год я мотаюсь по всему Казахстану в этом вагоне? Да все из-за воды. Станции наших дорог оказались в затруднительном положении. Водоснабжение дорог было спроектировано с расчетом на озера. Озера же начали исчезать. Это бедствие, это грозит катастрофой.

Спицын стал перечислять названия озер, обезвоженных за три-четыре года в результате необычайно интенсивного усыхания. Глубокие рыбные озера с хорошей пресной водой, снабжавшие и железную дорогу, и местное население, превращаются в грязные, засоленные бассейны. Вода их не пригодна ни для каких целей. Из-за отсутствия воды снимаются с насиженных мест поселки, совхозы, закрываются раз'езды. Администрация этих предприятий бессильна что-либо сделать: исчезновение воды превращается в стихийное бедствие.

— Вот пример, — протянул гидрогеолог' руку в направлении окна: — озеро Копа. Видите на берегу высокий помост? Еще в прошлом году на нем стоял насос, подававший воду в городские бани. А теперь помост оказался на сухом берегу, воду же в бани возят бочками. Такая же участь ожидает и дорожную водокачку.

— Что же вы намерены делать? — спросил я.

— Отказаться от озер и переводить дороги на подземные воды. Этим мы сейчас и занимаемся. Выясняем наличие и характер грунтовых вод и бурим колодцы.

Нам подали обед. Мы ели прекрасный суп из баранины и гречневую кашу с молоком, налитым, за недостатком посуды, в химические стаканы.

— Вчера я посетил Зерендинское озеро, — продолжал Спицын. — Прекрасное озеро в гранитных горах, поросших сосновым лесом. Нередкость чистая и приятная вода. Но и с ним происходит то же самое... Впрочем, минуточку подождите...

Хозяин поспешно встал из-за стола, вынул из стопки книг и тетрадей блокнот и вернулся к столу.

— Интересно сравнить описания этого озера, относящиеся к разным временам. Вот послушайте:

— «12 июня, в 3 часа пополудни по разбросанным обломкам гранита, местами в крупную дрсеву рассыпавшегося под тенью сосновых и березовых лесов, достигли озера Зеренды. Как для описания берегов озера, так и для переправы на остров, посреди его находящийся, приказано было бергбауерам сделать сосновый бот. Бот был построен, и представлял собою безобразное подобие лодки, тяжелое, а при волнении и весьма опасное судно. Но зеркальная поверхность Зеренды, не колеблемая даже самым тихим ветерком, позволила мне предпринять путешествие к острову.

... Через 100 сажень от северного берега возвышается над поверхностью озера остров, почти правильное очертание числа 8 имеющий...

... К вечеру после совершенной тишины прекраснейшего дня юго-западный сильный ветер начал колебать озеро с такой жестокостью, что тяжелый бот наш то погружался в волны, то, вздымаясь на их хребет, или совершенно скрывал от глаз поверхность воды, или возносил выше горизонта оной.

Выдержав немалую опасность, ожидая каждое мгновение, что первая приближающаяся волна зальет или опрокинет ненадежное судно наше, с большим трудом и усилием гребцов пристали мы, наконец, к своему лагерю благополучно, до половины в воде погруженные».

Вот одно описание. Спустя восемьдесят четыре года о том же озере другой человек пишет так:

«В настоящее время этот гранитный остров, находившийся ранее в 100 сажнях от берега, связан уже непосредственно с берегом озера, хотя и поныне несет уже совершенно не соответствующее ему название «остров». Ныне на этот остров ездят, не замочив колес, а моему предшественнику пришлось, чтобы попасть на остров, как видите, строить бот, на котором «с немалой опасностью для жизни и большим усилием гребцов» он переплывал 100-саженный пролив между берегом и островом».

— Когда же я стану записывать вчерашние наблюдения, — заключил Спицын, — я укажу, что, по свидетельству местных жителей, озеро Зеренды за последние пять лет отступило на несколько сотен метров. Огороды, разбитые недавно у самой воды, находятся теперь в полукилometре от берега.

После обеда мы вышли пройтись по берегу озера. Занимался вечер, заволакивая дымкой сопки на том берегу. Мы шли не спеша, высоким прибрежным валом, наметанным когда-то прибоем. Под ногами у нас мягко шуршала галька прежнего озерного дна. Коллега говорил об одиннадцати горизонтах подземных вод, открытых им в бассейне Караганды, о засушливом климате Казахстана и об истреблении лесов, приведшем за последние три-четыре десятка лет к столь пагубным последствиям.

Я уходил от него, унося образ этого энтузиаста воды и раздумывая над судьбой многих прекрасных озер, известных мне.

Масштаб явлений, связанных с усыханием озер, поражает своим размахом. Еще недавно станция Ак-Куль гордилась обилием вод своих озер, рыбными богатствами и дичью. Ныне от ее трех озер не осталось ничего. За короткое время Иммантавское озеро уменьшилось вдвое. Глубокое горное озеро Челкар за последние двадцать лет убыло на пять с половиной метров. Еще более разительную картину умирания являют собой огромные в прошлом степные озера Улькун-Кос-Куль и Джолдубай... Временное ли это, преходящее явление,

вызванное вырубкой лесов и засушливыми годами? Или — такова тенденция геологической эпохи нашего времени, направленной в сторону изменения физико-географических условий? Я вспомнил гидрогеолога Спицына и нашу с ним беседу, когда приехал на умирающее озеро Калмак-Куль.

Мы долго не могли найти места для разбивки лагеря. Перед нами простиралась огромная лужа, пропахшая сероводородом и гнилью, заросшая камышами и болотными травами. К воде нельзя было добраться, так как на большом протяжении берег представлял собою недавно вышедшее из-под воды дно. Липкая и вонючая засоленная грязь, отливающая на солнце жирным блеском, начала уже подсыхать и покрываться ослепительно белым налетом солей. Неизвестно кем и когда брошенная лодка бесславно доживала свой век, погрузнув в трясине. Бесчисленное множество болотных птиц испещряло влажные берега отпечатками ног.

Мы прожили у этой трясины несколько дней, пока нашли более здоровое место на противоположном берегу озера. Лагерь мы разбили по соседству с рыбаками.

★

Старый рыбак Арсений сидит у костра подле шалаша, сложенного из палок и тростника. Он сокрушенно вздыхает:

— Сохнет наш Калмак-Куль. Давно ли мы сюда рыбачить приехали, а, гляди-ка, уж третий раз пристань на новое место переносим. Вон она, гляди, какая опять стала.

Он кивнул головой в сторону озера, где стояла на мели плоскородная рыбацкая лодка.

— Опять к берегу не подплывешь.

Мы смотрели на озеро. Вода отступила на несколько десятков метров от недавнего берега и обнажила тинистое дно, лоснящееся, как растопленная смола. От твердого берега, истыканного кольями для просушки сетей, к лодке проложен настил из снопов сухого камыша. От лодки до глубокой воды через тину и гриву тростника проходила

свежепропаханная борозда — единственный выход в открытое озеро.

Дед аккуратно помешивает ложкой уху в котелке. Над котлом клубится пар, распространяя крепкий запах лаврового листа.

— А рыба какая здесь стала, — продолжает старик и, зачерпнув ложкой карасика, показывает его нам, — разве это рыба? Только по привычке сюда ездим. Просидим еще здесь ден пяток да и подаваться станем — на Мамай, за окунями. Я товарищам говорил: не будет, мол, толку на Калмак-Куле, на Мамай надо ехать...

Арсений снова помешал в котелке, попробовал уху на вкус и заговорил:

— Я, по-своему, так считаю: всему свой век положен. Помню, когда приехали мы сюда, в Сибирь, из Самарской губернии — пятьдесят годов назад, — так еще мальчишками ходили на ту сопку за дикой вишней. И лежала тогда на сопке большая булыга, которая качалась в разные стороны. Бывало, встанем гурьбой на булыгу и — прыгаем. И больно интересно свалить булыгу с горы. Ан нет: качается, а сама ни с места. Значит, милый человек, век ее в ту пору в расцвете был. Но как-то прохожу мимо того места — нет булыги. Сама, без подмоги, рухнула. Веку ее, стало-быть, конец настал. Вот так и с озером. Было когда-то озеро Калмак-Куль, на всю степь лучшее: ширина, глубина, рыбу возами возили, какие окунищи водились, да и карась шел ровный, один к одному, по нашему самарскому лаптю. А нынче что за карась стал? А окуня лет десять как нет. Выходит, соку не стало в озере. И его веку конец подошел, милый человек...

В камышах послышались говор и плеск. Показалась из прогаины лодка с двумя молодыми рыбаками.

— Плывут? — спросил Арсений, оглянувшись. — Ну, и хорошо: и щерба наша как-раз сварилась.

Рыбаки с трудом протащили лодку к берегу и подошли к нам.

— Плохо, дядя Арсений, — сказал один из них, бросая наземь весло, — прямо хоть закрывай заведение.

— Толку здесь не будет, — отозвался

дед. — Давайте, ребята, на Мамай подаваться.

Рыбаки рассказали, что поставляют рыбу для своего колхоза. Их работа расценивается на трудодни. Они решились просить в колхозе лошадей для перевозки лодок и сетей на озеро Мамай.

— Был Калмак-Куль, да весь вышел, — сказал в заключение Арсений: — с такой рыбалкой как-раз в зиму без штанов останешься.

Мне хотелось осмотреть это гибнущее озеро. Попросив у рыбаков лодку, я и Геннадий захватили с собой ружья и на закате солнца выехали на озеро...

Плыли мы по узкой прогаине посреди непролазных камышей. Геннадий сидел с ружьем наготове, на носу лодки, а я — на корме. С большим усилием я проталкивал лодку шестом по мелкой воде. Внезапно камыши расступились, и открылась неширокая заводь, окаймленная гривами таких же высоких камышей. Геннадий низко пригнулся и шепнул мне:

— Лысухи...

Продвигнув лодку немного вперед, я увидел выводок лысух: они быстро пересекали заводь, следуя друг за другом и ритмично покачивая головами с белыми отметинами.

— Далековато, не достанет, — прошептал Геннадий, — гребни еще разок.

Лысухи, заметив лодку, враспынную бросились в камыш, хлопая по воде крыльями. Мы выстрелили по ним, но не причинили им никакого вреда. После выстрелов в камышах поднялись хлюпанье, кряканье и писк. Где-то с шумом сорвался большой табун крякв и, описав круг, снова опустился в камыши. Мы переплыли заводь, потом пробрались сквозь неширокий перешеек, снова выплыли в такую же заводь, и опять от нас зашлепали по воде лысухи.

— Ого, — произнес мой спутник, — да здесь горячее дельце намечается.

В самом деле, дичи было очень много. И чистые плесы, и камыши буквально переполнены птицей. Тут были лысухи, гагары и утки самых разнообразных видов. Мы гнали лодку из одного плеса в другой, вызывая своим появлением

невероятный переполох. Лысухи неизменно уходили в заросли камыша, а утки, спугнутые нами, долго и беспорядочно носились над нашими головами, то опускаясь на воду, то снова срываясь в воздух. Мы стреляли направо и налево. Несмотря на обилие дичи, стрельба не была удачлива; приходилось бить сквозь камыши или же из неудобного положения: мы боялись опрокинуть лодку. Над озером загорался багровый закат. Становилось прохладно, острее пахли болотные травы. Нам казалось: вот-вот мы выйдем из камышей в открытое озеро и увидим горизонт, знакомую отдаленную сопку Сарымбет, — но из плеса мы попадали в камыш, а за камышом — опять в заводь. В одном месте над нами прошел огромный, в несколько сотен птиц, табун кроншнепов, и воздух наполнился их мелодичным пересвистом. Табун снизился где-то неподалеку за камышами.

— А не заняться ли нам кроншнепами? — предложил Геннадий. — Люблю эту птицу.

Я колебался некоторое время. Надо было думать о возвращении: приближалась ночь. Однако соблазн пострелять редкую, заманчивую дичь был сильнее голоса благоразумия. Кроншнепы уже готовились к отлету. Мы часто видели их огромные высыпки по берегам озер. Кривоносые, разжиревшие гордецы важно расхаживали по грязи. Здесь же, в недоступных затоках обмелевшего озера, они собирались на ночлег.

Мы повернули лодку в том направлении, где опустились кроншнепы. Проплыв немного вперед, мы внезапно сели на мель и, к немалому огорчению, поняли, что к берегу подойти невозможно. Тогда мой спутник, недолго думая, шагнул через борт лодки, попав в вязкое дно. Я последовал его примеру, и мы полезли по озеру, едва вытаскивая ноги из тины. Кроншнепы были уже недалеко от нас, за гривой камыша. Мы разделились, решив обойти камыши с двух сторон. Геннадий пришел к цели первым. Мне оставались десятки шагов, когда за камышами грянул выстрел. Кроншнепы поднялись, как туча, и всей массой пошли на меня. Их было так

много, и так низко они летели, что я растерялся, пропустил мимо себя весь табун, и успел выстрелить лишь по кроншнепу, отставшему от табуна. Он медленно спланировал на отмель. Между тем табун кроншнепов, облетев широкий круг, снова опустился на прежнее место, где, видимо, был его ночлег. Геннадий поднял птицу выстрелом, и опять прямо на меня стремительно и низко шли кроншнепы.

Теперь я встретил стаю спокойно, дал по ней дуплет. Два кроншнепа, перевернувшись в воздухе, ударились в грязь.

В третий раз птицы летели значительно выше, а, поровнявшись со мной, взмыли столбом, но я сбил еще пару кроншнепов, уже со значительной высоты. После того стая разделилась на два табуна: оба табуна, один за другим, продолжали попрежнему кружить между мной и Геннадием. Я стоял по колена в грязи. Птицы на каждом кругу пытались опуститься на свое место, но Геннадий выстрелами отгонял их ко мне. Я едва успевал сменять стреляные гильзы. Птицы падали вокруг меня, утопая в грязи. И только один молодой кроншнеп, раненный слабо, высвободился из тины и стремительно побежал в камыш.

Наконец я расстрелял все патроны, перекинул ружье через плечо и закурил. Потом начал собирать трофеи. Птицы было много. Я отыскивал кроншнепов в грязи и нанизывал их на ремень. Перепачкался грязью и кровью. Навешав большую связку птиц, я невольно почувствовал себя мясником: сам себе сделался противен. Меня мучило раскаяние в этом, ничем не оправданном диком убийстве. В ушах шумело от частой стрельбы, и чудились тревожные крики сотен взбудораженных птиц..

Мы плыли по тихим затокам, отражавшим звездное небо. Геннадий гнал лодку сильными толчками весла, а я сидел на носу и напряженно смотрел вперед, стараясь угадать направление. Так мы плыли довольно долго, держа курс на восток, по звездам. Потом мы помечались местами и закурили.

— Не кажется ли тебе, — спросил я у спутника, — что мы не совсем правильно идем?

— Вполне возможно, — согласился он. — Отсюда и днем не скоро выберешься, не только ночью...

Обсудив маршрут, мы решили держаться левее, подальше от берега, и тем самым сократить путь.

Поплыли дальше. Однако скоро я коснулся дна веслом, а спустя короткое время мы оказались на мели. Пришлось подавать лодку назад, на глубокое место, и держаться еще левее.

Здесь мы уткнулись в заросли камышей, преграждавших нам путь. Похоже, мы потеряли направление; мелькнула мысль о вынужденном ночлеге в лодке. Мы были в легких рубашках. Перспектива холодной августовской ночи посреди озера нам не улыбалась. Нам казалось, что мы слишком круто повернули влево, что надо держаться ближе к коренному берегу. С большим усилием, работая и веслом, и шестом, мы проволокли лодку по мелкому месту и вошли в небольшую заводь. Но и здесь было мелко, мы оказались на мели, среди торчащих из воды кочек.

— Давай покричим: может, рыбаки услышат, — предложил Геннадий и протяжно закричал: — Ого-о-о-го...

В ответ закричали утки, спустя мгновение, эхо повторило «ого-о-ого». Ясно, мы заблудились в камышевых зарослях.

Дальше мы плыли наугад. В небе погасли последние отблески зари. Стояла величественная ночь. Наконец лодка ткнулась в твердый берег.

— Сделаем вот что, — предложил Геннадий. — Ты оставайся здесь, а я с ружьем и шестом попробую пробраться сквозь камыш и ориентироваться на берегу. Дам сигнал выстрелом. Если услышишь два выстрела подряд, — значит, я погряз в трясине и меня нужно выручать...

Трудно сказать, сколько времени я просидел в лодке. Я наблюдал, как раскачивались в воде отражения звезд, и слушал возню в камышах неподалеку от меня. Потом проплыла большая крыса. И, когда гулкий выстрел разорвал безмолвие ночи, я вздрогнул, приготовился к пощипу на берег.

Второго выстрела не последовало...

Обогнув гриву камыша, я выплыл в

знакомую заводь и увидел лодку и двух человек в ней.

— Живы? — спросил знакомый голос рыбака Арсения. — А я хотел розыски посылать.

— Заблудились, дед, в вашем озере.

— Знамо, заблудились, — добродушно поддакнул старик. — И немудрено, милый человек: тайга есть тайга...

Через два-три десятка лет Калмак-Куль исчезнет бесследно. Но навсегда сохранятся у меня в памяти словоохотливый рыбак Арсений, уединенные затоны, дебри камышей и неповторимая мелодия кроншнепиной зари...

ПОСЛЕДНИЙ МАРШРУТ

Много дней я бесплодно брожу по безлюдным берегам Ишима. Я осматриваю косы песка и галечника, ползая на коленях; заглядываю в овраги и промоины, изрезавшие берега реки; карабкаюсь по высоким, почти отвесным утесам, рискуя свалиться в реку, и заглядываю в каждую щель. Встретив кварцевую жилу, терпеливо, шаг за шагом, обстукиваю ее молотком, чтобы не пропустить признаков оруденения. Потом снова спускаюсь к реке.

На берегу реки или в русле овражка рою неглубокий шурф, закопашку, и, наполнив песком деревянный лоток, начинаю мыть шлихи. Это трудное и кропотливое дело. В лоток вмещается не менее двадцати пяти килограммов породы. Весь этот груз нужно тщательно перемыть и удалить с лотка, чтобы получить несколько граммов шлиха.

Я ставлю лоток на дно реки в мелком месте и то молотком, то руками перебираю гальку, удерживая ногой лоток в горизонтальном положении. Течение сносит всю муть, увлекая за собой и легкий кварцевый песок.

Тогда я поднимаю лоток на руки и, удерживая его на весу, плавно качаю на поверхности воды. Вода поступает в лоток равномерно и, скатываясь, увлекает за собой песок и мелкую галечку. Время от времени я с силой встряхиваю лоток, не вынимая его из воды. При этом тяжелые песчинки и весь шлих садятся на дно лотка.

Так мою я довольно долго. От тяжести лотка и от неудобной позы начинает болеть спина, затекают ноги. Но я мою и мою. Часто, заметив в лотке интересный камешек, я приостанавливаю промывку и разглядываю его. Потом снова продолжаю мыть, мерно покачивая лоток.

С каждым всплеском воды порода в лотке убывает и убывает. Наконец ее остается так мало, что лоток не погружается на дно — он свободно плавает на воде. Больше мне не нужно держать его на весу, я могу сесть на камень и легким движением руки регулировать воду.

Начинается легкая и самая интересная часть промывки. Я чаще встряхиваю лоток, чтоб не упустить шлиха. А шлик уже виден: он выступает, при каждом скате воды, по краю породы узкой черной каемкой. Слой песка становится все тоньше и прозрачней.

Еще несколько осторожных движений — и в лотке остается чистый рудный песок.

В шлихе должно остаться все, что тяжелее кварца: платина, золото, оловянный камень, циркон, монацит и много других редких и ценных минералов. Таким образом можно открыть коренное месторождение руды или же россыпь.

Я ставлю лоток на ребро и подпираю его молотком, чтобы быстрее стекала вода и высыхал шлик.

Потом рассматриваю шлик в лупу и собираю его в пакетик: в Москве мы будем изучать шлихи детально, под бинокулярной лупой. На пакетике ставлю порядковый номер пробы. Тот же номер ставлю на карте, в месте, где взята шлиховая проба. Затем, собрав свои инструменты, двигаюсь дальше по реке, до новой косы или оврага.

Так я мою шлихи.

Прихожу на стан усталым, голодным.

Вечерами люблю сидеть с ружьем на высокой скале, в ожидании гусяного перелета. Садится в туманные сопки солнце, холодная заря заливает осеннее небо. Рождаются сумерки. И, когда мой глаз перестает различать предметы, я иду к стану, где пылают костры, а над кострами дымят закоптелые казанки. У костра мы ведем тихую беседу.

Наша задача: исследование небольшого гранитного массива. Много гранитных полей, и больших и малых, исхожено нами по степному Казахстану. Когда я оглядываюсь назад, они длинной вереницей встают передо мной. В этом массиве ничего не оказалось. Мы исходили эти граниты вдоль и поперек. Массив залегает в древних зеленокаменных породах. Контакты, где гранит прорывает эти породы и где больше всего можно ожидать оруденения, оказались пустыми. Сегодня я в последний раз пройду по массиву и осматрю его дальний контакт, где я не бывал.

Торопливо и долго иду степью, потом повертываю к реке. В овраге, густо заросшем карликовым березняком, снимаю с плеча ружье: кажется, я спугнул зайца. Мне хорошо известна повадка здешних зайцев: они не убегают при первом появлении человека, — спрятавшись за ближний куст, садятся на задние лапы и слушают: что дальше? И я, затаив дыхание, крадусь в кусты. Заяц внезапно подпрыгивает и не бежит, а летит по воздуху. Вскидываю ружье и посылаю заряд гусяной дробью.

И ничего не могу разглядеть за дымом...

Низкорослые, чахлые и до смешного кривые березки тесно разрослись по склонам оврага. Скучная степная осень отдала им лучшее свое убранство — желтый парчевый наряд с вкрапленными тут и там гроздьями багряного шиповника. В этом овраге меня интересует ручей. Вода мягко скользит по гладкому ложу, увлекая за собой мелкую гальку и чистый кварцевый песок. Этот крошечный ручеек подобен большой, сильной реке: у него тоже есть свои утесы, омуты и мели.

Снимаю с плеч рюкзак и ружье и присаживаюсь покурить. Люблю эти студеные родники среди гранитов. Часто, усталый и страдающий от жажды, я навещаю их и не могу оторваться от журчащих струй, спрятанных в тени камней и трав.

Много исхожено оврагов и перемыто речной гальки за это лето! И глаз мой верен привычке: на дне ручейка, среди кусочков кварца, полевого шпата и об-

ломков гранита я легко примечаю золотые чешуйки. Так блестит выветрелая черная слюда-биотит. Наклоняюсь к воде, чтобы взять со дна горсть мелкой гальки. Вдруг рука останавливается, неизвестное доселе волнение овладевает мной...

Откуда здесь малахит? На дне виднеется, колеблемый водой, угловатый камушек, немногим крупнее горошины. Где-то близко медь.

А вдруг это — просто зеленая плесень на камне?

Достаю нож и спешу поцарапать гальку: нет, не плесень, это действительно малахит — зеленая окись меди.

И уже не томят ни усталость, ни жажда. Оставив на камне ружье и рюкзаки, я медленно иду вверх по оврагу и с затаенной тревогой высматриваю гальку. За крутым поворотом неожиданно наткнулся на своего зайца: он лежит недвижим у самого ручья, и лишь стеклянные глаза его смотрят, как живые. Но что теперь для меня заяц, — я отбрасываю его в сторону, под куст, чтобы не расклевали птицы.

Овраг быстро суживается и круто поднимается вверх. Я подхожу к вершине его. Здесь он резко обрывается. Из обрыва вытекает говорливый родничок. Кругом — чахлый карликовый березняк да мертвый темносерый гранит. Я не могу удержать волнения, словно вот сейчас ускользнет из моих рук уже достигнутая мною добыча, за которой я долго и упорно гонялся. Где же он? Или я ошибся? Не мог же малахит возникнуть прямо из этого гранита!

Бегом возвращаюсь к тому месту, где овраг разветвляется на два рукава. И снова обшариваю глазом берега и дно оврага, снова медленно продвигаюсь вверх — теперь по другой ветви оврага.

Я чувствую: минута торжества ожидает меня здесь, вот за тем поворотом...

И я ускоряю шаг. Но поворот ничего не приносит, а впереди открываются две новые излучины...

До чего, однако, длинны они — приишимские овраги. На пути все тот же однообразный гранит, серый, крупнозернистый, с блестками черной слюды.

Многочисленные трещины делают его на крупные плоские плиты. Воды в ручье становится меньше. Вот-вот живая струя совсем иссякнет. Мне понятна причина: большая глыба суглинка сползла по откосу берега и запрудила ручей. Не здесь ли?

Я перескакиваю через запруду, и вот передо мной целая высыпка зеленой гальки.

— Хо-хо! — кричу я. И тут же вздрагиваю от неожиданности: стая ослепительных оранжево-белых куропаток с сильным и коротким треском срывается из-под шиповника. Я не успеваю опомниться, как птицы разлетаются врассыпную, оставляя в моих глазах лишь смутные огненно-белые следы.

Вспугнутые куропатки украшают мой сегодняшний праздник — все равно не улететь им от моего ружья. Но я занят другим. Меня влечет вон тот буровато-желтый обрыв на правом берегу. Я издали вижу, что это не гранит...

Неизменный мой спутник Афанасий и простоватый казах Комза, нанятый нами на несколько дней, усердно бьют кайлами землю, перемешанную с обломками камней. Когда кайла попадают на камень, от него разлетаются огненные брызги и пахнет серой.

— Шорт же знает! — останавливается на минуту Комза и в удивлении качает головой. — Сорок лет наш люди это самое место баран гонял — никакой руда не находил. Пришел чужой человек — в два дня руда находил. Шорт же знает. Гляди, пожалуйста...

Он выворачивает кайлом большой кусок породы, покрытой плотной коркой темносиних и зеленых медных минералов.

— Зачем твой людей совсем мало таскал? — продолжает Комза. — Двадцать человек сюда таскаешь, пятьдесят человек!..

Афанасий возражает ему певуче, попензенски:

— Больно ты прыгкий, голова. Тебе бы сразу целый аул сюда пригнать.

— Зачем прыткой? Наш совсем не прыткой. Наш шахта копайт желает, железный дорога желает, станция. Хорошо будет.

— Ну, насчет станции — это ты маленько хочешь. Не такие шахты есть, и то не везде станции строят. А тебе сразу станцию!.. Может, скажешь, с буфетом и рестораном?.. Вроде челябинского?

Мне некогда вмешиваться в их разговор. Набрав коллекцию руды и сложив камни в объемистый черный рюкзак, я усаживаюсь на холмик и продолжаю свой полевой дневник.

«На правом берегу Ишима, в семи километрах ниже аула Чаглак, обнаружено неизвестное до сих пор месторождение меди...».

Тут же, в дневнике, делаю схематический набросок окружающей местности. Рисую извилистую ленту реки. Показываю береговые обрывы, террасы и овраги. Особыми знаками наношу горные породы — гранит, вмещающий толщу зеленокаменных пород и островок известкового песчаника в граните. В песчанике ставлю крупный квадрат и внутри его — особый значок: скрещенные кирку и молоток — местонахождение руды. Далее записываю геологическое строение участка и пытаюсь дать предварительное заключение об условиях образования руды. Мне рисуется это в следующем виде:

Гранитная магма захватила при своем вторжении в земную оболочку значительный по размерам известковый песчаник, представляющий собою, скорее всего, часть кровли массива. В последнюю стадию остывания гранитная магма выделяла горячеводные растворы, насыщенные медью. Растворы, приходя в соприкосновение с песчаником, выщелачивали из него известь, замещая ее медью. Этот процесс замещения в рудной геологии носит название метасоматизма. Медь отлагалась в виде сернистых соединений, представленного минералом халькопиритом. Мелкая и густая вкрапленность халькопирита и сейчас еще видна в свежих образцах. Но большая часть этого минерала на поверхности подверглась окислению и перешла в малахит с азуритом.

Короткий сентябрьский день на исходе. Поблекли дневные краски. За дале-

кой излучиной Ишима тускло заголубели скалы.

Рабочие все еще бьют кайлами, но на лицах их выступает усталость.

— Шабаш! — кричу я им. — Теперь до будущего года!

И, пока они собирают кайлы и лопаты, я дописываю заключительные строки полевого дневника:

«По данным предварительной разведки, вскрывшей лишь в самых общих чертах контуры рудного тела, можно допустить, что настоящее месторождение окажется интересным для промышленной разработки».

Завтра мы уезжаем.

Я в последний раз пришел на скалу в этот тихий предзакатный час. Скоро потянутся надо мной вереницы диких гусей. За рекой уже раздаются их переклики, многоголосые и призывные. И кажется — это голос дикой степной природы, извечной родины диких гусей. Но знаю: скоро приедут новые люди, и с первым звоном металла, рожденного этой же землей, окончится гусиное владычество на этих берегах!..

Но пока здесь все по-старому. Еще немного — и гуси снимутся с камышевых займищ и полетят на хлебные поля, как летали они вчера, в прошлом году и сто лет назад. Их будет много, и они поднимутся, как туча. Их крик наполнит окрестность тысячеголосым гомоном. И, когда они поровняются с моей скалой, я отвечу им прощальным салютом из обоих стволов бельгийского ружья.

Гуси полетят сегодня очень высоко, как летают в безветренную погоду, и мне не удастся выбить из табуна ни одной птицы. Пусть будет так...

Но я дождусь их лёта и стану салютовать им в честь моего торжества...

В ПОИСКАХ МОЛИБДЕНА

Только костер да наши кони, да мы трое, степные бродяги, не спим в этой зябкой сентябрьской ночи. Она накрыла нас, как огромная юрта, непроницаемой завесой кошмы, и, кажется, нет, кроме нас, ничего на всем свете. Лишь высоко над нашими головами в юрте

приоткрыт тундук, и в узкую щель просится одинокая звездочка, заблудившаяся в сопках овца. Да где-то неподалеку, за высоким обрывом скал, бежит по камням невидимая река Ишим, наполняя ночь монотонным, успокоительным шумом. Прислушиваясь к незримой реке, хочется говорить с самим собою о судьбе вселенной и о вечно неиссякающем, как шум ночной реки, источнике жизни.

Геолог Трофимов, распростершись у огня на брезенте, молча наблюдает, как Афанасий ловко снимает шкуру с убитого нами зайца, подвязав его к высоко вздернутой оглобле. Афанасий орудует большим финским ножом, распарывая зайцу живот, и из зайца сочится темная кровь. Выпотрошив зайца, Афанасий отвязывает его от оглобли и, захватив с собою пустое ведро, уходит к реке.

— Да, — говорит Трофимов, — напрасно я смутил тебя. Нехватило терпения на каких-нибудь десять минут!

Он все еще не может позабыть о гусях!

Закончив работу, в сумерках, мы отправились с ним на гусиный перелет и, просидев с полчаса на сопке за камнями, ушли, не дождавшись гусей. Я говорил, что уходит рано, но Трофимов не захотел ждать, уверяя, что гуси на этот раз прошли стороной. Не успели мы пройти и пятисот шагов, как над сопкой совсем низко пролетел огромный косяк гусей, а следом за ним — и другой, и третий. Покружив над рекой, все три косяка опустились в заливе. Но стало темнеть, возвращаться на сопку не было смысла.

— Тьфу, — с досады сплюнул Трофимов, бросая в костер окурки. — А гуси-то какие были! Корабли, а не гуси!

Возвратился Афанасий с начисто отмытым зайцем и полным ведром воды.

— Ну и тьма! — говорит он, ставя ведро. — Подошел к реке, а реки не видно. К дождю, что ли?

Мы вооружились ножами и принялись чистить картошку для супа. За работой планировали завтрашний день.

— Скверно, что мы не имеем хорошей карты, — говорит Трофимов, забыв о гусях. — Этой десятиверсткой, которая составлена при царе Горохе, совершенно нельзя пользоваться: на ней лес показан там, где в действительности — озеро. Попробуй по такой карте что-нибудь отыскать!

Потом мы обсудили, где можно ожидать появления молибденовых жил. Берега реки в том месте должны быть сложены гранитом и, наверное, скалисты и высоки. Ходить по таким местам — дело нелегкое. А там, где берег понижается, он весь загроможден огромными валунами и изрезан глубокими оврагами. В этом лабиринте валунов, скал и оврагов, где-то против бывшего аула, пятого по счету от мельницы, должны находиться молибденовые жилы, виденные несколько лет назад одним из работавших здесь по золоту геологов. Мы должны отыскать эти жилы, осмотреть и опробовать их. И вот мы проберемся вниз по реке и отсчитаем на том берегу аулы (ныне никем не заселенные). Точно против пятого аула мы остановимся и станем обшаривать гранитные скалы. Жил сегодня нам попадалось много, но ни в одной не было и намека на молибден. Можно подумать, что вообще это была «утка», если бы не образцы, которые мы видели своими собственными глазами, и если бы не читали короткой докладной записки человека, принесшего эти образцы. В записке точно упоминался пятый аул на том берегу, и автор предупреждал, что найти жилы среди камней будет делом довольно сложным. В этой части степного Казахстана еще нигде не известен молибден. И это обязывало нас предпринять далекое путешествие, налегке, для осмотра первого на Ишиме молибдена.

Утро вечера мудренее. — решили мы. И, когда поел суп, Трофимов внес предложение выдать по два глотка спирта из нашего запаса. Афанасий налил каждому полную миску супа, и мы подняли наши кружки — за молибден.

Было поздно, когда мы стали укладываться спать в крошечной двухместной палатке. Стояла непроглядная темь, и несмолкаемо шумела за обрывом река.

— Шуми, шуми, — сонно бормотал Трсфимов, — найти бы нам молибдена побольше! А там и тебя к делу пристроили бы: не все тебе лоботрясничать, покрути теперь колесо...

Он заснул, как убитый. Я слышал, как Афанасий водил поить лошадей. Потом лошади сами подошли к повозке.

— Вижу, вижу, что овса дожидаетесь, язви вас, — сказал Афанасий. — Если вам не дать, так до самого утра тут дневалить будете.

К полночи начался дождь. Ветер, не унимавшийся весь день, рассвирепел. Каждую секунду палатка могла сорваться и улететь в кипящую реку. Еще засветло мы обсуждали план переезда на ночлег в стан золоторазведчиков, работавших километрах в восьми от нас: у них были прочные убежища для людей и навесы для лошадей. Но от переезда все единодушно отказались и предпочли остаться на этом пустынном берегу Ишима. Теперь сожалели об этом. Я вышел, чтобы лучше закрепить палатку, но в этот самый момент порыв ветра вырвал слабо державшиеся в каменистом грунте колья и поднял, как лист бумаги, всю нашу палатку на воздух. Мы с возчиком ринулись за ней и едва успели поймать ее за конец веревки. И вслед за порывом ветра ударил сильный дождь.

— Вот и поспали! — произнес Трофимов, поднимаясь на ноги. Угли костра мгновенно погасли под потоком воды. Во тьме уже не было слышно ритмичного шума реки, — рвал ветер и хлюпал ливень.

— Запрягать будем? — послышался из темноты голос Афанасия.

— Запрягай! Все равно нехорошо!

Он начал запрягать, а мы ходили вокруг повозки, натываясь друг на друга, и помогали ему разыскивать то дугу, то вожжи. К нашему счастью, было мало вещей, и мы кое-как уложились, накрыв повозку вазовым брезентом.

— Тронулись?

— Тронулись! Только не правь в реку, вези куда-нибудь в другую сторону!

— Есть! — ответил Афанасий, и мы погрузились в мрачную ночь. Ехали долго, руководствуясь одним желанием — не свалиться с обрыва в реку или в глубокий овраг. Трудно было надеяться, чтобы мы смогли попасть в стан золоторазведочной партии. В лучшем случае могли угодить на какую-нибудь старую дорогу, какими изрезана едоль и поперек степь, и тогда мы избежали бы риска поломать головы и ноги и себе, и лошадям. Видно, такая была наша счастливая участь, что и взаправду мы оказались наконец на дороге! Лошади пошли уверенным шагом.

— Приехали, Афанасий?

— Кажется, приехали, Трофим Иванович.

— Куда приехали?

— Неизвестно.

Так мы ехали под дождем час или полтора. Теперь нечего было опасаться: лошади держали дорогу твердо, а мокнуть не страшно, — на нас и так не оставалось ни одной сухой нитки. И, когда мы увидели огоньки селения, это не произвело на нас особенного впечатления. Лошади уткнулись в сарай, и Афанасий вступил в переговоры с человеком, невидимым в темноте.

— Эй, дядька, что за поселок?

— Аул, пятый номер. А твой какой человек будет?

— Как пятый номер? Ишим далеко?

— Ишим недалеко, мало-мало вниз ныряешь — и Ишим будет.

— Что за наваждение? Стало быть, мы прямо в цель угодили!

— Эй, дядька, а ночевать кто пускает?

— Ночевать мой пускает, другой кибитка едешь, инженер будет, инженер пускает.

— А сарай у инженера есть?

— Сарай есть, корова есть, все есть.

АПАЙ

Посреди юрты дымился очаг. Старая, высокого роста казашка стояла у стены на коленях. Она не оглянулась, когда мы вошли, мокрые и забрызганные грязью. Ее лицо было мертвенно-бледным. Одета в новый черный широкий

чапан и с белоснежной повязкой на голове, она казалась изваянием. Мы стояли, не зная, что делать, и грязная вода сочилась на пол с нашей мокрой одежды. Наконец она отбила положенное число поклонов и, окончив молитву, пошла к нам навстречу.

— Аман, — сказала она певучим голосом и поклонилась нам в пояс, приглашая быть ее гостями. И мы ответили ей хором:

— Аман.

Она начала что-то говорить по-казахски, но мы не могли ничего понять. На помощь нам пришел тот самый казах, с которым мы переговаривались в темноте.

— Она просит вас раздеться и сесть к очагу, — перевел казах слова хозяйки. Мы узнали здесь, что приехали на свинцовый рудник, и это известие нас обрадовало: нам с Трофимовым хотелось побывать на руднике, о котором мы много слышали. До пятого же аула — цели нашей поездки — нам оставалось еще километров тридцать или сорок.

Казашка села на ковер у очага напротив нас. Услышав, что мы — инженеры, она спросила, не знаем ли мы ее сына, инженера на свинцовом руднике. Мы попросили передать ей, что ее сына, к сожалению, не знаем. Ее лицо потускнело.

— Никто не знает о моем сыне! И я сама не знаю, где он.

Она склонила голову и замолчала. Казах-переводчик рассказал: ее сын-инженер руководил добычей руды, как специалист. Была пройдена шахта и добыто несколько тонн руды. Область требовала сдачи готового металла в назначенные по плану сроки. Но артель, занимавшаяся разработкой руды, не имела понятия о металлургии свинца, и сам инженер заявил, что не знает, как поступить с добытой рудой. Тогда на рудник из разных селений собрались кузнецы, предлагая сдать им плавку свинца. Каждому выдавали по пуду руды с тем, чтобы они сдавали обратно по полупуду металла. Но кузнецы возвращались с пустыми руками и отказывались от дальнейшей плавки руды. Ин-

женер решил выстроить свою печь, и она была сложена в скале неподалеку от шахты. Но когда начали плавить, то руда испускала удушливый запах серы и сгорала, не давая металла. А из области прекратили высылку средств и пригрозили закрыть рудник, если в кратчайший срок не будет доставлен свинец. Тогда инженер пришел к своей матери и сказал: «Я не могу быть инженером, Апай. Я учился всего один год, и мне до инженера остается еще четыре года». На другой день он собрал свои вещи и уехал в Москву. Рудник остался без инженера, а Апай — без единственного сына.

Апай поднялась с места и стала разжигать самовар. Пока она занималась этим, в юрту вошло еще несколько человек, вероятно, членов артели. Они молча толпились у двери, надеясь, должно быть, что мы будем сейчас решать судьбу их свинцового рудника. Хозяйка спросила у переводчика, не нуждаются ли гости еще в чем-нибудь. Мы признались, что хорошо бы раздобыть охапку сена для лошадей. Казахи отрицательно качали головами, произошел спор. Апай с решительным видом вышла за дверь. Как мы узнали позже, сено имелось только в артельном омете, и его запрещали брать без разрешения председателя артели; председатель же уехал куда-то по делам. Апай ответила казахам, что пусть председатель делает с ней что хочет, но к ней приехали гости, и она не может держать их лошадей без корма. Вскоре она вернулась с Афанасием, и тот сообщил, что о сене беспокоиться нечего: «мамка» принесла три больших охапки. Потом из юрты посетители вышли. Апай расстелила цветистый ковер у очага, достала из сундука тонкую фарфоровую посуду и сахар и предложила нам умыться из узорного медного кувшина. Мы сидели на ковре и пили крепкий казахский кокчай и в свою очередь угощали хозяйку конфетами и печеньем. Время от времени Апай начинала говорить с нами, но, видя, что мы не понимаем ее, замолкала, приветливо улыбаясь. После чая мы крепко заснули на чистой белой кошме.

Поутру, прежде чем отправиться далее, мы осматривали свинцовый рудник. Молодой краснощекий казах, назвавший себя десятником, сопровождал нас. То, что мы увидели, никак нельзя было назвать шахтой: просто яма, бесформенная зияющая дыра или обвалившийся колодезь. Пройденное в малоустойчивых сланцах и не имеющее абсолютно никакой крепи, это сооружение держалось на волоске и было готово в любое время рухнуть. Над ямой стоял кое-как сколоченный вороток, и, разумеется, не было никакой надшахтной постройки, только по стенке ямы выведена из шахты уродливая труба-вентилятор. В нескольких шагах от устья лежала гряда той самой руды, которая не поддавалась плавке у кузнецов. Будь у нас полномочия, мы запретили бы работу на шахте, не медля ни минуты.

— Какая глубина шахты? — поинтересовался Трофимов.

— Восемнадцать метров, — ответил десятник.

— Спустите меня туда, — сказал Трофимов, становясь левой ногой в бадью. Мы спустили его в шахту.

Десятник стоял, облокотясь о вороток шахты, и, виновато улыбаясь, смотрел в зияющую пасть ямы. Недалеко от нас, за обрывом берега, среди сизолиловых скал, извивалась хмурая осенняя река, а за рекой простиралась Сарай-Дала — бесконечная выцветшая ковыльная равнина.

«Незавоеванная пустыня! — невольно подумал я, оглядываясь вокруг. — Как мало мы еще знаем скрытые от нас недра... И кто может отрицать, что здесь рано или поздно вырастут настоящие рудники — свинцовые, молибденовые или другие? Ведь так же вот, с этойкой убогой шахтенки начинается биография исполинской Караганды, в короткий срок выросшей в город со стадвадцатитысячным населением».

Трофимова пришлось ждать недолго: он дал сигнал по канату, и мы подняли его в бадью.

— Любопытное сооружение, — отзывался он, став на землю. — Приходится удивляться, каким чудом здесь до сих пор никого не задавило!

И, когда мы отправились далее, мой спутник прибавил:

— Парень хорошо сделал, что добровольно отказался от «инженерского» звания: честно и предусмотрительно... А свинец здесь есть.

Десятник повел нас осматривать рудничную печь, а по дороге мы говорили ему о способах крепления шахт, о первом свинце и первом молибдене на севере Казахстана.

В юрте нас ожидала толпа народа. Как оказалось, члены артели были серьезно обеспокоены дальнейшей судьбой рудника. И больше других озабочена Апай: она считала себя матерью инженера и болела душой за дело сына. Мы уверили собравшихся, что рудник закрыт не будет, что мы едем искать месторождение руды, более ценной, чем свинец. И на прощанье мы обещали Апай отыскать в городе ее пропавшего сына.

Когда мы ехали по дороге, поднимающейся на пригорок, еще долго была видна вентиляционная труба над шахтой, торчавшая, как пугало на горохе, да рядом с одной из юрт неподвижно стояла женская фигура в черном чапане и с белоснежной повязкой на голове: Апай посылала с нами в Москву материнский привет своему сыну, бывшему инженеру свинцового рудника.

Мужайся, Апай! Через четыре года ты снова встретишься с сыном, и сын твой вернется достойным инженером!

СЕРЕБРЯНАЯ СКАЛА

Мы проколесили по степи еще день. Ежась от холода, мы гадали о том, как получше устроиться на ночлег, и были чрезвычайно обрадованы, когда, выехав на безымянную маленькую речушку, увидели пастушью балагану и мерцание огней вокруг них. Наше появление на стане было встречено лаем собак, мычанием коров и телят и звонким смехом доярок. Кто-то из доярок крикнул: «Федя, к тебе охотники приехали!», и следом затем из балагана вышел совсем молодой паренек, отрекомендовавшийся нам Федей, гуртоправом. Он сказал, что рад видеть у себя людей, а еще, больше того, два двухствольных

ружья. Мы были немало удивлены, почему ружья ценились здесь дороже самих владельцев их. Нам объяснили: вчерашней ночью к загонам, где стояли телята, подошло семь волков, и их никак невозможно было отогнать. Как ни шумели сторожа и доярки, волки так и проболтались всю ночь возле телят. Более того, один из волков пытался залезть в самый загон и ушел только после того, как получил четыре удара палкой по спине от храброй доярки Матвеевны. Нам показали эту Матвеевну. Она в нашем присутствии погрозила в степь кулаком:

— Ужо, я тебе, чорту, задам!

Федя отдал приказ заварить по случаю нашего приезда котел молочной каши. После ужина мы с Трофимовым зарядили картечью ружья, и Федя повел нас к телячьему загону. Телята мирно лежали на утопанной, как ток, земле, не проявляя никакого беспокойства. Собаки тоже вели себя спокойно, и Федя решил, что на этот раз волки не придут. Мы зашли в балаган побеседовать с пастухами. Мы расспрашивали пастухов об их житье-бытье и рассказывали о своем. И в то время, когда шел разговор о руде и о том, как трудно искать эту руду, выступил вперед сумрачный пастух, дядя Прокофий, и заявил нам в категорической форме:

— Знаю я, какую руду вы ищете, ребята!

— Какую, дядя Прокофий?

— Я не инженер, а знаю.

Несколько человек спросили его:

— Да ты говори, какую?

— А вот эту самую. Помнишь, бычишка у нас рыжий потерялся? Ну, вот. А я ходил бычишку искать и дошел до самой Мухорки. И там, пониже аула, вижу — скала, и вроде она вся битым стеклом посыпана. Я подошел, поднял один кусочек, скажи, — серебро и серебро! И так оно полосой по всей скале проходит. Я еще тогда подумал: не может того быть, чтоб тут простой камень оказался.

Пастухи пошутили над дядей Прокофием, что сплеховал он, не набрав с полмешка серебра, и стали раскладываться на покой. Мы вернулись к Феде

в балаган и расстелили постели на соломке. Залезая в спальный мешок, Трофимов спросил у меня:

— Что ты думаешь, Иван, о серебряной скале?

— Грейзен или пегматит, — ответил я.

— Есть у нас свободное время в запасе?

— Дня на два можно рассчитывать.

— Может быть, проедем на Мухорку?

— Мне кажется, что следует проехать.

И мы заснули, положив рядом с собой ружья на случай ночной тревоги.

В полдень следующего дня мы были на Мухорке. Не откладывая дела в долгий ящик, отправились вверх по реке, захватив с собой молотки, лопату и лоток для промывки шлихов. На первой же большой песчаной косе я остановился, чтобы промыть одну шлиховую пробу. Трофимов пошел дальше по реке. Промыв шлих, я осмотрел его через лупу и обнаружил несколько зерен, похожих, по внешнему виду, на оловянный камень. Я вернулся в стан и достал из чемодана соляную кислоту, порошок цинковой пыли и часовое стекло. Положив на стекло каплю солянки, я посыпал на нее немного цинковой пыли и в начавшие бурно выделяться пузырьки водорода опустил отобранные мною из шлиха зернышки красно-коричневого и черного минерала. Таким методом мы проверяем в поле подозрительные на касситерит минералы.

Пока я возился с промывкой шлиха и с постановкой опыта с кислотой, возвратился Трофимов и, не найдя меня, направился к стану.

— Хо, хо!.. — еще издали крикнул он. — А я жожу и разыскиваю тебя.

— Что случилось?

— У меня ничего не случилось. Просто нашел в гальке хороший образчик грейзенизированной породы и несу показать тебе. Где-то выше по реке, действительно, должна быть эта самая серебряная скала.

— Что твоя грейзенизированная порода, — ответил ему я: — Ты пойд и посмотри, что у меня получилось.

И я передал ему часовое стекло и лупу: все зернышки, отобранные мною, оказались оловянным камнем.

— Нам везет! — воскликнул Трофимов, возвращая мне стекло. — Запишем это, как непредвиденный приход!..

МОЛИБДЕН

Сегодня с утра дует порывистый влажный ветер, и по небу бродят всхолмленные тучи. Я укрылся от ветра в узкой расселине скалы и составляю описание молибденовых жил. Отыскать их, действительно, было мудрено. Достаточно сказать, что мы прошли мимо них. И лишь на обратном пути, обшаривая каждый скрытый в камнях закоулок, мы открыли наконец потайной уголок, где обитал молибден. Здесь, на небольшом участке в гранитах, обнаружили мы серию кварцевых жил, содержащих вкрапленность молибденита. Жила не отличалась большой мощностью: она не превышала 25 — 30 сантиметров, в среднем же составляла 10 — 15 сантиметров. Но кварц носил все признаки высокотемпературного образования: он был совершенно плотным, стекловатым и даже местами полупрозрачным и своей темной окраской слегка напоминал дымчатый горный хрусталь. Это являлось хорошим признаком: молибденит принадлежит к группе высокотемпературных минералов. Молибденовый блеск — молибденит — мы заметили не сразу: в краевых жилах наблюдалась лишь чрезвычайно тонкая вкрапленность его, которую трудно рассмотреть невооруженным глазом. Но уже в третьей от края жилке молибденит сидел бутонами, и листочки его были не мельче десятикопеечной монеты.

— Вот он где, долгожданный! Хо-хо!.. — изливал мой темпераментный приятель свой восторг, и эхо, перекатываясь по скалам и оврагам, долго еще повторяло его «хо-хо».

Работая зубилами и молотками, мы выбивали прекрасные образцы молибденита и подолагу любовались ими. Они блистали благородством, свойственным немногим камням, и поневоле приковывали к себе внимание. Молибден по

своему распространению — редкий металл и является как бы витаминным металлургической промышленности. Вот они лежат передо мной, дымчатые куски кварца с гроздьями плотно сидящих в них листочков блеклого серо-стального молибденита! Кто не знает этого минерала, тот легко спутает его с графитом: он походит на графит по цвету и, как и графит, мягок, жирен на ощупь, и, подобно мягкому карандашу, оставляет жирную серую черту на ногте. И вот крупички этого металла, будучи добавленными к стали, производят в ней замечательные превращения: это будущие режущие стали, инструменты, магниты и автомобильные рессоры. Наконец это — оборона нашей страны, это — брони, ружья и пушки... На короткое время я приостанавливаю работу и опять начинаю вертеть в руках штуфы молибденита. И, кажется, чем дольше смотришь на них, тем сильнее чувствуешь обаятельную силу этого камня...

Я вспоминаю о письме, полученном мною на-днях от моего друга Алексея. Как и я, он тоже ведет тесную дружбу с камнями, мы работаем с ним на противоположных полюсах Казахстана: я — на крайнем севере этой страны, а он — на крайнем юге, вблизи китайской границы. Он писал мне о снеговых вершинах хребтов, о ледниковых пейзажах, об опасных переходах через хребты по узким горным тропам и о том, что в горах они открыли родину молибдена. Его письмо отдавало запахами альпийских высокогорных лугов, и я думал: какая это должна быть прекрасная страна — родина молибдена. Теперь через весь Казахстан я протягиваю тебе руку, Алексей: молибден имеется не только на крайнем юге, но и на крайнем севере этой огромной страны. Еще немного, — и он будет обнаружен во многих других местах, и тогда мы назовем родиной молибдена всю эту землю, равную по своим размерам всем, вместе взятым, западноевропейским странам...

Возвращается Трофимов и приносит полный рюкзак камней. Он взял образцы всех жил, и теперь мы делимся своими впечатлениями о молибдене. Нам кажется, что на этом берегу трудно рас-

считывать на промышленное значение месторождения вследствие малой мощности и недостаточно большой протяженности жил. Но хорошо, что вся серия жил имеет одно и то же простирание, и они уходят под уровень реки; можно предположить наличие их и по ту сторону реки. Проверить это предположение трудно, нет возможности перебраться через реку в такое время года, не имея лодки. Но при помощи бинокля нам удалось рассмотреть продолжение одной из жил и на том берегу. Необходимо снарядить в этот район специальную партию для разведки обнаруженных нами жил и поисков новых. Мы записываем свои наблюдения и предварительное заключение о дальнейшей судьбе месторождения. Закончив запись, мы начинаем снимать глазомерную карту первого на Ишиме месторождения молибдена...

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

Султан сидел, поджавши ноги, на подушке в богатом одеянии, опоясанный серебряной саблей; вокруг него сидело несколько старшин, одетых в яркокрасное. Путешественник Фальк. 1770 г.

И вот я снова в ауле Жана-Джол. Я приехал сюда с официальным визитом, вместо фотоаппарата у меня сумка с образцами медной руды. У скотного двора две пожилые казашки босыми ногами месили в яме навоз для кизяка, и мы узнали от них, где находился полевой стан колхоза и как туда можно попасть. Переехав вброд речку, мы поднялись на гористый правый берег и через три четверти часа подъезжали к колхозному стану. До него оставалось не менее километра, когда Гнедой, наш коренник, дал знать о близости стана: он внезапно замедлил свой бег, затем остановился, запрядал ушами, фыркнул и с досадой топнул левой передней ногой; это надо было понимать так: впереди пасутся верблюды, которых он всегда встречал с неприязнью. Об'ехав, с грехом пополам, горбатых и надменных гордецов, не желавших уступить дорогу, мы свернули в сторону, где стояли скир-

ды немолоченого хлеба, огромные, как степные курганы, вороха соломы, ометы сена и, вперемежку с ометами и скирдами, — юрты, шалаши, навесы из жердей и соломы и грязные кибитки из кошмы, насквозь прокопченные дымом. В полном разгаре шла на току молотба. Подросток-казахчонок, стоя на приводе, крутил длинной хворостиной, подгоняя поочередно лошадей; механик в черных шоферских очках сосредоточенно подавал в барабан тяжелые колосья и время от времени прикрикивал на болтливых казашек, не поспевавших отгребать из-под машины солому. А из степи по дороге медленно тянулись запряженные быками и верблюдами возы пшеницы, и на большое расстояние видны были скошенные, но еще неубранные добротные хлеба.

... Я прошел в юрту, служившую одновременно конторой, столовой и клубом, чтобы дожидаться там председателя правления колхоза. Против двери висел на стенке старый плакат Госстраха, а за столом сидел человек в темной бархатной жилетке и щелкал косточками счетов. Поздоровавшись, я присел на скамью и тут только заметил второго человека, одетого по-городскому, с домброй в руках. Он не обратил на меня ни малейшего внимания и начал бречать на домбре. Играл он неплохо. Доиграв, он покачал головой и произнес, не обращаясь ни к кому:

— Джаман домбра, плохая.

Голос человека показался мне хорошо знакомым.

— Калиев! — сказал я, поднимаясь.

И, когда мы встретились с ним глазами, он тоже узнал меня и не мог сдержать радости.

— Ведь это с вами мы когда-то ждали автомашину?

— Ну, конечно, так, — подтвердил Калиев, — и вы еще уговаривали меня ехать на верблюдах!

— Да как же это вышло, что мы встретились с вами через несколько лет и так далеко от места первой нашей встречи? И как выросли вы и возмужали!..

— Гора с горой не может сойтись, а человек с человеком, как видите, схо-

дятся, — смеясь, ответил он. — Я назначен учителем в Жана-Джол, ну, а вы все ищите вашу руду?

Мы познакомились в прошлом году, когда я ехал в Казахстан на работу, а юноша Калиев возвращался в родные степи, только что получив диплом педтехникума. Мы целый день сидели с ним тогда, ожидая автомашину. Сегодняшняя встреча была приятным сюрпризом.

— О, наши хлеба стоят того, чтоб на них смотреть, — говорил он: — Такого хлеба не было ни разу с тех пор, как перешли наши на оседлость. В этом году колхоз обогатился: будут собственная автомашина, своя мельница; выстроим новый скотный двор, новую школу. Нехватает вашей шахты и железной дороги!

Калиев блеснул темными глазами.

— Отчего не помечтать? Мечты рано или поздно осуществляются!

Он опять взялся за домбру, бойко заиграл и оборвал, не докончив такта.

— Знаете, ужасно хочется научиться музыке! Но у меня ничего нет, кроме этой дрянной домбры, которая дребезжит, как старая телега. Я мечтаю играть на рояле, на скрипке. Но где возьмешь рояль?

— До рояля нам с тобой, учитель, еще далеко, — отозвался человек, сидевший за счетами.

— Почему далеко? — запротестовал Калиев: — Мне говорили «далеко», когда я мечтал купить велосипед. А я взял да и купил. Оказалось, «близко», а не «далеко». Вы не слушайте его, — обратился он ко мне, — это наш счетовод, и ему все кажется «далеко», потому что он ничего дальше своих бумаг и счетов не видит. Верно я про тебя говорю, Намазгул? — и Калиев поприятельски хлопнул счетовода по плечу.

Я открыл приятелю причину моего приезда сюда: для разведки нужна рабочая сила.

— Это дело тяжелое, — задумался он. — Это хуже, чем покупать велосипед. С народом туго. Хлеб, — ничего не поделаешь! Надо скирдовать, надо молотить, хлеб отгружать, а тут каж-

дый день жмут со взметкой зяби. Людей, — где их взять?.. Впрочем, для вашего дела люди должны найтись, это чепуха. Сейчас придет председатель, и будем с ним говорить.

Председатель оказался тем самым механиком в шоферских очках, которого я видел у машины, подъезжая к току. Я выложил ему свою просьбу, потом долго и горячо что-то доказывал ему по-казахски Калиев, а он молчал и задумчиво чесал в затылке. Наконец решено было созвать правление колхоза. Члены правления, суровые, загорелые до цвета потемневшей бронзы, казахи, один за другим, вошли в юрту и чинно расселись на полу, подогнув под себя ноги. Мне было предоставлено слово. Я вынул из сумки образцы руд — бледнозеленые малахиты цвета весенней травы и темносиние, как августовское небо, азуриты и, разложив их перед членами правления, тоже по-казахски уселся на полу и начал доклад. Я говорил о том, что не могу уехать отсюда, пока не выясню, как много здесь руды и есть ли основание думать о шахтах и железной дороге. А для такого дела требуется рабочая сила. У меня есть кагаз, грамота, подписанная самым большим нашим председателем — Михаилом Ивановичем Калининым. В этой бумаге Михаил Иванович просит все колхозы, сельсоветы и исполкомы помогать таким, как я, людям в их важном деле.

Во время своего доклада я следил за членами правления. Особенно запомнился мне пожилой низкорослый казах, одетый по-зимнему — в сапоги, изнутри подбитые войлоком, в бараний полушубок, в грубые кожаные штаны и огромный треухий малахай. Он слушал меня, наклонив голову набок и сплевывая то-и-дело слюну, темную от положенного за губу табака. Лицо его было изрезано глубокими морщинами, а в черных и узких монгольских глазах светились скрытая доброта и простодушие. Мне казалось, что этот человек скорее других станет в защиту моей просьбы.

Учитель перевел мое сообщение на казахский язык.

Мне стали задавать вопросы, учитель был переводчиком. Члены правления пожелали узнать, сколько я буду платить акча рабочим, будет ли им выдача спецовка, и если руды окажется много, то не захочу ли я оставить рабочих на зиму. Заслушав ответы, они начали спорить. Больше всех горячился казах с добрыми глазами. Как сказал мне Калиев, казах не согласен был отпустить людей, потому что некому скирдовать хлеб. Тогда в спор вступили и Калиев, и счетовод, и председатель. В это время в юрту вошли еще несколько человек, позади всех Иса. Спор сразу прекратился. Иса прошел вперед, ему уступили место. Калиев шепнул мне на ухо, что пришел старейший в ауле человек. По казахскому обычаю, с его мнением должны считаться все, хотя он и не член правления. Такой почетный человек называется Ак-Сакал, Белая Борода.

Ак-Сакал, молча выслушивая сообщение председателя о происходившем споре, изредка кивал седой бородкой. Потом он взял в руку зеленый камень, принесенный мною, и, потрясая им в воздухе, стал быстро и горячо говорить. Он не смотрел на меня, ни одним жестом не выдал нашего с ним знакомства. Калиев шепнул мне, что Ак-Сакал — умный человек, что он стал на мою сторону, и теперь наше дело в шаляпе. Когда Иса кончил говорить, стали намечать кандидатов: дело обошлось без спора. Потом послали счетовода на ток, и тот привел с собой молодого парня Рахимбая и застенчивую казашку Барилю. Им объявили решение членов правления: собираться немедленно в отъезд. Остальные кандидаты должны были присоединиться к нам в ауле.

Назад мы ехали вчетвером. Барила упорно молчала всю дорогу. Зато Рахимбай оказался весьма разговорчивым. Пока мы добрались до аула, я узнал, что Рахимбай женился два года назад: у него был сын; они с женой заработали много трудодней, хлеба хватит на два года; ему давно хотелось уйти на производство. И, по наивной болтливости своей, он открыл мне, что близ

аула Жана-Джол уже давно находили руду, но знал об этом только Исмагул, который давно помер.

А он, Рахимбай, приходится Исмагулу родным внуком.

О ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯХ

Стояла глубокая осень.

Мы закончили полевые работы, рассчитали рабочих, отправили груз и возвращались на машине в город.

Всякий раз, когда возвращаешься с поля, переживаешь смутное волнение, которое трудно передать словами. Сказывается усталость, утомление от впечатлений, от самого камня, прошедшего через твои руки в бесчисленном множестве, от жизни под открытым небом. Хочется увидеть город, родных и знакомых, хочется ощущать под ногами, вместо земли и камня, пол квартиры. Но, несмотря на это, жаль бывает оставлять места, с которыми сроднился, где тебе известен каждый поворот реки, каждая сопка и скала. И, проезжая в последний раз по знакомым местам, чувствуешь удовлетворение от того, что удалось сделать общественно-полезное дело, что ты познал внутреннюю природу вот этих обширных полей, и они стали для тебя близкими, своими.

Но обидно сознавать, что на полях постоянно живут другие люди и, не понимая языка камня, не знают собственной земли, которую ежечасно попирают ногами!

Если бы эти люди имели, как мы, «трубы», через которые видна земля, то нам не пришлось бы ездить тысячи километров, чтобы искать в незнакомых краях родину молибдена. И я охотно принимаю дружбу с любым человеком, который хочет научиться смотреть на камень, лежащий на дороге, моими глазами.

Вот почему я решил рассказать здесь о Саньке.

Мой Санька никаких особенных примет не имел. То был десятилетний деревенский мальчик, круглолицый, немножко рябоватый, вихрастый. Санька как Санька. Он учился в школе, в третьем классе. Я познакомился с ним у него

дома, где мне пришлось заночевать: по дороге в город нас захватило ненастье.

За окном была мрачная, ненастная ночь. Санька сидел в переднем углу за столом и вслух учил по книжке «сказуемое». Я подсел к нему, и с той минуты ведет свое начало наша дружба. Сперва я помогал Саньке готовить уроки. Мы «под орех» разделили «сказуемое», повторили «подлежащее», решили задачи и — это уже сверх плана — закончили рисованием на свободные сюжеты. Тем временем Санька проникся ко мне доверием, мне тоже понравился этот смысленный паренек. Мы вели разговор о разных вещах: о школе, о рыбной ловле и о московском метрополитене. Сам собою, наш разговор коснулся гранита. Здесь я припомнил случай с забайкальской слюдой, мне захотелось повторить эксперимент...

Гранит, песчаник, сланец — все эти термины хорошо были знакомы моему приятелю.

— Мы это проходили! — похвастался Санька и, в подтверждение своих слов, достал из сумки учебник по естествознанию. Я перелистал учебник, — там, действительно, оказался отдел, посвященный горным породам и полезным ископаемым. Не скрываю: приятный для меня сюрприз!

— Неужели вы все это проходили? В таком случае расскажи: какие граниты знаешь?

— Всекие... Кварц...

— Почему же кварц? Я спрашиваю про гранит!

Санька подумал и сказал не совсем уверенно:

— Слюда.

Явно невпопад! Почувствовав это, он густо покраснел. Санькин отец, сидевший поодаль, громко рассмеялся.

— Али запарился, Санька?

Это еще более смутило моего героя.

— Не беда, — подбодрил я оробевшего приятеля, — мы сейчас поправимся. Кварц и слюда, которые ты упомянул — минералы. Из них состоит гранит. И еще к ним относится полевой шпат. Не так ли?

— Минералы, — пролепетал Санька.

— Ну, а отличить слюду, скажем, от кварца ты сумеешь?

Санька, чувствуя обращенные на него взгляды домашних, сторал от стыда и досады. И вдруг, набравшись решимости, неожиданно выпалил:

— А какой от того толк, что мы их проходили! Кабы нам это показывали, тогда я, может, их и отличил бы!

Дело принимало другой оборот.

— Ты, наверное, и гранита никогда не видел?

— Не видал, — ответил Санька угрюмо: у него было испорчено настроение.

Я был поражен всем этим. Нет, поражен — этого мало. Как это можно «проходить» гранит, и ничего не знать о граните, не подозревать того, что здесь огромные залежи гранита!

Правда, мы находились в глухой степной стороне, вдали от городов и железных дорог. Ощущался недостаток в людях, в промтоварах, нехватало бумаги, карандашей, но во всяком случае — не гранитов! Сколько лет мы ездим сюда из Москвы, чтобы исследовать эти самые граниты, залегающие за санькиным огородом! Гранитов здесь огромное поле, массив свыше полутора тысяч квадратных километров!

По счастливой случайности в моем чемодане оказалось несколько штучек гранита с образцами руд. С этими камнями досидели мы с Санькой до позднего часа. Мы рассматривали гранит в лупу, выкалывали из него зерна кварца и полевого шпата, расщепляли слюду на тонкие, как папиросная бумага, пластинки и резали кварцем стекло. А когда я рассказал о том, что можно найти в гранитах, и показал образцы медной, свинцовой и молибденовой руд, найденных нами в гранитах, то Санька не мог оторвать глаз от камней.

... На другой день, вернувшись из школы, Санька не отходил от меня ни на шаг. Дождя не было, и я решил повести моего друга, как говорят геологи, «в поле». Мы вооружились молотками — я геологическим, а Санька отцовским — и вышли из дома.

И начались для моего друга ошеломляющие открытия.

Едва переступив порог хаты, мы очутились в сенях на каменной приступке, приступка была сложена из гранитных плит. Большой обломок розового гранита мы обнаружили в воротах, где им была прикрыта дыра в подворотне — от нашествия чужих поросят. Из гранита же сложили и завалинку санькиного дома. Гранит всюду: на улице, на дворах, на огородах. Тут и там лежали в бурьянах беспризорные гранитные жернова и барабаны, которыми в прежнее время молотили пшеницу.

Гранитом было вымощено шоссе у сыпного пункта. И близ отстраивающегося колхозного амбара, аккуратно сложенные, стояли целые штабеля этого камня. Я больше ничего не показывал моему спутнику. Теперь он с первого взгляда находил гранит среди других камней и, взяв в руку, определял его: серый или розовый, мелко- или крупнозернистый, со слюдой или бесслюдистый. И пока мы ходили по селу да колотили молотками, к нам присоединялись санькины товарищи. Постепенно выросла толпа ребят. Многие из них успели сбегать домой и вооружить-

ся отцовскими молотками. Составился, если хотите, своеобразный геологический отряд. Мои сотрудники дружно работали молотками, не пропуская ни одного камня и наполняя образцами гранита карманы. А мой приятель действовал среди них, как консультант. Он сиял и гордился.

Шествие, шумное и безалаберное, лавиной прокатилось мимо школы к реке.

За рекой начинались коренные выходы гранита — сплошное каменное поле...

Я уехал, подарив Саньке блокнот, коробку цветных карандашей и хороший образец молибдена. Садясь в машину, я запомнил блеск санькиных глаз, его крепко сжатые губы: это было мне ответным подарком. И когда машина резво пошла по просохшей дороге, я в последний раз оглянулся на моего друга.

— Может быть, Санька, мы еще встретимся с тобой в жизни. Кто знает, — может, ты, в свое время, станешь, как я, геологом-бродягой и, научившись понимать язык камня, будешь скитаться по земле в поисках руды молибдена!

Интеллигенция и революция

Акад. И. ЛУППОЛ

★

Термин «интеллигенция», как известно, вошел в русский язык еще во второй половине XIX века. Этим понятием охватывались все люди умственного труда и служащие, и — прежде всего — лица так называемых свободных профессий: ученые, учителя, инженеры, врачи, государственные служащие, писатели, художники, артисты, адвокаты. В этом умственном характере труда — разгадка появления интеллигенции в истории и разгадка ее социального положения.

Корни происхождения интеллигенции — в общественном разделении труда, в отделении умственного труда от физического. Таким образом, интеллигенция появляется в истории очень рано, но как сколько-нибудь массовая социальная прослойка она возникает лишь в капиталистическом обществе, поскольку капитализм особенно сильно развивает противоположность между умственным и физическим трудом.

«Именно капиталистическому способу производства, — писал К. Маркс, — свойственно разобщать различные виды труда, а стало быть также и умственный и ручной труд...»¹. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» высказывался о процессе выделения интеллигенции так: «Рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный

от прямого производительного труда и заведующий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т. д.»¹.

И у нас в России интеллигенты-одиночки, даже если не считать представителей государственного аппарата, появляются очень рано. Их становится больше в конце XVIII и в первой половине XIX столетия, но особенно сильно стала количественно возрастать русская интеллигенция с начала второй половины XIX века, т. е. со времени буржуазных реформ 60-х годов, способствовавших бурному превращению России из страны крепостнической в страну буржуазно-помещичью.

Умственный характер работы интеллигенции приводил к историческому искажению представлений о ней: и ей самой, и другим стало казаться, что она — особая социальная группа, особый общественный класс в отличие как от дворян-помещиков и крестьян-земледельцев, так и от буржуа-предпринимателей и пролетариев-рабочих.

Между тем трактовка интеллигенции, как особого общественного класса, исторически совершенно не верна. Интеллигенция никогда не была ни самостоятельным, основным классом общества, ни даже классом побочным или, как иногда говорят, «вторичным» в той или

¹ К. Маркс. — «Теория прибавочной стоимости», т. I, М., 1932 г., стр. 273.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. — Сочинения, т. XIV, стр. 285.

ной общественной формации. С другой стороны, в классовом обществе интеллигенция никогда не стояла ни над классами, ни вне классов, ни между классами, но всегда была интеллигенцией того или иного общественного класса. Поэтому-то в социально-историческом аспекте правомерно классовое различение интеллигенции — дворянской, буржуазной, разночинной, пролетарской.

Бытие и сознание интеллигенции, за исключением действительно пролетарской, в общем определялось бытием господствовавших классов, хозяев буржуазно-помещичьего общества. Вместе с тем умственный характер ее работы при отсутствии личной собственности на средства и орудия производства как будто влек ее в сторону эксплуатируемых классов общества. Отсюда все противоречия в природе и судьбах интеллигенции: и видимость, кажимость для нее самой ее общественной самостоятельности, независимости, и мучительность истории интеллигенции в целом. В этой истории много ярких страниц, славных имен, героических фигур, но много в ней и позорных страниц, презренных имен, отталкивающих фигур.

Услужение господствовавшим классам, хозяевам и хозяйчикам буржуазно-помещичьего общества настраивало против интеллигенции народ, которому хотели служить лучшие интеллигенты, вызывало в народе справедливое недовольство к интеллигенции и даже ненависть к ней. Переход же на сторону трудящихся масс возбуждал против интеллигенции травлю со стороны политических хозяев буржуазно-помещичьего общества и их открытых лакеев, что устрашало интеллигенцию и надолго отпугивало ее от народа.

Интеллигенция считала себя «солью земли», а капиталистический строй и его политическое орудие, его «дубинка» — буржуазное государство делали ее своим слугой, образованным лакеем. Она думала, что проповедует независимые и высокие идеи, а на самом деле в подавляющем большинстве своем находилась в услужении российского капитализма.

Это было совершенно ясно в отношении дворянско-помещичьей интеллиген-

ции, царских сатрапов и бюрократов, непосредственных заправил самодержавного режима. Но это было так, несмотря на весь идеологический флер и субъективные чувствования, и в отношении старой буржуазной интеллигенции, в том числе и представителей так называемых «свободных профессий».

В этом направлении работала вся система «воспитательных» средств царизма: казенная школа, православная церковь, открыто реакционная и «рептильная» пресса, светская и духовная цензура. Для мягкотелых и податливых интеллигентов существовал большой репертуар официальных и неофициальных поощрительных средств: чинов, синекур, рекламы, баснословных гонораров, меценатских подачек, лесты прессы; для «неблагонадежных» и вольнодумных же приводилась в действие иная лествица мер воздействия от полицейского надзора и административных ссылок до политических судов, тюрем и казней. Таким образом, интеллигенция в массе своей приводилась к верноподанным чувствам в отношении царизма.

«Жить в обществе,—писал В. И. Ленин,—и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»¹.

В силу этого хотя буржуазные интеллигенты царской России в претензиях на абсолютную свободу своего творчества видели себя «детьми солнца», — если использовать названия пьес А. М. Горького, — но на деле оказывались лишь «дачниками», которые разыгрывали сами перед собой и перед народом показательные любительские спектакли.

До тонкости знавший буржуазную интеллигенцию А. М. Горький так характеризовал ее словами одного из персонажей «Дачников»: «...нарядятся не в свою одежду и говорят... разные слова, кому какое приятно... Кричат, суется, будто что-то делают.., будто сер-

¹ В. И. Ленин. — Сочинения, т. VIII, стр. 389.

дятся... Ну, обманывают друг дружку, один представляется, — я, дескать, честный, другой—а я умный... или там — я-де, несчастный... Кому что кажется подходящим». В самом деле, мотивы непризнанной честности, непонятого ума и отсюда одиночества и «несчастности» были весьма распространены в эпигонской буржуазной литературе конца XIX и начала XX века.

А. М. Горький прекрасно знал эти обличья российского буржуазного интеллигента и зло бичевал его в своих художественных произведениях. Вот собирательный тип такого интеллигента—Ивана Ивановича Иванова, из рассказа «Еще о чорте»: «По душевному складу своему это был человек «интеллигентный», а пружиней его было стремление к достижению духовного совершенства, которое он и внедрял в себя ежесуточно путем продолжительных бесед со знакомыми и посредством чтения душеполезных книг».

Однажды к этому Ивану Ивановичу явился чорт, чтобы освободить его от стеснявших его страстей. Этими «страстями» оказались: честолюбие — «нечто бесцветное, маленькое, сморщенное, похожее на тряпочку, которой долго вытирали пыль»; злоба — «что-то издававшее кислый запах и похожее на тряпочку», к ней было прибавлено немного трусости; гнев — «не гнев, а... этакая нервозность». После того, как чорт удалил все это из Ивана Ивановича, у него остались только «одни междометия, да и то без всякого содержания». Чорт не знал, какое же дать ему употребление, но вскоре решил: «Сначала я немножко просушу сие совершенство, а потом насыплю в него гороха... и из него выйдет преоригинальная погрешка».

Это не памфлет, хотя и звучит уничтожающей сатирой, это истина, закрепленная в классической русской литературе.

Немудрено, что с вырождением капитализма и господствовавших при нем классов вырождались и буржуазная интеллигенция. В канунные перед Великой Октябрьской социалистической революцией годы у одних интеллигентов это вырождение принимало форму непосред-

ственной собачьей службы царизму, у других оно выливалось в не очень прикрытое лакейство, у третьих под личиной всяческих «свобод» независимого индивидуума означало идейное хулиганство в угоду мелкобуржуазному анархическому индивидуализму.

В национальных территориях царской России, где налицо был двойной гнет, тяготевший над трудящимися, гнет российского империализма и руссификаторства и гнет отечественных помещиков и буржуа, с национальной буржуазной интеллигенцией дело обстояло еще сложнее.

С одной стороны, она пополняла ряды российских порабитителей и руссификаторов, совершая открытое предательство по отношению к своему народу; с другой стороны, фрондируя перед царизмом, она ударялась в буржуазный национализм, который прекрасно уживался с раблепием перед немецкой, французской и английской буржуазией и означал в более прикрытой форме то же предательство в отношении своего народа.

В качестве «идейной» подосновы этого декаданса буржуазной интеллигенции фигурировали и изыски символизма, и богоискательские конструкции, и культ сильной — преимущественно в половом отношении — личности, и уж, конечно, философский идеализм, сопряженный с сильнейшими антиреволюционными тенденциями.

Еще бы! «Генеральная репетиция» 1905 года всерьез напугала буржуазию, и ее интеллигенция на путях к штурму 1917 года полностью растеряла багаж своих предков — разночинцев 60-х годов — и ухватилась за «Вехи», с их идейной и политической реакционностью, которые отныне стали вехами позора буржуазной интеллигенции.

По устранении из ее идейного багажа всех и всяческих «измов» явственно прощупывался «межбаррикадный» Клим Иванович Самгин, который, как известно, нисколько не был шокирован предложением «оказывать услуги» охранке и впитанным наследством которого являлись: политическая философия Константина Леонтьева, «Дневники» Достоев-

ского, «Московский сборник» К. Победоносцева и брошюрка ренегата Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». Массовым же интеллигентским окружением Клина Самгина являлись просто нехитрые мещане и обыватели.

В таких условиях наиболее честные представители старой русской интеллигенции, сохранившие в себе душу живу, или уходили в абстрактное прекрасное, или вынуждены были признать свою духовную растерянность.

Обращаясь к тому времени, Вл. И. Немирович-Данченко в своем ответном слове на юбилейном заседании МХАТ вспоминал: «Перед самой Великой Октябрьской социалистической революцией мы были в состоянии сильнейшей растерянности. Эта растерянность была в нашем репертуаре. Чехова уже не было в живых. Произведения... А. М. Горького мы не могли ставить вследствие цензурных условий, а другие драматурги, которых нам часто приходилось ставить, не радовали нас... Наше искусство стало засыхать. Оно уже не было таким горячим и страстным, каким оно было, когда мы начинали наш театр... Мы начинали терять веру в самих себя и в свое искусство».

Таковы же по направлению основных мыслей и высказывания Алексея Ник. Толстого. Говоря о разработке в своем творчестве темы распада старого дворянства, Алексей Николаевич Толстой так пишет в автобиографии 1938 года о своих переживаниях в предвоенное время: «Я исчерпал эту тему. И теперь вплотную подошел к проблеме современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, нетипичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не могло отразить современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции. Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что неминуемо надвигалось... Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя, я всегда много работал, теперь работал еще упорнее,

но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа».

Иначе и не могли себя чувствовать в то время лучшие представители старой русской интеллигенции.

Из всего этого отнюдь не следует, что из истории русской интеллигенции нужно вычеркнуть прекрасные и героические страницы. Мы с уважением вспоминаем дворянских интеллигентов-революционеров конца XVIII и начала XIX века — Радищева и декабристов и певца декабристов — великого народного поэта Пушкина. Это они выковывали русское национальное самосознание в политической, философской и художественной форме; это они боролись всеми доступными им средствами против самодержавно-крепостнического строя; это они жизнь свою положили в борьбе за народ, а они — кровная часть русской интеллигенции.

Мы с уважением останавливаемся на деятельности разночинных интеллигентов, великих революционных демократов 40—60-х годов XIX века, на именах Белинского, Добролюбова, Чернышевского, на гениальном певце революционной демократии Некрасове. К ним в значительной мере относятся глубокие слова В. И. Ленина: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия по истине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»¹. Это они выстрадали борьбу с крепостничеством и его цепкими остатками, это они воспитывали поколения в непримиримой нена-

¹ В. И. Ленин. — Сочинения, т. XXV, стр. 175.

висти к самодержавию; это они жизнь свою положили в борьбе за освобождение народа, а они — лучшая часть русской интеллигенции своего времени.

Равным образом и народы нынешних союзных и автономных республик помнят имена и дела лучших представителей своей интеллигенции. Тарас Шевченко на Украине, Мирза-Фатали Ахундов в Азербайджане, Хачатур Абовян в Армении, Илья Чавчавадзе в Грузии, Куратов из народа коми следом за русскими демократами, без раболепия перед буржуазией Запада, в соответствии с объективными возможностями эпохи, протестовали и боролись как против российского самодержавия, так и против эксплуатации своего народа национальными буржуа и помещиками. Им также принадлежит наше уважение; своими произведениями и делами они входят в общее советское идейное наследие; они тоже выстрадали освобождение своих народов.

Эти славные страницы в истории русской интеллигенции имеют свое объяснение: посредственно или непосредственно, лучшие русские интеллигенты вдохновлялись народом. «Наша литература, — писал А. М. Горький, — наша гордость, лучшее, что создано нами, как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа... храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его!»¹.

В том-то и дело, что, по мысли А. М. Горького, в истории русской литературы наблюдается замечательное своеобразие: в первый период нашего освободительного движения, в условиях невиданного гнета самодержавно-крепостнического строя, наша дворянская литература проповедывала демократизм, а во второй период освободительного движения, в условиях строя буржуазно-помещичьего, наша демократическая литература, как выражается А. М. Горький, «по силе необходимости» проповедывала социализм.

Передовые представители дворянской,

а затем и разночинной интеллигенции в своих идеях и своем художественном творчестве, на основе критического реализма, опережали эпоху и устремлялись вперед. За это им жестоко мстили правившие верхи, так что история русской передовой общественной мысли и литературы, история русской передовой интеллигенции представляет собою сплошной мартиролог. Все радикальные русские писатели XIX века, все наиболее популярные персонажи их произведений оказывались «лишними людьми». Парадоксально, но в буржуазном обществе лучшие люди становились лишними!

С 90-х годов прошлого века наше освободительное движение вступило в третий, пролетарский, период своего развития. Гегемоном освободительного движения становился революционный рабочий класс. С этого времени те интеллигенты, которые не поставили себя под знамена революционного рабочего движения, обрекли себя на непотребство буржуазии, более или менее явное прихлебательство у нее, на социальное вырождение и идейный распад.

Лаконическое и вместе с тем чрезвычайно выразительное резюме всей истории русской интеллигенции в дореволюционное время, итог этой истории дал в своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ И. В. Сталин: «В старое, дореволюционное время, в условиях капитализма интеллигенция состояла прежде всего из людей имущих классов, — дворян, промышленников, купцов, кулаков и т. п. Были в рядах интеллигенции также выходцы из мещан, мелких чиновников и даже из крестьян и рабочих, но они не играли и не могли играть там решающей роли. Интеллигенция в целом кормилась у имущих классов и обслуживала их. Понятно поэтому то недоверие, переходившее нередко в ненависть, которое питали к ней революционные элементы нашей страны и прежде всего рабочие. Правда, старая интеллигенция дала отдельные единицы и десятки смелых и революционных людей, ставших на точку зрения рабочего класса и связавших до конца свою судьбу с судьбой рабочего класса.

¹ А. М. Горький. — «Разрушение личности». Сб. «Лит.-крит. статьи», М., 1937 г., стр. 57.

Но таких людей среди интеллигенции было слишком мало, и они не могли изменить физиономию интеллигенции в целом»¹.

Естественно, что при таких условиях Великая Октябрьская социалистическая революция прошла глубокой бороздой через среду старой интеллигенции.

Как говорил товарищ И. В. Сталин, «Наиболее влиятельная и квалифицированная часть старой интеллигенции уже в первые дни Октябрьской революции откололась от остальной массы интеллигенции, объявила борьбу Советской власти и пошла в саботажники»². Многие из этого, впрочем весьма незначительного, меньшинства русской интеллигенции сразу же оказались по ту сторону баррикад, в белогвардейском и — несколько позже — белоэмигрантском лагере. Такие «столпы и утверждения» кадетской истины, как Милюков и Новгородцев, или такие матерые ренегаты, как Струве, быстро нашли общий язык с открытыми и стажированными черносотенцами: пред лицом социалистической революции активный буржуазно-помещичий лагерь консолидировался с поразительной быстротой. Русская дореволюционная литература также оказалась представленной в этом лагере кровавой контрреволюции, мракобесия и изуверства. Сверхчеловечек Арцыбашев и «непротивленствующий» толстовец Наживин, мистик и мистификатор Мережковский и угасающий культурный барин Бунин оказались в одной белоэмигрантской банде. От них не отставали и некоторые «служители пегаса», — как писал Маяковский,

Сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.

Их оставшиеся во внутренней эмиграции собратья пробавлялись злостным саботажем, пока не докатились до шпионажа и диверсий, вычеркивая себя тем самым из рядов интеллигенции. Заслуженная строгая кара для одних и

мусорный ящик истории для других — их законный удел.

«Другая часть старой интеллигенции, менее квалифицированная, но более многочисленная, долго еще продолжала топтаться на месте, выжидая «лучших времён», но потом, видимо, махнула рукой и решила пойти в службы, решила ужиться с Советской властью»¹. Эта группа интеллигенции не поняла освободительной роли Октябрьской революции, не поняла, что революция призвана осуществить то, о чем мечтали лучшие русские интеллигенты. Ей, видимо, не легко было расстаться с традиционными для нее понятиями об автономности интеллигенции в обществе и с привычными представлениями о себе, как о некоем вместилище мирового разума.

Однако нужно сказать, что наиболее социально чуткие и наиболее глубоко мыслившие представители интеллигенции этих первых двух квалифицированных групп, и притом как-раз наиболее выдающиеся ученые и писатели, нашли в себе силу «совлечь ветхого Адама» и с первых же шагов советской власти пошли рука об руку с революционными массами трудящихся. Имена таких корифеев науки, как К. А. Тимирязев и Н. Я. Марр, всегда будут произноситься советским народом с глубочайшим уважением. Достоинно примечания, что глава символистов культурнейший В. Я. Брюсов умер членом коммунистической партии и глава футуристов В. В. Маяковский, как сказал товарищ И. В. Сталин, «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Остальная часть дореволюционной интеллигенции, вся ее рядовая масса, хоть и менее квалифицированная, вскоре увидела в революционном потоке живительный родник и приняла революционное крещение; она присоединилась к народу и пошла за советской властью. Этой части интеллигенции необходимо было еще доучиваться, и она доучивалась уже в советских вузах. Пойдя по-

¹ И. Сталин. — Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б), М., 1939 г., стр. 59.

² Там же.

¹ И. Сталин. — Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б), М., 1939 г., стр. 59—60.

честному рука об руку с рабочими и крестьянами, эта интеллигенция нашла в себе мужество предать проклятию омерзительных гадин из своих же бывших сородичей — единицы и десятки вредителей — для того, чтобы еще теснее сплотиться вокруг большевистской партии вместе с революционными рабочими и крестьянами.

Подлинно честные, впитавшие в себя лучшие традиции старой русской интеллигенции, эти люди — о которых мало сказать, что они «не лишние», ибо они являются желанными на всех участках производственной и культурной борьбы в стране социализма, — окружены заботой и уважением со стороны советской власти и всей советской общности. Только в стране Советов они нашли условия для неограниченного развития своих творческих сил, для служения народу; только здесь они получили возможность готовить себе достойную смену, ибо эта смена идет из глубины советского народа, из среды рабочих и крестьян.

Это относится к представителям интеллигенции любой специальности. Ведь наряду со строительством новых заводов и фабрик, электростанций, дорог, социалистических полей, жилых домов, вбирающим в себя десятки тысяч советских интеллигентов технических специальностей, советская власть строит школы и библиотеки, вузы и научно-исследовательские институты, больницы и санатории, театры и клубы, в которых вечно дефицитными оказываются кадры интеллигентов — работников науки, просвещения, искусства и здравоохранения.

Отсюда интенсивный количественный рост советской интеллигенции, рост качества ее работы, необозримость поля для исканий, творчества, дерзаний и изобретательства.

В том же ответном слове на юбилейные приветствия Вл. И. Немирович-Данченко говорил: «Мы все сейчас великолепно сознаем, что, если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции, наше искусство потерялось бы и заглохло. Поэтому, отвечая на вопросы, чему и кому мы обязаны нашим

сегодняшним праздником, я отвечаю решительно и прямо: «мы этим обязаны Октябрьской социалистической революции и нашим гениальным революционными вождям».

Точно так же и Алексей Ник. Толстой во второй части своей автобиографии сообщает, что, увидев впервые в империалистическую войну русский народ, он «содрал с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов», а почувствовав себя в эмиграции «парием, человеком, оторванным от родины, не нужным никому, ни при каких обстоятельствах», почувствовав «невесомость и бесплодность существования», он в социалистической революции и в советском героическом народе нашел наконец источник творческих сил и вдохновения.

В условиях сталинских пятилеток эта лучшая часть старой интеллигенции слилась с молодой пооктябрьской порослью советской интеллигенции, растворилась в ней и оказалась единой с ней советской природы.

Рождение новой, советской интеллигенции гениально выражено товарищем И. В. Сталиным в следующих словах: «...наряду с этим мучительным процессом дифференциации и разлома старой интеллигенции шел бурный процесс формирования, мобилизации и собирания сил новой интеллигенции. Сотни тысяч молодых людей, выходцев из рядов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции пошли в вузы и техникумы и, вернувшись из школ, заполнили поредевшие ряды интеллигенции. Они влили в интеллигенцию новую кровь и оживили ее по-новому, по-советски. Они в корне изменили весь облик интеллигенции, по образу своему и подобию. Остатки старой интеллигенции оказались растворенными в недрах новой, советской, народной интеллигенции. Создалась, таким образом, новая, советская интеллигенция, тесно связанная с народом и готовая в своей массе служить ему верой и правдой»¹.

¹ И. Сталин. — Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б), М., 1939 г., стр. 60.

В самом деле, на наших глазах изменяется человеческое общество, изменяются классы, его составляющие. В горниле социалистической революции уничтожена эксплуатация человека человеком, уничтожены эксплуататорские классы, уничтожены самые причины, порождающие эксплуатацию. На одной шестой части земного шара, в Советском Союзе, безвозвратно исчезла звериная морда капитализма, уродовавшая человечество.

Изменился рабочий класс, из пролетариата, не имевшего ничего, кроме рабочих рук, ставший классом, который утвердил социалистическую собственность на средства и орудия производства и который направляет советское общество по пути коммунизма. Изменилось крестьянство, забывшее об эксплуатации и базирующее свою работу и все свое социалистическое достоинство на коллективном труде и новейшей технике. Изменилась и интеллигенция, ставшая равноправным членом социалистического общества, освобожденная от всякой эксплуатации и служащая народу.

Больше того, «...стираются классовые грани между трудящимися СССР, исчезает старая классовая исключительность. Падают и стираются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально-политического единства общества»¹.

И еще больше: исторически интеллигенция рождалась там и тогда, где и когда образовывалась противоположность между трудом умственным и физическим. Но на наших глазах стахановское движение, по словам товарища Сталина, открывает путь, «...на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим»².

Но если изменяются классы, то изменяются и составляющие их люди. Великое благотворное влияние социалистической революции заключается еще и в том, что она изменяет, переделывает самих людей, изменяет и переделывает психологию интеллигенции. Психологический портрет советского интеллигента — прямая противоположность портрету старого интеллигента.

Для подлинно советской интеллигенции уже больше не характерны те специфические черты, которыми отличалась старая, дореволюционная интеллигенция и которые по справедливости вызывали к себе отрицательное и во всяком случае ироническое отношение.

В чем прежде всего выражались эти типично «интеллигентские» черты, в чем заключалась суть «интеллигентщины»? По крайней мере, в двух основных моментах: в индивидуализме и рефлексии.

В. И. Ленин в своей работе «Шаг вперед, два шага назад» писал: «...интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, характеризуется, в общем и целом, именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации... в этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата; в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату; и это свойство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, условиями ее заработка, приближающимися в очень и очень многом к условиям мелко-буржуазного существования»¹.

В Советском Союзе весь строй государственной и общественной жизни иной, иные и условия жизни советской интеллигенции, поэтому иными оказываются и черты психики советского интеллигента.

Старый интеллигент в массе своей был индивидуалистом. Сколько бы и как бы прекрасно он ни говорил об обще-

¹ «Краткий курс истории ВКП(б). М., 1938 г., стр. 329.

² Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц стахановцев. Речь товарища И. В. Сталина, стр. 366. Партиздат, 1935 г.

¹ В. И. Ленин. — Сочинения, т. VI, стр. 212 — 213.

стве и народе, но он отделял себя от народа, как «мыслящую» или «критически мыслящую личность». Типично интеллигентская, буржуазная и мелкобуржуазная литература, в том числе и литература народническая, культивировала этот индивидуализм; этот же индивидуализм, хоть и наизнанку, был силен и в «кающемся дворянине» и в «опростившемся барине». Этот индивидуализм при всем субъективном прекраснодушии его носителей держал интеллигента на таком расстоянии от народа, что исключал какое бы то ни было взаимное понимание.

Советский интеллигент — менее всего индивидуалист. Плоть от плоти и кровь от крови трудящейся массы, он силен органической связью с ней. Вчерашний машинист, он сегодня начальник дороги; вчерашний забойщик, он сегодня директор большого комбината; в недалеком прошлом колхозник, он сегодня молодой ученый, но и тот, и другой, и третий в своем старом или новом коллективе черпают силу, находят источник вдохновения, образцы для работы, объекты для социалистического соревнования. Вооружившись знанием, оснастив себя опытом, достигнув в пылкости мысли какого-либо открытия или изобретения, советский интеллигент, употребляя образ, примененный товарищем Сталиным, остается Антеем, сильным своей связью с родной землей, истинной солью которой он является.

Хотя дореволюционная интеллигенция и не являлась формально отграниченным сословием или кастой, она все же представляла собой довольно замкнутую группу, в ряде поколений воспроизводившую себя самое, и это не могло не способствовать выработке индивидуалистических черт почти в каждом ее представителе.

Советская интеллигенция, при происходящем у нас стирании граней между умственным и физическим трудом, свободна от этого «стимула» развития индивидуализма. Рабочий-стахановец, достигнувший, благодаря рационализаторской инициативе, небывалого перевыполнения производственного плана, направляется в промышленную академию, отходит от непосредственного фи-

зического труда, переходит к труду умственному, но не делается от этого интеллигентом в старом смысле слова, ибо, «отходя» от физического труда, он не «отрывается» от него, не забывает его, и — примеры можно приводить без конца — зачастую вновь уже, как руководитель и опытный новатор, становится к станку или к забору, чтобы на своем примере учить других, или, командуя той или иной отраслью промышленности, живет ее нуждами и интересами. В советских условиях интеллигент не отделен непроходимым рвом от рабочих и крестьян, и процесс рождения, становления советского интеллигента — явление повседневное.

Дореволюционный интеллигент никогда не мог отделаться от паралича рефлексии. Поистине, он как бы раздваивался, в нем всегда жило двое, причем, если «один» и пытался что-то делать, то «другой», стоя рядом, обсуждал, критиковал и подвергал сомнению действия «первого», парализуя их. В конечном счете это приводило или к «маниловщине», к ничегонеделанью при весьма богатой и часто беспочвенной фантазии мысли, или к отрыву мысли от дел, которые оказывались не менее нелепыми и фантастическими.

Советский интеллигент менее всего подвержен рефлексии. Единство мысли и действия — его характерная черта. Его мысль — волевая мысль, и если подчас и на первый взгляд она кажется фантастической, то, будучи реализована, она приводит зачастую к героическим делам.

Советский интеллигент-служащий работает по плану; его мысль не утопает в рефлексии, а целеустремленно направлена на выполнение плана. Советский интеллигент — писатель, художник, композитор — весь в творческом соревновании со своими коллегами, и его образное мышление также направляется на конкретное решение художественных проблем.

Старый интеллигент был по преимуществу критиком и скептиком. Нащупывая отрицательные черты окружающей действительности, он не имел твердых положительных убеждений или не

знал путей выхода из угнетавшей действительности. Он избегал положительной программы и пугался действия.

Советский интеллигент — оптимист. У него есть убеждения, убеждения партийного или непартийного большевика; он знает, куда идти, ибо сознательно идет по пути, указанному большевизмом. Если он видит вокруг себя недостатки, он смело вскрывает их в огне самокритики.

Старому интеллигенту нельзя было отказать в абстрактном чувстве человеческого достоинства, но это чувство оставалось бессильным и часто попиралось сапогом крепостника или башмаком капиталиста. Конкретное чувство человеческого достоинства советского интеллигента, гражданина СССР, повседневно находит выход в служении родине, народу, социализму, — в этом отличие советской социалистической системы от всякой иной, в этом источник советского героизма.

На основе морально-политического единства советского народа у нас совершаются массовые героические дела, и героями оказываются — небывалое в истории явление — передовые советские интеллигенты. Отдельные и единичные героические поступки возможны всегда и везде, но в Советском Союзе героизм стал массовым явлением, героизм вошел в быт.

Советский интеллигент совершает невиданные в истории перелеты; он зимует в Арктике, ни на час не приостанавливая научных исследований, ведет их даже на дрейфующей льдине; он помогает пограничникам в охране советских рубежей, — и по праву занимает свое место в длинных списках героев-орденоносцев. Он завоевывает признания во всем, отнюдь не дружелюбно расположенном к нему, мире, как музыкант, художник, работник театра, шахматист, — и во всех этих формах выступает среди капиталистического мира прежде всего, как советский гражданин, строитель социалистического общества, социалистической культуры.

За двадцать с лишним лет Октябрьской революции выросли новые

кадры советской интеллигенции — руководители партийных, советских, профессиональных организаций, ученых, инженеров, учителей, врачей, писателей, художников, артистов. Они беззаветно служат социализму, ибо социализм — их кровное дело. В их рядах виднеются и седые головы старых интеллигентов, для которых социализм стал также своим и родным делом.

«Советская интеллигенция, — говорил товарищ М. И. Калинин, — действительно становится солью земли, она уже занимает такое место в нашей общественной жизни, какого не занимала интеллигенция никогда в истории и не занимает теперь ни в одном капиталистическом государстве»¹.

Вот почему дикостью, хулиганством и прямой опасностью для советского государства является пренебрежительное, высокомерное отношение к нашей интеллигенции. Оно представляет собою «вреднейшее перенесение на нашу советскую интеллигенцию тех взглядов и отношений к интеллигенции, которые были распространены в дореволюционный период, когда интеллигенция находилась на службе у помещиков и капиталистов»².

Большевистская партия всегда боролась против махаевщины, теперь же она расценивает махаевское отношение к интеллигенции, как вредное для социалистического государства. Товарищ Сталин на XVIII съезде партии по заслугам обрушился на тех, кто к советской интеллигенции применяет непартийный, несоветский подход, считая советских интеллигентов людьми второго сорта. Он предупредил, что такие «вывихи никогда не вели и не могут вести к добру».

Но, нечего греха таить, нередко наши руководящие кадры, кадры советской интеллигенции, будучи заняты большой практической работой, сильно поотстали в теоретической области. Между тем

¹ М. И. Калинин. «Об овладении марксизмом-ленинизмом работниками искусств». «Новый мир», 1939 г., кн. 6.

² Постановление ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

искусство большевистского руководства невозможно без знания теории марксизма-ленинизма. Ликвидация теоретического отставания нашей интеллигенции — совершенно неотложная задача. «Можно с уверенностью сказать, — говорил товарищ Сталин, — что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, — то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными»¹.

Вот как обстоит дело. Девять десятых всех вопросов можно было бы считать решенными, если бы наша интел-

лигенция была настолько подготовлена теоретически, чтобы «решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной»!

Большевистская партия дала в руки советской партийной и непартийной интеллигенции мощное теоретическое оружие — «Краткий курс истории ВКП(б)». Это — великое средство марксистско-ленинского воспитания нашей интеллигенции. Теперь у нас есть еще доклад товарища Сталина на XVIII съезде партии и резолюция съезда о народнохозяйственном плане третьей пятилетки. Эти документы должны стать настольными книгами советского интеллигента.

Ни одна страна не может существовать без своей интеллигенции. У нас есть наша кровная, выпестованная большевистской партией и великим Сталиным советская интеллигенция. Вооружаясь теорией марксизма-ленинизма под руководством и с помощью Ленинско-Сталинского ЦК, она идет вперед к коммунизму. Поистине такой интеллигенции не знала еще история.

¹ И. Сталин. — Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). М., 1939 г., стр. 47.

Жан-Поль Марат, друг народа

Акад. Е. ТАРЛЕ

★

Среди героических теней буржуазной французской революции есть одна, к которой всегда с особенно страстным интересом приковывались взоры не только ближайших поколений, но и далекого потомства. Скитальчество и полуннищенское существование до революции, яркая, не дающая другим и не ждущая себе пощады, борьба за революцию в течение первых четырех ее лет и внезапная смерть от вражеского кинжала...

Такова была жизнь этого человека, навсегда вписавшего свое имя в скрижали истории, но об этой посмертной славе никогда не заботившегося. У него есть одна черта, дающая ему особое место в ряду первостепенных деятелей революционного периода: в отличие от Робеспьера и Дантона Марат не был оратором и действовал не столько на парламентские собрания, сколько на читательскую массу, — он был публицистом, журналистом, писателем и влиял непосредственно на народную гущу своими пламенными статьями и памфлетами. Великий деятель публицистической трибуны, он не может быть даже отдаленно сравниваем с другими журналистами революционного периода, например, с Камиллом Демуленом или Эбером: его могучее влияние бесконечно превосходило эфемерную, хотя порой и значительную, популярность и успех писаний обоих названных представителей революционной прессы. Марат стоит не в их линии, а в линии очень немно-

гих, совсем исключительных по своему значению, людей французской революции — в той линии, где высится фигура Робеспьера.

Попытаемся приглядеться к Марату преимущественно как к профессионалу пера, чтобы уяснить себе хоть отчасти секрет колоссального воздействия его литературных выступлений на революционную массу. Нас займет здесь не только содержание, но и форма его писаний, не только то, что он проповедал, но и то, как вел он свою проповедь.

Прежде всего, следует остановиться на одном изумительном явлении. Марат оказался не только для своего времени, для XVIII столетия, но, смело можно сказать, и для последующих долгих десятилетий единственным публицистом Франции, не только писавшим для широчайших народных масс городов, но и услышанным этими массами. Энциклопедистов и всю просветительную дореволюционную литературу Франции читали либеральные бары и раздраженная буржуазия, стремившаяся к низвержению феодально-абсолютистского строя. Во время революции ни интеллигентская бойкость Камилла Демулена, ни напряженное балагурство и обильное сквернословие Эбера не дошли до сердца парижского народа, и когда их обоих Робеспьер послал весной 1794 года на гильотину, то особого к ним сочувствия в рабочих предместьях (и где бы то ни было) не проявилось, хотя тут же заметим, что Эбер

больше Марата говорил о тяжком материальном положении плебейской бедноты. Позже знаменитейшие блестящие публицисты и памфлетисты времен Реставрации, вроде Поля-Луи Курье, эпохи Луи-Филиппа, вроде Корменена или Армана Карреля, периода Второй империи, вроде Анри Рошфора, оставались всегда совершенно чуждыми сыновьям и внукам той широкой и пестрой народной массы, которая в 1789—1793 годах упивалась чтением и слушанием статей Марата. В этом смысле место Марата было и осталось недостижимым и единственным в истории французской публицистики.

Я только-что употребил слово слушание. Это не случайно: среди тех мебельщиков Сент-Антуанского предместья, кожевников Сен-Марсельского предместья, ювелиров Тампля, оружейников улицы Муфтар, которые были настроены наиболее революционно; среди мелких ремесленных хозяйчиков, пригородных садовников и огородников, мелкой буржуазии, полуничих «собственников» — полупролетариев грамотность была развита очень слабо. Мы знаем, что и средние землевладельцы и даже священники и аббаты монастырей накануне революции читали сплошь и рядом по складам, и это никого не удивляло и считалось бытовым явлением. Что же удивительного, если многие и многие в среде народной массы больше любили слушать, как их более грамотные товарищи читают вслух статьи их любимого вождя и руководителя, чем читать самим его газету? И, ведь, как печаталась и на какой бумаге печаталась эта газета! Между внешностью маратовского «Друга народа» и внешностью современных газет разница не меньше, чем между козачаном стрел и бомбометом или между избушкой на курьих ножках и Эйфелевой башней. Серая, грязно-желтоватого цвета шершавая бумага, слипающийся мелкий шрифт, ползущие врозь строки — все это затрудняет иной раз и опытного исследователя и утомляет глаза квалифицированного научного работника. Каково же было справляться с этими препятствиями людям, которые не весьма быстро читали

даже очень «жирный шрифт» официальных «афиш», напечатанных на несравненно лучшей бумаге, чем та, которую доставал себе Марат, вечно стесненный в средствах. Но население рабочих предместий и «бедных кварталов» толпой окружало табурет или лешенку, откуда местный грамотей читал от доски до доски только-что вышедший из типографии номер любимой газеты.

★

Еще раньше, чем мы коснемся содержания его политической проповеди, остановимся на одной характернейшей черте. Марату удалось то, что не удавалось в такой мере решительно никому из первостепенных деятелей французской революции, даже наиболее искренно демократически настроенных: «народ», тот самый «добрый парижский народ» (*le bon peuple de Paris*), для которого писал Марат, признал его своим, никогда не считал его «господином» (*un monsieur*), каковым для парижской массы всегда был и остался, например, хотя бы тот же Робеспьер, неподкупный, чистый и честный революционер. Плебейская масса верила Робеспьеру, дала ему это характерное прозвище — «неподкупный» (*incorruptible*), поддерживала его политику, и все-таки этот аррасский адвокат в своем аккуратном синем фраке и всегда чистом белье был *un monsieur*. И не только в синем фраке и в белье было дело: Робеспьер и говорил очень хорошо, но так, как «народ» не говорит, он был парламентарием больше, чем трибуном, а если становился трибуном, то трибуном парламентским, потому что и якобинский клуб тоже был для него парламентской кафедрой. И когда его в термидоре, раненого, скрученного веревкой, измученного, везли на гильотину, то массы не понимали в тот миг, что это собираются обезглавить революцию. Не менее чистым, лично благородным, суровым к себе, ведшим самый скудный, самый спартанский образ жизни, был и другой революционер, знаменитый герой прериаля, суровый «последний монтаньяр» Жильбер Ромм,

осужденный на смерть (и заколовшийся перед гильотиной), погибший за то, что смело возвысил свой голос в пользу голодающего народа, когда толпа инсургентов ворвалась во дворец Конвента I прериаля 1795 года. Но и Жильбер Ромм не был узан народной массой, и он был для плебея чужаком, «господином», un monsieur до такой степени, что народ, наводнивший I прериаля зал заседаний, прерывал нетерпеливыми криками и угрозами речь этого самого Жильбера Ромма, ту именно речь, за которую Ромм и заплатил своей головой. Никто в народе не знал его имени, и его слов никто, как следует, не понимал.

Совсем не то было с Маратом. Его сразу признали своим во всех рабочих предместьях, во всех «бедных кварталах», во всех длинных, сутками дежуривших за хлебом голодных женских очередях у складов. Это сделалось с первых же дней революции само собой и без всяких нарочитых с его стороны усилий. А, ведь, казалось, доктор Марат — такой же «господин», как адвокат Робеспьер, как семинарист Ромм, как дворянин Сен-Жюст.

В самом деле, вспомним — откуда он пришел к революции, которой он отдал себя целиком с первого ее дня?

Он родился в 1743 году в маленьком городишке Будри, в семье небогатой, но обеспеченной постоянным и регулярным заработком своего главы: отец Марата был живописцем и, по некоторым известиям, подрядчиком красильных работ. Маленький Жан-Поль Марат провел детство спокойное, мог учиться и много читать.

Ничего сколько-нибудь точного о том, как он расстался с родительским домом, как из семейного мелкобуржуазного уюта он пустился в самостоятельную житейскую борьбу, мы не знаем.

У нас есть лишь очень неполные, скудные, неясные данные о том, как и где он получил свое медицинское образование, где и почему он так долго скитался раньше, чем очутиться сначала в Англии — в Лондоне и Эдинбурге, и наконец с 1776 года в Париже. Повидимому, он в это время не порвал окон-

чательно сношений со своей семьей, — по крайней мере, есть некоторые свидетельства, что он не порывал связей со своим младшим братом. У нас есть, между прочим, одно любопытное в этом отношении показание, исходящее от довольно неожиданного свидетеля — Александра Сергеевича Пушкина, учителем которого в Царскомесельском лицее оказался родной брат Марата.

Вот, между прочим, что говорит Пушкин:

«Будри, профессор французской словесности в Царскомесельском лицее, был родной брат Марату. Екатерина II переменила ему фамилию по просьбе его, придав ему аристократическую частицу «де», которую Будри тщательно сохранил. Он был родом из Будри. Он очень уважал память своего брата... Будри сказывал, что брат его был необыкновенно силен, несмотря на свою сухощавость и малый рост. Он рассказывал также много о его добродушии, любви к родственникам, etc., etc. В молодости его, чтобы отвратить брата от развратных женщин, Марат повел его в госпиталь, где показал ему ужасы венерической болезни».

Пушкин передает также, что Будри поддерживал совершенно фантастическую обывательскую версию об участии Робеспьера в преступлении Шарлотты Корде.

Очевидно, с этим младшим братом Марат, уже будучи доктором, какие-то сношения все же поддерживал. Но, в общем, с семьей он расстался, повидимому, навсегда, когда ушел из дому. Средства к жизни, весьма скудные, давала ему перед революцией медицинская практика. Он в эти предреволюционные годы много и очень усердно работал. В 1777 — 1778 годах он пишет «Исследования об огне, электричестве и свете». Но издать их не удастся, и Марат рассылает по академиям лишь рукописные экземпляры. Физические опыты Марата не получили никакой официальной поддержки от академии или от правительства, но в ученом мире о них знали. Бриссо в 1782 году называл уже в печати Марата «знаменитым физиком». Марат долго и усердно занимался, но-

вым тогда, электричеством. Подолгу занимался он и терапевтическими экспериментами. Жил он очень скудно, всякий грош тратил на опыты, переводил «Физику» Ньютона на французский язык, часто болел. Он был холост и совершенно тогда же одинок.

В 1788 году Марат был тяжело болен и ждал смерти. Не совсем он выздоровел еще и к началу 1789 года, хотя наиболее опасный момент уже миновал. Во время своей долгой и тяжелой болезни он узнал о предстоящем созыве Генеральных штатов. По его словам, он стал выздоравливать под впечатлением этого отрадного известия. Его политические убеждения к этому времени уже вполне сложились. Он написал (и в феврале 1789 года издал) небольшой трактат — «Приношение отечеству или речь к третьему сословию». Он всей душой приветствует наступающую эру коренного переустройства государства, только хотел бы, чтобы требования граждан к правительству были «абсолютно тверды», и очень советует остерегаться ложных друзей и предателей. Весь будущий Марат — точнее, вся публицистическая манера Марата эпохи революции — уже содержится в этих советах и предостережениях. Спустя некоторое время, в марте 1789 года, он издает и другую брошюру, дополнение к первой: он ее так и назвал «Дополнение» («Supplement»). В этом «Дополнении» Марат гораздо менее оптимистичен, чем в первой брошюре: он уже не только советует быть бдительным, но прямо указывает на невозможность верить, будто в самом деле люди, кормящиеся злоупотреблениями и привилегиями, добровольно и без борьбы согласятся от них отказаться во имя общего блага. «Зачем скрывать от себя? Интересы компаний, корпораций, привилегированных сословий непримиримы с интересами народа». Предстоит борьба, — Марат в этом ничуть не сомневается, — так что народ должен псагаться исключительно только на свое мужество в отстаивании своих прав.

Грянула революция.

Марат с восторгом приветствовал па-

дение Бастилии. Он принимал участие в делах комитета своего округа, но уже с первых дней великого переворота совершенно правильно определил свое место. Через три дня после взятия Бастилии, 17 июля 1789 года, Марат просит у комитета средств на типографский станок, на печатание газеты. Не сразу удалось ему получить желаемое. Это тем более волновало его, что он уже с осени 1789 года очень подозрительно и раздраженно стал относиться к Мирабо, к Лафайету, к Барнаву, которых в первые дни революции еще считал честными революционерами. Он стал подозревать и все Национальное учредительное собрание в том, что оно поддается интригам двора, отчасти по слабоволию, отчасти по сознательному предательству. Марат уже в 1789 году выступил тем, каким и остался, — ревнивым защитником «маленьких людей», другими словами, плебейской массы, куда входили и рабочие, и батраки, и владельцы небольших ремесленных мастерских — вся голодная и полуголодная, малоимущая и неимущая масса населения. Интересы только-что победившей крупной и средней буржуазии, с точки зрения Марата, уже с самого первого момента победы над старым, феодальным строем начали, чем дальше, тем резче и безнадежнее, расходиться с интересами беднейших слоев народа. И Марат без колебаний стал на их сторону против благополучно устроившихся уже на новых, завоеванных местах победителей из крупной и средней буржуазии. Только дальнейшее развитие и углубление революции могли, с точки зрения Марата, дать что-нибудь трудящимся. Для него обязательным лозунгом стало — п р о д о л ж а т ь революцию. Революция, если она не пойдет вперед, непременно погибнет.

С этим лозунгом Марат жил и с этим лозунгом сошел в свою окровавленную могилу.

Рассматривать Марата исключительно как профессионала пера не только трудно, но просто невозможно: до такой степени для него журналистика была лишь одним из средств (правда, наибо-

лее могущественным) политической борьбы за совершенно определенные и никогда в основном не менявшиеся взгляды. «Я имел к моменту революции уже сложившиеся убеждения... Я решил обнародовать свои идеи в печати и основал «Друга народа», — так формулировал он сам в статье от 2 марта 1793 года смысл своей литературной деятельности. Он не был фельетонистом, который дает обзоры событий, анализ жизненных явлений, правда, освещая их с определенной точки зрения, но вместе с тем руководясь в своей тематике именно этой быстро текущей «рекой жизни» и останавливаясь в выборе своих сюжетов на том, что в данный момент больше всего интересует его читателей. Напротив: очень недоверчивый, Марат склонен был видеть иной раз в слишком повышенном общественном интересе к данному лицу или событию следы чьих-то усилий, чьей-то сознательной мысли, направленной к тому, чтобы отвлечь внимание народа от затеваемых контрреволюционных козней.

Он не сообщал, а учил, он не руководился и не увлекался потоком, а хотел направить его по определенному руслу, в одном месте ставил заграждения и плотины, в другом наскоро рыл новый канал. Он не разрабатывал вопросов, занимавших общество, а часто требовал, чтобы оно бросило одни темы и обратилось к совсем другим.

Таков предмет публицистических выступлений Марата. Этот предмет всегда в основном один: народ окружен врагами, его почти все обманывают, революцию зарежут ее враги, если она не зарежет своих врагов, поэтому, если, например, кто-то устраивает пышные церемонии вроде праздника федерации и т. п., о чем кричат все газеты, — это нужно осветить именно как происки тайного врага, усыпляющего бдительность народа болтовней о мнимом братстве. Итак, тему искать нечего: она ясна, и она всегда одна и та же. Теперь другой вопрос: как разрабатывать эту единую тему? Ответ: всегда отталкиваясь от действий врагов или от разоблачения тайных происков. «Все мое

время было поглощено политикой, защитой угнетенных, разоблачением заговоров против отечества, борьбой против затевающих интриги и происки» — писал Марат за четыре с половиной месяца до смерти.

Если проанализировать все журналистское наследие Марата, то можно без труда выявить основную схему, типичную для его статей.

Очередное разоблачение, очередное предостережение народу должны быть стержнем для каждой данной статьи: ни в каком случае Марат не хочет раздроблять внимание и чувство читателя. Верный инстинкт говорил ему, что эмоциональное действие газетной статьи быстро и непоправимо слабеет, если автор переводит свой указующий перст с одного предмета на другой, как бы ни были важны по существу и патетичны по манере эти указания. Пиши десять статей в одном номере газеты, но каждая статья должна представлять собой законченное целое и трактовать только об одном лице или событии или если о нескольких лицах, то непременно связанных с одним событием или явлением.

Далее. Статья должна быть ясна всякому, кто понимает по-французски, без различия, образован ли он или необразован. Если для этого нужны повторения, Марат нисколько не стесняется повторить основную мысль статьи два и три раза. Но делает он это очень талантливо, варьируя всякий раз аргументацию и конкретные детали, никогда поэтому не становясь скучным.

Слог Марата в одно и то же время и прост, и разнообразен. Прост потому, что без простоты нет ясности. «Вы хотите сказать: «Идет дождь»? Скажите: «Идет дождь». Это классическое правило, преподаваемое и завещанное всем писателям всего мира знаменитым французским мыслителем XVII столетия Лабрюйером, исполняется Маратом-журналистом в самой строгой точности. Никакого кривляния, никакого самолюбования, жеманства, затаенного желания поразить своим умом, блеснуть познаниями — ничего этого нет в нем и в помине. У него очень прерывистая

речь, взволнованная дикция, если можно так выразиться по поводу не устной, а печатной речи, он всегда, с первых же строк, торопится поскорее сказать главное, и сказать как можно проще и удобопонятнее.

И, вместе с тем, слог Марата вовсе не однообразен, напротив: его словарь очень богат, и построение фраз никогда не шаблонно. Он дает при этом иногда яркие наброски чрезвычайной изобразительной силы. Ему нужно напомнить (в октябре 1791 года), как имущие классы постарались после взятия Бастилии в 1789 году поскорее прибрать к рукам национальную гвардию и полицейскую власть в столице. И вот он рисует иронически картину «почтенных судей, с большими париками, во главе батальонов; государственных советников, скромно наклонившихся над столами в окружных комитетах рядом с их портными»; священников, раздающих оружие солдатам. Или: он хочет в нескольких строках обличить и вредную рутину Академии, и nepозволительное обращение с казенными суммами господ академиков, и ненавистный ему сибаритизм буржуазии в годы народной нужды,—он пишет обо всем этом в немногих строках: «Вы помните, какой энтузиазм вызвал полет воздушного шара... вы помните тщетные и многочисленные попытки найти способ управления шарами. Так вот, дураки, полагающие, что гений нашел приют в лице Академии, дали ей двенадцать тысяч ливров, чтобы она работала над способами управления воздушным шаром. Что случилось с этими деньгами? Вы, может быть, думаете, что они пошли на это дело? Так знайте, что наши ученые поделили эти деньги между собой и прокутили их в ресторанах Рапе и Оперы с публичными женщинами». Он всегда конкретизирует до мелких подробностей свои обвинения, и первая его забота при этом всегда заключалась в том, чтобы читатель ясно понял мотив и ацию разоблачаемых Маратом козней и контрреволюционных происков.

Выше уже сказано, что Марат очень охотно брался за открытие и всесторон-

нее освещение компрометирующих его политического противника фактов и посвящал этому иногда даже две статьи и больше. Он умел начинать и ставить эти отдельные кампании необыкновенно кстати и с большим искусством. При этом он всегда соблюдал два правила: во-первых, каждая такая кампания, каждое разоблачение должны быть не только уничтожающими для данного лица, но и должны быть непременно поставлены в связь с теми или иными общими недостатками политической машины, или существующих законов, или проводящейся в данный момент политической линии; во-вторых, статья должна кончатся определенным указанием на необходимые «санкции», т. е. на то, что должны делать в данном случае читатели. Народ должен завтра же всей массой двинуться к зданию суда и войти в зал. Народ должен схватить негодяя Этьена. Народ должен снести голову Лафайету. Народ должен подойти к Конвенту и потребовать ареста жирондистских изменников. И он умел так мотивировать и формулировать эти призывы, что плебейская масса в самом деле шла туда, куда он ее звал, и делала то, что он рекомендовал, если к тому была хоть какая-нибудь возможность. Одним из недостатков публицистической манеры Марата были длинноты и — иногда — слишком обильные повторения. Но и это ему прощали те читатели, которым не так легко было сразу взять в толк указываемую постоянно Маратом связь отдельных конкретных фактов с общими контурами политики, проводимой скрытыми врагами народа.

Еще одну черту нужно в нем отметить: никогда он не допускал той ошибки, которая так характерна для многих пытавшихся непосредственно влиять на «простой» народ своими писаниями, никогда он не впадал в такую, почти непрерывную, грубейшую, площадную ругань, как знаменитый в ту пору «Отец Дюшен» (т. е. Эбер). Эберу казалось, что, чем больше ругательных слов он наговорит и чем более развязный стиль пустит в ход, с захватскими прибаутками и жаргонными выражениями,

тем скорее он подействует на народные массы.

Колоссальный успех газеты Марата основывался, между прочим, и на том, что он об этом успехе не старался, никогда ни подо что не подделывался и не кривлялся. Искренность его писательской манеры непосредственно и могущественно действовала на его читателей. Он не прикидывался ни рассердившимся грузчиком, ни ругающимся носильщиком. Нет, он был доктор Марат, который смотрит глубже и видит дальше неграмотных грузчиков и носильщиков и который именно поэтому требует, чтобы они ему верили, когда он им указывает на их скрытых и коварных врагов. Он к народной массе обращался сплошь и рядом повелительно и нетерпеливо, часто негодуя на ее слепоту, или на ее легковерие и простодушие, на ее способность увлекаться хорошими словами и на ее неумение смотреть в глубь вещей. И по содержанию, и по форме его статьи вовсе не стремились подделываться под житейскую обыденщину, а напротив: всякий раз читатель Марата должен был чувствовать, что публицист призывает его внимание к чему-то чрезвычайному, что эта статья — набатный колокол, предупреждающий о страшных опасностях.

Еще несколько слов о публицистическом языке Марата. Знаменитый автор восьмитомной «Истории французского языка», профессор Брюно, давно уже отметил те видоизменения, которые внесла буржуазная французская революция в язык второй половины XVIII столетия. Дело было не только в хлынувших потоком новых понятиях, новом словообразовании и расширении словесного материала: изменился тембр публицистического голоса, самый тон устной и печатной речи. И Марат явился одним из первых (и едва ли не наиболее ярким) политических писателей французской революции, которые активно участвовали в создании этого нового языка революционной эпохи. Вместе с тем Марат, человек, проживший из пятидесяти лет своей жизни сорок шесть лет при старом режиме, сохранил многое из старой словесной элегантности вольтервской тра-

диции. Рядом с самыми страшными, прямыми угрозами, — вдруг саркастический оборот, типичный для старой литературной полемики просветительной эпохи, — и все это в какой-то неразрывной связи. «Я советую вам замолчать и спрятаться от стыда, если только вы еще его знаете. Я вам обещаю, что я заставлю повесить вас, если смогу это сделать; не считайте себя в безопасности среди аристократов Сен-Жерменского предместья», — так нападал он на одного из своих противников (Эстьена). «Гражданские чувства этих трусливых эгоистов гаснут, если они не получают пищи, от тщеславия и от желания обратить на себя внимание», — эту фразу, которая кажется прямо выхваченной из афоризмов знаменитого светского философа XVII века — Ларошфуко, мы встречаем у Марата, когда он громит (летом 1792 года) якобинцев за их недостаточное внимание к марсельским волонтерам, идущим сражаться против интервентов. Это умение соединять старую языковую культуру с революционными, пламенными, клеймящими и грозящими оборотами речи и придавало слогу Марата большую силу, образность и обеспечивало могучее воздействие на умы читателей. Парижская масса, для которой писал Марат, гораздо уважительнее относилась к статьям Марата, чем к подделывающимся под народный стиль неряшливым писаниям многих тогдашних листов.

★

12 сентября 1789 года Марату удалось наконец выпустить первый номер своей газеты «Друг народа».

И сразу же он открывает жестокую кампанию против Лафайета — начальника национальной гвардии; против Бальи — мэра города Парижа; против Неккера — еще недавно любимца народа, отставка которого, как известно, и послужила сигналом к штурму Бастилии. Сразу же обнаруживается необыкновенная сила его писательской манеры: простота, ясность, страстность, блестящие и в то же время естественные, несколько не надуманные обороты ре-

чи — все это делает Марат исключительным стилистом газетной политической прозы. Он никогда не надоедает читателю политическими отвлеченностями, голыми схемами, сухим изложением принципов. Он и о принципах революции говорит, но здесь он гораздо скупее на слова. Его революционная страсть ищет врагов именно между теми, кто идет по линии наименьшего сопротивления и прячется за схемами и декларациями, а вместе с тем в душе уже не хочет продолжения революции, потому что получил от нее все, что ему было нужно.

К таким Марат был беспощаден. Он громил Бальи, громил и обличал Неккера неустанно. Неккера он ненавидел, в частности за позицию, враждебную народному движению 5 и 6 октября 1789 года, когда голодающие женщины, а за ними революционная парижская масса пошли на Версаль, разъяренные слухами о готовящемся контрреволюционном выступлении двора. Ярая кампания против Неккера, которого Марат не переставал укорять в измене народу и в покровительстве плутам, спекулянтам и казнокрадам, привела к тому, что смелый публицист был привлечен к ответственности, и 22 января 1790 года судебные власти сделали попытку арестовать его. Но это оказалось не так легко: население округа, где жил Марат, встало на его защиту, даже женщины пришли толпой к помещению редакции «Друга народа».

Он принужден был несколько месяцев прятаться у друзей. Но газета его продолжала выходить, и предостерегающие крики неслись с этих серых листков и доходили до сердца народной массы.

★

Марат видит гибель революции именно в том, чем так восхищались в это время мэр города Парижа Бальи и вся крупная и средняя буржуазия столицы и провинции: революционный 1789 год начинает забываться. «Пусть народ возобновляет кровавые сцены 14 июля и 6 октября, до тех пор пока не останется в живых ни одного врага револю-

ции!» — восклицает он в конце января 1791 года.

Марат, один из очень немногих революционеров, обнаруживал тревогу и категорически выражал уверенность в близком предательском выступлении короля против только-что освободившегося народа, и он делал это не весной 1791 года, когда уже стали прозревать и другие, но в течение зимы 1790—1791 годов, когда он был одинок и казался каким-то «маньяком», помешавшимся на подозрениях.

В 1790 году, как-раз тогда, когда девять десятых членов Национального учредительного собрания и парижского муниципалитета успокоились на том, что сопротивление двора сломлено раз навсегда, и что перед Францией лежит обширное поле безмятежных законодательных трудов, как-раз тогда, когда даже Робеспьер склонен был признать, что революция кончена, — Марат бил неустанно тревогу и гневался на сентиментальное прекраснорудие своих современников. «Верх безумия думать, будто люди, которые в продолжение десяти веков нами помыкали, нас грабили и угнетали безнаказанно, добровольно согласятся быть равными нам людьми» — писал он 30 июля 1790 года. «Вспомните мое предсказание: или нация готова к тому, чтобы снова быть приведенной к рабству, или еще потоки крови прольются, чтобы обеспечить свободу» — прибавлял он спустя некоторое время, 17 сентября того же 1790 года. «Перестаньте же терять время и выдумывать средства защиты: у вас остается только одно. Это то самое, которое я вам рекомендовал столько раз: общее восстание и казни руками народа (*des executions populaires*)» — читаем мы в его газете от 19 декабря 1790 года.

Еще будучи фактически почти лишен своей собственной, постоянной трибуны, только-что появившись снова в Париже, после того, как долго скрывался от ареста, летом 1790 года он написал и послал для напечатания Камиллу Демулену любопытнейшее открытое письмо, или, как он язвительно называл, «Прошение» на имя Учредительного

собрания. Помечена эта статья 24-м июня 1790 года. Конечно, Камилл Демулен ее не напечатал в своей ходкой газете «Революция Франции и Брабанта». И ничто не может дать нам более ясного и четкого представления о глубине пропасти, отделявшей революционера до мозга костей — Марата — от бойкого журналиста победившей буржуазии — Демулена, как именно этот факт: Марат неминуемо должен был написать на данном этапе подобную статью, а Камилл Демулен столь же неминуемо должен был ее не напечатать в своей газете. Что такое статья Марата: «Прошение сенаторам или очень серьезные требования тех, которые ничего не имеют, к тем, которые имеют все»? Это негодующий крик защитника голодных и полуголодных людей, которые проливали свою кровь за революцию и у которых украли их революцию, хотят ее придушить и хвалятся тем, что она будто бы уже кончена. Марат выступает тут как глашатай плебейской массы, которая своей кровью все дала состоятельной буржуазии, но пока еще очень мало получила сама. Именно, основываясь на таких высказываниях Марата, Энгельс и мог открыть самую характерную черту французского революционного публициста: Марат не желал считать революцию законченной, пока не удовлетворены все «трудящиеся и обремененные»; Марат настаивал на необходимости и неизбежности ее развития, продолжения и углубления. Плуты, воры, интриганы, приобретатели, деспоты только переменили свои названия, рядятся в новое обличье, но народу от этого живется пока не лучше, «а может быть, хуже», чем при старом режиме. Кто сделал революцию? «Революцией мы обязаны восстанию маленьких людей, и не менее верно, что взятием Бастилии мы обязаны главным образом десяти тысячам бедных рабочих Сент-Антуанского предместья» — и Марат с гневом прибавляет, что богачи, «спрятавшиеся в подполье, вышли оттуда лишь по миновании кризиса и вышли затем, чтобы завладеть командными постами и почетными местами». Марат с ударением го-

ворит о возможности социальной революции, если имущий класс, если богатая буржуазия попрежнему ничего не будут делать для народной массы: «Отцы отечества! Мы не требуем у вас сейчас раздела вашего имущества, этих благ, которые небо дало в общую собственность людям (*ces biens que le ciel a donné en commun aux hommes*). Знайте всю нашу умеренность... Трепещите, как бы мы не были доведены до отчаяния, как бы у нас не осталось в качестве единственного выхода — отомстить вам, предаваясь всякого рода эксцессам!».

Мог ли Камилл Демулен, зная себя и своих читателей, напечатать подобную статью? Камилл Демулен мог вскочить в июле 1789 года на стул в Пале-Рояле и бросить клич: «К оружию!», он мог юмористически описывать, как пуассардки (рыбные торговки) «искореняют фанатизм», колотя монахинь и монахов, он мог красноречиво восторгаться «Декларацией прав», умиляться пред праздником братства, «праздником федерации», который долженствовал в первую годовщину взятия Бастилии, т. е. 14 июля 1790 года, заключить собой эру борьбы и открыть идиллию мира и общего успокоения, но сочувствовать Марату в его пламенных призывах, в его гневной защите всех обделенных и обманутых Демулен никак не мог. Революция не только дала ему лично все: популярное имя, процветающую газету, благосостояние, — но и все решительно подарила тому классу, от которого выступал и для которого писал Демулен. Пора, следовательно, революции окончиться.

А для Марата — пора было революции поднять голову, вынуть снова из ножен свой меч, не сверкавший над головами врагов народа с самого 1789 года. Не по пути было обоим этим людям, — и не случайно, а вполне логически, такой неодинаковой была их гибель: Марата — от кинжала женщины, пожелавшей остановить революцию, и Камилла Демулена — на гильотине, предназначенной спасти революцию.

В ряде памфлетов, листовок, статей газеты «Друг народа», снова начавшей

выходить (хотя и очень нерегулярно), Марат не переставал в течение всей второй половины 1790 и начала 1791 года направлять внимание народа на тайных и явных врагов революции. «Отрубите пятьсот или шестьсот голов — и вы обеспечите себе спокойствие, свободу, счастье!» — восклицал он и пророчески прибавлял, что фальшивая гуманность к нескольким преступникам дорого потом обойдется: она отзовется огромными несчастьями и бесконечным кровопролитием. «Если бы я был народным трибуном, поддерживаемым несколькими тысячами решительных людей, то я отвечаю, что в шесть недель конституция была бы готова, что политическая машина, хорошо организованная, действовала бы наилучшим образом, что ни один мошенник не осмелился бы пытаться ее испортить, что нация была бы свободна и счастлива, что меньше, чем через год, она была бы процветающей и грозной, и что она была бы таковой, пока я жив» — так кончается одна из его статей. Он называл по имени людей, которых подозревал в измене, в тайных сношениях с иностранцами, в получении денег от королевского двора. Время от времени против него возбуждались судебнополицейские преследования, он покидал свое жилище, скрывался у друзей, газета временно переставала выходить. Но популярность его в массах так быстро росла, что преследовать его становилось все затруднительнее, и когда полиция, придя его арестовать, наталкивалась на угрожающую толпу пролетарского и полупролетарского люда, явившегося защищать своего любимца, то полицейский офицер с большим удовольствием узнавал, что Марат скрылся и что можно с миром возвращаться из опасного места в свой полицейский участок.

★

Публицистическая сила Марата заключалась в глубочайшей его убежденности в том, что он открыл секрет спасения революции: ему в самом деле казалась, что реакция вовсе не располагает какими бы то ни было силами в

населении, что главное несчастье — не в силе контрреволюционного напора, но в преступной слабости обороны революции. И не в том дело, что мэр Бальи, или начальник национальной гвардии Лафайет, или — впоследствии — жирондистские министры по неумелости или по трусости, или по вялости темперамента не наносят врагам революции достаточно сильных ударов, а в том, что они сами — враги революции, и притом более страшные, чем королева Мария-Антуанетта или граф Артуа, так как их принимают за защитников революционного народа. Революция несокрушима для внешних ударов, но она должна беспощадно, огнем и мечом, покончить с внутренней язвой, истребить контрреволюционеров, какими бы кличками они ни прикрывались, казнить изменников, в каком бы наряде они ни появлялись. Страстная убедительность статей и памфлетов Марата происходила еще и от того непогрешимого чувства реальности, которое их пронизывало. Когда Марат говорил, что не только какой-нибудь отдельный человек — Неккер или Мирабо, или Клермон Тоннер, или Малуе, или Ларошфуко — изменники, но что весь класс, к которому они принадлежат или интересы которого они защищают, уже изменил революции или готов ее предать, — ему слепо и безусловно верили, потому что его аргументация основывалась на осязаемых и неопровержимых фактах. Люди, уже получившие от революции все то, что они хотели от нее получить, — все эти буржуазные красноречивые ораторы 1789 года и представляемые ими слои населения не могут не желать, чтобы революция прекратилась. А следовательно, что бы они ни говорили, как бы ни распинались за свободу, они непременно, рано или поздно, должны будут соединиться с теми, кто с самого начала ненавидел революцию и желал ее гибели. И народ предместий верил Марату, в самом деле, как своему другу, которого ничем не купишь и никак не обманешь.

Несколько раз Марат настойчиво предупреждал парижский народ о подготавливаемом бегстве короля. Тут, как и

в других случаях, революционный инстинкт подсказал ему то, чего он не мог бы еще пока обосновать фактами. Не могут Людовик и «австриячка» в самом деле примириться с завоеваниями революции, не могут они не попытаться бежать и стать во главе эмигрантов и интервентов!

И вот — свершилось: королевская семья бежала 20 июня 1791 года, поймана в Варенне, привезена в Париж.

Марат с яростью набрасывается на Бальи, на Лафайета, на всех, кто тайным или явным попустительством помог королевскому бегству. Марат говорит, что теперь для спасения революции нужно срубить уже не пятьсот голов, как это было бы достаточно в 1790 году, а сто тысяч голов. Измена кругом, и ничего нельзя сделать другого, как физически уничтожить, растоптать контрреволюцию. Но победившая и правившая буржуазия оказала сопротивление. Выступление народных масс Парижа 17 июля 1791 года, направленное против короля и отчасти против Национального собрания, оставившего короля на престоле, окончилось расстрелом манифестантов.

Так как Марат усиленно призывал в своей газете к этой манифестации, то ему пришлось после бойни, учиненной 17 июля Лафайетом, перейти на нелегальное положение, а спустя некоторое время покинуть Францию и удалиться в Англию.

Только весной 1792 года появился он снова в Париже. Нужно сказать, что расстрел манифестации 17 июля 1791 года, преобладание жирондистов в новом Законодательном собрании, избранном осенью 1791 года, замедливший темп революции — все это сильно удручало и обескураживало Марата. У него в эту осень и зиму с 1791 на 1792 год прорываются иногда признания и высказывания, обнаруживающие как будто, что он изверился в энергии и свободолюбии французского народа. Но попрежнему он оставался глубоко убежден, что враги революции сами поставят пред большинством народа ребром вопрос: согласны ли французы вернуться к старому режиму или

желают идти дальше по пути освобождения от всякой тирании? И он предчувствовал, что именно эта поспешность действий и неутолимая злоба контрреволюционеров и пробудят наконец как бы засыпающую энергию народной массы и спасут революцию.

В апреле 1792 года началась наконец долго подготовляемая абсолютистско-феодальной Европой и французской эмиграцией война против революционной Франции. Одновременно контрреволюция подняла голову и громко заговорила в Вандее, в Лионе, на юге, на северо-востоке Франции. Марат увидел, что его час пришел. Пред подавляющим большинством народа, пред всей буржуазией на этот раз, пред крестьянством, пред пролетариатом городов сразу стал грозный призрак полного возвращения только-что рухнувшего старого, феодального режима. Интервенты наперед говорили, что они на меньшем не успокоятся; эмигранты обещали повесить на одном суку и Марата, и мэра Бальи, на которого Марат так яростно нападал, и Робеспьера, и генерала Лафайета, — словом, без разбора всех, кто с весны 1789 года так или иначе провинился против христианнейшего короля Франции и Наварры, его величества Людовика XVI и его супруги Марии-Антуанетты. Революция должна перерезать своих внутренних врагов, пока они ее не зарезали. Солдаты, которых мы отправляем на фронт сражаться против пруссаков и австрийцев, идущих уничтожать нашу свободу, должны быть уверены, что они не получат ни откуда удара в спину! Таков был лозунг и клич Марата. Он с восторгом следил за начавшимися бурными проявлениями революционного гнева в южных департаментах, он приветствовал, как спасителей, отряды революционных добровольцев, пошедших войной на реакционный муниципалитет города Арля и штурмовавших поместья аристократов. «Пусть они поскорее появятся в наших стенах и очистят наконец клоаку двора, сената (Законодательного собрания), клуба фельянов, главного штаба спекулянтов, людей производящих нищету и голод, уже охваченных ужасом,

уже дрожащих от ярости!» — писал Марат.

Внутренних врагов он считал в этот момент более опасными, чем врагов внешних, а к внутренним врагам он склонен был уже с давних пор причислять всех богатых людей, которые полагают, что пора придушить революцию: будь эти богатые люди из дворянства или из буржуазии, — все равно. Когда в Париже в июне 1792 года появились батальоны ополчения с юга, идущие к границе, Марат обратился к ним с «Призывом» («Appel aux fédérés», 25 июня 1792 года), в котором говорит: «Вам ли, неимущим гражданам, вам ли одним нести на себе тяжесть всех общественных повинностей и проливать свою кровь для защиты собственности ваших притеснителей и для сохранения привилегий ваших тиранов?». Марат горячо агитирует, чтобы на фронт посланы были также батальоны национальной гвардии богатых кварталов столицы и все без исключения регулярные войска, а чтобы в столице остались именно эти революционные энтузиасты-добровольцы, на которых можно было бы уже вполне положиться в случае каких-либо контрреволюционных вспышек в городе или внутри страны.

Но вот становится известным знаменитый манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего интервентов. Герцог грозит Парижу разрушением, революционерам — смертной казнью, если они посмеют тронуть короля или королевскую семью. Марат удваивает энергию своих призывов — покончить с изменниками, сидящими в королевском дворце и тайно радующимися приближению неприятеля! Бурная агитация Дантона в эти решающие дни была поддержана пламенными статьями Марата. Сбывалось на глазах у всех все то, что он пророчил еще в 1790 году, о чем не переставал писать в 1791 году.

9 августа, вечером, вспыхнуло в Париже восстание, прямо направленное к низвержению монархии, и на другой день, 10 августа 1792 года, дворец взят, швейцарские телохранители перебиты народом, король и его семья взя-

ты под стражу, полуторатысячелетняя монархия перестала существовать.

Революционный Париж упивался победой, а Марат ровно через три дня после низвержения монархии писал о том, что новорожденная республика окружена тайными врагами и скоро погибнет от их ненависти, если не поспежит развить самые отчаянные усилия для самозащиты. Он возмущен, что народ не видит, как вчерашние тайные и явные защитники трона только маскируются теперь внезапными республиканцами. «И вы восторгаетесь этой чудесной переменой! И вы рукоплещете этому благородному их усердию! И вы благословляете нежные заботы их отеческого внимания! И вы воспеваете победу! О французы! Неужели вы навсегда останетесь взрослыми детьми?». Он требует раздачи народу оружия, ассигнования половины суммы, вырученной от продажи конфискованных эмигрантских имений, неимущим гражданам столицы, принявшим участие в штурме и взятии Тюильри 10 августа, введения во всей французской армии выборов офицеров самими солдатами, зоркого наблюдения за арестованной королевской семьей и прекращения ее сношений с внешним миром. Наконец, в ряде статей он настойчиво требует немедленного предания суду всех «изменников и заговорщиков», арестованных и до и, особенно, после 10 августа. Он не удовлетворился, когда (17 августа) был создан революционный трибунал. Его доводила до ярости мысль, что швейцарские наемники, убивавшие народ 10 августа и захваченные в плен, могут уйти от возмездия.

Начались выборы в Конвент, который должен был собраться 20 сентября 1792 года и окончательно провозгласить французскую республику. Марат выставил свою кандидатуру. Странные, оказавшиеся пророческими, слова читаем мы в самом конце его воззвания к избирателям, в котором он горячо рекомендует им Робеспьера, Дантона, Бильо-Варенна и других. В постскриптуме он выставляет и свою кандидатуру, «кандидатуру друга народа»; «...славы быть первым мучеником свободы

мне достаточно...» — пишет человек, которому осталось еще жить всего несколько месяцев...

9 сентября 1792 года Марат был избран от города Парижа 420 голосами из вотировавших в этот день 758 человек.

★

Марат не верил конвентскому большинству: ни жирондистам, ни тем группировкам, которые были правее жирондистов, ни даже части монтаньяров. Он верил только народной массе. Правда, он и в ней иногда отчаивался, возмущался ее инертностью, вялостью, быстро наступающим упадком революционного чувства, но он, по крайней мере, считал, что, по сути дела, по логике вещей, по здравому смыслу, «народ», «неимущие» (*les petites gens*), «маленькие люди», — другими словами, те, кого мы называем плебейской массой столицы и провинции, органически не могут быть врагами революции, не могут сознательно ей в чем-нибудь повредить. А другие, имущие, богачи, аристократы, состоятельные буржуа, очень и очень могут оказаться контрреволюционерами и даже не могут не быть в большинстве случаев таковыми.

Весьма, с этой точки зрения, характерно его первое выступление в Конвенте. Вопрос шел о том, в каком именно зале будет заседать Конвент. В Тюильрийском дворце был удобный зал, где и решили разместиться. Но Марат возмутился тем, что трибуны для публики вмещают только триста человек. Этого мало. Нужно, чтобы на заседаниях Конвента публика могла присутствовать, по крайней мере, в количестве четырех тысяч. Это всегдашняя мысль Марата: ведь он всегда и прежде говорил, что, например, суд над контрреволюционерами всегда должен происходить в присутствии народа, чтобы судьи чувствовали, что бдительное око революции зорко следит за их действиями. И подавно здесь, в верховном законодательном учреждении, от которого отныне зависит судьбы французского народа, депутаты должны творить законы в присутствии революционной

массы. Еле удалось его успокоить. Но враги Марата и не желали дожидаться нападений с его стороны: они напали первыми. Уже 25 сентября, на пятый день существования Конвента, партия жирондистов поставила вопрос о лишении Марата депутатских полномочий и вообще открыла кампанию против левых, точнее, против Марата, Дантона и Робеспьера, обвиняя их в призывах к мятежу и убийствам и в диктаторских поползновениях.

Дантон предал Марата в этот критический миг, он просил не смешивать его, Дантона, «с этим человеком», т. е. с Маратом. Он публично отрекся от Марата, заявил, что никогда не был его другом и что Марат — «существо вредное для общества». Робеспьер повел себя гораздо достойнее: он ограничился тем, что сухо и сдержанно отверг взводимое на него и его группу обвинение в стремлении к диктатуре. Затем вышел на трибуну Марат. Бешеные крики встретили его, ему угрожали кулаками, кричали: «На гильотину!», долго не давали ему говорить.

Марат спокойно стоял на трибуне, ожидая, когда его перестанут осыпать бранью и оглушать яростными воплями. Долго продолжалась эта сцена. Когда наконец Марат получил возможность говорить, он очень благородно заявил, что ни Робеспьер, ни Дантон не участвовали ни прямо, ни косвенно в составлении и распространении по городу листовок, в которых он, Марат, действительно указывал на необходимость «вложить секиру возмездия» в руки революционного диктатора, чтобы он мог покарать изменников и врагов революции. В конце своей речи он выхватил пистолет и приставил ко лбу, заявляя, что без колебаний покончит с собой, если Конвент выдаст его преследователям. Это произвело впечатление. Жирондистам не удалось добиться в этот день изгнания Марата из Конвента.

В Конвенте Марат показал себя таким же неукротимым бойцом, как и в прессе.

В том поединке не на жизнь, а на смерть, который завязался с осени 1792 года между Маратом и жиронди-

стами, самым трудным для Марата периодом были конец 1792 года и начало 1793-го. Жирондисты были в силе, и наступательные операции шли именно с их стороны — Марат оборонялся. Победившая крупная буржуазия в эти первые месяцы существования республики имела свое классовое представительство не только в партии жирондистов. Но только партия жирондистов, партия буржуа-республиканцев, была достаточно сильна, чтобы главенствовать в Конвенте и в стране в первое время после низвержения монархии. Министерством руководил Ролан де ла Платьер, а Роланом руководила г-жа Ролан, его знаменитая жена. Супруги Ролан и бывший друг Марата в предреволюционные годы, Барбару, были главными вдохновителями поднявшейся против Марата травли. «Уничтожить поджигателя!» — так формулировался лозунг жирондистов. Но Марат имел за собой парижских санкюлотов, обездоленных пролетариев и полупролетариев столицы и провинции, и враги его признавали это со скрежетом зубным. По своей натуре, по своей неукротимой революционной энергии, по своему инстинкту прирожденного блистательного журналиста Марат понял, что лучшая защита — нападение, а лучший способ нападения на врага — найти слабое место в его кирасе и бить в эту точку. Он и в Конвенте повел себя так, как он действовал все время в своем «Друге народа», открывая систематические кампании то против Лафайета, то против Бальи, то против Дюмурье (еще тогда, когда никто, кроме Марата, не подозревал Дюмурье). Он начал встречную кампанию против главного, заклятого своего врага Ролана, не переставшего палить по Марату из всех своих батарей. Батареи Марата оказались в конце концов сильнее. Но не сразу пришла победа, и первая кампания против Ролана лишь подготовила почву для этой, еще далекой окончательной победы.

Во время сентябрьских событий 1792 года случайно ускользнул от смерти и был выпущен вторгшимся в тюрьму народом сидевший в Шатле арестант по имени Декомб. Сидел Декомб не по

политическому делу, а по чисто уголовному. Его обвиняли в выделке фальшивых банковых билетов. Он был настолько ловок, что, едва выйдя из тюрьмы, втерся в доверие к министру внутренних дел Ролану, и тот не нашел ничего лучшего, как поручить Декомбу расследование дел об обращении фальшивых ассигнаций. Узнав об этом, Марат сообщил обо всем полицейским властям, зависевшим от муниципалитета, и Декомб был арестован. Марат перенес дело в Конвент, собрав предварительно много улик, доказывавших мошенническую натуру Декомба. Председательствовавший в заседании Конвента 27 октября 1792 года жирондист Гаде пытался лишить его слова; жирондисты, как всегда, оглушительными криками не давали ему долго раскрыть рта. Это продолжалось три четверти часа. Марат переупрямил: он произнес речь против Ролана и передал собранные им материалы в бюро президиума. Марат требовал следствия над министром, который оказывает подозрительное доверие фальшивомонетчику Декомбу. Конвент неохотно решил все-таки запросить Ролана об этом деле. Правда, из этого запроса потом ровно ничего не вышло, но жирондисты с этого времени смотрели именно на Марата, как на человека, которого уничтожить необходимо как можно скорее и как можно полнее.

Марат долгими днями прятался и не выходил из дому. Он не мог появляться и в Конвенте. Только в декабре преследования против него несколько ослабели. Его публицистическая деятельность продолжалась, и он сосредоточил все свое внимание на двух задачах: во-первых, добиваться во что бы то ни стало казни свергнутого и сидевшего в заключении короля Людовика XVI и, во-вторых, уничтожить жирондистов, более опасных, по его мнению, изменников, даже чем свергнутый и поэтому уже отчасти обезвреженный король.

В своей речи, в которой он в январе 1793 года требовал казни короля, Марат, между прочим, прямо обвинял Ролана в том, что жирондистский министр тайком похитил из потайного железного

шкафа в Тюильри наиболее компрометирующие королевскую семью документы. Он страстно восставал против аргументации тех, кто хотел спасти Людовика. На аргумент, что европейские монархи будут озлоблены против французской республики, если короля гильотинируют, Марат отвечает, что гораздо опаснее оставить Европу под впечатлением безнаказанности Людовика XVI, которую всюду объяснили бы трусостью Конвента перед иностранным вмешательством. На заговорщиков нужно навести ужас! Народную свободу нужно закрепить кровью деспота! Преступления Людовика Марат видит главным образом в нескольких избитых словах народа, учиненных во имя отстаивания короля и королевской власти, и прежде всего в стрельбе по народу, произведенной швейцарцами, телохранителями Людовика, 10 августа 1792 года. Яростно обличал он Бриссо и других жирондистов, пытавшихся спасти короля. Он высказал горькое сожаление, что 10 августа народ, отделавшись от короля, не отделался тогда же одним ударом от всех тайных изменников, богачей, юристов-крючкотворов, спекулянтов и пр., которые теперь сидят в Конвенте и защищают предателя, призвавшего против революции иностранцев и их войска.

После казни короля, 21 января 1793 года, единственной, центральной задачей Марата, очередной и неотложной, стало уничтожение жирондистов. От этого главного, по его мнению, вопроса он не отвлекался ничем. Эти последние месяцы зимы 1793 года были временем страшного обострения нужды в Париже и в городах провинции, и именно в это время развилась с особенной силой агитация Жака Ру и «бешеных».

Жак Ру 21 февраля 1793 года опубликовал воззвание, в котором говорил, что раз скупщики и спекулянты морят народ голодом, а правительственные власти им мирволят, то народ может и должен сам расправиться с этими ворами и помочь себе. А 25 февраля выступил и Марат. Его статья, более яркая и талантливая, чем воззвание Жака Ру, проводила также мысль о революцион-

ной самопомощи, на которую имеет полное право народ, раз власти не хотят защищать его от грабителей. «Когда трусливые народные уполномоченные поощряют к преступлению, избавляя преступников от наказания, то не следует находить странным, что народ, доведенный до отчаяния, сам производит суд». Это была все та же мысль о необходимости революционной активизации масс, которую Марат не переставал проповедывать с первых же дней революции. «О болтливый народ, если бы ты умел действовать!» — восклицал он еще в сентябре 1792 года, чуть ли не в сотый раз. Но теперь, 25 февраля 1793 года, этот призыв совпал, а может быть, и не только совпал, с реальным выступлением голодающего народа в разных частях города. Эти выступления, кончившиеся разгромом нескольких складов, булочных и овощных лавок, произошли того же 25 февраля и были приписаны действию статьи Марата. Сам Марат протестовал против этого обвинения, когда на другой день, 26 февраля, жирондисты решили потребовать, чтобы его отдали под суд за эту «зажигательную» (как они говорили) статью, вызвавшую волнения и беспорядки в столице.

Начались бурные дебаты о предании Марата суду. Но очень опасно было давать Марату решительный бой на этой почве: ведь Париж и после 25 февраля гродолжал голодать и волноваться. Дебаты кончились ничем.

Во время всех этих бурных выступлений Марат был совсем одинок. Монтаньяры, наиболее близкие к нему по убеждениям люди, в сущности, если не считать единичных выступлений, выражали презрение и недоброжелательство по его адресу. Да и Марат относился весной 1793 года к монтаньярам с некоторой настороженностью. Ему не нравились недостаточная их близость к плебейской массе, нежелание давать простор массовым революционным выступлениям, их подозрительное отношение к революционному сотрудничеству законодателей с «народом на улице». Он в печати (и неоднократно) корил монтаньяров за то, что кое-кто из них

поддерживает бытовую близость с жирондистами, с богатыми людьми, с генералами, обедает у них и т. д.

В течение всего марта, апреля и мая 1793 года Марат часто появлялся в клубе якобинцев. Здесь его встречали всегда с полным сочувствием и часто с бурным восторгом, здесь — и только здесь — он не чувствовал себя одиноким, каким всегда чувствовал себя в Конвенте. «Марат, друг народа, мы тебе верим, спаси наших детей от голода!» — кричали женщины с трибуны клуба якобинцев, когда на возвышении для ораторов появлялась небольшая фигура с худым лицом, воспаленными, горящими глазами и повелительными жестами. Никого и уже никогда так не слушали в клубе якобинцев, как Марата. Даже Робеспьер никогда так непосредственно не действовал своими личными выступлениями на этот клуб — авангард тогдашнего революционного Парижа. Отточенные, логические фразы Робеспьера, его плавная аргументация, рассчитанно — последовательное предъявление доводов и иллюстраций развиваемой мысли — все это доходило до ума наиболее высокой по интеллектуальному уровню части аудитории, а страстные призывы Марата доходили до сердца в сей собравшейся массы слушателей.

Содержание было одно. И в речах, и в статьях он бил в одну точку: народ окружен изменниками и обманщиками, ворами и спекулянтами, а те, которых народ считает своими друзьями, — лентяи и сибариты и боятся повести атаку в лоб против врагов революции, вовсе еще не истребленных, а благополучно прячущихся во всех углах и ожидающих благоприятного часа. Да и как было ему не верить, когда события постоянно оправдывали его предсказания; когда все, что казалось плодом его болезненной подозрительности, превращалось в действительность; когда этот иступленный «маньяк», с повязанной платком головой, которого жирондисты предлагали запереть в дом умалишенных, оказывался гораздо более проницательным сердцеведом и политиком, чем все осторожные, расчетливые, лов-

ко интригующие парламентарии, так возмущавшиеся его выходками и так презрительно над ним смеявшиеся!

Как внезапно разорвавшейся среди города бомбой, был потрясен Париж в предпоследний мартовский день 1793 года известием, что генерал Дюмурье, прославленный начальник первой (по времени создания) революционной армии, отразивший осенью 1792 года интервенцию, изменил теперь республике, перешел на сторону роялистов, пытался вовлечь в измену всю свою армию, не успел осуществить этого намерения и бежал в австрийский лагерь. И это был тот самый Дюмурье, которого Марат стал подозревать, когда генерал еще находился на вершине своей популярности, когда Марата никто и слушать не хотел!

31 марта 1793 года Марат на заседании клуба якобинцев бросил прямо в лицо Дантону обвинение в том, что своей недостаточной энергией в борьбе с изменой он, монтаньяр, министр юстиции, сам сделал возможной измену Дюмурье и привел Францию к краю гибели. Выхватив кинжал и потрясая им, Марат закричал: «Вот чем я буду истреблять изменников!». Раздались такие приветственные крики, такой гром долго не смолкавших аплодисментов, что Марат не мог продолжать своей речи. «Веди нас, Марат! Ты, ты, ты наш предводитель, ты наш начальник!» — кричали со всех сторон. Через пять дней после этой сцены Марат был демонстративно избран президентом клуба якобинцев.

Революционно настроенные, секции Парижа громко обвиняли жирондистов, главных до тех пор покровителей и защитников генерала Дюмурье, в тайной договоренности с изменником и в активном соучастии в его предательстве. Марат увидел, что час, которого он так долго ждал, наконец пришел. Он потребовал голов изменников-жирондистов. Для него казалось ясно, что они уже не довольствуются тем, что губят революцию и республику своими послаблениями по отношению к предателям и своим пренебрежением к интересам и нуждам бедняков и всего голода-

ющего народа, но что они сами непосредственно и деятельно участвуют в обширном контрреволюционном заговоре, готовом раздавить республику.

Агитация Марата против жирондистов приняла грандиозные размеры, и уже с 8 апреля в Конвент стали являться депутации от секций Сент-Антуанского предместья с петициями о предании суду жирондистских вождей: Верньо, Гаде, Барбару, Бриссо и других.

Жирондисты подняли брошенную перчатку — и приняли вызов Марата.

12 апреля жирондисты решили дать генеральный бой Марату. «Мы очистим Конвент от чудовища!» — восклицали они. Решено было наконец сделать то, что уже столько раз собирались совершить, но все не удавалось, — отдать Марата под суд. Ему предъявлено было в заседании 12 апреля обвинение в том, что за его подписью, как председателя клуба якобинцев, было выпущено воззвание с призывом к истреблению изменников, под которыми понимались жирондистские депутаты Конвента. Сверх того ему ставили в вину (о чем рассказано выше) возбуждение продовольственных волнений и, в-третьих, требование «двухсот тысяч голов» (цифра несколько варьировалась и в статьях самого Марата, и в устах его обвинителей).

На этот раз монтаньяры поддержали Марата: и Робеспьер, и Дантон выступили в его защиту, хотя Робеспьер ограничился лишь коротеньким замечанием. Они хотели избавить его от предания суду. Но когда Марату дали слово, он заявил, что решительно ничего не имеет против суда над ним. Произошло голосование, и предложение жирондистов прошло: решено было отдать под суд и поэтому немедленно арестовать Марата. Тем не менее, когда Конвент разошелся после заседания, Марат, окруженный несколькими десятками монтаньяров и сотней, по крайней мере, человек из публики, арестован не был, потому что и полицейские очень неохотно взяли на себя эту попытку и не пробовали применить силу. Спасшись от ареста, Ма-

рат снова временно перешел на нелегальное положение и скрывался. Он немедленно обратился с письмом к Конвенту, в котором повторял все свои обвинения против жирондистов. В ночь с 13 на 14 апреля большинством 220 голосов против 92 при 48 воздержавшихся был принят обвинительный акт против Марата. Не забудем, что 374 депутата были в это время в длительной отлучке: с поручениями от Конвента, в провинции, и большею частью эти отсутствующие были монтаньяры. Гаде, супруги Ролан, Барбару, Жансонне и другие вожди Жиронды очень хорошо угли это выгодное для их целей обстоятельство и поспешили провести поскорее нужное голосование. Негодование, охватившее народную массу при известии о предании Марата суду, было так велико, что уже 15 апреля ряд секций подал Конвенту демонстративные петиции с требованием арестовать 22 жирондистских депутатов. Революционный порыв охватил столицу, когда она узнала, что подозреваемые изменники, вчерашние друзья предателя Дюмурье, осмеливаются декретировать обвинение против друга народа, против разоблачителя всех контрреволюционных махинаций, против Марата.

22 апреля, узнав, что обвинительный акт уже передан в революционный трибунал, Марат сам явился в полицию и был арестован. А 24 апреля начался суд.

Этот процесс с начала до конца был сплошным триумфом Марата. Революционный трибунал всецело ему сочувствовал, прокурор Фулье-Тенвиль с первых же слов заявил, что считает Марата лучшим другом народа. Сочувствие массы, собравшейся и в самом зале заседания и вокруг здания суда, было подчеркнуто бурными знаками одобрения, которыми встречалось каждое слово подсудимого. Он не защищался, а обвинял жирондистов и требовал их обезврежения и наказания всех изменников. Марат был, конечно, оправдан. Едва был произнесен вердикт, как раздалась в зале, а через несколько секунд во всем здании, и через две минуты на улице неистовые радостные вопли.

Огромная толпа вынесла на руках Марата и с ликованием понесла его по улице прямо в Конвент. Толпа по пути увеличивалась, новые и новые группы примыкали к шествию. Марата внесли на руках в зал Конвента, а навстречу входившей народной массе с криками радости бросились все сидевшие на трибунах для публики. Тут раздался и гром аплодисментов со скамей монтаньяров. Несколько минут длились эти приветственные крики и рукоплескания. Крики удвоились в силе, когда Марата поднесли на руках к трибуне и он появился на ней. Он успел произнести лишь несколько благодарственных слов, сейчас же заглушенных новым взрывом рукоплесканий. Медленно и неохотно вышли в этот день из Конвента народные толпы.

Эта грандиознейшая демонстрация повторилась на другой день, но уже не в Конvente, а на заседании якобинского клуба, когда там появился Марат. Его буквально засыпали живыми цветами и просто не давали начать говорить бесконечными овациями: «Оставим все эти ребячества! Подождите конца моей карьеры, чтобы венчать меня венками цветов! — кричал Марат. — А теперь будем думать только о том, чтобы раздавить наших врагов!». Немедленно же Марат произнес речь, в которой требовал очистки всей администрации от тайных и явных контрреволюционеров, «аристократов», причем советовал начать с министров. Для жирондистов эти неслыханные триумфы Марата были в полном смысле слова далеким, но уже явственно слышным погребальным звоном колокола. Жить на свете большинству из них оставалось еще несколько месяцев, но политическая смерть приближалась к ним гигантскими шагами.

31 мая 1793 года началось грозное восстание народных масс против жирондистов, а 2 июня оно окончилось, как известно, изгнанием жирондистских депутатов из Конвента. Марат в решающие дни, 1 и 2 июня, обращался с пламенными речами к муниципалитету: «Требуйте у Конвента ареста и наказания изменников, не разоружайтесь, пока

ваше требование не будет выполнено!». Это требование он поддержал и лично. 2 июня громадная толпа народа плотно окружила Конвент, повторяя это требование.

Декрет об аресте 34 жирондистских депутатов был вотирован. Революция сделала крутой шаг вперед. Это был ответ и на присоединение Англии к коалиции, и на измену Дюмурье, и на безнаказанность спекулянтов, наживавшихся на народном голоде.

Революция событиями 31 мая — 2 июня 1793 года показала, что она вовсе еще не хочет сдавать позиций.

Много сокрушающих ударов готовила она своим врагам в будущем. Но и враги точили кинжал. Что касается первой жертвы, то на этот счет у врагов революции колебаний быть не могло: жертва была намечена давно.

Жирондисты, успевшие избежать ареста, 2 июня укрылись отчасти в самой столице, а отчасти в провинции. Они круто и бесповоротно перешли на сторону контрреволюции. Всюду жирондисты сеяли ненависть и вели агитацию против «санкюлотов Парижа» и, особенно, против Марата, которого изображали каким-то исчадием ада. В этот момент его полного торжества, наивысшего морального могущества и политического значения, какого ему вообще суждено было в жизни достигнуть, на нем сосредоточивалась самая лютая, не ведающая предела ненависть всех, самых разнообразных врагов бурного революционного движения.

Марат готовился к дальнейшим боям. Он отдавал себе полный отчет в том, до какой степени его ненавидят все тайные и явные враги революции. Но это его нисколько не смущало, и когда он называл себя будущим мучеником и гордо требовал от венчавшей его венками народной массы, чтобы «подождали конца его карьеры», то, конечно, он отчетливо видел сгущавшиеся над ним смертные тени...

Видел — и шел своей дорогой, не замедляя шага. Немая угроза и бесшумно подкрадывающийся враг пугали его так же мало, как ярые бури в Конvente и в печати.

★

13 июля 1793 года, в десятом часу утра, в квартиру Марата постучались. Открыв дверь, привратница, бывшая в квартире, увидела незнакомую девушку высокого роста, прошившую доложить о ней хозяину. Привратница сказала, что он болен и не принимает. Спустя некоторое время незнакомка снова поднялась по лестнице, привратница, теперь бывшая уже у себя, снизу заметила, что она остановилась у дверей на несколько мгновений, потом, не постучав на этот раз, спустилась по лестнице и ушла.

К концу дня Марату рассыльный принес письмо. В письме были такие строки: «Я приехала из города Каэн. Ваша любовь к отечеству должна возбудить в вас желание узнать о заговорах, которые там замышляются. Я жду вашего ответа». Письмо было подписано совершенно незнакомым Марату именем — «Шарлотта Корде».

Марат ничего не ответил и не мог ответить: незнакомка не дала своего адреса. Было это перед вечером. Спустя с полчаса после получения этого письма больной Марат сел в закрытую простыней ванну, где он проводил часы. В его комнате, где стояла ванна, находилась ухаживавшая за ним во время его болезни спутница последних лет его жизни — Симонна Эввар. В соседней комнате, откуда был ход на лестницу, сидела привратница дома, работавшая по вечерам у Марата. Было около пяти часов, когда раздался стук в дверь. На пороге стояла та же девушка, которая приходила утром. Привратница снова сказала, что Марат никого не принимает. «Как неприятно! Как это отвратительно, что я не буду принята!» — громко воскликнула незнакомка и, не понижая голоса, спросила, получил ли Марат письмо, которое она ему послала. Она говорила очень громко, почти кричала в явном расчете быть услышанной из другой комнаты. Марат услышал и сейчас же приказал Симонне Эввар пригласить незнакомку войти. Симонна вышла в комнату, где незнакомка продолжала спорить с привратницей, и попросила ее войти к Марату.

«Это вы мне писали?» — спросил Марат. «Да». Разговор продолжался около десяти минут. Так как Симонна Эввар в комнату уже не входила, а Шарлотта Корде была очень лаконична на суде, то мы не знаем и никогда не узнаем в точности, о чем они говорили. Разговор привел к тому, что девушка объявила готовность перечислить фамилии заговорщиков, которые, по ее словам, злоумышляют в городе Каэн против республики. Марат, имевший под рукой письменные принадлежности и работавший часто, сидя в ванне, стал писать под диктовку незнакомки. Когда он углубился в это, она внезапно выхватила спрятанный в ее платье кинжал и вонзила его в грудь Марата.

Когда вбежали Симонна Эввар и привратница, Марат еще хрипел еле слышно. Смерть последовала меньше чем через пять минут.

★

Внезапная гибель Марата была воспринята народной массой Парижа и провинции как истинное бедствие, как страшный удар по революции, как исчезновение друга всех несчастных, угнетенных и обиженных. Как будто потух яркий факел, озарявший перед революционным народом путь вперед и освещавший беспощадным светом все закоулки в подполье, где прятались непримиримые, заклятые враги народной свободы, паразиты и изменники. Не удивились нисколько, узнав, что убийца-жирондистка совершила свое дело, чтобы отомстить за жирондистов. Инстинкт революционного народа предрекал, что отныне жирондисты будут и впредь действовать заодно с монархистами всюду и всегда, где только подвернется случай нанести удар революции. Однако кинжал Шарлотты Корде не только никого не запугал, но, напротив, резко поставил на первую очередь вопрос о беспощадном революционном терроре против внутренних врагов и изменников. Французская революция все еще шла в гору: до 9 термидора оставался еще целый год...

Литература французской буржуазной революции

К. ДЕРЖАВИН

★

I

Французская буржуазная революция не осуществляла непосредственной задачи создания новой художественной и литературной культуры. В основных своих чертах эта культура сложилась в более или менее законченных формах к началу 80-х годов XVIII века. Ее дальнейшее изменение зависело уже не непосредственно от тех или иных событий 1789—1799 гг., а от результатов этих событий, приведших в итоге к появлению романтизма и буржуазного реализма XIX века, как отражений установившегося нового социального уклада.

История литературы и искусства французской буржуазной революции — это история тех изменений, которые вносились в уже существующую художественную культуру и в уже бытовавшие художественные традиции буржуазии. Вместе с тем, это и история становления тех новых элементов художественной культуры буржуазии, которые предвосхищают ее дальнейшее развитие.

Наконец литературная и художественная история французской буржуазной революции — это история появления и утверждения таких художественных форм, которые рождались в процессе борьбы и подъема революционной демократии. Достаточно указать на то, что, окруженная кольцом блокады, фронтами контрреволюционной коалиции и гражданской войны, якобинская Франция открывает в 1793 г. «Нацио-

нальный музей», ныне Лувр, и «Национальный институт музыки», нынешнюю Консерваторию, разрабатывает план архитектурной реконструкции Парижа, осуществленной значительно позже в части, относящейся к нынешней площади Согласия, объявляет ряд конкурсов на произведения живописи, скульптуры, музыки и литературы, организует грандиозные народные празднества и общественные церемонии и т. д., и т. д. Впервые в европейской истории и искусство, и литература покидают кровлю монархического меценатства и становятся не только достоянием демократии, но и орудием ее борьбы и объектом забот ее государственных и общественных органов.

Искусство и литература 1789—1799 гг. — это соединительное звено между художественной культурой XVIII и XIX столетий. Важность этого звена систематически недооценивает буржуазная наука, упорно повторяющая, что французская революция не создала великих художественных произведений. Буржуазные ученые забывают, что, в конечном итоге, именно последнее революционное десятилетие XVIII века подготовило создание «Героической симфонии» Бетховена, музыки Берлиоза, романтической поэзии Гюго, реалистического романа Бальзака и отраженно повлияло на создание «Фауста» Гете, на творчество Байрона, на поэзию Пушкина. В области искусства, так же, как и в области литературы, весь XIX век

действительно «прошел под знаком Французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии» (Ленин).

Ознакомление с любым жанром литературы французской революции убеждает нас в том, что здесь сохраняется ближайшая преемственность с литературой века Просвещения. Крупнейшие просветители — Вольтер, Дидро и Руссо — уходят из жизни почти на пороге революции. В революционное десятилетие вступают их ученики, сотрудники, свидетели их трудов, почитатели. Революция берет на себя осуществление в жизни того «светлого царства разума», которое было идеально начертано на страницах Энциклопедии и «Общественного договора». Традиции века Просвещения продолжают жить, порой в неприкосновенном виде, порой подвергаясь тем или иным изменениям в зависимости от непосредственных условий времени. В течение десятка лет совершается процесс накопления этих изменений. Читатель, оглянувшийся назад в 1800 г., с удивлением должен был констатировать наличие огромных сдвигов в литературном сознании современников.

Параллельно этому процессу идет создание новых видов литературного творчества, новых форм литературной жизни, новых типов искусства слова. Революционная публицистика, революционное ораторское искусство, массовая политическая поэзия, публицистическая драматургия, — все это придает своеобразный колорит литературной жизни эпохи и накладывает свой отпечаток на литературное движение современности и ближайшего будущего.

Два начала определяют собою характер творческого сознания людей 1789—1799 гг. — возврат к античности и чувствительное восприятие мира. И то, и другое унаследовано от XVIII века. И то, и другое приобретает в революционную эпоху новую направленность и новые устремления. Оба эти начала существуют в неразрывном виде. Класси-

ческое сознание окрашивается чувствительностью, а последняя предстает в классических формах. Плутарха читают наравне с Руссо, и в своих «Фрагментах о республиканских учреждениях» Сен-Жюст требует от истинного революционера сочетания в его душе спартанских доблестей и чувствительных добродетелей. Буржуазно-революционный классицизм продолжает культ античности, берущий свое начало еще в XVII веке... «Камилл Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, — замечает Маркс, — герои, равно как партии и масса старой французской революции, — в римском костюме и с римскими фразами осуществили дело своего времени, — освободили от оков и установили современное буржуазное общество... В классически строгих преданиях римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии»¹.

Накануне революции мы наблюдаем во Франции подлинный расцвет эллиноведения и латинизма. Труды Брунка, Анс де Вилльюзаона, Лёвека де Пуйи, д'Анвилая, Бартеlemi, Кайлю раскрывают перед читателями мир античной поэзии, зодчества, скульптуры и быта. Классическая трагедия эволюционирует в сторону большего сближения с античными образцами. Оперы Глюка воспринимаются, как возрождение музыкально-драматического театра древней Элады. Новерр осуществляет реформу балета по канонам античной хореографии. Художники изучают результаты раскопок в Геркулануме и Помпеях. Фрагонар и Юбер Рубер в живописи, Ложье в теории архитектуры, Гудон и Клодион в скульптуре возвращают искусство к ясности и чистоте античного художественного сознания. Давид своими античными полотнами создает целую школу неоклассицизма в живописи. Послед-

¹ К. Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Партиздат. 1932 г.

няя стремится почерпнуть в античных пропорциях и в классической композиции дух и форму образов современности. Давид и его школа не только воссоздают на полотнах героику античного мира, но и в современности стремятся увидеть и воплотить ее античный, классический облик. Актер Тальма осуществляет реформу сценического костюма в классической трагедии, приближая его к античным образцам. Античный стиль проникает в убранство комнат, в орнаментику, в мебелировку.

Революция подчиняет античность своим идейным устремлениям. Она ищет в ней образцов героики и добродетели. Спарта и республиканский Рим как бы возрождаются к новой жизни. В их учреждениях, в их героях, в их преданиях буржуазная революция ищет высокие примеры для современности. «Спарта сверкает, как молния в сумраке вечной ночи» — восклицает Робеспьер в своей речи о верховном существе 7 мая 1794 г.

Рука об руку с культом античности развивается и владеет сознанием современников чувствительность. Руссоистский культ природы, сердечной добродетели, волнующих переживаний и влюбленной дружбы находит свое сочетание с республиканской доблестью, спартанской суровостью и стоическим героизмом. Вводимая Робеспьером религия верховного существа вся проникнута руссоистской чувствительностью. Массовые празднества и общественные церемонии революции, предуказанные еще Руссо, сочетают в себе торжественный классицизм с революционной чувствительностью.

II

Поэзия французской буржуазной революции продолжает традиции XVIII века. Однако рядом с высокими поэтическими жанрами в первые же дни революции бурно вырывается из самой гущи широких масс революционная песенно-поэтическая стихия. Это — истинная поэзия революции, как в зеркале, отражающая в себе настроения того народа, который был главным участ-

ником событий 14 июля, 5 — 6 октября, 10 августа, 31 мая.

Поэтическая продукция эпохи огромна. Поэмы, оды, гимны, сатирические куплеты, песенки выпускаются отдельными изданиями, наполняют литературные альманахи, публикуются листовками, на страницах газет, выходят сборниками, отпечатываются на веерах, на фарфоровой посуде, на лубочных картинках. Большинство поэтических произведений откликается на события дня. Одно открытие Генеральных штатов дало много сот поэтических публикаций, среди которых мы встречаем и оды (Женгене, Безасье), и поэмы (Сильмона де Нанси, Виксуза), и безымянные песенки, и куплеты. Вокруг взятия Бастилии, возвращения короля в Париж, его бегства в Варенн, падения монархии и т. д. создаются целые стихотворные циклы.

Типичным и крупнейшим представителем высокой поэтической традиции XVIII века в революционной литературе является Понс-Дени Экушар Лебрён (1729—1807 гг.), прозванный современниками Лебрёном-Пиндаром, тот самый Лебрён, о котором, как о «возвышенном галле», вспоминает Пушкин в первой строфе своей оды «Вольность».

Носитель высокого понимания поэзии, страстный почитатель классического века французской литературы, энтузиаст античности, Лебрён обладал выдающимся, настоящим поэтическим дарованием. Несомненно, он был последним большим одописцем XVIII века, тем более интересным, что творчество его прошло через три исторических периода. Оно было свидетелем старого порядка, революции и начала империи.*

Характерные идейные черты века Просвещения наложили свой отпечаток на поэзию Лебрёна. Возвышенный пафос сочетается в ней с рационализмом просветительской философии. Патриотические мотивы его лиры сливаются с мотивами республиканизма. Образы большого масштаба влекут Лебрёна по пути смелой поэтической метафоры. Здесь чувствуется наследие поэтического рационализма конца XVIII века. Обладая сильным творческим темперамен-

том, Лебрён не раз обнаруживает страсти к подмене поэтического образа пышной номенклатурой явлений и предметов, к мифологической абстракции и аллегории, к преобладанию эпитетов в ущерб их поэтическому качеству. Тем не менее, нельзя не присоединиться к отзыву Сент-Бёва, который видит в поэзии Лебрёна «нечто сильное, благородное, обнаженное, прямое... нечто греческое и академичное, трудолюбивый возврат к простоте и правде...»¹.

Этими сторонами своего творчества Лебрён сближается с такими представителями искусства эпохи революции, как Давид в области живописи и Госсек в музыке.

Уже в дореволюционной оде Лебрёна «Любовь французов к их королям» мы встречаем резкие выпады против король-тиранов, врагов своего народа. В «Оде на состояние упадка французской монархии во вторую половину царствования Людовика XV» поэт гневно обличает правящие верхи, которые ведут страну к катастрофе. Наряду с этим он устремляется мыслью к золотому веку, когда богатство было общим достоянием и на земле не существовало ни дворцов, ни темниц, к веку, когда первобытное, изображенное вполне в руссоистском духе, счастье человечества не было еще разрушено цивилизацией, корыстолюбием, собственностью и войнами. Собрание нотаблей — предвестье будущих Генеральных штатов, внушило Лебрёну «Поэтическое рассуждение» о злоупотреблениях старого порядка. Он ждет от Людовика XVI нового расцвета своей родины и, прежде всего, отмены феодального гнета. Однако эти либерально-монархические иллюзии у поэта скоро рассеиваются. К моменту суда над Людовиком XVI он выступает с гневными строфами по адресу короля — предателя народа. Еще более гневные слова обращает он к Марии-Антуанетте — «королеве, дарованной нам небесным гневом», «королеве, пьяной от нашей крови».

От инвектив по адресу монархов Лебрён обращается к революционному народу. Его «Ода на энтузиазм» принадлежит к числу лучших поэтических памятников революции. В победе при Флерюсе поэт видит грядущее торжество республики и свободы. В историю французской поэзии вошла также великопепная патетическая ода Лебрёна на гибель в неравном сражении с английским флотом республиканского крейсера «Мститель». Финальные строфы оды, представляющие собою гордый гимн трехцветному знамени революции, чрезвычайно типичны для республиканского патриотизма поэта.

Близкий Лебрёну в первую пору своей поэтической деятельности, Андре Шенье (1762—1794 гг.) вскоре же после начала революции пошел иным политическим путем. Вступив в 1791 г. в «Общество друзей конституции», Шенье спешит принять участие в публицистических боях. Молодой поэт становится на сторону контрреволюционных правобуржуазных группировок. Возбудив против себя всю передовую революционную общественность, Шенье вынужден был после 10 августа 1792 г. покинуть Париж. В дни суда над Людовиком XVI он вернулся в столицу и пытался выступить в защиту короля, после чего укрылся в Версале. Здесь им была написана контрреволюционная «Ода Шарлотте Корде», здесь же он был арестован. Обвиненный в контрреволюционной пропаганде, в сочувствии роялизму и в подготовке контрреволюционного заговора, поэт взшел на эшафот за два дня до девятого термидора.

Творчество Шенье, ставшее известным в более или менее полном объеме лишь в 1819 г., породило оживленную дискуссию. Разгорелся спор о том, был ли автор «Ямбов» последним классиком французской поэзии или же ее первым романтиком. Пушкин, высоко ценивший творчество поэта и посвятивший его судьбе свою элегию «Андрей Шенье» (1825 г.), дал самую близкую к истине формулировку: «Никто более меня, — писал он П. Вяземскому из Одессы в 1823 г., — не уважает, не любит этого поэта, но он истинный грек, из клас-

¹ С.-А. Saint-Beuve — Le Brun-Pindare («Causeries du Lundi», vol. V).

сиков классик... Это ученый подражатель... От него так и пышет Феокритом и Антологией»¹. Прозорливая оценка великого русского поэта блестяще подтвердилась позднейшими исследованиями. В основе своей Шенье — автор изумительных по чистоте и прозрачности поэтического языка идиллий, элегий и буколик, — это старательный и кропотливый реконструктор античной поэтической мысли. Его творчество — наиболее яркое и законченное воплощение того «возврата к античности», которым было ознаменовано литературное движение во Франции накануне революции. Античный, в частности, эллинский поэтический мир воссоздается здесь в условиях современного, прошедшего философскую школу XVIII века, творческого сознания. В поэме «Изобретение» Шенье дает точное определение своего творческого метода: «*Sur des pensées nouvelles faisons des vers antiques...*», т. е. — будем писать античные стихи на новые мысли. Эти новые мысли Шенье черпает из поэтических устремлений XVIII века, не минуя его дидактизма, эротики и элегических мотивов. Шенье — поэт, с наибольшей полнотой после Ронсара воплотивший в себе стремление возродить античное искусство, как норму и недостижимый образец. И если Лебрёна мы сравниваем с таким живописцем, как Давид, то Шенье следует сопоставить с таким скульптором, как Гудон, с его изумительной в своем пластическом совершенстве статуей девственной Дианы. Элегии, буколические идиллии, отрывки «античных» поэм Шенье — это тончайшая мозаика реминисценций, прямых заимствований, копий и подражаний поэтам Рима — Горацию, Лукрецию, Овидию, Проперцию, Тибуллу, Вергилию, Катуту, поэтам Греции — Гесиоду. Гомеру, Пиндару и, в особенности, поэтам эллинистической, александрийской эпохи — Феокриту, Каллимаху. Аполлонию Родосскому, позднейшим Биону, Мосху, Парфению. Однако «новые мысли» придадут всей этой кропотливой, реконструктивно-археологической рабо-

те Шенье особую убедительность, Учено-филологический слой его поэзии нес на себе наслоения современной, конца XVIII века, умственной и эстетической культуры.

У Шенье был замысел создать две большие энциклопедические, научно-поэтические поэмы: «Гермес» и «Америка». Задачей первой было представить, следуя по стопам поэмы Лукреция «О природе вещей», в трех песнях картину мироздания, человечества и образования человеческого общества. Поэта в данном случае вдохновляли работы ученых Бюффона, Ньютона, Руссо и, в особенности, Байи, с его астрономическими и космологическими трудами. В поэме «Америка» автор намеревался поэтически воссоздать историю, жизнь и природу великого заокеанского континента, столь привлекавшего к себе внимание французской общественности в связи с освободительной войной против английского владычества.

Ненависть Шенье к революционной демократии и к ее вождям-якобинцам проявилась в сатирическом «Гимне на триумфальное шествие взбунтовавшихся швейцарцев из полка Шатовье» (1792 г.). В стихах по поводу праздника 14 июля 1793 г. эта ненависть диктует поэту злобные характеристики, направленные по адресу революционного народа и монтаньяров. В «Оде Шарлотте Корде» Шенье прославляет убийцу Марата. Незадолго до своего ареста Шенье написал стихотворение «Версаль», в котором дал образ классического Версаля — «Элизиума богов и королей», противопоставив его санкюлотскому Парижу.

В тюрьме Шенье написал ряд стихотворений, объединяемых общим названием «Ямбы», и свою последнюю любовную элегию «Юная пленница» («*La jeune captive*»), адресованную герцогине Флёрри, заключенной одновременно с поэтом в Сен-Лазаре.

Эти стихотворения Шенье отчасти продолжают основные линии его дореволюционной поэзии, отчасти же раскрывают нам новый образ поэта — образ политического лирика, вдохновляющегося примером язвительных антидемо-

¹ Подр. см. в статье Н. К. Козьмина «Пушкин и В. Гюго об Андрее Шенье», в сб. «Язык и литература», Л. 1928 г., т. I, в. 1—2.

кратических ямбов Архилоха и, вместе с тем, обнажающего перед читателем свои переживания на пути к гильотине.

Жизненный и литературный путь Мари-Жозефа Шенье (1764—1811 г.) был несколько иным, чем путь его старшего брата. Уйдя с военной службы в 1783 году, будущий автор «Карла IX» целиком отдался литературе. В 1786 г. на сцене была поставлена его первая трагедия «Аземира». К этому же приблизительно времени относятся и его первые поэгические произведения. Типичный представитель молодой просветительной литературы, поклонник Вольтера и Монтескье, Мари-Жозеф Шенье не мог остаться чуждым революции. Постановка его «Карла IX или школы королей» далеко вышла за рамки чисто театрального события. Она открыла собой ряд пьес молодого автора, неизменно откликнувшегося на острые проблемы социальной и политической борьбы. В то время как Андре Шенье примкнул к буржуазно-аристократическому клубу фельянов, Мари-Жозеф усердно посещал буржуазно-демократический клуб кордельеров. Публицистические выступления Андре вызвали полемику между двумя братьями, окончательно определившую их политические ориентации. Андре избрал для себя путь контрреволюции, Мари-Жозеф эволюционировал в сторону якобинизма.

С 1792 года он был избран в члены Конвента, и его выборно-государственная деятельность в законодательных органах страны продолжалась вплоть до 1802 г.

Но эволюция в сторону якобинизма у Мари-Жозефа имела свои пределы. Якобинский террор поставил его окончательно в ряды «умеренных». Однако ни термидорианская реакция, ни Директория не нашли в нем своего полного приверженца.

Либерально-демократическое сознание М.-Ж. Шенье плохо мирилось с приходом к власти новой спекулятивно-финансовой буржуазии. В наполеоновском трибунате он оказался в оппозиции и был исключен из этого эфемерного органа управления в 1802 г. С импери-

ей М.-Ж. Шенье в идейный союз не вступил, хотя его трагедия «Кир» (1804 г.) и кончалась торжественной сценой коронования восточного автократа. Наполеон понял настоящий, либерально-просветительный смысл этой трагедии, и после первого же представления она была снята с репертуара. С тех пор ни одно из драматических произведений М.-Ж. Шенье не увидело света рампы.

Последние годы своей жизни М.-Ж. Шенье прожил в весьма стесненных материальных обстоятельствах, под страхом новых репрессий. Он умер приверженцем буржуазно-республиканских идей, накануне эпохи Реставрации и возвращения Бурбонов.

Поэзию М.-Ж. Шенье можно разделить на две части. К одной следует отнести его лирику, оды, послания и сатиры, к другой — его гимны и тексты песен, сочиненные для различных революционных празднеств и общественных церемоний.

К 1787 г. относится «Поэма на собрание нотаблей», в которой молодой автор, увлеченный идеей возрождения Франции и уничтожения «предрасудков», обращает свои патриотические восторги к «гражданам-республиканцам» и к «королю-гражданину».

Стихотворение «Рассуждение о том, полезно ли заблуждение человечеству», написанное под несомненным влиянием Руссо, излагает историю человеческого общества. Автор рисует картину насилия, потери свободы и добродетелей и противопоставляет всему этому «идеальное царство разума» вполне в духе энциклопедической философии.

«Одой на смерть Мирабо» (1791 г.) открывается цикл революционных стихотворений М.-Ж. Шенье, а «Элегией на смерть генерала Гоша» заканчивается период его поэтической деятельности, связанный с эпохой республики.

Свободу, ту классическую свободу буржуазной революции, которая дала «Декларацию прав человека и гражданина» и конституцию 1793 г., Шенье воспевал в течение всей своей жизни. Самым интересным и самым ценным в его стихотворном наследстве остаются для нас те произведения, которые были ближай-

шим образом связаны с политическими проблемами 1789 — 1794 гг. и, в частности, предназначались для исполнения в программе массовых народных празднеств республики.

Уже в «Оде к национальному собранию» (1789 г.) поэт славит «свободы дух могучий... лик святой». Ода направлена одинаково как против тирании, так и против рабства, невежества и суеверия.

«Смерть Мирабо» развивает эти же мотивы борьбы с фанатизмом, тиранией и рабством. И в той, и в другой оде мы встречаем целую серию античных реминисценций. Самый характер оды внушен древним дифирамбом. Такой же дифирамбический стиль отличает и «Песнь 14 июля», вдохновенную падением Бастилии.

Серия гимнов открывается «Гимном на перенесение праха Вольтера во французский Пантеон» (1791 г.), исполнявшимся на музыку Госсека. В этом гимне развернут весь типичный для лирического творчества Шенье материал — и дифирамбическое построение строф, и обильное уподобление античности, и славословие вольности, и воспевание «верховного существа», «исконного воплощения добра и правды», и призывы: к «свободе чистой» и к законам, стоящим на ее страже.

«Гимн Равенству», переложенный на музыку Каттелем, отражает руссоистские настроения Шенье. Он вспоминает о «горах Гельвеции счастливой» и призывает к природе — матери истинного равенства.

Возврат к античным формам лирики сказывается ясно на «Гимне в честь победы» (1793 г.) с его хоровыми строфами и антистрофами, прославлявшими победы республиканских армий на северных границах Франции.

10 ноября 1793 г. в Соборе парижской богородицы состоялась торжественная церемония в честь свободы. Шенье написал для нее «Гимн свободе», проникнутый мотивом международной революции, мотивом, занимавшим большое место в политической поэзии 1793 — 1794 гг. Для торжественной церемонии в честь Разума Шенье написал «Гимн

Разуму», исполнявшийся 30 ноября 1793 г. (музыка Мегюля). Здесь снова типичные для рационалиста-просветителя мотивы торжества разума сплетаются с идеями Руссо о величии сердечной добродетели. Героический характер носит «Гимн на взятие Тулона» (музыка Госсека), обрушивающийся гордыми угрозами по адресу «Альбиона» и предупреждающий водружение «знамени вольности» над «Темзой мрачною и сонной».

В 1794 г. был написан «Гимн Верховному существу», предназначенный для исполнения на первом празднестве в честь нового культа. Незадолго до термидорианского переворота Шенье написал «Песнь выступления» — эту «вторую марсельезу» революции, пользовавшуюся в музыкальном изложении Мегюля огромной популярностью вплоть до того момента, когда освободительные войны французской республики не превратились в захватнические военные экспедиции Наполеона. Песнь была написана в ораториальной форме и требовала для своего исполнения соединенных мужских, женских и детских хоров с солистами. В том же героико-патриотическом духе написана и «Песнь побед» (1794 г.), вдохновенная победой при Флерюсе.

Рядом с М.-Ж. Шенье целая плеяда поэтов воспевала различные эпизоды революции в подобных же гимнах и песнях. Особенно много их сочинялось в период якобинской диктатуры. Отметим «Гимн в честь Марата, друга народа, мученика свободы» Т. Руссо; «Гимн Разуму» Гретри, гимны Т. Дезорга и др.

До якобинской диктатуры особой популярностью пользовалась песня «На страже отечества», сочиненная полковым врачом Рейнской армии Адрианом Симон-Буа, эту песнь справедливо можно назвать предшественницей Марсельезы, популярность ее может быть вполне сравнима с гимном Руже де Лилля. Отличительной особенностью ее является тема мировой революции, которую несет с собой выступающая против своих врагов Франция. Большое количество аналогичных революционно-патриотических гимнов и песен было вытеснено Мар-

сельезой Жозефа Руже де Лиля, капитана саперных частей Рейнской армии. В момент объявления войны Австрии Руже де Лиль вместе со своим полком находился в Страсбурге. Всеобщее патриотическое воодушевление, манифестации, революционное возбуждение, царившее в народных обществах и клубах, вдохновили его на сочинение своей песни, впервые исполненной в доме большого любителя музыки, страсбургского мэра Дитриха в конце апреля 1792 года. Друзья Руже де Лиля распространили ее в рукописных списках и в печатных изданиях под названием «Военная песня Рейнской армии».

Минюя Париж, песня проникла в Марсель, и ее подхватили там местные патриоты, давшие ей название «Песня марсельцев». Летом 1792 года «Песня марсельцев» вместе с прославленным марсельским батальоном, участвовавшим во взятии Тюилри, попала в Париж; с этого момента она стала наиболее популярным революционно-патриотическим гимном Вальми, Жемаппа и молодой республики.

Текст Руже де Лиля представляет собой стихотворное оформление тех агитационных лозунгов и прокламаций, которые выпускались страсбургскими народными обществами и клубами в первые дни объявления военных действий против Австрии. Патетический стиль Марсельезы роднит ее с высокими жажрами революционной поэзии — с одой и гимном. Вместе с тем эта патетика насыщена глубокой эмоциональностью, особенно ярко выступающей в музыкальном тексте, шедевре героико-патетического музыкального стиля.

В 1795 году на смену Марсельезе была выдвинута сочиненная Л. М. Суригером контрреволюционная антиякобинская песня «Пробуждение народа против террористов». Исполнялась она в общественных местах термидорианскими погромщиками, в особенности, когда слышались звуки Марсельезы. Скоро разгорелось соперничество этих двух гимнов, получившее название «песенной войны». Марсельеза олицетворяла в себе республиканские и демократические традиции революции, а «Пробуждение на-

рода» — надежды и чаяния разнуздавшейся контрреволюции. Правительство Директории запретило исполнение реакционного гимна. Гимном республики осталась Марсельеза, она продолжала жить и при империи, хотя Наполеон отдавал предпочтение песне «На страже отечества».

Роль, сыгранная Марсельезой в буржуазной революции, — огромна. По ее образцу сочинялись национально освободительные и революционные гимны в ряде европейских и внеевропейских стран. Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции Марсельеза пользовалась огромной популярностью и в русской революционно-демократической среде, получив здесь в ряде вариантов свой самостоятельный текст, начиная с известной переделки Плещеева и кончая «Рабочей марсельезой», «Студенческой марсельезой», «Солдатской марсельезой» и т. д., с ясно выраженной тенденцией превратить гимн буржуазной республики в боевую песню революционной демократии.

С Марсельезой мы вступаем в область массовой революционной поэзии, в область той огромной песенно-поэтической продукции, которая составляет своеобразный раздел литературы революции.

Революционные массы в своем поэтическом творчестве развили и необыкновенно расширили песенные традиции, издавна обитавшие в устной и письменной форме в широких кругах французского народа. Сатирические куплеты, застольные песни, любовные песенки и т. д., — все это нашло себе в революционных событиях и в сознании их главного действующего лица — широкой демократической массы — новую почву и новые творческие истоки. Было бы ошибочно, конечно, истолковывать эту поэзию, сопутствовавшую развитию революции, только, как поэзию агитационную. Ее громадная сила воздействия объяснялась тем, что она, в основном, верно отражала мысли и настроения революционной демократической массы. Выливаясь из народных глубин, поэзия была могучим голосом революции в самых различных ее аспектах и переживаниях.

Революционная власть придавала исключительное значение этого рода поэзии. В газете «Парижская хроника» (29 октября 1794 г.) заявлялось: «Я предлагаю присоединить наши песни к нашим пушкам; первые будут направлены к хижинам, тогда как вторые — против дворцов. Певцы станут прославлять наши законы, нашу свободу; они внушат к ней любовь народам, пораженным тем, что мы дерзаем произносить ее имя... Песня марсельцев одновременно просвещает, вдохновляет и радуется; ее одной было бы достаточно для покорения всей брабантской молодежи. Из этого я делаю вывод, что к каждой из наших армий надо присоединить по четыре певца».

16 мая 1794 года Комитет общественного спасения обращался к поэтам и писателям с призывом «прославлять важнейшие события революции, сочинять патриотические гимны и стихотворения, республиканские драмы... оглашать исторические деяния воинов свободы, случаи особой храбрости и преданности республиканцев, и победы, одержанные республиканскими армиями». В правительственных решениях мы неоднократно встречаемся со случаями награждений поэтов — авторов популярных массовых песен. Песня жила в устах массы. Революционные армии несли ее с собой к границам республики. Она звучала со сцен театров. Ее пели на заседаниях Конвента являвшиеся туда для приветствий делегации. Она составляла важный элемент массовых празднеств и общественных церемоний.

В массовой поэзии 1789 — 1799 гг. перед нами проходит вся история революции, начиная с созыва Генеральных штатов и кончая переворотом 18 брюмера. По песням прослеживается развитие революционного сознания масс, восходящих от жалоб королю к гневу, к революционному энтузиазму и республиканскому патриотизму. Сатирические куплеты высмеивают дворянство, эмиграцию и духовенство. В лирических куплетах воспеваются достоинства истинного санкюлота.

Песни, приближающиеся по своему характеру к гимнам и, несомненно, испы-

тавшие на себе влияние «Песни выступления» Шенье и Марсельезы, отражают патриотический пафос революции. В них мы слышим призывы к санкюлотизации всей Европы, прославление героев революционных войн, восхваление пороха, добываемого патриотами-селитрщиками, и т. д.

Особую популярность во времена французской буржуазной революции приобретают две подлинно-народные песни, бывшие достоянием широчайших масс санкюлотов и надолго пережившие те события, в атмосфере которых они зазвучали в первый раз — это «Ça ira» и Карманьола.

Впервые зазорная, танцевальная по своему ритму «Ça ira» появилась во время работ на Марсовом поле в Париже в дни подготовки к празднику Федерации 1790 г. Мотив ее был заимствован из популярного контрданса, сочиненного скрипачом Бекуром для театра Божоле, контрданса, который, по преданию, был одной из любимых мелодий Марии-Антуанетты.

Слова подбирались, видимо, сами собой, хотя впоследствии ряд лиц выступил с претензией на их авторство. Самое выражение *ça ira*, по свидетельству Анахарсиса Клоотца, было одним из любимых присловий весьма популярного в Париже посла Соединенных Штатов Франклина.

Со своим исходным текстом

Ah! *Ça ira, ça ira, ça ira,*
Наплевать на аристократию и лужи,
Отдохнем мы скоро, — придет пора

эта песенка была типичной рабочей песенкой, объединявшей группы и массы граждан, вышедших равнять землю и строить трибуны к празднику Федерации.

Постепенно популярный мотив и бодрый, задорный напев собрали вокруг себя огромное количество вариантов. Среди них встречается между прочим и известный текст: «Аристократов на фонарь».

Песенка не теряла во всех этих вариантах своего веселого, задорного и бодрящего характера, надолго пережив события революции и продолжая вплоть

до наших дней воспроизводить новые варианты на основе своего припева.

Аналогична «Ça ira» и история Карманьолы. Родина ее танцевально-хороводного мотива — Пьемонт. Мотив пьемонтской Карманьолы был занесен в Южную Францию рабочими, приходившими на сбор винограда и другие полевые работы. В Париж песню принесли с собой, так же, как и Марсельезу, марсельские батальоны. Здесь Карманьола, в связи с событиями 10 августа 1792 года, обрела свой исходный антимонархический текст, откликнувшийся на взятие Тюильри и падение королевской власти. В дальнейшем мы встречаемся со множеством вариантов этого текста и с еще большим количеством новых текстов на популярный мотив, приуроченных к самым различным событиям революции.

В демократических революционных массах Карманьола остается одной из любимых революционных песен. В 1848 году появляется «La Carmagnole sociale», с ее эгалитарно-социалистическими мотивами. В 1871 году Ж. Б. Клеман на развалинах Парижской Коммуны пишет по образцу Карманьолы и на ее мотив свою «La Commune». В 1926 году Морис Бутор по этому же образцу сочиняет песню «La Syndicale», с ее ярко выраженным анархистским характером. К 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции появляется безымянная «Новая Карманьола», совмещающая строфы, построенные по образцу Карманьолы, с припевом «Ça ira». Наконец в дни героической борьбы за Мадрид в 1937 г. в рядах интернациональных бригад, боровшихся вместе с испанским пролетариатом против фашистских легионов, звучала все та же старая Карманьола с новым припевом, родившимся уже в условиях гражданской войны в Испании.

Рядом с безымянной массовой песней в годы революции широчайшее распространение получили многие из песен, сочинявшиеся поэтами-песенниками (chansonniers).

В этих песнях нередко связываются воедино традиции фольклорной поэзии с традициями высоких поэтических жан-

ров — одой, гимном и т. д. Большое влияние на песни оказывают публицистика и ораторские речи. Ряд песен Руссо, Ладре, Персона и выступающих вместе с ними поэтов, вроде Пийса, Дезорга и др., представляет собой прокламации в стихах, обращенные к массе слушателей, так же, как обращались к ним воззвания Коммуны и народных обществ, расклеивавшиеся на стенах парижских домов. Исключительный интерес в этом отношении представляют произведения Пьера Сильвэн-Марешаля. Поэт в 1781 г. выступил с «Отрывками моральной поэмы о боге или новом Лукрецием», в которых развивал программу законченного философского атеизма и гневно, уничтожающе критиковал общественный строй, основанный на неравенстве и власти богатства.

В 1788 году появилась его антирелигиозная «Книга, спасенная от потопа, или новооткрытые псалмы» и несколько позже «Альманах честных людей», в котором имена святых были заменены именами подвижников науки и борцов против социальной несправедливости. В дни революции Сильвэн-Марешаль выступает, как один из немногих представителей интересов пролетарских и полупролетарских масс. Активный участник заговора, возглавлявшегося Бабёфом, он сочиняет «Манифест равных», возвещавший наступление социальной революции. Только случайность спасает поэта от ареста и казни. Перу его принадлежит несколько драматических произведений и довольно большое количество стихотворений и гимнов, из которых часть была положена на музыку Гретри. Наибольшую популярность из произведений Сильвэн-Марешаля получила «Новая песня для предместий», сочиненная им в дни подготовкой участниками «Заговора равных» революционного выступления. Песнь направлена против богатей и правительства Директории. Она призывает к восстанию и обращается за поддержкой к солдатам, которые вместе с народом стерли с лица земли монархию и Бастилию.

Песнь эта имела большой успех в рабочих предместьях Парижа. Директорская полиция усиленно конфисковыва-

ла печатные тексты ее и производила аресты исполнителей. Этой песнью, строго говоря, заканчивается история массовой демократической поэзии французской буржуазной революции. Она создала ряд произведений, которые сохранились и перешли к позднейшим поколениям, как наследие традиций 1789—1794 гг. Именно со времен французской буржуазной революции массовая поэзия оформляется, как своеобразный жанр политической поэзии, и находит свою дальнейшую жизнь в творчестве многочисленных *chansonniers*, начиная с Беранже и кончая революционными песенниками современности, одного из которых — популярного в рабочих кварталах Парижа Монтегюса отметил Владимир Ильич Ленин.

III

Художественная проза революционной эпохи представлена менее богато, чем поэзия. Новые ориентации литературы вызревали медленно для того, чтобы заявить о себе уже в период империи.

Основная масса прозаической литературы появляется уже в послетермидорианский период. Даже в специальных работах, посвященных литературе французской революции, художественная проза обходится почти полным молчанием. Тем не менее в этой области следует отметить ряд любопытных и показательных в своих тенденциях фактов.

Экзотизм и чувствительность определяют повествовательный характер романа Лавалле «Негр, каких мало белых» (1791 г.), — единственного в своем роде литературного отклика на горячие дебаты в Законодательном собрании о положении и гражданских правах цветных народов в колониальных владениях Франции. Лавалле заявляет о себе, как о негрофиле, он выступает в качестве адвоката негритянского племени и защитника идеи распространения «Декларации прав» и на рабов сахарных плантаций французских тропических колоний. Герой романа негр Итанок волюблен в Амелию, дочь белых родителей. Нантский коммерсант Бенуа со своей до-

черью потерпели крушение у берегов Сенегала. Итанок становится их Пятницей. Бенуа прививает ему благодетельные начала цивилизации, наставляет его в правилах религии, приучает обрабатывать землю и жить оседлой жизнью. Амелию похищают негры-разбойники. Итанок помогает Бенуа в ее поисках. После многих приключений он находит наконец свою возлюбленную, возвращает ее растроганному родителю, женится на ней и составляет себе завидное положение в Нанте, занявшись коммерцией под руководством г-на Бенуа. Старый мотив робинзонады скрещивался здесь с руссоистскими идеями о равенстве и в свете политических дебатов своего времени принимал чувствительно-революционные формы.

Жирондист Лувэ де Куврэ в дни созыва Законодательного собрания заканчивал свои «Любовные похождения кавалера Фоблаза». Позже он выпустил чувствительный роман «Эмилия де Варнон или необходимый развод, или любовь кюрэ Совэна» — роман, в котором нашли отражение революционные реформы брака и гражданское устройство духовенства. «Фоблаз» был данью галантным традициям XVIII века, «Эмилия» в своей чувствительной форме предвещала будущие феминистические романы Жорж-Санд.

Чувствительность, порожденная «Новой Элоизой», продолжала находить себе и авторов, и читателей во все революционные годы. В то время как поэзия и театр 1789 — 1799 гг. отдают обильную дань классицизму, подвергая его тем или иным преобразованиям, роман возвращается почти исключительно в круг мотивов сердечного воображения. Литературные герои, особенно периода 1797 — 1799 гг., говорят языком взволнованной и риторической страсти. «Любовь в ту эпоху, — отмечает Лафарг, — объявляла себя царицей всех страстей, — страстью, способной оттеснить все другие и заполнить все существование человека. Но эта любовь была не похожа на ту любовь, которую дотоле звали человечество. Революционная буржуазия все перевернула вверх дном: законы, нравы и страсти. Но, одержав победу,

она до такой степени ужаснулась дел своих рук, что пожелала изгладить их из памяти: буржуа с его страстями, пороками и добродетелями она провозгласила неизменным типом человеческой породы в ее прошлом, настоящем и будущем¹. И это явилось истоком того изменения руссоистской чувствительности и руссоистской концепции любви, которое мы наблюдаем в последние годы директорианской литературы. Образ любви потерял свои революционные черты, черты протестующего против социальных условий современности чувства. Герои романов 1797 — 1799 и последующих годов были лишены подлинной, испепеляющей страсти, страсти, которая нарушала устоявшийся моральный порядок и освещала мир солнцем новой религии сердца и взволнованных чувств. Оставалась чувствительная фразеология и чувствительная лексика. Существо романа любви все дальше и дальше уходило от традиций буржуазно-революционного романа страстного протеста.

Лучшим образцом чувствительного романа этих лет следует признать «Эмигранта» Сенак-де-Мейлана, вышедшего в 1797 г. в Гамбурге. Написан он в классических формах эпистолярного чувствительного повествования и полон меланхолического лиризма. Роман этот предвещал появление Сенанкура с его культом одиночества и одинокой скорби.

Но рядом с чувствительностью шло накопление и реалистических повествовательных тенденций. В 1794 г. Ретиф де ла Бретонн начинает публиковать своего «Monsieur Nicolas», в котором говорит уже не языком риторической метафизики чувств, а языком их физиологии и реалистического анализа. Несколько ранее пишутся его «Парижские ночи», — интереснейший образчик дневника революционных переживаний и беглых зарисовок типов, событий и происшествий парижской улицы периода 1789 — 1797 гг. Внимательный анализ обнаруживает, что Ретиф далеко не был очевидцем и свидетелем всех описываемых

им событий. Многие являются плодом заимствования, многое порождено обывательской сплетней и слухом, многое присочинено в целях драматизации собственных чувств автора. При всем том «Парижские ночи» остаются любопытным образчиком мемуара-фельетона, обладающего своим реально-гротесковым стилем с довольно заметной склонностью к натурализму описаний и к фиксации бытовых деталей современности. Впрочем, под некоторыми страницами романа мог бы подписаться Бальзак, а под многими — Золя.

«Новый Париж» Себастьяна Мерсье явился продолжением его дореволюционной «Картины Парижа». В этом произведении автор собрал множество фактов, типов, странностей и особенностей своего необыкновенного времени. Он стремился отметить все то новое, что внесла в будничную парижскую жизнь революция. С особым вниманием он останавливается на характеристике нравов, и в этом отношении его книга — ценнейший документ современности, предвестник позднейшей городской повествовательной прозы. Вместе с «Парижскими ночами» Ретифа — она первый опыт урбанистического романа с его типичными криминальными, бытовыми и социально-психологическими мотивами.

IV

Декретированная 13 января 1791 г. Законодательным собранием свобода театра уничтожила пережитки придворной и цеховой театральной организации. В 1791 г. родилась театральная конкуренция, театральное предпринимательство, театральные рынки, все то, что в юридическом и административном отношении на век вперед характеризовало собою историю буржуазного театра.

Революционная драматургия обнаруживает в своем целом все те же основные устремления, которые характеризуют и остальные литературные жанры 1789 — 1799 гг. Мы встречаемся здесь с продолжением и модификациями классики, с развитием традиций чувствительности, с фактами появления но-

¹ П. Лафарг. — «Литературно-критические статьи». Гослитиздат, 1936 г., стр. 147.

вых жанровых образований, с примерами широчайшей демократизации литературного языка и т. д.

История революционной драматургии открывается трагедией М.-Ж. Шенье «Карл IX или школа королей» («Charles IX ou l'École des rois»), написанной еще до революции, но поставленной на сцене после долгого и упорного сопротивления реакционной части труппы Французского театра лишь 4 ноября 1789 г. Написанный в традициях вольтеровской гражданской трагедии, «Карл IX», с его национально-историческим сюжетом, стал яблоком раздора между различными классовыми группировками французской общности первых лет революции. Имея в своей основе историю Варфоломеевской ночи, эта трагедия поднимала ряд волнующих вопросов современности. Борьба придворной клики за уничтожение еретиков, проблема королевской власти в ее отношении к народу, вопрос о засилии клерикализма и о фанатической пропаганде католического духовенства, образ короля - народолюбца (короля-гражданина, le roi citoyen) Генриха Наваррского, — все эти элементы трагедии, обличавшей деспотизм, тиранию, дурных королевских советников, нетерпимость и наконец королевскую власть, поскольку она ставит себя над интересами подданных, нашли живейший отклик у буржуазно-революционной общественности.

М.-Ж. Шенье оказался наиболее крупным представителем жанра высокой трагедии вплоть до эпохи империи. Его можно назвать последним мастером классической трагедии XVIII века, последним значительным представителем той литературной школы, у истоков которой стоял великий Корнель. После «Карла IX» М.-Ж. Шенье написал «Генриха VIII» (1790 г.), «Жана Каласа или школу судей» (1791 г.), «Кая Гракха» (1792 г.), «Фенелона» (1793 г.), «Тимолеона» (1794 г.) и ряд других трагедий. В предисловиях к своим произведениям Шенье, развивая взгляды на трагический жанр, боролся за чистоту классической традиции, за возврат к истинному смыслу философии трагического у Аристотеля. Он рьяно высту-

пал против трагедии интриги и мелодраматических эффектов в духе Кребильона. Во всем этом нетрудно узнать основные положения того «возврата к античности», который был характерен для поэзии, живописи, скульптуры, музыки и танца. Каковы идейные задачи трагедии? В предисловии к «Карлу IX» М.-Ж. Шенье отвечает: внушать ненависть к тирании и к предвзвешкам, ужас перед преступлением, любовь к добродетели и свободе, уважение к законам и к нравственности — этой всеобщей религии (religion universelle). Идеалом театра и драмы М.-Ж. Шенье считает древнегреческую драматургию, с ее высоким патриотизмом и разработкой в патетических образах проблем современности. Он приветствует Расина за то, что в его театре можно усмотреть тенденции к высокой морали, и Вольтера за то, что философия является у автора «Магомета» «электричеством театра» (L'électricité du théâtre). Романтико-любовная трагедия (tragédie romanesque) Лагранж Шанселя и Кребильона отжила свой век. Трагический писатель должен быть историком и политиком. Он обязан, в частности, обратиться к национальной истории. История должна быть освещена светом истинной философии и служить патриотическим целям современности — добродетели, свободе, уважению к законам.

Осуществляя на практике свои теоретические положения, М.-Ж. Шенье старался совместить в своих трагедиях простоту и строгость античной драматургии с философско-гражданским пафосом, питавшимся «Декларацией прав» и наследием просветительной мысли XVIII века.

Типичный представитель буржуазного либерализма, модеранист в своих социально-политических убеждениях, М.-Ж. Шенье некоторый период времени был спутником якобинцев. Ученик Вольтера и Монтескье, он отрицал старый порядок и из буржуазного конституционалиста 1789—1790 гг. превратился в искреннего республиканца. Однако его политическая эволюция остановилась на гранях между левым жирондизмом и правым якобинством. Его

драматургия отразила в себе эту эволюцию, ярким свидетельством которой является трагедия «Кай Гракх», совмещающая в себе возврат к античности с политической актуальностью сюжета и философским толкованием современности. «Кай Гракх» был поставлен на сцене 9 февраля 1792 г. В это время уже назревал кризис жирондизма. Революция развивалась в сторону углубления рожденных ею классовых противоречий. В сознании масс уже утверждалась идея республики. Якобинцы были вождями революционной демократии. «Кай Гракх», с его образом народного трибуна и с его массовыми сценами, был насыщен демократизмом. Это была антидеспотическая и, более того, уже республиканская трагедия. Но в ее основе лежало зерно модерантизма. Реплика Гракха: «Законов, а не крови» («Des lois, et non du sang», acte II, sc. II), обращенная к народу, собирающемуся громить сенат, стала впоследствии одним из антитеррористических лозунгов. «Фенелон» в еще большей степени, в условиях классовой борьбы 1793 г., был проникнут модерантистскими настроениями. «Тимолеон» оказался под запретом якобинской цензуры. Впоследствии в «Тиберию» М.-Ж. Шенье наиболее полно развернул свои либеральные убеждения, реальный смысл которых сводился к отрицанию якобинской диктатуры.

В М.-Ж. Шенье наиболее полно и развернуто выявились основные устремления классицизма в условиях буржуазной революции. Ряд драматургов представил в своих трагедиях эти же устремления, опиравшиеся на политические интересы дня и на проблемы современности. Античность повсюду является покровом действительности. Тем самым классическая трагедия 1789 — 1799 гг. отходит от принципов рационалистической абстракции и придает своим образам известную конкретность, пользуясь к тому же красками гражданской чувствительности, философской лексикой XVIII века и пафосом современности.

В значительно меньшей степени реализовалась мысль М.-Ж. Шенье о созда-

нии национальной трагедии. «Карл IX», «Фенелон» и «Жан Калас» остались единичными образчиками этого жанра вплоть до появления уже в эпоху империи «Тамплиеров» Рейнуара. Столь же единичны были и попытки классико-трагической интерпретации современности.

Высокая классическая комедия, одно время отступившая на второй план перед буржуазной драмой, в революционные годы возрождается и дает французской литературе двух последних значительных представителей мольеровской, или, вернее, реньяровской, традиции — Фабра д'Эглантина и Колена д'Арльвилля.

Филипп Франсуа Назер Фабр, впоследствии добавивший к своей фамилии псевдоним д'Эглантин (1750—1794 гг.) оставил по себе память в истории не только как комедиограф. Его авторству принадлежит одна из лучших любовно-пасторальных песенок XVIII века: «Ах, дождь пошел, пастушка» («Il pleut, il pleut, bergère»), и терминология республиканского календаря 1793 г. Он был членом Конвента, одним из довереннейших клиентов и единомышленников Дантона и едва ли не главным персонажем в скандальном уголовно-политическом деле Индийской компании. Вместе с Дантоном и его группой Фабр д'Эглантин был гильотинирован 5 апреля 1794 г. Пьесы Фабра «Филент Мольера» и «Эпистолярная интрига» — образцы классической комедии последнего десятилетия XVIII века. Почитатель Руссо, Фабр д'Эглантин замыслил написать продолжение «Мизантропа». Филент выступал в действии, как человек, восхваляющий на словах общественную добродетель, но на деле оказывающийся мелким себялюбцем и ограниченным мещанином. Альцест, с его философией мизантропии, в противоположность этому являл пример великодушия, благородства и отзывчивости.

«Эпистолярная интрига» забавляла зрителя умелым сплетением комических случайностей. Ни в «Филенте», ни в «Эпистолярной интриге» революция не нашла, однако, своего непосредственного отображения.

Колен д'Арльвилль (Collin d'Harleville, 1755 — 1806 гг.) в еще меньшей степени, чем Фабр д'Эглантин, является представителем революционного репертуара. Его лучшие комедии 1789 — 1799 гг. «*Mr de Crac dans son petit castel on les gascons*» (1791 г.) и «*Le vieux célibataire*» (1792 г.) восстанавливают во всей ее чистоте классическо-комедийную традицию. Оба драматурга ищут законченные классические типы, они вкладывают героям в уста традиционный александрийский стих, комические эффекты пьес основывают, прежде всего, на комическом характере. Впрочем, влияния драматических дискуссий и драматургической практики XVIII века сказываются и на том, и на другом авторе. На интимности и лиричности стиля Колен д'Арльвилля, его интересе к семейной проблематике, несомненно, сказалось воздействие мещанской драмы. В свою очередь Фабр д'Эглантин в «Эпистолярной интриге» предвещает типичную в будущем для Лабиша систему построения действия приемами путаницы, суетоки и бестолковых столкновений действующих лиц. Строгие классические каноны, которым в основном следовали Фабр д'Эглантин и Колен д'Арльвилль, не могли вместить в себя нового, выдвигавшегося действительностью содержания. Вот почему в репертуаре 1789 — 1799 гг. классическая комедия не занимает ведущего места и не определяет стилистического облика современной драматургии.

Рядом с «Филентом» и «Старым холостяком» наиболее крупным произведением этого жанра следует признать «Друга законов» Лэйа, премьеры которого состоялась в тревожные январские дни 1793 г., накануне суда над Людовиком XVI. Навязанный, несомненно, мольеровским «Тартюфом», «Друг законов» изображал в иносказательной форме борьбу буржуазной контрреволюции против монтаньяров. Смысл комедии Лэйа был очень быстро расшифрован. В образе одного из ее героев, Номофажа, легко было усмотреть сатиру на Робеспьера, а в образе Дюрикрана — на Марата. История с похищенными у маркиза Форли документами, на основании

которых возбуждается дело о заговоре, слишком живо напоминала недавний эпизод с обнаружением в Версальском дворце потайного шкафа с бумагами, уличавшими Людовика XVI в преступных замыслах против нации. Таким образом, комедия приобретала вполне определенную контрреволюционную установку, и спектакли в Театре Нации стали предлогом для сбора всех антиякобинских и роялистских элементов. Дело дошло до скандалов и драк в зрительном зале, до вызова войск и вмешательства высших органов власти. Лэйа — роялист по своим убеждениям — использовал жирондистскую политическую мораль в целях прикрытия защиты Людовика XVI и обличения якобинства. Постановка «Друга законов» носила характер провокационной демонстрации, которая явилась впоследствии основной причиной закрытия Театра Нации и ареста его группы в конце 1793 г. после постановки пьесы роялиста Франсуа де Нёвшато «Памела», с ее антидемократическими и англофильскими репликами.

Гораздо значительнее был удельный вес в репертуаре революционной сцены тех драматургических произведений, которые продолжали традиции чувствительной драматургии, буржуазной драмы и мещанской трагедии. В этом отношении драматургия Мерсье и «Честный преступник» Фенуйо де Фальбера имели в революционной драме своих многочисленных подражателей. Подражание, впрочем, было лишь подражанием в основном — в самом методе построения драмы, в характере ведения действия, в путях развития и разрешения его проблематики. Содержание доставлялось здесь самой революционной действительностью или же обличительным взглядом на недавнее прошлое. Пьеса Пиго-Лебрена «Шарль и Каролина или злоупотребления старого порядка» (1790 г.) наиболее близка к традициям семейной драмы XVIII века. Молодой аристократ, женившийся на девушке простого звания, преследуется своими родными и вынужден защищать жену от гнусных посягательств светского ловеласа графа де Преваль. Тот пускает в ход все средства воздействия, вплоть до

тайного приказа об аресте Шарля, которого спасает преданный ему слуга. Развязка драмы вполне благополучна. Родители Шарля в конце концов признают его брак, низкий граф попадает в тюрьму, и буржуазная добродетель Каролины торжествует над всеми испытаниями. Это мирное завершение пьесы должно было символизировать то единение некоторых элементов дворянства с третьим сословием, которое стояло в порядке политического дня в 1790 г.

Значительно острее по своему содержанию является драма Монвеля «Монастырские жертвы» (1791 г.), мелодраматическая интрига которой вращается вокруг насильственного заключения в монастырь молодой девушки Евгении, не пожелавшей согласиться на брак, навязываемый ей родителями. Последний акт драмы, в котором национальная гвардия спасает замурованных монахами Евгению и ее возлюбленного, производил потрясающее впечатление на публику. Администрация театра на улице Ришелье, где пьеса шла с неизменным успехом, печатала на афишах оповещение о том, что в одной из лож на каждом ее представлении дежурит врач, снабженный всеми необходимыми средствами от обмороков и истерик. Аналогичные темы разрабатывались в целом ряде пьес 1790—1792 гг., вроде «Монастырской жестокости» Фьева, «Монастыря или вынужденного обета» Олимпии де Гуж, «Аутодафе или трибунала инквизиции Габио и т. д. К этой же группе пьес следует причислить и «Крестьянина-магистрата» Колло д'Эрбуа — переделку «Саламейского алькальда» Кальдерона, с его антифеодальной темой крестьянского суда над дворянином-насильником.

Рядом с классической комедией и буржуазно-чувствительной драмой уже в 1790—1792 гг. наблюдается рост политической драматургии, той драматургии, которая непосредственно откликается на политическую злобу дня и несет на себе прямые агитационно-политические функции. Расцвет этой драматургии мы наблюдаем в период якобинской диктатуры с ее санкюлотизацией театра, но и до этого периода в драматургии намечают-

ся и создаются новые жанры политических обозрений, фарсов, бытовых водевилей и т. д.

Период 1789—1791 гг. еще не очень богат подобного рода произведениями. Наибольший успех в это время имели «Никодем на луне или мирная революция» Кузена Жака (Беффруа де Рейньи) и «Пробуждение Эпименида в Париже» Карбона Фленса. Обе пьесы построены на принципе обозрения. В первой — действие происходит на луне, иносказательно изображающей Францию, где совершается «мирная» революция в духе буржуазного конституционализма 1790 г. Герой второй пьесы, древний грек Эпименид, после двухтысячелетнего сна пробуждается в Париже и с удивлением смотрит на незнакомые ему общественные нравы и политику. Карбон Фленс, подобно Кузену Жаку, также стоит на платформе «мирной революции». Эпименид с восторгом взирает на то, что король вернулся в свой верный город Париж, любим народом, его не окружает больше гнусная придворная камарилья, он правит, руководствуясь советами честных людей, избранных представителями всей нации. Словом, как говорит одно из действующих лиц комедии, «подлинно-свободный народ, любя своего короля, повинуется власти монарха, а монарх подчиняется велению законов».

Тема «мирной революции» и объединения всех сословий вокруг короля-гражданина является господствующей темой политической драматургии вплоть до 1792 г. Немало пьес изыскивают в прошлом образцы королей-граждан. На ряде драматических произведений, вместе с тем, изобличаются короли-тираны. Колло д'Эрбуа в 1790 г. пишет пьесу «Патриотическое семейство или федерация», в которой мирно, в интересах нации и общего счастья разрешаются конфликты между фабрикантом и его рабочими, надо полагать, — в предвидении знаменитого закона Лешапелле о стачках и рабочих организациях. Шедвром политического соглашательства является пьеса Беффруа де Рейньи «Клуб честных людей или французский кюрэ». Политические споры между соседями в

ней разрешаются общим примирением и заключительной репликой сельского священника: «Не надо больше споров и волнений, пусть наше счастье будет общим. О, каким величием будет полно зрелище Франции, когда сердца всех ее граждан сольются в одном порыве! Люди одной нации не созданы для взаимной ненависти и мести. Чтобы между ними царил согласие, — обнимемся и заключим мир... Будем жить отныне, как братья, не будем печалить нашего доброго короля».

Мощный толчок развитию политической и патриотической драматургии дала начавшаяся борьба Франции с австро-прусской интервенцией и армиями контрреволюции. Множество пьес, вроде «Лиги фанатиков и тиранов» Ронсена, «Осады Лилля» Жуаньи и Триалья и др., уже в 1791—1792 гг. составляет оборонно-патриотический раздел революционного репертуара. В их числе следует отметить пьесы, в которых патриотическо-военный героизм древних греков применяется к текущим событиям.

Якобинская диктатура принесла с собою на сцену санкюлотскую драматургию с типичными для нее жанрами политического водевиля, патриотической драмы, театрального апофеоза и т. д. Пьесы оборонно-патриотической тематики занимают едва ли не преобладающее место в репертуаре 1793—1794 гг. Их основной мотив — мобилизация широких масс против контрреволюционной интервенции. Таковы комедии «Отправление деревенских добровольцев на границу» Лавалле, «Алексис и Розетта» Дерио, «Граница» Рейньи, «Триумф республики», «Республиканская дисциплина» Аристида Валькура, «Взятие Тулона» Бриуа и пьесы на ту же тему Миттье и Пикара, все они и множество других каждодневно со сцен десятков парижских театров призывали зрителей к защите республиканского отечества.

Господствовавшая до недавнего времени тематика буржуазного конституционализма уступает место тематике республиканского санкюлотизма, свержения монархии и всевропейской революции. В ряду этих пьес следует отметить политический фарс Сильвена-Мареша-

ля «Страшный суд над королями», где выносятся беспощадный санкюлотский приговор всем европейским венценосцам, в том числе и Екатерине II, которых восставшие по всей Европе санкюлоты отправляют на необитаемый остров, где короли гибнут во время извержения вулкана. Аналогичные мотивы мы встречаем в фарсах «Конгресс королей» Демайо и «Эмигранты в южных странах» Гама.

Антикатолическое и антирелигиозное движение нашло также свой немедленный отклик в санкюлотской драматургии. Появляется целая серия пьес на тему о папессе Иоанне, в основных своих чертах совпадающих с сюжетными планами Пушкина, как известно, замышлявшего написать драму на материале легенды о папе-женщине. Во множестве водевилей и комических опер фигурируют служители культа и разоблачаются их проделки над суеверным народом и их далеко не благочестивые нравы. Группа пьес посвящена тематике гражданского устройства духовенства и случаям сложения с себя духовного сана.

Одной из основных задач санкюлотской драматургии была пропаганда республиканской добродетели и высокой морали сознательного патриота. В пьесе Лезюра «Вдова республиканца» обличается безнравственность бывшего аристократического ловеласа, который втерся в ряды республиканских войск и пытается, — правда, с позором для себя, — обмануть вдову павшего на войне революционного офицера. Республиканская честность и бдительность прославляются в пьесе Ло «Подлинная республиканка». Образ честного, стоящего на страже революции и разоблачающего ее врагов республиканца выводится и в пьесе Камай-Сент-Обэна «Друг народа или разоблаченные интриганы». В пьесе Ложье «Испытание республиканца или любовь к родине» трактуется вопрос о шпионаже и революционной бдительности. Тип бесчестного обывателя-шкурника фигурирует в комедии «Паникер» Депре. Революционное приспособленчество высмеивается в веселой комедии Раде «Благородный простолоудин». Клевета и ложные доносы врагов

народа против честных граждан разоблачаются в пьесе Николаи «Ложный донос или разоблачение настоящего виновника». Конфликты между богатством и бедностью, между чванством денежной аристократии и великодушием истинных санкюлотов наполняют многие пьесы якобинского репертуара. В них находят свое выражение борьба с теми элементами новой спекулятивной буржуазии, против которых роптали и выступали широкие трудящиеся массы и которых они ненавидели в не меньшей степени, чем представителей старорежимного барства. В этом цикле пьес, в частности, мы находим и довольно ясно выраженные уравнительные тенденции якобинизма. Ряд санкюлотских пьес трактует вопрос о семейной республиканской морали. Типично руссонская, идиллически-семейная мораль проповедуется в анонимной комедии «Республиканская кормилица». Вопросы гражданского брака и развода дали обильную пищу водевилю. Встречается несколько пьес на темы о патристическом воспитании детей. Несколько водевилей откликается на установившийся санкюлотский обычай обращения на «ты».

Своеобразный раздел в якобинской драматургии составляют революционные апофеозы, воссоздававшие на сцене массовые празднества и общественные церемонии, которые столь широко организовывались в знаменательные даты и дни революции. Таким апофеозом является «Друг народа или смерть Марата» Гасье-Сент-Аманда, где под скорбное пение хора появляется шествие войск, женщин, детей, старцев, санкюлотов и римлян, несущих гроб с останками «друга народа». Гроб устанавливается на эстраде, раздается удар грома, и сверху падают розы. Под пушечные салюты появляются фигуры Свободы и Славы, которые возлагают на гроб лавровый венок и прославляют павшего героя революции. Аллегорический и массовый характер носило «Празднество Разума» Сильвэн-Марешаля, где фигурирует богиня Разума, церковь превращается в храм нового божества, раздаются гимны в его честь и сжигаются

предметы католического культа. Аналогичные же массовые празднества и апофеозы составляют содержание «Празднества в честь Ж.-Ж. Руссо» и «Празднества в честь Верховного существа» Кювелье, «Празднества Равенства» Раде и Дефонтена и др.

«Триумф Республики» М.-Ж. Шенье, в котором сочетаются музыка, пение патристических гимнов и шествие аллегорических фигур Свободы и Равенства, осеняемых национальными знаменами и возжигающих огонь на алтаре отечества, — лучший образец революционного апофеоза. В подобных спектаклях оригинально разрешена задача агитационного, политически мобилизующего представления, род театральной манифестации, направленной к умам и сердцам санкюлотского зрителя.

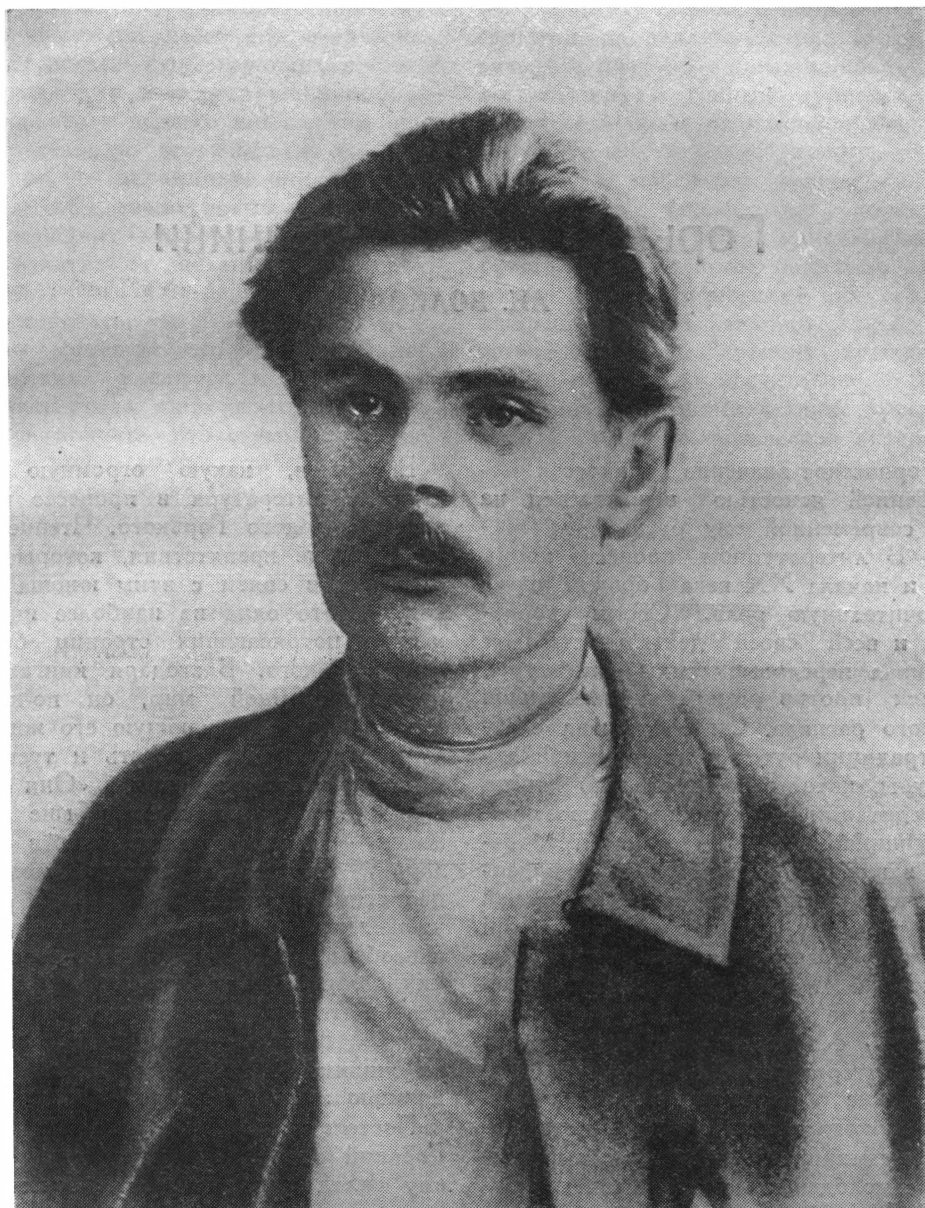
Якобинская драматургия не успела выйти из стадии упрощенно-агитационного оформления своих идеологических установок, что как-раз и заставило руководящие органы якобинской власти, несмотря на всемерную поддержку ими революционного репертуара, вынести довольно суровый приговор драматургической продукции своих дней. И, тем не менее, драматургия периода мелкобуржуазной диктатуры сказала свое слово в истории революционного театра. В тематическом и сюжетном отношении она дала наиболее острые политические произведения. На этом этапе диктатура наиболее передового отряда французской революционной буржуазии овладела театром, как средством плебейской защиты и углубления революции, она сделала его настоящей трибуной революционной пропаганды и включила в цепь тех идейных средств, которые мобилизовывала на дело служения своему лозунгу «равенства, братства, свободы или смерти» — лозунгу, который, как это казалось людям девяносто третьего года, открывал перед всем человечеством путь к окончательному торжеству социальной справедливости.

Сравнивая буржуазные революции с революцией пролетарской, Карл Маркс отметил, что первые «быстрее стремятся от успеха к успеху, их драматические эффекты внушительнее, люди и события

как бы озарены бенгальским огнем, экстаз является господствующим настроением каждого дня; но они быстротечны, скоро достигают своего апогея, и продолжительная апатия похмелья охватывает общество, прежде чем оно успевает твердо усвоить себе результаты периода бури и натиска». В апатии подобного похмелья буржуазная революция незаметно перевалила рубеж XIX века уже в качестве добычи буржуазного цезаризма. Солдаты, разгонявшие Совет пятисот, возвращались из Сен-Клу еще с пением старых революционных песен. Некоторое время даже коронованный Наполеон официально именовался «императором французской республики». С революцией, которая поразила весь мир своим героизмом и своими смелыми дерзаниями, было, как казалось, покончено. Однако наследие французской буржуазной революции и утвержденный ею новый порядок уже не могли быть вычеркнуты из истории. Французская революция «всему миру дала такие устои буржуазной демократии, буржуазной свободы, которые были уже неустраняемы» (Ленин). На этих устоях основывалось и огромное влияние, которое французская революция оказала на все дальнейшее развитие европейской

литературы и искусства. По самой природе своей буржуазная революция не была призвана к тому, чтобы в процессе своего осуществления создать великие памятники культуры. Открыв путь буржуазной культуре XIX века, она в той или иной степени явилась исходом мощного движения в области литературы и искусства, путь которого лежал от прогрессивного романтизма к высокому реализму величайших представителей буржуазной литературы и буржуазного искусства XIX века. Во всех областях художественного творчества последующего столетия мы найдем развитие того, что зародилось в 1789—1799 гг. Вплоть до эпохи Великой Октябрьской социалистической революции развитие это шло тем путем, каким развивалось буржуазное общество — от дней революционной героики до дней заката и разложения.

С эпохой Великой Октябрьской социалистической революции литература и искусство вступили в новый период своей жизни, в период, сменивший буржуазную свободу истинной свободой социалистического общества и буржуазный демократизм истинным демократизмом эпохи Сталинской Конституции.



М. ГОРЬКИЙ
(1890 г.)

Горький и современники

АН. ВОЛКОВ



Историческое значение Горького с особенной ясностью вскрывается на фоне современной ему русской литературы. В литературном процессе конца XIX и начала XX века Горький играл исключительную роль. Своим творчеством и всей своей деятельностью он сплачивал передовые силы культуры, боролся против реакции и всех видов идейного распада. Он продолжал славные традиции русской классической литературы, которые подвергались тогда дискредитации со стороны всевозможных циников. Эти традиции требовалось защищать, нужно было поддерживать честь и престиж великой русской литературы перед всем миром. Горький блестяще справился с этой задачей не только как организатор демократического фронта художников, но и как писатель — основоположник социалистической литературы.

Изучение творческих взаимоотношений Горького с писателями — старшими современниками, у которых он учился, и с молодыми литераторами, для которых Алексей Максимович сам явился учителем, — полнее раскрывает характер горьковского творчества, дает возможность понять его исторически в процессе развития. Не только Горький влияла на литературу своего времени, но и она влияла на его творчество. Это никак не противоречит тому, что Горький явился художником-новатором, ибо подлинное новаторство не исключает, а предполагает критическое освоение лучших традиций прошлого.

Вспомним, какую огромную роль сыграла литература в процессе воспитания молодого Горького. Чтение книг и огромные препятствия, которые преодолевал в связи с этим юноша Пешков, — это одна из наиболее интересных и потрясающих страниц биографии Горького. Благодаря книгам, раскрывшим иной мир, он по-новому взглянул на окружающую его жизнь и людей, увидел пошлость и тусклость мещанского прозябания. «Они (книги. — А. В.) показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне ото всего, о чем пишут книги, и трудно понять — что интересного в их жизни. Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, — не хочу...»¹.

Постепенно, также благодаря книге, Горький осознавал, что современный ему уклад жизни вовсе не вечен и не является обязательным законом человеческого бытия, как ему пытались это внушить хозяева. Впоследствии писатель свое отношение к действительности выразил в лаконичной фразе машиниста Нила из пьесы «Мещане»: «Нет такого расписания движения, чтобы не изменялось». Стремление к переделке основ общества, активное отношение к ним вошло в плоть и кровь Горького

¹ «В людях».

уже с ранних лет, а впоследствии стало движущей силой всего его творчества. Протест против существующих жизненных условий и жажда лучших побудили Горького к первым юношеским опытам, заставили его взяться за перо. «Нередко, — вспоминает он, — я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило и радовало меня; хотел рассказать, чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать, что стекольник Анатолий — мой друг, талантливейший парень, — погибнет, если не поможет ему; что проститутка Тереза — хороший человек и несправедливо, что она — проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что «Матица», старуха нищая, — умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева. Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурья Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда Предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу»¹.

Любовь к человеку, придавленному жизнью, была внушена Горькому хорошей книгой, ибо «книга, дружище, как хороший сад, где все есть: и приятное и полезное»².

Мальчик Алеша Пешков читал все, что попадалось ему под руку, в том числе много плохих книг, укладывавшихся в моральный кодекс хозяев. Но пылкий юноша скоро отличил «хорошую» и «полезную» книгу. Даже читая фантастические произведения, уносившие его в сказочный, иллюзорный мир, он делал вполне реальные выводы: «Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересных, запутан-

ных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь все идет об одном: хорошие люди несчастливы и гонимы дурными, дурные всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но, в конце концов, что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествует хорошее»¹. Чтение книг о «жизни необыкновенной» рождало у Горького бодрость, оптимизм, книги помогали ему «видеть действительность такой, какой она есть». «Рассказы великих художников вызывали у меня впечатление чуда», — вспоминал он впоследствии. Французская и русская классическая литература оказала на Горького огромное влияние, сыграла определяющую роль в формировании его эстетических взглядов. В произведениях классиков ему была близка жизненная правда, обличение человеческих пороков, порожденных обществом, построенным на основе волчьей морали. «Дед мой был жесток и скуп, но — я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака «Евгения Гранде»².

Горькому в классической литературе был близок горячий протест против такой жизни, которая калечила человека, убивала в нем все хорошее и светлое. Читая произведения Помяловского, он видел «томительную бедность» мещанской жизни, нищенство мещанского счастья. Помяловский оказал значительное влияние на Горького. «Я думаю, — писал Алексей Максимович, — что на мое отношение к жизни влияли — каждый по-своему — три писателя: Помяловский, Глеб Успенский и Лесков.

Возможно, что Помяловский «вливал» на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно встал против старой, дворянской литературной церкви, первый решительно указал литераторам на необходимость изучать всех участников жизни — нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих»³. В творчестве Помяловского Горькому импони-

¹ М. Горький. «О том, как я учился писать». «Литературно-критические статьи». Госиздат. 1937 г., стр. 343.

² «В людях».

¹ «В людях».

² Там же.

³ М. Горький. «Литературно-критические статьи», стр. 453.

ровали прежде всего антимещанские, протестантские идеи. Вспомним, что и в жизни писатель проявлял особый интерес к людям, стоящим вне норм, узаконенных обществом. Он внимательно присматривался ко всякого рода «ненормальным» людям, видя в них преимущества перед «нормальными» мещанами, хотя, разумеется, никак не связывал с ними своих собственных идеалов. Горький прежде всего отвергает человеконенавистничество, считающееся естественным в мещанском обществе.

Это дает нам возможность правильно понять смысл романтизма раннего Горького. Его культ героизма, возвышенных благородных черт в человеческом характере был антитезой пошлому «реализму» и в жизни, и в литературе 80-х годов.

Писатель-революционер со всей страстью выступил в первых своих художественных произведениях и статьях против мещанской литературы, коптающей в мелочах быта и канонизирующей его. В корреспонденциях, печатавшихся на страницах «Самарской газеты», Горький писал: «В данное время — время неопределенного шатания мысли, нищеты духа и упадка жизнеспособности — пресса более, чем когда-либо, должна быть на страже всего чистого и честного, более резко и живо будить совесть общества и поддерживать в нем надежду на себя самого и веру в будущее».

А она?

О чем она говорит?

Чем она живет?»¹.

Однако нельзя делать вывода о том, что Горький вообще отвергал всю литературу 80-х годов. Между тем такой взгляд очень широко распространен. Основан он на неправильном, одностороннем представлении о литературе 80-х годов. Последняя изображается как сплошь мрачное пятно, как разрыв со всеми демократическими традициями прошлого. Между тем мещанская беллетристика никак не характеризовала собой русскую литературу этого периода. Пусть по количеству имен и при-

верженцев она была на первом месте, пусть проповедывала господствовавшие общественно-политические идеи, но от этого вовсе не была в центре эпохи. Ведь и во времена Пушкина было много приверженцев Булгарина и его школы: но последующие поколения о них забыли, а 30-е годы остались пушкинским периодом русской литературы. И как бы ни были жестоки преследования ее, она гордо пронесла свое великое знамя гуманизма и освобождения человека. Она противостояла реакции, являясь единственной трибуной борьбы с ней. 80-е годы, так же как и тридцатые, характеризуются не мелкотравчатыми произведениями мещанской беллетристики, а именами Салтыкова-Щедрина, Успенского, Л. Толстого, Гаршина, Чехова, Короленко, Мамина-Сибиряка, Лескова — писателей, которые по своему таланту и идейной значимости оставляют позади всех многоликих «восьмидесятников».

И эту линию большой русской литературы унаследовал и продолжил Горький. Он был органически связан с передовой, прогрессивной литературой 80—90-х годов. Многие передовые идеи ее были восприняты и критически освоены великим писателем. Его сближает с Щедриным беспощадная критика лицемерной либеральной интеллигенции, с Толстым — срывание масок с господствующих классов, с Чеховым — изображение пошлости мещанского прозябания, с Маминим-Сибиряком — критика капиталистических хищников, с Успенским — беспощадный реализм в изображении народной жизни, с Лесковым — прекрасное знание русского народа и русского языка. Горький унаследовал гуманизм современной ему литературы, наполнил его новым социалистическим содержанием.

С первых же шагов своей творческой деятельности он проявляет большой интерес к старшим современникам демократического лагеря. Он завязывает личные отношения с Короленко, Чеховым, Толстым, Маминим-Сибиряком, а мы знаем, что в своих личных отношениях к людям и в своем интересе к ним Горький был всегда принципиален. Каждого из этих писателей он называл

¹ «Самарская газета», 1895 г. № 205.

своим учителем, и это не было просто фразой — он прошел благотворную школу у них.

Первым, с кем встретился Алексей Максимович из художников-современников, был Короленко. К нему он явился с поэмой «Песнь старого дуба». Короленко тепло отнесся к начинающему писателю и горячо говорил ему о высоких задачах литературы. Ценными своими советами и указаниями он помог Горькому в его ранних творческих начинаниях. «Короленко первый сказал мне веские человеческие слова о значении формы, о красоте фразы, — писал впоследствии Алексей Максимович. — Я был удивлен простотой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — нелегкое дело»¹. Короленко был близок к Горькому той борьбой, которую он со всей страстью вел в Нижнем с пороками тогдашнего общества. По характеристике одного нижегородца, Короленко выступал как «губернский предводитель оппозиции властям». По его совету, Горький переезжает в Самару, выступает там на журналистском поприще. В этот период он поддерживает оживленную переписку с Короленко, из которой видно, что именно их сближает. Переписка показывает, что Горький видел в лице Короленко своего союзника в борьбе с общим врагом. В письмах он жалуетя Короленко на дурное влияние прессы, на нравы общества. Он подвергает критике взгляд на женщину, господствовавший в кругах, с которыми ему приходилось сталкиваться. В одном из писем рассказывает о своем аресте за «распространение» воззваний среди рабочих. Как видим, самая тема переписки двух художников свидетельствует о характере их отношений. Но в этих же письмах вскрывается и различие их взглядов на одни и те же факты общественной жизни. Короленко отмечает резкость Горького, указывает, что напрасно он огулом оскорбляет самарского обывателя. «Вы что-то унываете и оскорбляете самарского обывателя в ваших письмах огулом.

Бросьте, Алексей Максимович, всюду люди, всюду большинство такое же, как и в Самаре, прислушайтесь только — найдутся люди, перед которыми и мы с вами спасуем»¹. Короленко уговаривает Горького не быть резким, говорит о бесполезности обвинения общественной среды. «Обвинять среду — тоже значит кидать слова на ветер»². Короленко, в конечном счете, сглаживал общественные противоречия, а Горький, наоборот, всячески подчеркивал их, видя корни людских пороков в общественной среде. Но это различие во взглядах не помешало Алексею Максимовичу с большим уважением относиться к Короленко-художнику и публицисту, считать его своим учителем. Горький высоко ценит рассказ Короленко «Река играет», в котором он видит типический образ патриархального крестьянина в лице Тюлина. «Это любимый рассказ, — писал впоследствии Горький Короленко, — я думаю, что он очень помог мне в понимании «русской души» — души тех людей, которые, год проработав, — десять лет отдыхают в грязи и всяческом хаосе»³.

Горький также преклоняется перед талантом другого своего старшего современника — Чехова. Он обращается к нему с письмом, в котором говорит о своем великом уважении и горячей любви. Ко времени личного знакомства с Чеховым Горький был уже известным писателем — автором двух томов «Очерков и рассказов». Поэтому с самого же начала он не только преклоняется перед Чеховым и подчеркивает, что для него ценно в чеховском таланте, но и формулирует свой взгляд на жизнь и литературу, существенно отличный от чеховского. Горький имеет свою идейно-эстетическую позицию и со своими собственными критериями подходит к творчеству Чехова. Уже в первом письме он указывает, что чеховский талант опутан «подлыми узами будничной жизни — и потому он тоскует»⁴.

¹ Из неопубликованных материалов.

² То же.

³ То же.

⁴ М. Горький. «Материалы и исследования», т. II, стр. 139.

¹ М. Горький. «Время Короленко». Собр. соч., т. XVIII, стр. 146.

В рецензии на рассказ Чехова «В овраге», напечатанной в журнале «Жизнь», Горький отмечает «страшную силу таланта Чехова», заключающуюся в том, что «он никогда ничего не выдумывает от себя»¹, что он возбуждает отражение в людях «к этой сонной, полумертвой жизни — чорт бы ее побрал!». Горький видел, что «беспокойная книга» Чехова ставит перед людьми каверзные вопросы о цели и смысле их жизни, видел, что рассказы Чехова объективно вовсе не были «хмурыми», а, наоборот, усиливали в людях «ноту бодрости и любви к жизни»².

Но в этом же пункте Горький расходится с Чеховым, видя ограниченность его реализма, указывая, что «настало время нужды в героическом», чтобы люди зажили «лучше, красивее»³. В своих произведениях Горький зовет людей к героическим подвигам, к борьбе с пошлостью жизни, к изменению ее. В этом состоит своеобразие горьковского подхода к жизни, его идеала человека — активного преобразователя действительности.

Так же критически и в то же время, как к учителю, подошел Горький и к великому своему старшему современнику Л. Толстому. Интерес к нему у Алексея Максимовича проявился уже в ранние годы. В 1889 году он ходил в Ясную Поляну, но не застал там знаменитого писателя, и, таким образом, первая их встреча состоялась лишь много лет спустя — 16 января 1900 г.

В письме к Коцюбинскому Горький рассказывает, какое огромное впечатление произвела на него смерть Толстого: «Заревел я отчаяннейше и целый день плакал, — первый раз в жизни так мучительно, неутешно и долго. Плакал и все что-то писал о Толстом, не для печати, конечно, а так вообще, надо было горе излить. В душе этой много чуждого и прямо враждебного мне, но не думал я, что так глубоко и жадно люблю человека Толстого». Разумеется, Горький,

признаваясь в глубокой любви к Толстому - человеку, имел в виду прежде всего Толстого - художника. Горькому была близка его беспощадная критика общественного строя, его атеизм: «Я все не верил, — писал Горький о Толстом в одном из своих писем Чехову, — что он атеист, хотя и чувствовал это, а теперь, когда я слышал, как он говорит о Христе, и видел его глаза, — слишком умные для верующего, — знаю, что он именно атеист и глубокий»¹.

Вместе с тем Горький был далек от апологетики Л. Толстого и сумел критически подойти к его мировоззрению и творчеству. Так, он резко отзывается о «Власти тьмы», поставленной в Малом театре². Несколько лет спустя он пишет статью «Разрушение личности», в которой высоко оценивает художественное творчество Толстого и в то же время подвергает беспощадной критике его как проповедника. В лекциях по истории русской литературы, читанных в каприйской школе, Горький дает блестящую характеристику гениального художника, очень близкую к ленинской.

Несмотря на принципиальное различие этих двух великих мастеров слова, мы видим, что их очень многое объединяет. Характерно, что, когда в литературе наблюдалось крушение большого эпического жанра, оба они выступили с большими полотнами, в которых дали широкую картину русской жизни. В 1889 г. вышло «Воскресение» Толстого и в этом же году «Фома Гордеев» Горького, а за ним в следующем году — «Трое». Здесь не только жанровая перекличка писателей. Оба они изображают протестантов (правда, с различных точек зрения). У Толстого Нехлюдов разоблачает порочность общественного строя. У Горького Илья Лунев и Фома Гордеев произносят грозные речи по адресу господствующих классов.

Личные отношения у Алексея Максимовича существовали и с другими писателями старшего поколения — Карони-

¹ М. Горький. «Материалы и исследования», т. II, стр. 90.

² Там же, стр. 93.

³ Там же, стр. 186.

¹ Горький. «Материалы и исследования», т. II, стр. 189. Письмо к Чехову.

² Там же, стр. 186.

ным-Петропавловским, Маминым-Сибиряком. В основе этих отношений сквозит тот же критический подход Горького к учителям, хотя многое его с ними и роднит.

Горький выступил преемником лучших заветов своих старших современников. Вопрос о его преемственности поднимался уже в дореволюционной печати. Так, реакционная газета «Новое время» напечатала статью под названием «Отец, сын и внук»¹. В ней Горький рассматривается как продолжатель Толстого и Чехова. Но преемственность эта дается в совершенно ложной интерпретации. Статья утверждает, что если Толстой зашел в тупик, а Чехов сделал крайний вывод из Толстого, то Горький явился «вождем» тех людей, которые «просят жизни».

В действительности преемственность Горького сказалась совершенно в другом. Он продолжил и углубил критику основ данного общества, порождающего несправедливость и пошлость, и показал путь к борьбе за иные общественные отношения. В этом, прежде всего, идейное новаторство писателя. Неразрывная связь критики и положительной программы, характерная для него, дала возможность ему восполнить исторический пробел в творчестве своих учителей.

У Горького была ясно выраженная идейная программа, сочетавшаяся с громадной культурой. Он выступил как гуманист, провозгласивший культ разума, культ человека, хозяина природы, преобразователя общества на новых, разумных началах. Он страстно боролся за свои идеалы, не только творчеством, но всей своей деятельностью. Ясная позитивная программа, популярность в народе и большая культура обеспечили за Горьким к началу XX века роль вождя демократической литературы. Он никогда не отделял себя от современного литературного движения, а стремился каждый честный талант обратить на службу прогрессу и демократии. Вот почему он тесно связывается с писателями демократической ориентации и с

передовой демократической интеллигенцией.

В критике того времени была попытка представить Горького как одиночку, врага интеллигенции. Да, Горький был врагом пошлой либеральной интеллигенции, он ненавидел людей, у которых за свободолюбивыми фразами скрывалась рабская, мещанская душонка. К интеллигентам, чуждым интересам народа, Горький с ранних лет питал ненависть. Но он в то же время очень высоко ценил тех людей умственного труда, которые вышли из народа и были связаны с ним, являлись создателями культурных ценностей, деятелями науки. Вспомним образ интеллигента Протасова в пьесе «Дети солнца», образ Медведевой в повести «Трое», вспомним образ Нади в пьесе «Враги», типы революционных интеллигентов в повести «Мать», и мы увидим, что не всякую интеллигенцию Горький третировал, как это пыталась утверждать реакционная критика.

Наряду с показом рабочих-революционеров, по всему творчеству Горького, вплоть до «Жизни Клима Самгина», длинной галлереей пройдут образы передовых интеллигентов. Их он противопоставляет таким «героям», как Клима Самгин. Так же подходил писатель к интеллигенции и в жизни. Он глубоко презирал людей типа Бердяева, Гиппиус, Мережковского, считавших себя солью земли, а на самом деле являвшихся жалкими игрушками господствующих классов. В одном из писем к Миролубову Горький писал о Мережковском: «Это жулик, это — маленькая умная bestия. Речами о боге, о Христе он хочет добиться каких-нибудь благ жизни, чего-нибудь для удовлетворения честолюбивой своей душонки». Горькому были глубоко чужды всякого рода богоскательские стремления Мережковского, о которых он говорит в том же письме с большим презрением: «Посмотрел бы я на всех этих искателей бога... Думаю, что все это — людишки, принявшие бога искать от страха перед собой за пустоту своей жизни или от страха перед противоречиями ее»¹.

¹ Газета «Новое время», № 9030, 1901 г. 20 апреля.

¹ Из неопубликованных материалов.

Точно так же Горький решительно отвергал всякого рода эстетские кривлянья декадентов. «Ваш «Пруд», — писал он Ремизову, — как ваш почерк, нечто искусственное, вычурное и манерное. Порой прямо противно читать — так это грубо и нездорово, уродливо и намеренно уродливо, вот что хуже всего»¹.

Горькому органически враждебно отношение декадентов к действительности. В рецензии на книгу стихов Сологуба Горький писал: «Пессимизм и полное безучастие к действительности, страстный порыв куда-то вверх, в небо, и сознание своего бессилия, ясно ощущаемое отсутствие крыльев у поэтов, отсутствие святого духа в сердцах их — вот основные ноты и темы нашей новой поэзии»².

Горький отрицательно относится к декадентским изыскам, считая их результатом идейного распада. «Как все культурное общество, — писал он о декадентах, — они рабы жизни, болезненно бьются в ней, как мухи в паутине, и раздражительно жужжат, наводя уныние и тоску и своей работой еще более обезцвечивая окружающее»³. Как видим, здесь писатель ставит знак равенства между декадентами и «культурным обществом», к которому он относится отрицательно, прекрасно понимая, что его культура — только внешнее явление, скрывающее за собой интересы узкой социальной прослойки, оторванной от подлинно культурных ценностей, созданных народом.

Писатели нового поколения, продолжавшие традиции старой реалистической литературы, пользовались неизменной симпатией Горького. Еще находясь в Нижнем и изредка приезжая в Москву, он связывается с литераторами, группирующимися на Средах Телешева. В своих мемуарах последний сообщает:

«Горький наезжал нередко в Москву и всегда бывал на наших Средах. По его словам, ему нравились эти товарище-

ские собрания, где в интимном кругу молодых писателей сами авторы читают свои новинки, еще не появившиеся в печати, самые свежие, прямо из-под пера, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения».

Среды Н. Телешева имели свою историю и пред'историю. Они сыграли очень большую роль в русской литературе, с ними связаны все передовые и прогрессивные ее элементы. На протяжении ряда лет Среды объединяли лучших писателей, многие из которых через них приобрели к литературе. Среды возникли в начале девяностых годов при редакциях журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок». Сразу же они приняли оппозиционный характер и ориентировались на позицию тогдашней «Русской мысли». Постепенно группа молодых членов кружка создала свой параллельный, более интимный кружок, который начал собираться по средам у Телешева. В него вошли братья Бунины, Серафимович, Скиталец, Андреев, Вересаев, Куприн, Юшкевич, Тимковский, Гарин-Михайловский, Чириков, Найденов и др. Впоследствии Белоусов писал о телешевском кружке: «Это объединение сыграло немаловажную роль в деле развития и укрепления того направления в русской литературе, которое господствовало в России в девяностых годах; влияние Сред на беллетристов и поэтов того времени было очень заметно»¹.

Конечно, нельзя представлять себе Среды, как какое-то революционное объединение, или даже как организацию, имеющую ясно выраженную идейную программу. Такой программы они не имели.

В Средах принимали участие не только молодые писатели, но и «старики» — Короленко, Мамин-Сибиряк, Чехов. «Бывал Антон Павлович у меня на литературной Среде и всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней» — писал в своих воспоминаниях Телешев. Тут же он приводил следующие слова Чехова, сказанные им незадолго до смерти,

¹ И. Белоусов. «Литературная Среда». — «Никитинские субботники», 1928 г., стр. 110.

¹ Из неопубликованных материалов.

² «Самарская газета», 1896 г., № 47, 28 февраля.

³ М. Горький. «Полю Верлен и декаденты». — «Самарская газета», 1896 г., 13 апреля.

перед отъездом на юг: «Умирать еду. Все кончено... Поклонитесь от меня товарищам вашим по Среде... Хороший народ у вас подобрался... Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня и счастья и успеха».

Несмотря на идейную и художественную разнородность участников, кружок писателей Сред по своему характеру был демократическим. И хотя он стоял на позиции невмешательства в политику, занимаясь преимущественно творческими вопросами, тем не менее боевой политический дух проникал в него, и это прежде всего связано с влиянием на Среды Горького. Ив. Белоусов пишет: «Помню горячие беседы М. Горького, когда он рассказывал о движении среди рабочих».

Особенно большую роль играли Среды в литературе накануне 1905 года. Этот кружок реагировал, как отмечает Н. Телешев, «на все выдающиеся явления общественной жизни. Отсюда нередко исходила инициатива всемогущего протеста по поводу особо возмутительных действий правительства». В числе инициаторов этих протестов и выступлений Телешев указывает Горького и Вересаева, писателей, связанных с пролетарским революционным движением. Можно привести в качестве примера письмо, хранящееся в рукописном отделе Института мировой литературы им. Горького, подписанное Андреевым, Скитальцем, Телешевым, Белоусовым, Б. Зайцевым и др. Это письмо относится к событиям, имевшим место в Москве 5 декабря 1904 года. В нем мы читаем: «5 декабря 1904 года в Москве в то время, когда часть населения пыталась заявить свое несочувствие существующему бюрократическому строю, полиция, заранее собранная в огромном количестве и скрытая во дворах и иных помещениях, нападала как на демонстрантов, так и на случайную публику. Полицейские рубили народ отточенными шашками, причиняя тяжкие раны и увечья. Стреляли в упор в убегающих из револьверов, загоняли толпами во дворы, где беспрепятственно били и изтязали беззащитных. Группа московских

писателей, выражая как свои чувства, так и чувства сознательной части общества, глубоко возмущенная этими зверствами московской администрации, высказывает насильникам свое отвращение и во всеуслышание заявляет, что эта действующая по произволу жестокая и грубая администрация лишней раз подтвердила, что существующий режим более терпим быть не может».

Нужно учесть, что письмо это писалось в годы предреволюционного подъема, накануне больших событий, которые нашли отражение и в литературе. В этот период происходит появление ряда писателей, в прошлом аполитичных и даже реакционных. К революции пристаю такие мимолетные попутчики, как Бальмонт, Минский и другие. Характерно, что цитированное выше письмо подписал и Бальмонт.

Ни в коем случае не переоценивая значения подобных выступлений, все же нужно сказать, что Среды оказывали благотворное влияние на писателей в годы революционного подъема. Идеи Горького тогда были особенно созвучны писателям, группировавшимся вокруг Сред. Вот почему Горький завоевывает в кружке идейно руководящую роль.

Однако влияние его на писателей, участников Сред, далеко не исчерпывалось непосредственно политическим воздействием и беседами. В это время Горький как художник приобретает огромную известность, становится писателем с мировым именем, ему подражают многие литераторы.

Деятельность Горького на Средях определялась его революционной позицией. Писатель и раньше был связан с революционным движением и революционными кружками Тифлиса, Нижнего, Казани. Уже в Нижнем в 1898 г. Горький активно помогает социал-демократической организации и ведет большую культурную, воспитательную работу среди местной интеллигенции. Недаром провокатор Гуревич доносил полиции: «Пешков удачно соединяет легальные занятия (участие в редакциях, обществах и т. п.) с подпольной деятельностью и таким образом всякое легальное дело превращает в революционное».

Полиция, установив слежку за Горьким, не выпускает его из виду. Аресты, преследования и тюремные заключения все более и более закаляют Горького как революционного борца. Вот почему проводы пролетарского писателя в Нижнем-Новгороде превратились в огромную революционную демонстрацию. О значении ее Ленин писал в «Искре», называя Горького «европейски знаменитым» писателем.

С 1902 г. Горький вплотную сближается с революционной социал-демократией. В октябре 1902 г. происходит встреча его с представителями партии. Писатель глубоко изучает революционное движение в Сормове, результатом чего явилась знаменитая повесть «Мать». В 1905 году Горький занимает твердую революционную позицию, за что подвергается репрессиям и тюремному заключению в Петропавловскую крепость. Связь с партией пролетариата оказала решающее влияние на все творчество пролетарского писателя и его биографию. Благодаря влиянию большевиков работа Горького в среде демократической интеллигенции приобрела отчетливый характер, ясную революционную цель. Линия, проводимая писателем в литературе, была той же самой линией, которую осуществляла партия в политической области. Большевики поднимали рабочий класс и крестьянство на борьбу с деспотизмом, за свержение самодержавия. И только в свете этой борьбы и можно понять характер и смысл позиций Горького как собирателя и руководителя демократического фронта в литературе. Только прочная связь его с пролетарской партией и объясняет нам ту идейную остроту и принципиальность, которые характеризуют всю деятельность Горького. Активное участие его в Средах, а затем в «Знании» было продиктовано интересами партии. Уже самый факт работы Горького в объединении писателей был революционизирующим фактом. В своей общественной деятельности Среды и «Знание» многим были обязаны Алексею Максимовичу. Так, по его инициативе «Знание» заключило договор с ЦК РСДРП на издание партийной литера-

туры. Благодаря влиянию Горького на квартире у Пятницкого проводились заседания ЦК партии. Для этой цели даже была использована квартира Л. Андреева, находившегося тогда в тесной дружбе с Горьким.

Вступив в члены товарищества «Знание», Горький скоро стал его руководителем. С его приходом «Знание» начало выпускать наряду с научно-популярной и общеобразовательной литературой произведения современных писателей и дешевую серию для народа. В издании «Знания» выходили произведения Горького, общий тираж которых достигал 5 миллионов экземпляров. По инициативе писателя с 1903 г. издаются сборники «Знание», завоевавшие большую популярность в читательских массах. Тираж их был неслыханный для того времени: первый сборник (1904 г.) отпечатан в 41 тыс. экземпляров и сразу же был распродан, второй — в 65 тыс. экземпляров. Содержание как первого, так и ряда последующих сборников составлялось из произведений, читанных авторами на Средах. Там и зародилась самая идея сборников. Горький лично приезжал на Среды за произведениями для сборников. Последние сыграли исключительно большую роль в истории русской литературы этой эпохи. Журнал «Образование» писал о них:

«Сборники товарищества «Знание», появившиеся с прошлого года, сразу завоевали себе большой успех среди читающей публики и пользуются громадным распространением. Эти «сборники» знакомят нас со всеми новинками русской изящной литературы — произведениями того молодого фланга ее деятелей, который наиболее чутко относится к жизни и ярко преследует демократические тенденции»¹.

Сборники «Знание» высоко оценивались на страницах и других прогрессивных изданий. Так, во «Всемирном вестнике» в рецензии говорится: «Сборник сразу занял в периодической литературе видное место. Сборниками интересуются, ждут с нетерпением выхода сле-

¹ Ник. Ашешов. «Из жизни и литературы». — «Образование». № 3, 1905 г.

дующей книжки. В них принимают участие наиболее блестящие представители молодого поколения писателей. Здесь были напечатаны самые значительные произведения последнего времени»¹. Вместе с тем реакционная печать резко обрушилась на сборники «Знание», третируя их демократическую тенденцию. «Весь» писали: «Сборники «Знание» расходятся в громадном количестве экземпляров; надо признать, что они развращают и принижают литературный вкус читателей. Все любящие русскую литературу должны бы бороться с влиянием этих сборников»².

Горький не только придавал боевой социально-острый характер сборникам, но и оказывал благотворное влияние на творчество ряда писателей, группировавшихся вокруг них. Он был их идейным и художественным воспитателем и руководителем. А. Куприн после выхода «Поединка» писал Горькому: «Теперь, наконец, когда все кончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит вам. Если вы бы знали, как многому я научился от вас и как я признателен вам за это». Л. Андреев, в лучший, демократический период своего творчества, прошедший под знаком дружбы с Горьким, испытал его влияние. «Пробуждением истинного интереса к литературе, — писал Андреев, — с сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на беллетристику... написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом». Влияние Горького испытывали и другие писатели, в частности Серафимович, Бунин, Скиталец. В своих воспоминаниях Скиталец пишет: «И действительно — его ласка, пылакая дружба, возгоревшаяся с этих пор между нами, его похвалы моему первому серьезному труду значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни все мои силы. В этом

было главное, чем он поддержал меня при первых моих шагах в литературе... Горький не ко мне одному так относился, он вообще искал тогда молодых писателей с целью набрать из их числа «литературную дружину», что вскоре и удалось ему, когда появились сборники «Знание» и блестящая группа знанивцев».

Горький, привлекая писателей к «Знанию», стремился использовать их в интересах под'ема общественного духа, возрождения родины.

Горький стремится объединить вокруг «Знания» не только русских писателей, но и лучших представителей национальных литератур. Горький привлекает к участию в «Знании» великого украинского писателя М. М. Коцюбинского, издает собрание его сочинений на русском языке. Горького связывала с Коцюбинским горячая дружба, длившаяся несколько лет. История этой дружбы, нашедшая частично свое выражение в их переписке, весьма показательна¹. Горький высоко ценил прежде всего горячий демократизм своего украинского собрата по литературе. Коцюбинский близок Горькому своей любовью к человеку, поисками человеческого, преклонением перед душевной красотой людей, наконец близостью к природе, в которой он видел начало, облагораживающее человека. В своих воспоминаниях о Коцюбинском Горький прежде всего отмечает демократизм и гуманизм певца украинского народа: «Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра. Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его мягкий голос, задумчивые слова:

¹ «Всемирный вестник», № 7, 1905 г.

² «Весь», № 4, 1905 г.

¹ М. Коцюбинский. «М. Горький». — «Листування». Харків — Київ. «Держ. вид. Укр.», 1929 г.

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявления человеческого» — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям, для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас, ведь, больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение... Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно»¹.

В мрачные годы реакции Коцюбинский остался верным идеалу свободного человека. Ряд его произведений этого периода проникнут горячим протестом против реакции. Его сближает с Горьким вера в победу революции, которая принесет освобождение украинскому народу.

Влияние Горького чувствуется в замечательной повести Коцюбинского «*Fata morgana*».

По переписке с авторами мы видим, как Алексей Максимович боролся за то, чтобы каждый честный талант направить в нужное русло, «отточить нож», и «ткнуть им, куда надо».

Горький выступает как внимательный редактор-учитель. Он тщательно отбирает произведения, печатающиеся на страницах сборников «Знания», правит рукописи, стараясь придать им социально острый характер и ясную художественную форму. Так, например, в письме к Айзману Алексей Максимович указывает: «Рассказ ваш не понравился мне. Собственно — «гнева» в нем нет — написан он слишком длинно, эту тему, мне думается, следовало бы обработать короче — она от этого станет рельефнее, ярче. Обратите внимание — места вы впадаете в тон Леонида Андреева. Зачем вам? Есть у вас свое—его вы и развивайте».

В письме Горького к авторам «Знания» мы встретим немало строк, подобных следующим, адресованным Черемнову: «Я взял на себя смелость испачкать вашу тетрадь замечаниями по пово-

ду ваших стихов. Меня побуждает вмешиваться в вашу жизнь вера в талант ваш, я писал вам уже об этом, кажетя».

Писатели-знаниевцы внимательно прислушивались к советам и указаниям Горького: «Верно, Алексеюшка, то, что ты скажешь для меня, самое важное» — писал Андреев в одном из писем Горькому (1904 г.). В другом его письме мы читаем: «Жалко мне, что ты не был первый, кому я прочел рассказ: пока ты не высказался, у меня остается недоверие к вещи. По совести, между нами, она бледна для темы. Некто посоветовал мне выбросить отрывок 15-й, говорит — рассудлив очень — посмотри, друже, может, и правда»¹. Подобных писем Горький получал немало.

Благодаря руководству Горького на страницах «Знания» широко отразились настроения революционного под'ема. Даже идейно неустойчивые писатели попадали в унисон революционно-демократическим установкам сборника. Так, Е. Чириков пишет «Красные огни», Л. Андреев — «К звездам», Бунин — «Чернозем». В критике была отмечена революционность бунинского рассказа «Чернозем», рассказа Гусева-Оренбургского «В приходе», в котором выражен «мятежный дух» современной деревни². Революционные тенденции особенно сильно сказались в творчестве Серафимовича, Скитальца, Гарина-Михайловского, Юшкевича, Вересаева.

Царская цензура преследовала сборники. Особое ее внимание привлекали произведения Горького («Мать», «Враги», «Жизнь ненужного человека» и др.). Цензура усматривала преступление в произведениях А. С. Серафимовича («Похоронный марш среди ночи»), Скитальца («Лес разгорается»), Юшкевича («Еврей», «Король», «Голод», «Чужая»), Чирикова («На поручках», «Красные огни», «Мужики», «Еврей»), Гарина-Михайловского («Инженеры») и др.*

¹ Н. Ашешов. «Из жизни и литературы». — «Образование», № 3. 1905 год.

² Там же.

¹ «Вестник Европы», 1913 г., № 7, стр. 323.

Несмотря на неоднородность состава, творчество участников «Знания» характеризуется гуманизмом и демократизмом. Идейным манифестом «Знания» явился горьковский «Человек», напечатанный в первом сборнике. Стремление к гуманистической трактовке человека определяло в главных чертах творческое лицо «Знания».

Конечно, никто из писателей, авторов «Знания», не поднимался до такой вершины художественной разработки проблемы человека, как Горький. Но тенденция к демократическому разрешению этой проблемы была весьма знаменательна и ценна. Реакционная и мещанская литература тогда низвела человека до уровня животного. Вся система общественного строя унижала человеческую личность, и поэтому борьба с социальным гнетом, которую вело «Знание», была глубоко прогрессивна. В противовес ницшеанскому сверхчеловеку и арцыбашевскому Санину Горький провозгласил путь человека труда, двигателя прогресса, поборника освобождения от гнета. Писатели, объединившиеся в «Знание», вели борьбу за человеческую личность, горячо протестовали против унижения человеческого достоинства. Проблема маленького человека стала центральной в творчестве писателей нового поколения. Накануне 1905 года прогрессивные слои русской интеллигенции поднялись на борьбу против самодержавия во имя освобождения личности, и это нашло свое отражение на страницах «Знания».

В творчестве Куприна сказались влияние Горького в самом факте интереса к людям отверженным, противостоящим владыкам мира. В центре внимания Куприна — поиски человека и человечности в среде маленьких людей, протестующих против господствующей морали. С гуманистических позиций «ущемленного» человека писателем дается резкая критика данного общественного строя, уродующего личность. Человек Куприна имеет иной социальный адрес, нежели человек Горького. Купринский герой — это одиночка, не имеющий общественной поддержки, муча-

ющийся в поисках перспектив жизни и попадающий в тупик. Таков Ромашов — герой «Поединка», напечатанного в «Знании».

Бунин ставит в произведениях того времени тему о социальном неравенстве людей, о гнете, довлеющем над людьми труда. Однако уже с самого начала при наличии некоторой близости Бунина с Горьким вскрывается принципиальная разница позиций их в трактовке темы человека. Для Бунина характерен беспросветный пессимизм, а для Горького — революционный оптимизм. Это различие позиций мы видим в трактовке одной и той же темы крестьянства — в повести «Деревня» Бунина и повести «Лето» Горького. И, тем не менее, в данную эпоху Бунин играл прогрессивную роль. Он не только объективно, своими произведениями, но и субъективно противостоял декадентству, о чем, например, свидетельствует его письмо к А. Тинякову (Архив Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина).

Годы связи Л. Андреева со «Знанием» и А. М. Горьким — лучший период его творчества. Первые рассказы Андреева представляют правдивые картины народной жизни. Внимание художника сосредоточивается на людях из трудового народа с их реальными печальми и несчастьями. Оптимистическими настроениями, характерными для Андреева этого периода, он в известной мере сближался с Горьким. Не только идейно, но и художественно Андреев этого периода отличен от позднейшего — автора «Елеазара» и «Тьмы», хотя зародыши, элементы «андреевщины» у него уже были и тогда. Уже в это время чувствовалась принципиально иная трактовка им темы человека. Андреев все более и более приходит к неверию в человека, подчеркивает стихийность его поведения, господство над людьми необъяснимой силы рока. Антиреалистические элементы в его творчестве получают широкий расцвет после 1905 года, когда Андреев станет в противовес Горькому притягательным центром антиреалистических элементов литературы.

Дифференциация в среде участников «Знания» с особенной ясностью происходит после поражения революции, когда кратковременные ее попутчики шахрахнулись в сторону, и по всем линиям, по всем фронтам одержала победу реакция. «Поражение революции 1905 года породило распад и разложение в среде попутчиков революции. Особенно усилились разложение и упадочничество среди интеллигенции»¹. Это нашло свое отражение и в литературе. «Появилась целая орава модных писателей, которые «критиковали» и «разносили» марксизм, оплевывали революцию, издевались над ней, воспевали предательство, воспевали половой разврат под видом «культы личности»².

В противовес горьковскому «Знанию» создаются новые идейные центры в литературе — альманах «Шиповник», руководимый Андреевым и Ф. Сологубом, альманах «Жизнь», руководимый Арцыбашевым. Здесь культивируется половой разврат под видом культуры личности и всячески дискредитируется революция и революционеры. Программными произведениями «Шиповника» явились «Навь чары» Сологуба и «Тьма» Андреева. Разнузданная эротомания и цинизм нашли свое отражение на страницах арцыбашевской «Жизни», вызвавшие резко враждебное отношение Горького. «Противна мне эта «Жизнь», — писал он, — противно знать, что в русской литературе, где женщина по праву занимала столь высокое место, ныне люди больного воображения тащат ее в грязь и всячески плюют на нее»³. Часть знаниевцев отходит от Горького и объединяется вокруг «Шиповника» и «Жизни». Ряд журналов и изданий, считавшихся в прошлом революционными и прогрессивными, как, например, «Современный мир» и «Образование», приспосабливаются к господствующим настроениям. На страницах «Современного мира» печатается «Санин» Арцыбашева.

¹ «Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 96.

² Там же, стр. 96—97.

³ Архив Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

Горький упрекает «Современный мир» за пренебрежительное отношение к демократии. В письме к Иорданскому, редактору журнала, он пишет: «Считая себя социалистами и демократами, вы очень мало внимания обращаете именно на демократию, на те настроения, которыми она живет... Эх, господа... не уключий и пассивный вы народ! Особенно плохо то, что жизнь современной демократии вас, очевидно, мало интересует»¹.

Это письмо к редактору журнала меньшевистской ориентации — одно из свидетельств непримиримой, последовательно-революционной линии Горького в литературе. Позиция писателя этих лет характеризуется еще более тесным организационным и политическим сближением с партией пролетариата. Уже в 1905 году Горький активно осуществляет политику большевиков. Он организует большую политическую газету «Новая жизнь» — первый легальный большевистский печатный орган. С шестого номера эту газету редактирует Ленин. В дни революционной борьбы 1905 г. у Горького на квартире готовились бомбы, осуществлялась помощь восстанию. Читка Горьким «Детей солнца» была использована для материальной, финансовой помощи восстанию — с присутствующих брали по 25 рублей на дело революции. После поражения революции 1905 г. Горький едет за границу для сбора средств в кассу большевиков. Находясь за границей, Горький выполняет поручения большевистской партии и проводит ее политику. В 1907 г. он принимает участие в работах V Лондонского съезда РСДРП, где впервые знакомится с Лениным, с которым у него впоследствии устанавливаются тесные, дружеские отношения. Дружба и переписка с Лениным оказали огромное влияние на Горького, на всю его деятельность как организатора прогрессивных сил в литературе. Участие Горького в большевистских изданиях (газета «Звезда», журнал «Просвещение») сочетается с его идейным

¹ В. Голубев. «Горький и «Знание». — «Звезда». 1938 г., № 10

руководством «Знанием». Горький занимает непримиримую позицию в отношении к литературному распаду.

«Мое отношение к пессимизму, ко всем иным выражениям психического распада личности в русской литературе становится все более враждебным» — писал он в 1908 г. Айзману. В статьях «О современности», «О цинизме», «Разрушение личности» Горький дает характеристику литературного распада. Находясь за границей, он внимательно следит за русской литературой и в своих многочисленных письмах к русским литераторам высказывает резко враждебное отношение к ренегатству и распаду.

В статье «О современности» Горький отмечает, что «даже и крупные литераторы находятся в сильном подчинении подленьким интересам все растушей уличной прессы и вольно или невольно служат ей, непоправимо компрометируя себя в глазах читателя-демократа — самого ценного читателя в стране. Ныне крупный писатель уже не брезгует дружбой с хриstopродавцами и словоблудами». Горький клеймит проповедников «свободы личности», указывая, что ими «свобода понимается исключительно как свобода торговли словом, свобода лжи, клеветы и клоунского издевательства над святынями»¹. В этой борьбе с проповедниками псевдосвободы Горький сближается с позицией Ленина в его статье «Партийная организация и партийная литература».

Горький выражает готовность организовать отпор циникам от литературы по всей линии. Это желание Горького продиктовано горячей любовью к своей родине и русской литературе. «И вот наша очередная задача и работа: собрать рассеянную энергию, освободить ее из сети и цепей различных недоумений, испугов, неверий и т. п. китайской чепухи. Эта работа — только примись за нее — снова возвратила бы литературе русской ее значение, снова поставила бы ее в позицию, с которой разные «услуживающие» сдвигали и сдвинули ее». Эти строки взяты нами из письма

Горького к Л. Андрееву, в котором он подвергает резкой критике андреевскую «Тьму», замечая при этом: «В общей пляске над могилами и ты принял некоторое участие».

В этот период Андреев проявляет «трогательную» дружбу к Сологубу, выступает с дикими обвинениями по адресу Горького. «Ты — Максим Горький, не уважаешь ни человека вообще, ни писателя, как не уважают его военно-полевые судьи и все те, кто с легким сердцем бросает человеку обвинение в гнусности»¹. Андреев даже сближает Горького «с господами из «Вех», чуть ли не с Родионовым»². Андреев полемизирует с Горьким по поводу его отношения к Достоевскому: «Запад отравил твой глаза приемами своей борьбы, и ты перестал понимать, что наши приемы борьбы совсем другие, и что злой гений наш Достоевский есть именно бунтарь, учитель активности и тебя научивший бунту»³. Как видим, Андреев пытается облечь свою реакционную позицию в левые фразы — и это очень для него характерно. Так, обращаясь в цензурный комитет в связи с запрещением его «Океана», Андреев писал: «Насколько велико недоразумение, насколько неправа цензура, если в этом отменном человеке (аббат), искреннем христианине и прекрасном пастыре, она может усмотреть что-либо враждебное православной церкви или христианству». И далее: «Дикому Хачгару, который является носителем некоего неорганизованного, космического начала, я противопоставляю твердо религиозного человека, в известном смысле организованную душу»⁴. Пути Андреева и Горького резко расходятся. Это находит отражение не только в творчестве писателей, но и в личных их отношениях.

Зато Горький проявляет чуткое внимание к писателям, сохранявшим верность лучшим революционным тради-

¹ М. Горький. «Материалы и исследования». Т. I, стр. 159.

² Там же, стр. 163.

³ Там же, стр. 164.

⁴ Из неопубликованных материалов рукописного отд. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

циям и заветам прошлого. Он оказывает воздействие на Бунина, который тогда еще не поддавался господствующему настроению и сохранял критический взгляд на действительность. Горький обращается с письмом к Короленко, в котором делится своими впечатлениями о современном распаде в литературе. В письме к И. Белоусову Алексей Максимович предлагает кандидатуру Короленко в качестве редактора журнала «Путь», выказывая тем самым свое глубокое уважение к этому непримиримому демократическому борцу.

Тесная связь Горького с партией пролетариата, участие его в большевистских изданиях, наконец огромный успех в массах повести «Мать» сделали Горького притягательным центром в глазах многочисленных писателей из трудового народа. Огромное количество писем и рукописей направляется к нему из самых отдаленных городов и деревень России. Горький внимательно читал эти письма и рукописи и находил в них отражение дум и чаяний народа.

В статье «О писателях-самоучках» (1912 г.) Горький писал: «Наступило время, опровергающее когда-то правильные утверждения В. Н. Майкова и других, кто говорил: «в русском крестьянстве нет идей»... у «русского народа множество суеверий, но нет идей», — мне кажется, что в русском народе рождается идея и как-раз та, которая может духовно выпрямить его — именно: идея активного отношения к жизни, к людям, к природе». Эта же идея активного отношения к жизни характерна, — как неоднократно подчеркивает Горький, — и для рабочего класса. Эту мысль Горький не только высказывал в теории, но и достаточно полно воплотил в своей художественной практике: яркий пример — повесть «Мать». Новейшая литература, проповедующая пассивизм и растерянность перед жизнью, резко противостоит народу. Именно здесь особенно ясно вскрывается ее антинародность. Горький на примере многочисленных произведений писателей-самоучек из народа показывает идейную противоположность эстетики, рождающейся в народе, эстетике декаданса.

Если в новейшей литературе центральной фигурой выступает расслабленный неврастеник, двуногое животное, Санин, то «из самой массы русского народа возникает к жизни новый тип человека, это — человек, бодрый духом, полный горячей жажды приобщиться культуре, вылечившийся от фатализма и пессимизма, а потому дееспособный». Эта противоположность вскрывается в темах и в их трактовке. «Темы моих писателей, — пишет Горький о писателях-самоучках, — крайне редко совпадают с темами признанных литераторов. Мне известно, что «Санин» очень усердно читался в рабочей среде, но у меня не было ни одной рукописи, в которой заметно сказало бы влияние этой книги. Укажу на то, что большинство пьес пишется под явным влиянием «Жизни человека», «Царя голода», но и это влияние — внешнее: берут форму, а не настроение автора, не его отношение к жизни. По вопросу пола написаны два рассказа, причем один из них, имея характер публицистический, представляет собою горячую отповедь «половикам». «Богоискательство» — течение, столь нашумевшее в Петербурге, — не отразилось ни в одной из рукописей, бывших у меня в руках. Анархизм тоже не отражен».

Горький подробно аргументирует это положение на обильном материале. За время с 1906 по 1910 г. им было прочитано более 400 рукописей писателей из народа — рабочих, крестьян, ремесленников. Горький ни в какой мере не переоценивает художественных качеств писателей-самоучек. Он более чем кто бы то ни было трезво вскрывает их слабости, но за художественной слабостью, а подчас и просто литературной неграмотностью, он вскрывает их главные идейные тенденции, в корне противоположные тенденциям литературы декаданса. На основании разбора многочисленных литературно незрелых произведений он делает вывод, что в них заключены подлинные мысли и чувства народных масс, а писатели, обладающие литературным талантом, но погруженные в дебри эротики, мистики, индивидуализма, наоборот, демонстрируют ан-

тидемократизм и антинародность. Горький приводит несколько резко отрицательных отзывов читателей — рабочих и крестьян — о произведениях современной, модернистской литературы. Эти читатели, проявляя нелюбовь, а, в лучшем случае, равнодушие к литературе модерна, в то же время высоко ценят творчество классиков. Для писателей из народа характерен реалистический подход к изображаемому событиям.

Горький становится притягательным центром молодой пролетарской литературы.

При руководящем участии Горького выпускается в свет сборник произведений пролетарских писателей. В предисловии к нему Горький ориентирует последних на широкую дорогу мировой культуры. Горький в отличие от многочисленных теоретиков, культивировавших сектантский подход к пролетарской литературе, относится к ней с точки зрения больших задач прогресса, культуры и возрождения родины.

Горький в этот период проявляет большой интерес к национальным литературам. Он выступает за тесное сотрудничество иноплеменных литераторов, предлагает издателям выпустить ряд сборников национальных литератур.

Империалистическая война застала Горького на посту организатора пролетарской и демократической литературы. В годы, когда подавляющее большинство русских литераторов было охвачено шовинистическим угаром, великий

пролетарский писатель сохранил верность принципам социализма и интернационализма. «Летопись», руководимая Горьким, объединяет ряд писателей под демократическим знаменем. Горький резко выступает против писателей-шовинистов. «Меня, — скажу прямо, — возмущает маниловский оптимизм неожиданных «патриотов», которые еще вчера были яростными нигилистами, принося всякую организацию, всякую дисциплину в жертву произволу человека, «из подполья» сеяли в мозгах русской молодежи болезненный «мистический анархизм», отвлекая ее от решения проблем общественного реального бытия». В этот период Горький возглавляет издательство «Парус», в котором выходит ряд национальных сборников и произведений демократической ориентации. В годы разнузданного шовинизма Горький пишет свои шедевры — «Детство» и «В людях».

Еще задолго до победы Великой Октябрьской социалистической революции Горький и теоретически, и в своей художественной практике выразил принципы социалистического реализма. Вот почему творчество Горького явилось магистральной линией прогрессивной литературы послеоктябрьского периода. Горький оказал на нее огромное, решающее влияние. У него учились и учатся все наши советские писатели.

Так блестяще завершилась деятельность Горького — вождя и организатора передовой литературы его времени.

Шевченковский пленум

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

I

С 4 по 8 мая в Киеве работал шестой писательский пленум, посвященный столетиям со дня рождения Шевченко.

Выездные пленумы — огромная школа и праздник для писателя, большое культурное дело для всей страны. Они сближают писателей всех национальностей нашего Союза, создают между ними творческий обмен, знакомят их с новой страной, с ее народом, пейзажем, культурными учреждениями, дают и нашим республикам узнать ближе тех, кто пишет книги. Все это ясно и без пояснений. Но вот что не менее важно, хотя и не сразу видно. Выездной пленум превращается у нас в тематический, то-есть приуроченный к одному какому-нибудь большому событию, например, юбилею. И, давая высказаться на одну большую тему писателям нескольких национальностей республик, выездной пленум исключительно ярко демонстрирует рост нашей культуры, социалистической по содержанию, национальной по форме.

В этом смысле материалы шевченковского пленума имеют особенно большое значение, потому что Шевченко дошел до глубины, до сердца самых несхожих народов, населяющих наш Союз, оказался им необыкновенно близким, своим, современным. Огромная революционная сила его поэзии, — сила «нежности, плавающей камень, и гнева, разбивающего камень», как красиво определил поэт

Гофштейн, — подчинила себе неисчислимые трудности перевода и прорвалась сквозь чуждые стихосложения, подыскивая на каждом языке подходящий эквивалент. Как это удалось и какими усилиями завоевано, рассказали пленуму представители национальных литератур:

«При переводе мы останавливались на каждом слове поэта и старались передать его особенности. Вместе с тем мы добивались передачи понятным для киргизов языком смысла каждого слова и стиха поэта».

Так говорил на пленуме киргизский писатель тов. Сасыкбаев.

О такой же огромной работе, проделанной переводчиками, сообщал и азербайджанский писатель тов. Расул-Рза:

«Перед нами стояла большая и ответственная задача — передать произведения Тараса Григорьевича Шевченко на азербайджанском языке таким ритмом, такими размерами, такими словами, чтобы переводы были так же популярны, так же народны, так же красивы, хороши и доходчивы, как творения Шевченко на украинском языке. Поэтому был выбран путь передачи произведений Шевченко наиболее популярными размерами, в наиболее популярной форме, в которой писали наши знаменитые ашуги, в которой писал наш великий лирик Вагиф».

О переводах на белорусский язык, особо трудных, несмотря на сходство обоих языков, рассказывает пленуму тов. Якуб Колас:

«Мы ставили перед собой задачу — дать перевод, близкий к оригиналу, сохранив все особенности поэтических приемов, поэтическую простоту и ясность, музыку и напевность шевченковской поэзии. Мы внимательно и много работали, преодолевая все трудности перевода, имея в виду дать подлинного Шевченко на белорусском языке».

Армянским поэтам пришлось поработать еще основательней:

«Перевод Шевченко на армянский язык представляется делом не легким,—говорит тов. Арази, — прежде всего потому, что армянское стихосложение силлабическое, и при передаче украинского тонического стихосложения Шевченко, да притом богатого народными формами, надо преодолеть ряд трудностей. Затруднения представляли также бытовые особенности шевченковской поэзии. Для выяснения вопросов, связанных с переводом, были специально командированы на Украину переводчик и редактор».

Здесь нужно поправить тов. Арази: шевченковский стих не тонический, вернее, не строго тонический, а местами и прямо нарушающий законное чередование ударений в общепринятой метрике,—и в этом его исключительное своеобразие и прелесть. Но трудность перевода его на армянский от этого, конечно, не уменьшается, потому что между ним и строго силлабическим армянским стихом — целая пропасть.

Грузинские поэты перевели «Кобзаря» полностью. В этой работе, как докладывал пленуму тов. Машашвили, внимание переводчиков было направлено на основные особенности поэзии Шевченко: «ту политическую заостренность поэзии, которая так нужна нам сегодня», и подчинение своего языка «мысли и чувству народа», то-есть умение «сделать свой язык народным».

От имени казахских писателей говорит тов. Тажибаев:

«Работая над переводом произведений Шевченко, мы, переводчики, чувствовали большую ответственность. Мы старались не допускать никакой вольности, искажающей природу поэта. Редакционная коллегия, состоящая из весьма авторитетных товарищей—поэтов и литературоведов, строго контролировала и консультировала переводчиков, чтобы весь аромат и дыхание Шевченко передавались без всяких механических приспособлений».

Докладчики не ограничиваются отчетом. Многие просят разрешения показать, как «вышел Шевченко» на их языке. «Товарищи, я хочу прочитать в переводе на татарский язык «Садок вишневым коло хати», — и Манур Шейхи читает по-татарски. «Стихи украинского поэта звучат на таджикском языке

очень хорошо!». И Рахими читает их по-таджикски.

Пленум ухом улавливает Шевченко по-татарски и по-таджикски, и нам кажется, что мы «все понимаем». Переводы доходят до нас, как дошел поэт до своих переводчиков, приложивших огромный труд и бесконечное своеобразие приемов, чтобы вести его в свой язык.

Но среди отчетов нет главного — от русских переводчиков. Его заменяют, во-первых, блестящий доклад тов. Чуковского и, во-вторых, чтение русскими поэтами своих переводов в конце пленума.

Прежде чем заговорить о советских переводах, Корней Чуковский в последовательном порядке разобрал все старые переводы Шевченко на русский язык, указал остроумным подбором цитат все их недостатки,—недобросовестность, неуважение к тексту, низкую культуру стиха, прямую фальсификацию и т. д. И, пытаясь объяснить и систематизировать эти недостатки, Чуковский вплотную подошел к пониманию классовый и исторической обусловленности перевода. Так ясно и отчетливо, на таком количестве и подборе примеров до него этой проблемы еще никто не касался, и в этом большая заслуга Чуковского.

Тем досаднее шероховатости доклада, которые хотелось бы видеть исправленными в стенограмме. Чуковский — эмпирик и оратор; удачная цитата, пришедшее на ум сравнение иной раз сбивают его с логического строя речи и заставляют произносить слова, противоречащие общему смыслу его же собственных утверждений. Так, он всей своей яркой речью доказывает, что художественная форма не нейтральна, что, искажая ее, неизбежно искажаешь и содержание, что в искусстве перевода, на примере шевченковских вещей, это вскрывается наиболее ярко; и в то же время позволяет себе неожиданное восклицанье, которое вдруг делает основную мысль доклада, как бы случайной и словно найденной на ходу самим докладчиком: «Иногда, как это ни странно, такое искажение ритмики приводило к злостному искажению политического смысла стихотворе-

ний Шевченко». Слушатель хотел бы тут от Чуковского не выражения удивления, как от нечаянного сюрприза («как это ни странно»), а принципиального утверждения того, что указанная связь между искажением ритма и искажением политического смысла — не случайна, а закономерна, потому что она связана со всем ходом самого же доклада Чуковского и неизбежно вытекает из него.

И еще один упрек Чуковскому.

а не только как переводчик. Поэтому начинать свою речь с пушечной пальбы по Белоусову, строить всю экспозицию доклада на разное белоусовских текстов вряд ли справедливо. Доклад ничего не потерял бы, а многое приобрел, если б К. Чуковский проявил в критике Белоусова тот большой такт, с каким относился в свое время к Белоусову Горький и отнесли к своему переводческому наследству представители национальных литератур.



Обложка альбома О. С. Чернышевской с рисунками Т. Г. Шевченко.

Поэт Лебедев-Кумач сказал в своей стихотворной речи:

Советские люди быть не привыкли
«Иванами, не помнящими родства».
Не вдруг, не «божьей волей» возникли
Киев, Тбилиси, Минск и Москва.

В нашем познании Шевченко, в большой его популярности тоже не все явилось «вдруг». Были и в прошлом честные, идейные работники литературы, любившие Шевченко, искренно стремившиеся сделать его доступным русскому читателю, и среди них поэту Ивану Белоусову принадлежит первое место. Как бы ни были слабы его переводы, он пробил брешь в молчании, окружавшем Шевченко, он дал читателю «Кобзаря», он много лет работал как издатель, критик, биограф, популяризатор Шевченко,

Но, за вычетом этих шероховатостей, мы обязаны тов. Чуковскому первым большим анализом советской переводческой работы, ее сравнением со старыми принципами перевода и объяснением ее успеха. В новых русских переводах Шевченко Чуковский подчеркнул четыре особенности: 1) полное раскрытие «революционного содержания»; 2) точную «передачу ритмики»; 3) «реализм»; 4) соблюдение «народного, фольклорного стиля», т. е. именно те качества, каких добивались, как мы видели, и переводчики национальных советских литератур. Удачу этих переводов Чуковский объяснил той огромной работой, вести которую стало возможно лишь в наших, советских условиях: «Наши переводчики прошли в последние годы такую трени-

ровку, какой не знали за всю мировую историю переводчики других стран и других поколений. Ведь уже многие годы все советские поэты, за двумя или тремя исключениями, переводили, изо дня в день соревнуясь друг с другом, армянских, грузинских, украинских, белорусских, азербайджанских, еврейских поэтов и перевели уже сотни тысяч, а может быть, миллионы стихов и Давида Сасунского, и Шота Руставели, и Джамбула, и Павла Тычины, и Янка Ку-

ксийке, связи с народным творчеством, влияниях и заимствованиях, на особенностях его версификации. Рыльский считает, что «стихотворное наследство Шевченко делится на две основные группы. Первая группа—это так называемые «коломишковские» стихи по схеме 8 слогов, 6 слогов, с общей хоренческой тенденцией, но с очень свободным размещением ударений; и 11—12-слоговой стих с общей амфибрахической тенденцией, но тоже с весьма свободным рас-

Наброски ^{ки} М.Т. Шевченки

в альбомъ О.С. Чернышевскаго

около 1859 г. (на лошади — сын М.Т. Чернышевскаго Александр)

1) этот альбом оставилъ вънѣшней Шереметко
в Академіи 1911 в Мамѣ

пала, служа этой повседневной работой братскому единению народов Союза...».

II

С огромным волнением прослушал пленум увлекательный доклад о поэтике Шевченко Максима Рыльского. От начала до конца, от определения того, что такое «великий поэт», и до формулы «лучший способ подражать великому поэту — это быть оригинальным», — он был изящно скомпанован и выполнен, дал подышать аудитории воздухом шевченковской поэзии, избег стандартов и удержался от надуманностей. В первой части доклада Рыльский раскрыл поэтику Шевченко исторически, начертал общую «линию развития» поэта; во второй он остановился на отдельных элементах его поэзии, — на эпитетах, ле-

положением ударений по обе стороны обязательной цезуры». Как пример первого, он приводит стихотворение:

В таку добу під горою
Біля того гаю...

Как пример второго:

Все йде, все минає і краю немає...
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?

Нельзя отказать этой схеме в остроумной простоте, но и согласиться с ней невозможно. Она обедняет ритмику Шевченко, а вторая приведенная им группа совсем не характерна для Шевченко. Если в «Катерине», в «Гайдамаках», в «Сне» эта схема оживает, то что с нею делать хотя бы в цикле стихов, написанных в крепости, с «дактилической тенденцией», с «анapestической тен-

денцией»¹, с учащающимся четырехстопным ямбом; что делать не с «вольным расположением ударений», а с довольно частым выпадением слогов, с переходом почти на разговорную прозу, где метрика нарушена не только ударением, но и нарушением числа слогов? Что делать не с песенной, а с разговорной частью поэзии Шевченко, глубоко народной, богато насыщенной «прибаутчным», «поговорочным», «заговорным», подчас бессмысленным, магически-звуковым фольклором, назначенным не для песни, а для говорения? А ведь все это не редкие исключения, все это отнюдь не может быть отнесено за скобку «двух главных групп», гораздо вернее было бы считать исключением «вторую группу» его схемы.

«Весьма свободное расположение ударений» встречается у Шевченко и в самых строгих ямбах, причем оно встречается на тех основных слогах, которые определяют собой метрику и на которых опускать ударение — недопустимо с точки зрения метрики; и он делает это не только в украинских, но и в русских стихах. Границы «свободного расположения» и полного нарушения метрики при этом так сближаются, что возникает вопрос, можно ли определять эти стихи, как хорей, ямб, амфибрахий, хотя бы и смягчая эти названия словом «тенденция» — хорейская тенденция, амфибрахическая тенденция, — как это делает Рыльский.

Ближе к истине, по-нашему, Лебедев-Кумач, сказавший в своей речи-поэме:

Когда-то великий наш Ломоносов
Стихи заковал в размерах тугих —
На стих силлабический кончились
спросы,
И «стих свободный» на время затих.
Мне кажется, ритмика в иршвей
древних

¹ Например: «По над полем іде, Не покоси кладе», («Косар»), «За байраком байрак, А там степ та могила»; или: «Вечірне сонечко гай золотило, Дніпро и поле золотом крило...» (второй «Сон»), «Роби що хочеш з темним зо мною, Тільки не кидай, — в пекло з тобою Пошкандибаю... ти привітала Нерона лютого, Сарданапала, Ирода, Каїна, Христа, Сократа...».

В стихах Шевченко нашла
приют...

Но если версификационная схема Рыльского спорна и несколько бедна, то его «история поэзии» Шевченко, данная в образе потока, может быть названа классической и войдет, вероятно, во все будущие учебники литературы. «Поучительно взглянуть», — сказал он на пленуме, — «как мощный поток поэзии Шевченко, несший на своих волнах и романтические баллады типа баллад Бюргера, Жуковского, Мицкевича, но все более и более земные, здешние, и потрясающую в своей простоте и безыскусственном реализме «Катерину», и жгучих, освещенных пожарами народного восстания... «Гайдамаков»..., как этот поток, заремев железными проклятиями царско-помещичьей России в «облитых горечью и злостью» «Сне», «Кавказе» и «Послании», ударяется о каменную стену николаевской неволи и рассыпается сотнями брызг в целом ряде лирических шедевров, где почти впервые, в сущности, Шевченко говорит во весь голос о себе, о субъективных переживаниях, но где сверкает все то же непобедимое солнце шевченковского свободолобия и ненависти к тиранам — «своим» и чужим. Поучительно наблюдать, как поток этот, выпущенный на призрачную свободу после десяти лет горьких унижений, не идет по уготованному ему руслу покорности и смирения, а еще яростней бурлит и пенится, все шире и шире выходя из берегов и захватывая мировые темы в «Неофитах», в «Марии», «ставя вопросы о революции, о вооруженном восстании, о свержении религии, о грядущем царстве свободы, где «врага не буде, супостата, а буде син і буде мати», и разрешая эти вопросы с неслыханной прямоотой и суровой резкостью».

Здесь риторика возвысилась до формулы, потому что все в этом образе — точно.

Не буду останавливаться на докладах Аплетина («Шевченко и Запад»), Белецкого («Шевченко и мировая литература»), Стебуна («Шевченко и новая украинская литература»), потому что в основном они уже знакомы из печати. Укажу только на одну общую черту,

роднящую эти доклады, пронизывающую почти все выступления на пленуме, прозвучавшую и в основном докладе Корнейчука.

Советское шевченковедение уничтожило старое, вульгарное представление о Шевченко, как о малообразованном, «мужицком поэте». С каждым исследованием все глубже и глубже входим мы в глубокий мир большого мыслителя-человека, писателя и поэта, певца и живописца. Да, в этом мире нет той эклектики, которую последние дети дворянской культуры, князя П. Вяземские, называли «образованностью». Свежий человек, здоровый сын трудового народа, Шевченко был воинствующим мыслителем, ни в одной сфере культуры он не опускался до равнодушного, все принимающего эклектизма. Вкусами его руководил выбор, выбором руководило мировоззрение, а мировоззрение подсказывалось мудрым классовым чутьем. Он оставил нам образец того, как надо уметь работать, как надо уметь читать книгу, как надо уметь учиться у всего, что посылает жизнь, и как надо каждое впечатление доводить до опыта, до прозрачной, простой, недвусмысленной формулы, всегда оставаясь верным себе. Вот это высокое, большое умение получать опыт жизни, не теряя себя и не изменяясь, эта образованность, близкая и понятная человеку нашего времени, она в той или иной мере была упомянута, освещена, затронута в каждом из докладов и выступлений на пленуме, а более или менее специально о ней говорилось в докладе академика Белецкого, а также в докладах о живописи и музыке.

III

На Шевченковском пленуме нам пришлось слышать ораторов почти всех национальностей, и тут само собой напрашивается одно замечательное сравнение. Пять лет назад происходил первый Всесоюзный съезд писателей, и на нем в первые писательская общественность встретила с докладами о национальных литературах. Надо сказать правду, мы тогда слушали эти доклады, скучая и досадуя на их форму. На три-

буны мы видели солнечного, загорелого человека в тубетейке, с необычными, выразительными чертами лица, в звуке его голоса слышалась незнакомая музыка, за ним вставали тысячелетия древнейшей культуры, а он — вместо пронзительных и мудрых слов монотон-



Рис. Т. Г. Шевченко.

но отбарабанивал по печатному сухой отчет, как две капли, похожий по форме на предыдущий и на последующий. Так было пять лет назад.

Тогда в наших республиках еще только организовывались ячейки Союза советских писателей, и люди невольно заимствовали друг у друга внешние стандарты, чтобы выполнить новое для них дело — всенародно отчитаться. Да и отчитываться приходилось больше в организационных мероприятиях, нежели в особенностях своего творчества.

Спустя пять лет мы уже услышали на Шевченковском пленуме живой, горячий

язык национальных литератур, вынесший на трибуну все свое своеобразие. Мы слышали, как казах говорит «Тарас», и не ждали от него «Григорьевича», потому что имя «Тарас» звучит у казаха не по-нашему, оно получает полное, закругленное звучание, подобно «Джамбулу» и «Маимбету». Когда таджик Рахими страстно восклицал на трибуне: «Как приятно нам, братьям, слышать сегодня друг друга», — мы эту эпическую фразу воспринимали «в порядке вещей». Все богатство образов и оборотов, употребляемое дома, в своем обиходе, в своих песнях, писатели национальных республик начинают понемногу разворачивать и на всесоюзных ораторских трибунах, как это давно уже сделали колхозники и колхозницы. Их живая речь опрокидывает стандарты, заражает своей естественностью и приучает нас воспринимать высокое и торжественное не как элемент стиля (что мы невольно делали еще вчера), а как черту повседневную в общении одного народа с другим народом.

Мы и сами еще не понимаем, какие огромные результаты будет иметь для нас это изменение восприятия, эта замена эстетического подхода к новым для нас элементам речи — живым, органическим, слуховым подходом, как к средству реального общения.

Профессия литератора имеет своего страшного внутреннего врага. Если наука борется с косностью традиций и представлений, если техника борется с косностью пределов и норм, то литература борется с косностью застывших книжных оборотов речи, с так называемой литературщиной. Литературщина — это предельный отход от народности. Борьба с ней приходится писателю ежедневно и ежечасно, как с отработанным воздухом в комнате. И когда в обиход наших общественных встреч, опрокидывая стандарт, врывается во всей своей оригинальности разговорная речь другого народа, — это, как форточка на свежий воздух, как новая прививка «словесности» к «книжности». Мы живем в эпоху оздоровления

«книжности» через встречу ее с могучей народной словесностью. Процесс этого оздоровления идет и в недрах каждой национальной литературы в отдельности, и в общении всех советских литератур между собой. Руководство им — вещь исключительно важная, оно осуществляется, между прочим, и через наши пленумы, через их организацию и проведение. Вот почему следует поговорить и о самых наших пленумах, как таковых.

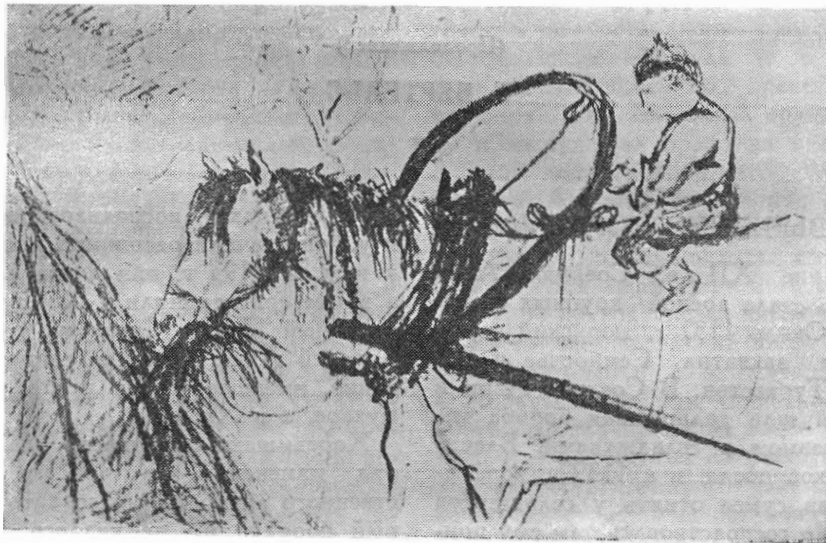
В наших выездных пленумах мы до сих пор шли почти ощупью, нас учила практика, — уроки первых опытов (минского и тбилисского). Шевченковский пленум удался нам больше других. Но и в нем были недочеты. Необходимо своевременно их учесть, не заставляя думать за нас самую жизнь. Эти недостатки, мне кажется, в основном следующие:

1) Старая, еще не брошенная привычка назначать в юбилейные комитеты «имена», а значит, одну и ту же группу лиц. Обычно в составе юбилейных комитетов бываю т те же икс-игреки, как будто они универсальные знатоки и украинской, и азербайджанской, и армянской, и русской литературы, к тому же и хорошие организаторы. Зачастую, однако, именно эти лица и оказываются наименее активными в деле проведения юбилея. Сюда же относится более или менее случайный выбор докладчиков без учета писательских кадров, без сведений о тех, кто давно и реально занимался данным вопросом. Случайный подбор докладчиков приводит к сюрпризам в программе, — назначение в последнюю минуту докладчика по очень важному вопросу (о Шевченко-живописце), снятие в последнюю минуту обещанных докладов, и т. д.

2) Существенным недостатком выездного пленума было и остается слишком большое преобладание торжественной части над деловой. В стране нашей велась и ведется огромная исследовательская работа по Шевченко. Над нею сидят специалисты, архивные работники, отдельные писатели, отдельные граждане. Где и услышать о результатах и о ходе этой работы, как не на пленуме,

посвященном Шевченко и вдобавок собравшемся два месяца спустя после юбилейных торжеств. Между тем почти ни один из писателей, работающих над Шевченко, не выступил на пленуме, — не выступил, например, тов. Боцяновский, который еще до революции делал ценные сообщения в «Киевской старине». Внучка Чернышевского, Нина Михайловна, могла бы также по-

выступление горьковца Кочина о том, что сделано в городе Горьком в связи с юбилеем Шевченко), ведут к живому обмену мнений. Методом таких сообщений пленум мог бы централизовать все отдельные работы о Шевченко, сблизить специалистов, подчас ничего не знающих друг о друге и работающих параллельно, а в конце пленума, быть может, создать и постоянную комиссию, которая вела



Сын Н. Г. Чернышевского Александр на лошади. — Рис. Т. Г. Шевченко.

делиться с пленумом еще не бывшими в печати материалами из архива Пылиных о посещении Шевченко Чернышевского у него на дому, — между тем она даже не присутствовала в числе гостей пленума. В Москве, в архиве Ленинской библиотеки интереснейшие находки новых автографов Шевченко сделал тов. Романченко, — почему бы не поставить его информацию на пленуме? В Киеве, в Институте литературы, писатель Д. М. Косарик работает над новыми данными о Шевченко — ему есть о чем рассказать, но сообщения его на пленуме мы не услышали. Все такие информационные выступления хороши тем, что в них есть новое, они питают советское шевченковедение (с каким, например, интересом слушали шевченковеды

бы учет всей научно-исследовательской работы о Шевченко.

3) И еще: сильно недоставало пленуму заключительного слова. Вовсе не в порядке обязательности! От обязательной формальности мы всегда готовы отказаться, если это не во вред делу, но именно данный пленум нуждался в заключительном подведении итогов. Некоторые ясные черты закономерностей, проступавшие во всех докладах, сами просились в заключительную речь, заслуживали быть отмеченными, да и о некоторых недочетах хорошо было бы сказать — для нашего дальнейшего общественного роста, для более глубокого проведения будущих юбилейных пленумов и в первую очередь пленума, посвященного Низами.

Литература народов Средней Азии

от древнейших времен до XV века н. э.

(Продолжение¹)

Е. БЕРТЕЛЬС

★

ВОЗВЫШЕНИЕ ХОРЕЗМА

К середине XII в. Средняя Азия вновь стала ареной крупных столкновений. Около 1137 г. тюркский народ карахитаи захватил Семиречье и Восточный Туркестан. В Средней Азии в это время шла дальнейшая борьба между Хорезмом и сельджуками. Власть хорезмшахов росла, и к 1139 г. хорезмшах Атсиз сумел отнять у сельджуков Бухару. Но господствовать там ему пришлось недолго. В 1141 г. карахитаи ворвались в ослабленную войнами страну. Произошла невероятная резня, во время которой погибло больше тридцати тысяч мусульман. Бухара была взята, а хорезмшаха карахитаи заставили платить себе дань.

Этот урок, однако, пользы не принес. Бесконечная борьба Хорезма с сельджуками продолжалась, пока в 1153 г. громадная волна кочевников гузов, народа, близкого к сельджукам, не хлынула из степей Средней Азии в Хорасан.

Войска сельджука Санджара не пожелали сражаться против своих родичей. В результате султан был взят в плен и увезен в степи, а гузы безнаказанно стали грабить и жечь по всему Хорасану и уничтожили даже самую столицу сельджуков — Мерв и крупный торговый центр — Нишапур. Сельджукское государство было окончательно сломлено.

Хорезмшахи воспользовались этим и упорно начали расширять свою власть к югу. В 1193 г. они захватили Мерв, а затем присоединили к Хорезму и весь западный Иран. Снова на территории Средней Азии возникло единое образование, имевшее теперь центр уже не в Бухаре, а в Хорезме.

Хорезмшахи произвели дальнейший ряд изменений в устройстве государственного аппарата, но создать устойчивый порядок им не удалось. Единство поддерживалось только силой оружия, области готовы были отпасть в любую минуту. А с востока надвигался новый, еще более страшный враг — Чингисхан. Организовав огромное кочевое государство монголов и покорив страны Дальнего Востока, он готовил поход на запад, и первой жертвой его стали Средняя Азия и Иран.

СУДЬБЫ ПРИДВОРНОЙ ПОЭЗИИ В XI — XII ВЕКАХ

Изменения, происшедшие в жизни Средней Азии в XI—XII вв., мало коснулись организации литературного быта. Жизнь двора, придворный этикет, в основном, оставались теми же, какими были и при саманидах. В качестве поэтических образцов попрежнему служили касыды Рудаки и Унсури, которым поэты старались подражать.

Но происходят и некоторые перемены. Касыда в значительной степени теряет свою действенность, она уже не может

¹ См. «Новый мир», кн. 6 с. г.

так организовать общественное мнение, как раньше. Феодалная знать сельджуков, так же, как и их султаны, была вся поголовно неграмотна и, очевидно, персидский язык знала плохо. Поэтому касыда, писавшаяся высоким, выпреним стилем, с избытком архаических персидских и трудных арабских слов, не была в полной мере доступна и не могла выполнять своего основного назначения. Касыда становится более нужной для самого поэта, чем для султана. Поэт ею кормится, а султан, кроме весьма сомнительных комплиментов, уже мало что от нее получает. Знаменитый сельджукский везир Низам-аль-мульк, о котором мы упоминали выше, прямо говорил, что поэты — дармоеды и что награждать их — значит выбрасывать деньги на ветер.

Положение поэтов усложнилось еще и тем, что их сильно связывали достижения предшествующего периода: тема славословия не слишком богата, и выжать из нее новые мотивы нелегко. Вступление к касыдам тоже были скованы традициями и не допускали включения новых объектов для описания.

Оставался один выход: изменить самую ткань касыды, усложнить простой и ясный язык ранней поэзии техническими усовершенствованиями. И вот, вместо создания одной большой картины, поэты начинают развивать стихотворение на ряд коротких, в 2—4 строки, миниатюр. Потом эти миниатюры сплетают друг с другом натянутыми и сложными сравнениями и метафорами, и все это украшают игрой слов, бесчисленными внутренними созвучиями, аллитерациями, и в итоге получается пестрая, звенящая ткань. Язык усложняется настолько, что понимание стихов доступно в полной мере лишь единицам, знатокам поэзии. Авторы касыд не только не хотят быть простыми и понятными, но нарочно стремятся затруднить свои произведения. Аудитория поэтов мала, а на широкие круги они смотрят с презрением, как на «чернь», которой тонкости их искусства недоступны.

Если поэзию саманидов и ранних газневидов мы могли назвать монументальной, то теперь развивается искус-

ство чисто орнаментальное. Перед ним уже не ставится задача — действовать на волю, на чувства людей, а преследуется лишь одна цель — дать работу уму и доставить слушателю то же удовольствие, которое доставляет отгадывание ребусов и шарад.

Форма в этой поэзии решительно берет перевес над содержанием. Поэту не важно, что сказать, а важно только, как это сказано. Пусть мысль будет затрепана до последнего предела, лишь бы словесная оболочка ее была нова, тем самым поэт, по представлениям той эпохи, уже одерживал крупную победу и заслуживал право на внимание.

Выше мы отметили, что власть над Средней Азией в этот период оспаривали, главным образом, три династии: сельджуки, хорезмшахи и караханиды. Хотя все они были тюркского происхождения, но литературным языком их оставался тот же персидский язык, блестяще разработанный в X в. поэтами Бухары и Хорасана. Все три династии держали поэтов и оплачивали их более или менее щедро, и количество их было необычайно велико. Перечислять все имена, конечно, не стоит. Мы остановимся только на трех наиболее крупных представителях, других же, сравнительно мелких, упомянем лишь вскользь.

Но и эта задача разрешается нелегко, ибо литература того времени изучена пока далеко не достаточно, произведения еще не заданы и доступны исследователю только в единичных экземплярах рукописей, разбросанных по всем уголкам мира. Начнем с сельджуков и попытаемся набросать портрет их «царя поэтов» — эмира Муиззи.

ЭМИР МУИЗЗИ

Муиззи был родом из Неса (развалины этого города можно видеть и сейчас неподалеку от Ашхабада), по другим сведениям, — из Самарканда. Родился он в 1058 г. в семье малоизвестного поэта Бурхани, образование получил в Самарканде. Отец, служивший, вероятно, в придворной канцелярии, перед смертью поручил сына своему повелителю сельджуку Меликшаху. Султан

повелел жалованье отца передать сыну. Но, чтобы получить причитающиеся по праву деньги, Муиззи нужно было иметь протекцию или дать взятку. Без этого все приказы повелителя не имели силы.

Целый год провел молодой поэт на султанской службе, не получая ни копейки. Он ни разу даже не удостоился предстать перед «светлые очи» своего господина и не мог поэтому пожаловаться на причиняемую обиду. В то же время и околачиваться в дворцовых прихожих без денег было невозможно. Требовалось и приодеться, и коня иметь хорошего, и держать своих конюхов и слуг, и, вообще, вести себя вельможей. Только при таких условиях можно было рассчитывать, что тебя заметят.

Юноша выбивался из сил, влез в долги, а выхода из положения так и не находил. Подошел как-то конец рамазана — мусульманского великого поста. Окончания этого месяца всегда ждали с нетерпением, ибо, завидев тоненький серп молодого месяца и убедившись, что пост уже кончился, люди старались вознаградить себя и несколько дней пиروвали и веселились. У поэта денег не было, да и в долг уже никто больше не давал. Предвидя, что вместо ликования и радости ему в праздник придется продолжать поститься, он пошел к везиру, знаменитому Низам-аль-мульку. Но тот не любил поэтов и довольно сухо посоветовал ему потерпеть. Отчаявшись, поэт обратился к одному из приближенных шаха, великому любителю поэзии. Он уже не просил о милостях, он только хотел, чтобы ему разрешили покинуть двор и уехать на родину. Там он рассчитывал продать оставшийся ему в наследство домишко, расплатиться с долгами и как-нибудь прожить на остаток.

Приближенный шаха, знавший о таланте поэта, обласкал его, дал сто золотых на новое платье и привел на крышу дворца в тот самый момент, когда шах должен был выйти в ожидании появления молодого месяца. Меликшах вышел с луком в руках. Когда показался молодой месяц, поднялись крики и шум и поздравления с окончанием поста. Приближенный воспользовался случаем и пред-

ложил поэту сложить экспромпт на это событие. Тот, не медля ни минуты, продекламировал такие стихи:

О месяц, ты брови подруги моей, словно
бы,
Да нет, ты — лук государя, словно бы.
Подкова ты, выкованная из чистого золота,
словно бы,
Серьга в ухе небосвода ты, словно бы.

В этом четверостишии каждая строка дает новое сравнение, большинство которых, хотя и не слишком оригинально, но в таком сочетании, конечно, производит эффект.

Султан был пленен этим красноречием. Он подарил поэту скакуна из своей личной конюшни и велел остаться на праздничном пиршестве.

Когда винные пары подогрели настроение пировавших, султан предложил поэту сказать еще экспромпт и тем самым отблагодарить за подарок. Поэт воскликнул:

Когда шах увидел пламя моих помыслов,
Поднял он меня с земли выше самой луны.
Когда услышал от меня напев, сочный, как
вода,
Подарил он мне личного коня, быстрого,
как ветер.

Технический трюк этого четверостишия заключается в том, что здесь в четырех строках названы все четыре стихии: земля, вода, воздух (заменен ветром) и огонь, из которых, по представлению физиков того времени, состоит мир.

Султана стихи окончательно очаровали. Он приказал выдать юному автору их тысячу золотых и назначить жалованье. Но поэту, по обычаю того времени, нужно было иметь свое поэтическое прозвание, своего рода псевдоним. Султан обратился к эмиру — дай ему прозвание. Тот предложил — Муиззи (т. е. принадлежащий Муиззу, почетное имя Меликшаха). Нет, — сказал султан, — пусть он будет эмир Муиззи (т. е. еще, кроме того, и носитель высокого придворного звания).

Верно или нет это предание, но с тех пор Муиззи добился высокой славы. Он стал не только придворным поэтом, а и собеседником шаха, приглашаемым на

неофициальные вечера. При султани Санджаре он возвеличился еще более и стал главой поэтов, «эмиром эмиров». Султан, обращаясь к нему, называет его «отцом». Это знак высшего уважения. В жалованье ему назначен доход, поступавший с Исфахана, одного из крупнейших и богатейших городов. При таком положении и влиянии немало перепадало и от вельмож. Всякий старался задобрить всемогущего любимца.

Муиззи не тратил времени и выкачивал из придворной челяди деньги, как только мог. Он с гордостью говорит, что никогда в своей жизни никому даром своих стихов не подносил.

Дальнейшая жизнь его шла тихо и мирно, и только одна невзгода постигла за долгие годы. Султан Санджар, как и все тюркские вельможи того времени, был страстным любителем стрельбы из лука. Как-то раз в Мерве он упражнялся в этом искусстве в своем шатре. Стрела пробила полотнище шатра и попала в грудь случайно проходившего Муиззи. Рана была серьезна, поэт проболел год и, выздоровев, испросил разрешения уйти на покой к себе на родину, где и жил до самой смерти в 1148/9 г., прожив 91 солнечный, или 93 лунных года.

Муиззи—поэт весьма плодovitый. Его диван составляет около 15 тысяч двойных строк. Стихи его крайне монотонны. Это сплошь парадные оды (касыды), которые он подносил султанам и их приближенным, не скупясь на комплименты и расточая их самым беззастенчивым образом. Для нас главный интерес представляют вступительные части описательного характера. Как правило, они у Муиззи занимают довольно значительное место, и именно в них-то он и показывает свое исключительное мастерство. Содержание их не разнообразно. Это или любовные сцены, или же картины расставания с возлюбленной и поездок по страшным, безлюдным степям в ночное время, наиболее, пожалуй, удачные во всей поэзии Муиззи.

Здесь он возвращается к традициям старой арабской касыды, о которой мы говорили выше. Впрочем эти описания едва ли только традиционный прием.

Сельджуки пришли в Иран кочевниками и надолго сохранили свою прежнюю подвижность.

Их история — сплошная цепь походов и экспедиций, в которых Муиззи, повидимому, не раз участвовал. Поэтому тема разлуки и похода была близка как ему, так и придворным, и воскрешение старой традиции тут становится вполне естественным.

Избранные для стихов темы Муиззи варьировал на сотни ладов, вводя все новые сравнения, новые образы, блистая трудными рифмами, созвучиями и аллитерациями.

Нужно помнить, что для того времени важно не то, что говорится, а как говорится. Только тогда можно понять громадный успех поэзии Муиззи. А пишет он, действительно, мастерски, владея языком, как виртуоз скрипкой. Большую часть его произведений передать в переводе невозможно. Исчезает музыка аллитераций, пустога выдвигается на передний план, и становится непонятным, в чем же мастерство поэта. Вст как выглядит в русской транскрипции одна его строка, показывающая все переозвучия:

маль-о халь-о саль-о фаль-о асль-о насль-о
тахт-о бахт...

Богатство и положение, и год, и предзнаменование, и предки, и потомки,
и престол, и счастье

Да будут тебе на царство по желанию и вечны.

Передать изумительный блеск этой строки можно только на языке, обладающем таким богатством созвучий, как персидский.

Ряд торжественных, парадных касыд вроде эффектного стихотворения, посвященного взятию сельджуками Самарканды, ясно говорит о том, что Муиззи продолжает линию, намеченную еще саманидскими поэтами и развитую далее при дворе султана Махмуда в Газне. Бросается в глаза и другая тенденция в творчестве Муиззи — придать более интимный характер вступительной части касыды. Вот как он описывает наступление осени в касыде, поднесенной Низам-аль-мулькы.

Лучше всего сегодня счастливо пользоваться
 благами мира,
 Ибо вчерашний день прошел, а какой
 завтрашний, мы не знаем.
 Не дожидайся весны и осени, ибо
 Осень — враг весны, а весна — соперник
 осени.

Видно, осень дала лозе новый закон,
 Что во всем мире дозволено проливать
 кровь лозы.

Видно, в ночь Дея хорезмский ветер
 Стал асас'ом¹, что раздел он сад.
 От снежных крупинок, как напильник, стала
 поверхность пруда,
 От льда поверхность водоема, как
 наковальня.

Время, видно, занялось кузнечным делом,
 Что воду уподобило наковальне, а снег
 напильнику.

Чего бояться, что мир стал холодным
 и неприятным,
 Дома ведь тепло, певец хорош, а вино —
 молодо.

Если пусто в саду и нет фиалок и
 тюльпанов на земле,
 И ту, и другой заменит локон и лицо милой.
 Раз есть ее локон и лицо, зачем попусту
 плакаться?

О влажных фиалках и пышных тюльпанах?
 В месяц Дей из завитков ее локонов и
 румянца ее щек
 Создадим заросли фиалок и клумбы
 тюльпанов.

Два самоцвета в это время обязательны
 для наших бесед:

Бутыл — рудник одного, а танур² —
 жилище другого.
 Один — как сок лозы в хрустале кубка,
 Другой — как лепестки розы посреди очага.
 Этими двумя самоцветами нашу зимнюю
 ночь

Так озарим, чтобы стала она похожа на
 летний день.
 Когда туча нам на голову посыплет серебро,
 Посыпдем ей на голову из танура золото.
 И когда музыканты облегают бег своих
 пальцев,
 Возьмем в руки увесистый кубок
 за здоровье ходжи.

Трудно представить себе, чтобы при-
 веденная касыда предназначалась для
 чтения на большом торжественном со-
 брании. Она написана для узкого круга
 друзей. Поэт не стремится к пышности
 и яркости, он ищет изящества, тонкости
 ощущений.

Эта тема, как и близкая к ней эротика,
 разрабатывается Муиззи с наиболь-
 шей любовью. Самое восхваление по-
 кровителей отходит на второй план. По-

литический вес лирики Муиззи от это-
 го сильно убавляется, по сравнению с
 лирикой саманидской и газневидской
 школ. Монументальные образы его уже
 не влекут, и даже такая тема, как опи-
 сание поездки по пустыне, у него разме-
 нивается на ряд отдельных, закончен-
 ных в себе, миниатюр, как, например, в
 следующей касыде:

Пришла в ночь разлуки, когда стемнело,
 Та луна, к которой стремятся душа и сердце
 мой.

От горячего сердца ее разгорелась земля,
 От холодных вздохов моих похолодел
 воздух.

Ее полная луна посинела¹, как небо,
 Ее стройный стан согнулся вдвое, как
 молодой месяц.

Как переплетающиеся ветки гиацинтов и как
 струи серебра,

Локоны и слезы ее на яхонте и янтаре.

Как негр, корчащийся в пламени,

Плавал ее локон посреди слез.

Подсела она ко мне нежно-нежно и молвила
 жалобно-жалобно:

— С другом никогда так не поступает друг.

О ты, сошедший без оснований с пути
 верности,

Как чужой, перечеркнул ты запись дружбы.
 Не расставайся со мной, ибо я расстанусь
 с сердцем,

Не удаляйся от меня, ибо я удалюсь от
 жизни.

Ведь можно быть слугой твоим от души
 и сердца,

Но отпустить тебя нельзя, как нельзя
 отпустить душу из сердца.

Не произноси над нами приговор, ведь
 поразит судьба

Руку твою (муками) от поводов, сердце
 друга томлением.

Если по желанию сердца уезжаешь ты от
 нас,

То на какой же срок и куда ты уедешь?

Ответил я: — О, ты дороже для меня
 сердца и души,

Не делай мое сердце и душу смятенными
 и истерзанными пыткой.

Не делай свои очи источником Земзем²,
 ведь,

Лик и покой твой для меня Ка'ба³ и Сафа⁴.

Ты — мой очи, а я не хочу, чтобы
 отвернулись

От меня мои очи и облились кровью
 сердца.

Но уезжаю я от тебя по необходимости,

¹ Т. е. лицо побледнело до синевы — признак печали.

² Священный колодец в Мекке.

³ Храм в Мекке

⁴ Одно из мест в Мекке, где совершается часть обрядов паломничества.

¹ Полицейский чин.

² Очаг.

А, по шарияту, необходимые дела —
дозволены.
 Остаться здесь неправильно, и лучше,
чтобы я
 Взял правильный путь и оставил путь
неправильный.
 Люди в своем родном городе немного
имеют веса,
 Самоцвет посреди своей россыпи небольшую
имеет цену.
 Луна была моя красавица, и, когда я
протислся с ней,
 Дорога была передо мной, а луна позади
меня.
 Увидел я, что мир, словно преисподняя,
полон дыма и искр.
 Дым опускался вниз, а искры взлетали
вверх.
 На землю дружно набросилось войско
мрака,
 На небосводе стояли рядами полчища
блеска.
 Небо, словно луг, а молодой месяц на нем,
как серп.
 Словно лунный свет жнет траву.
 Собирались Плеяды на быстро
вращающемся колесе,
 Как серебряные зерна на колесе мельницы.
 Млечный путь, как дорога, которую
проложил
 Моисей среди моря, когда ударил по воде
посохом.
 В такую ночь, когда небо было в равновесии,
 Увидел я дорогу, которая шла от экватора.
 В ее нещерах нашел пребывание Тагут¹,
 На ее вершинах обосновался Ифрит¹,
 Ее жар, как жар страдающего лихорадкой
в месяц Тамуз²,
 Ее холод, как влажность страдающего
водяной зимой.
 Все холмы ее полны львов и драконов,
 Как клыки свирепых львов и зубы драконов.
 Ее солончаки безвкусны и неприятны,
 Как рот больного натошак.
 Песок на ней, как пламя, а пыль, как дым.
 Люди, как птицы, а противный ветер, как
вертел.
 Увидел я Арктура³ с высоты его, как рыбу,
 Увидел Каноп³ из вышины его, как Суха³,
 То, страшась смерча, читал я заклинания,
 То, опасаясь наваждения, молился...

Это стремление к тщательному вырисовыванию деталей приводит, понятно, при ограниченности тематики и перегрузке отдельных строк техникой, к созданию образов надуманных и искусственных. Муиззи иногда берет излюб-

ленную уже с давних времен в персидской поэзии гиперболу о чудесном коне, видящем в темную ночь след мураша на черной скале, и развивает ее так:

По остроте зрения и пронизательности он
(т. е. конь) может видеть
 В черную ночь в глубине колодца
призрак мураша.

Перегрузка стихов сравнениями и метафорами влечет за собой затруднения для понимания, требует от читателя большого усилия для уразумения содержания. Муиззи идет дальше, он вводит в свои оды особый прием — лугз, т. е. уже настоящую загадку, состоящую в том, что предмет только описывается, но не называется. Этот прием был известен и газневидской школе, но применялся ею сравнительно редко.

Таким образом, касыда во времена Муиззи начинает претерпевать значительные изменения, из которых самое главное — отход от монументальности предшествующего периода. Совершенно очевидно, что поэт уже перестает быть организатором общественного мнения, его политическая роль падает. Теряя свое политическое значение, касыда мельчает, внимание устремляется на формальную ее сторону. Усложнение техники сужает круг потребителей поэзии, обрекает ее на застывание, на превращение в стилистический фокус. О причинах этого явления мы уже говорили выше. Усугублялось оно еще и резким размежеванием общественных функций между представителями разных народов. Все военное дело тюркская аристократия тогда сосредоточила в своих руках. Иранское же население в лучшем случае могло лишь заведывать гражданскими делами. Отсюда понятно, что в кругах поэтов, не участвовавших в походах и являвшихся только их зрителями, героическая тематика приняла оттенок схоластической условности. В походах своего повелителя поэт был заинтересован только в смысле получения известной доли награбленных богатств, в остальном же поход для него ничего, кроме неприятностей, не представлял. Проявлять особый энтузиазм, увлекаться своими повелителями поэт уже не мог и поэтому не находил

¹ Названия злых духов.

² Летняя жара.

³ Названия звезд.

истинного вдохновения, чтобы поднять на достаточную художественную высоту и основную часть касыды — славословие.

АМ'АК БУХАРСКИЙ

При дворе караханидов в Бухаре главным поэтом был своеобразный, но не достаточно хорошо известный, Ам'ак из Бухары. О жизни Ам'ака Бухарского нам ничего не известно. Даже дата его смерти крайне сомнительна. Обычно указывается 1149 г. или 1159 г., но некоторые элементы стихов поэта заставляют думать, что деятельность его нужно отодвинуть к концу XI в. Известно, что он написал поэму на тему «Иосиф и Зулейха», являющуюся старейшим подражанием одноименной поэме Фирдоуси. Эта поэма не дошла до нас, как и большинство других произведений. Из лирического дивана поэта уцелело только около шестисот двустиший.

Сохранившиеся стихи ясно доказывают, что и по ту сторону Аму-Дарьи, в Средней Азии, касыда переживала такие же изменения, как и в государстве сельджуков. Это и неудивительно, ибо условия и тут, и там были схожи и потому порождали одни и те же процессы.

По своей тематике поэзия Ам'ака весьма близка к творчеству Муиззи, отличаясь лишь несколько иной разработкой деталей и, временами, несколько большей архаичностью языка. Характерным образом может служить такое вступление к касыде:

О, чародей, напоенный амброй¹,
 Дымок ли ты от камильницы, или пыль
 амброй?
 Ты — не дух, но чист ты, как дух,
 Ты — не свет, но ясен ты, как свет.
 Ты — не тварь, ибо нет у тебя ни тела,
 ни души,
 Ты — не птица, ибо нет у тебя ни ног,
 ни крыльев.
 Ты бежишь, и ноги твои в тебе сокрыты,
 Ты лежишь, а крылья твои в тебе затаены.
 Твоими рисунками разрисована поверхность
 реки,
 Твое дело, что расцвечена поверхность
 степи.
 Аромат твой мускус разносит по степи,

Шелест твой былинны поет сооне,
 О ты, любезный конь Сулеймана¹,
 Слетай-ка разок на улицу милой,
 Нарисуй в пыли ее кровавый образ,
 Тощий, с израненным сердцем, бледный и
 хилый²,

Вопящий и кипящий, рыдающий и
 сгорающий,
 Позабывший о сне, не заботящийся о пище.
 Болит у него душа от скорби разлуки,
 Изранен язык от частого поминания милой.
 Как пэт по лицу, струятся кровавые
 слезы.

Как сердце, в клочья изорвана одежда...
 О, мускусный ветер, когда начертишь ты
 этот образ,

Ухватишь ты за полу той; жестокой.
 Скажи ей: за кровь этого, с опаленным
 сердцем,

Как ты ответишь перед справедливым
 творцом?
 Раз уж не знаешь ты условий
 благосклонности,

Хоть понаведалась бы, как-то живет твой
 слуга...

Пойди-ка, о кумир, на дорогу,
 Всплакни там и погляди на дорогу,
 Вся она — тернии и скалы, как
 бадахшанские лалы,

Вся она — щебень, как красный яхонт.
 На деревья взгляни, — словно горящие
 негры.

На ручьи взгляни, — словно раковины
 жемчужин.

Знай, о красавица, что увели меня от тебя,
 Как уводят пленных от неверных.

Словно больной, стонал я на спине
 у носильщика,
 Губы пересохли от вздохов, а рукава
 влажны³.

То пешком, как Моисей на Синае,
 То верхом, как антихрист на осле,
 Вся спина у него от плеч до хвоста
 в опухолях,

Вся шкура у него от глаз до копыт
 в пузырях,

Из каждого волоса у него глаз вырос
 рыдающий,

Каждым глазом оплакивает он конюшню.
 Свалился бы он, если б седло его было
 даже из ветра,

Измаялся б, если бы из тени был его
 недоуздок.

То он падал без чувств, словно эпилептик,
 То кувыркался, словно турман,

Ползли мы оба, словно змея, на брюхе,
 Оба мы на этой дороге — измученные
 путники,

У меня, ты сказала бы, небосвод на плечах,
 У него, сказала бы, якорь на ногах.

¹ Библейский Соломон, по преданию, летал на крыльях ветра. Вся вступительная часть — образце лугза — загадки.

² Поэт тут переходит к описанию себя самого.

³ От вытирания слез.

¹ Обращение к ароматному весеннему ветру.

Доехал я до равнины, подобной морю,
Никто, кроме ангела, не смог бы увидеть,
где путь через нее.

Солнце не могло измерить ее линии,
Судьба не могла определить ее пределы,
Трава на ней по жесткости — зубы эфы¹,
Воздух по зловонию — пасть льва.
От воды ее смерть росла, от ветра —

наконечники стрел,
На земле ее тернии, на шипах — кинжалы.
Нет там помощников, кроме дивов,
Нет в ее дикости пособника человеку,
кроме хищника.

Ехал я по такой земле, дрожа,
Как плечи нагих сирот в месяце Азур²,
Замок показался издали, словно бы
Небосвод, выросший из булата и мрамора.

Далее следует такое же подробное описание замка.

Тема близка к описанию пути у Муиззи, но есть и явное отличие. Вся картина у Ам'ака пропитана злобной иронией, и это показывает, что поэт не вполне серьезно относится к своей задаче. Натуралистические черточки в описании осла — явное нарушение придворного этикета, который, вероятно, у кочевников караханидов не был на той высоте, как у их предшественников — саманидов.

Ам'аку, верно, не очень повезло в его карьере. В одном из стихотворений он выхваливает свои способности:

Подобает мне быть сотрапезником вельмож,
Ты знаешь, как хорошо мне известны все
причины.

Если письмо нужно написать, сплету я
Из пера и пальца царственный шелк.
Если стихи нужно, принесу на беседу
И собственного сочинения, да и древние.
Если нужны острофы, я легок на шутку,
Не нужно будет тебе бояться
тяжеловесности.

Но все эти качества, видно, ему не помогли, ибо в другом стихотворении он говорит:

Небосвод помогает только недостойным,
А дни вскармливают только скупцов.
Какое мне дело до поэзии, раз не видел я
От нее пользы и выгоды, кроме того, что
слушали меня³.

¹ Ядовитая змея, часто встречающаяся в Средней Азии.

² Конец ноября — начало декабря.

³ Т. е. весь его барыш в том, что его выслушали, но оплатить его стихи никто не подумал.

Современники раздражают его:

От этих молодых ослов на ковре веселья
Разорвал я на себе одежды, как дитя при
рождении.
Их стихи от сухости застряли, как корабль
на суше,
Но весь мир, как ковчег, затоплен
сочностью моих стихов.

И появляется вывод, какого мы не видели и не могли видеть у Муиззи:

Прошли мы и оставили (мир), пришли и
ушли,
Ты же живи радостно и пей ясное вино.

Эти сомнения в смысле жизни и эпикурейские мотивы показывают разочарование Ам'ака в своей профессии, которое с каждым годом все яснее и яснее вырисовывается у придворных поэтов.

РАШИД ВАТВАТ

Третьим могущественным двором, существовавшим в XI в. в Средней Азии, был Хорезм. Здесь тоже был свой круг поэтов, тон в котором задавал крайне своеобразный мастер Рашиддадин, прозванный за свой малый рост Ватват, что значит «стриж». О жизни его не сохранилось почти никаких сведений. Родился он около 1090 г., по завершении образования попал на службу писцом в придворные канцелярии правителей Хорезма и там быстро выдвинулся как мастер стилистики.

В это время дипломатическая переписка дворов и различных управлений выработала свой особый стиль, крайне изысканный и вычурный.

Официальное письмо считалось хорошим лишь тогда, когда перегружалось всякими стилистическими упражнениями до такой степени, что понять его без длительного изучения было почти невозможно.

Ватват достиг в этом трудном искусстве больших успехов. Написанные им документы, объединенные в сборник под названием «Несравненные ожерелья», долгие годы считались образцом и должны были изучаться всеми работниками придворных канцелярий.

Работа над документами часто соединялась и с поэтическим творчеством.

тоже требовавшим большого технического искусства. Ватват приступил к изучению поэзии весьма серьезно и овладел ею не только практически, но и теоретически. Им было составлено старейшее из дошедших до нас руководств по персидской поэтике, носящее пышное название «Сады чародейства».

Эти достижения, видимо, вскружили ему голову. Современники говорят о нем, как о человеке, крайне заносчивом и обладающем невероятно злым языком. Вот как поэт, обращаясь к своему повелителю, говорил о себе:

Знаешь, о шах, что вращение небосвода
за тысячу лет
Не создаст такого единственного в своем
роде, как я, обладающего сотней
талантов.
Если ты меня усаживаешь на собраниях
ниже всякого знатного и незнатного,
То здесь есть некая тонкая причина, и я
понимаю это так:
Собрание твое — море, а в море, вне
сомнений,
Жемчуг внизу, а мусор — поверху.

Это довольно откровенное заявление вызвало гнев хорезмшаха Атсиза, и он удалил поэта от двора. Но потребность в таком секретаре была, повидимому, слишком велика, и некоторое время спустя Ватват, принеся извинение в парадной касыде, вернулся обратно к исполнению своих обязанностей. Жизнь его была долгой, и умер он, по имеющимся сведениям, в преклонном возрасте в 1183 г.

Дошедший до нас сборник стихов его показывает еще большее техническое мастерство, чем то, которое мы видели у двух предшествующих авторов. Сборник состоит сплошь из од, крайне напыщенных, монотонных, перегруженных формальными приемами. В стихах доминируют боевые сцены, интерес к которым был вполне понятен при дворе воинственных хорезмшахов.

Однако и у Ватвата широких развернутых полотен нет. Картины боя абстрактны, поэт не только не стремится сделать описываемые им события реальными, но прилагает все усилия, чтобы оторвать их от действительности, как, например, в таком описании замка:

Глубины его рва достигают спины рыбы,
Стены его вознеслись выше знака зодиака
рыб.

В те времена существовало представление, что земля покоится на спине громадной рыбы. И поэт хочет сказать, что рвы проходят всю землю насквозь. Совершенно очевидно, что этот натянутый образ привлечен только ради противопоставления рыбы внизу — рыбе наверху.

Касыды Ватвата также распадаются на ряд отдельных описаний: конь шаха, кинжал шаха, замок и пр. Все эти описания состоят из традиционных сравнений, подновленных всяческими трюками. Есть стихотворения, в которых от начала до конца рифмуются не только последние слова строк, но все слова в строке попарно. О настоящем вдохновении, под'еме здесь говорить не приходится. Поэт ставит перед собой труднейшие технические задачи и разрешает их. Одна касыда, например, вся целиком написана без применения первой буквы арабского алфавита — алифа. Принимая во внимание крайнюю частоту применения этой буквы в персидском письме, можно понять, насколько трудна такая задача. Трюк этот исчезает не только в переводе, а даже при переписке стихотворения латинским шрифтом.

В смысле перезвонов и аллитераций Ватват не уступает Муиззи, как убеждает в этом следующая строка:

ба-базм-о азм-о хазм-о разм гуйи арийэ-т
дари...
На пиру, по решимости, твердости воли и
в бою ты, словно, заимствовал...

Только временами Ватват поднимается до оригинальных и свежих сравнений, вроде:

Слуги твои в бою, словно портные,
Хотя они и не портные, а завоеватели.
Аршином копья меряют они стан твоего
врага,
Чтобы раскрыть мечом и прошить
стрелой.

Подавляющее большинство стихов Ватвата утверждает жизнь, поэт находит прелесть в бесконечных стычках и

следующих за ними попойках. Но временами начинают звучать и иные ноты — недовольство общим складом жизни. Это еще не протест. По Ватвату мир устроен богом крепко и изменить это устройство не может никто. Но все же иногда ему кажется, что это устройство не слишком совершенно:

К той расселине между небом и землей
Чего ты привязываешься сердцем?
Она — отец, но не заботливый,
Мать — она, но зловерная.
Надо снисходительным быть к ребенку
От такого отца и такой матери.
Богатства и беды, богач и нищий,
Все, что в мире есть, проходит...

Впрочем поэт находит себе утешение, — все заставляет забыть вино, оно

Слаще жизни, и только им
Наслаждается разумный в своей жизни.

Ограниченность интересов типична для придворных поэтов, которые в жизни не видят ничего, кроме развлечений. Таким образом, представители трех дворов рассматриваемого периода, несмотря на некоторые индивидуальные различия, в основных чертах близки друг другу. Их стиль — это стиль всей придворной поэзии, показывающей приближение катастрофы. Дальнейшее развитие придворной касыды должно привести ее к окончательному заострению.

АНВАРИ

Высшего технического совершенства придворная касыда достигает у Аухададина Анвари (ум. ок. 1191 г.). Но так как связь этого высокоталантливой, мастерски владевшего стилем, поэта со Средней Азией очень слаба, то мы не будем на нем задерживаться. Упомянем только, что касыду он доводит до высшей степени блеска, тем самым как бы закрывая дорогу для дальнейшего ее развития. Разрабатывать дальше касыду означало бы окончательно притти к таким заумным построениям, разгадать которые не смог бы ни один читатель.

Сам Анвари в какой-то степени, видимо, ощущал это. Когда его придворная карьера потерпела крах, он в ряде мелких стихотворений довольно отчетливо высказал свое мнение о придворной поэзии.

Знаешь ли, Анвари, что такое поэзия
и алчность?
Первая — ребенок, вторая — кормилица.
Не расточай же более понапрасну
стихотворное пустословие.
О брат, выслушай это разъяснение о поэзии
и стихотворстве,
Дабы не считать впредь за людей из нас
горсть нищих.

Другими словами, Анвари не признает за придворной поэзией реальной ценности. По его мнению, она — только пустословие. Занимаются ею поэты только из алчности, желая легким путем заработать побольше денег, пользы же от нее нет никому. Очевидно, что от его глаз не укрылось внутреннее опустошение касыды, утрата ею общественной действенности.

Так высший технический подъем придворной поэзии принес для главного ее жанра отмирание. Как мы увидим далее, монгольское нашествие резко оборвало развитие придворной поэзии. Но надо думать, что, если бы эта катастрофа и не постигла Передний Восток, касыда все равно была бы обречена на гибель. По крайней мере, в дальнейшие периоды она даже и при самых благоприятных условиях возродиться уже не смогла. Если она и появляется снова в послемонгольском Иране, то носит ложно-классический характер и не идет дальше подражания образцам XI — XII вв.

НАСИР-И ХУСРАУ

Мы рассмотрели придворное течение в литературе Средней Азии XI — XII вв. и установили, что к концу этого периода политическое значение придворной поэзии падает и сходит почти на-нет. В то же самое время в литературе усиливается течение исмаилитское. Мы говорили об этой секте, о том, какими способами она организовала пропаганду в областях, захваченных тюр-

ками. Один из исмаилитских проповедников — Насир-и Хусрау (1005 — 1088) — использовал свой выдающийся литературный талант для исмаилитской пропаганды. О раннем периоде его жизни мы не знаем ничего. Он сам сообщил нам только то, что родился в Кубаджане и по завершении образования служил в одном из провинциальных правительственных учреждений. Как он вступил в исмаилитскую секту, неизвестно. Но во всяком случае в 1045 г. он выехал из Хорасана, повидимому, имея какое-то поручение от исмаилитского начальства. Внешним предлогом для путешествия служило желание совершить хадж, т. е. обязательное для правоверного мусульманина паломничество в Мекку. Однако истинные причины путешествия, должно быть, были иные, ибо он поехал не с караваном, как это всегда делалось для большей безопасности, а лишь в сопровождении молодого брата и одного слуги. Путь он избрал также не вполне обычный, отклоняясь от наиболее короткого маршрута и заезжая в ряд городов, где у него были, повидимому, дела. Посетив Мекку, он проехал в Каир, столицу фатимидов, и там добился свидания с самим фатимидским халифом.

Из Каира он снова выехал на родину, на этот раз уже наиболее кратким путем. По возвращении немедленно развернул пропаганду в самом широком масштабе. Деятельность его не укрылась от глаз местной администрации. Он подвергся преследованию, скрываясь, переехал в Нишапур, а затем, когда и там его стали настигать, бежал в неприступные долины горного Бадахшана, на Памир, где и оставался до самой своей смерти.

Результатом его путешествия в Мекку и Каир явилась крайне интересная «Книга путешествия», к сожалению, дошедшая до нас в сильно урезанной и искаженной редакции. Но и в настоящем своем виде она содержит огромное количество ценнейшего материала и дает яркую картину внутреннего состояния областей, которые путешественник посетил во время своих странствований.

В изгнании Насир-и Хусрау не прекратил свою литературную деятельность. В Бадахшанских горах он написал большую часть своих поэтических произведений, состоящих из двух поэм и обширного дивана лирики. Из поэм особый интерес представляет небольшая «Книга счастья», посвященная анализу социальной структуры общества. Насир-и Хусрау последовательно разбирает все сословия своего времени и нападает на феодальную аристократию с яростной критикой. Вельможи для него — волки, змеи и скорпионы. Они заносчивы, жестоки к угнетенным, их единственное божество — золотой телец.

Спускаясь вниз по социальной лестнице своей эпохи, он с любовью останавливается на ремесленниках, отмечая ту пользу, которую они приносят обществу. Но еще ценнее, по мнению поэта, крестьянин. Крестьяне, в его представлении, — основа всего общества; все радости жизни, все пропитание — только от них. Насир-и Хусрау не жалеет красок, описывая крестьян, и приходит к утверждению, что они — «розы райского сада», что, выполняя свой тяжелый труд, они даже легко могут опередить ангелов.

Этот панегирик крестьянству показывает, что именно на него исмаилиты больше всего рассчитывали в своей борьбе против халифата и его новых хозяев. Агитация ведется крайне продуманно, на свою сторону исмаилиты стремятся привлечь наиболее угнетенную часть населения, рассчитывая поднять ее заманчивыми перспективами. Едва ли автор поэмы сознавал, что работает по заданию той же феодальной аристократии, но только иранской. Он верил, что исмаилиты принесут облегчение измученной стране. Во всяком случае, стихи Насир-и Хусрау, в противоположность изысканности и холодности феодально-придворной поэзии, дышат энтузиазмом и уверенностью в своей правоте.

Лирика поэта состоит, в основном, из огромных касад. Но касадами они могут быть названы только по своей форме. Насир-и Хусрау никого в них

не восхваляет, не просит ни у кого подачек. Каждое из его больших стихотворений — целый философский трактат. Одни из них посвящены изложению, иногда в несколько затуманенном виде, исмаилитских учений, другие содержат проповедь суровой морали. В них резко критикуются существующие порядки.

Помимо художественных произведений Насир-и Хусрау занимался и научной работой. В этой области он шел по стопам Авиценны и изучал все дисциплины, тогда существовавшие.

Широкая образованность и большой литературный талант Насир-и Хусрау делали его страшным противником новой феодальной аристократии. Враги это прекрасно понимали и натравливали на него всех правоверных законовевдов и богословов. Произведения его только чудом спаслись от гибели. Большая часть их сохранилась лишь потому, что в горах Памира, в этих суровых ущельях, куда гнет и притеснение загнали человека, они были в безопасности от мусульманских инквизиторов.

ЛИТЕРАТУРА ГОРОДА

Если исмаилиты использовали литературу, как оружие против врагов, то и городское население, на которое феодальные раздоры и раздробление страны ложилось тяжким бременем, не замедлило выступить со своим протестом в литературной форме.

Литература города не могла иметь такого широкого распространения, как литература придворная. Придворный поэт получал плату за свой труд, он мог специализироваться в художественном мастерстве. Поэт города ни на какую оплату рассчитывать не мог, и поэтическое творчество для него являлось побочной деятельностью, лишь сопровождавшей его основную профессию. Эти условия, а также слабость города, еще ощущавшего в полной мере свое бессилие перед замком, не позволяют городской литературе развернуться достаточно широко. Чаще всего она имеет мистический характер. О распростране-

нии мистики в городах мы уже говорили.

Наиболее ярким представителем городской литературы, у которого основные мотивы лишь слегка прикрыты мистическими наслоениями, надо признать одного из талантливейших поэтов XII в. — Омара Хайама. Полностью отнести его к литературе Средней Азии, конечно, едва ли можно. Жизнь его протекала в Хорасане, к югу от Амударьи. А мы уже видели, какую тесную связь тогда имела Средняя Азия с Хорасаном. Имя Хайама не могло не быть известным и там, и если бы мы исключили его из нашего обзора лишь по тем соображениям, что он не жил в Средней Азии, мы не смогли бы охарактеризовать литературу эпохи достаточно полно.

Омар Хайам родился в Нишапуре, одном из крупнейших центров Хорасана того времени, между 1038—1048 гг. Из какой семьи он вышел, сказать невозможно, есть основания думать, что род его принадлежал к числу осевших в Хорасане арабских колонистов. Получив образование в одном из медресе Нишапура, Хайам приступил к самостоятельной научной работе, по обычаю того времени, объединяя в своем лице все научные дисциплины. Особое внимание он уделял математике и, в частности, алгебре, в которой провел ряд исследований, выдвинувших его в ряды первоклассных ученых. Однако его богатейшие знания не давали возможности обеспечить себе существование и полностью отдаться научной работе.

В предисловии к дошедшему до нас «Трактату по алгебре» Хайам горько жалуется на современников. Он говорит, что в его время «осталась лишь горсточка ученых, числом невеликая, но горестями обильная». Прощают, по его мнению, лишь те, кто выдает себя за ученых и бахвалится своими несуществующими знаниями.

Счастье наконец улыбнулось Хайаму. Султан Меликшах в семидесятых годах задумал произвести реформу солнечного календаря. Для этого требовалось выполнить ряд сложных астрономических наблюдений и вычислений. Произ-

вести их было поручено Омару Хайаму совместно с несколькими учеными. Для них специально построили обсерваторию около Нишапура. С порученным заданием Хайам справился блестяще. Высчитанный им календарь был введен в действие уже с 15 марта 1079 г. Нужно отметить, что хайамовский календарь несколько точнее применяемого почти во всем мире календаря грегорианского.

Для Хайама наступили счастливые дни. Слава его распространилась далеко за пределы Ирана. Бухарский хакан Наср пригласил поэта-ученого к себе и из уважения даже посадил рядом на трон. В это время астрономия еще неразрывно сочеталась с астрологией. Придворные круги ценили астрономов не за научные познания, а за их умение предсказывать будущее и устанавливать счастливые дни и часы для выполнения тех или иных предприятий. К Хайаму тоже не раз обращались с такими требованиями. Уклоняться от них он не смел, но в возможность предсказаний не верил и ограничивался прогнозами чисто метеорологического характера.

Наряду со специальностями астронома и метеоролога Хайам имел также репутацию искусного врача. И в этой области слава его, видимо, была немалой, ибо сохранилось известие, что, когда еще ребенком будущий султан Санджар болел оспой, к нему пригласили Хайама.

Наконец в области богословия Хайам считался крупным знатоком. Его приглашали на диспуты, но правоверные богословы чувствовали его критическое отношение к догматике и относились к нему не слишком благосклонно. Особенное недовольство их вызывало то, что Хайам в свободные часы, отдыхая от научной работы, писал стихи. Суфийская терминология поэзии Хайама не могла скрыть от современников ее действительного содержания. Один из его биографов прямо говорит, что «сокровенный смысл стихов Хайама — змеи для шарията, его жалящие...». Он же обвиняет Хайама в желании «мутить» и сбивать с толку верующих.

Постепенно против Хайама начинается все более обостряющаяся кампания.

Происки врагов облегчало то, что он не был похож на придворных ученых, торговавших своими знаниями и стремившихся завлечь массы всякими ухищрениями, не любил преподавать в школах и писать учебники, был суров характером. Но зато Хайам брался за всякие другие работы, в том числе и практического характера. Он изобрел способ определять чистый вес золота в ювелирных изделиях, украшенных драгоценными камнями, не вынимая камней из оправы. Это изобретение для ювелиров Нишапура, конечно, имело огромное практическое значение.

После смерти Меликшаха Хайам оказался в трудном положении. Защищать его было некому. Правоверное духовенство, охраняя положение правящих классов, свирепо преследовало всех, кто так или иначе не соглашался с догматикой. В 1095 г. в Нишапуре разыгрались кровавые погромы, которыми руководило духовенство. Видя грозную опасность, Хайам решает покинуть родной город и едет в Мекку, якобы желая совершить хадж, но на деле спасаясь от преследования. Вернулся он на родину только после 1112/3 г., когда волнения в Нишапуре несколько утихли.

Если и раньше он не слишком любил общество своих современников, то в эти последние годы он окончательно замкнулся и проводил время в одиночестве. Умер он около 1123/4 г.

Стихи Хайама до нас дошли главным образом, персидские. Переведенные в художественной форме на английский язык поэтом Э. Фитцджеральдом (ум. 1883 г.), они имели огромный успех в Европе и Америке.

Но стихи эти представляют до сих пор своего рода загадку, лишь до известной степени поддающуюся разрешению. В сборник четверостиший, приписываемый Хайаму, проникло также большое количество стихотворений, принадлежащих не ему, а другим — позднейшим и предшествовавшим — поэтам. Выделить подлинные произведения Хайама сейчас невозможно. Для этого у нас нет никакого критерия. Рукописи Хайама до нас не дошли. Свои стихи Хайам не собирал и не редактировал, он не

был поэтом-профессионалом. Многие создавались экспромптом и сохранялись долгое время только в памяти случайных слушателей. Правда, установить в общих чертах характер поэзии Хайама все же возможно. Все его персидские стихи — четверостишия (рубаи), форма их народная, выполнявшая на Востоке роль нашей частушки и широко использованная также и представителями суфизма, которые в силу своей связи с массами ориентировались на народное творчество. Исходя из указанной выше характеристики поэзии Хайама, мы должны признать его произведениями все то, что под покровом терминологии суфизма содержит мысли, с исламом плохо или совсем не примиримые.

Исследуя сборник в этом направлении, мы приходим к выводу, что основные, многократно повторяющиеся в нем, мысли сводятся к следующему. Хайам страстно стремится разгадать вопрос: что такое человек, откуда он приходит в этот мир и куда идет и почему жизнь его так коротка? Убедившись, что все его усилия не дают результата, он заключает, что смерть — полный конец бытия, что никакого индивидуального существования после смерти нет:

За завесой только одна болтовня — моя
и твоя.
Когда завеса упадет, не останется ни меня,
ни тебя.

Нужно помнить, что эта мысль по тому времени должна была считаться чудовищным кощунством. Коран подробно расписывает, что ждет верующего мусульманина после смерти. Сказать, что это не так, означало отрицать пророческую миссию Мухаммеда, отрицать, что коран — «откровение». Сказать это означало перестать быть мусульманином. Отсюда понятна ненависть, с которой представители правоверия относились к стихам Хайама. Он платил им той же монетой. Привычка к строго научному мышлению, долгая работа над математическими проблемами заставили его подойти с критической оценкой к «научной» деятельности вероучителей. Вся пустота их нудной схоластики раскрылась перед ним, и он начал осы-

пать профессоров медресе ядовитыми насмешками:

Есть на небе созвездие коровы, и имя
ему — Плеяды.
И другая корова¹ сокрыта под землей,
Раскрой очи разума, как обладающий
достоверным знанием,
Посмотри, сколько ослов между двумя
коровами,

Праведность «святых мужей» Хайам считает лишь удобной вывеской для обдeldывания темных делишек:

Хоть и смиренно пришел я в мечеть,
Но, поистине, не ради молитвы я пришел, —
Здесь я раз стащил коврик,
Он понастрепался, я за другим пришел.

Или:

Эти люди, которые поклоняются
молитвенным коврам, — ослы.
Ибо они — под бременем лицемерия;
Самое же любопытное то, что они под
покровом богобоязненности
Торгуют исламом, а сами хуже неверного.

Все обряды и формальности, предпринимаемые исламом, — для него пустяки. Дело не в них:

Не совершай обрядов, уклоняйся
от обязательных предписаний,
Но в том куске хлеба, что у тебя есть,
никому не отказывай.
Не сплетничай, не обижай божью тварь,
И я ручаюсь тебе «за тот мир», — давай
сюда вино.

Хайам страстно любит жизнь, и сознание ее кратковременности мучительно терзает его. Эта мысль навязчиво звучит в десятках лучших его четверостиший. Раз жизнь хороша, зачем уходить, зачем навсегда исчезать? В чем смысл такого быстрого исчезновения? На этот вопрос он ответить не мог. Условия, в которых он жил, не позволяли ему расширить кругозор до понимания смысла истинной человеческой жизни. Отсюда его пессимизм, его мрачные приступы отчаяния, и рецепт, которым он старается разогнать тоску: пей вино, пользуйся жизнью, пока можешь, — потом будет поздно.

¹ По старому восточному преданию, земля покоится на рогах огромной коровы.

Здесь есть известный зачаток материалистического подхода к действительности, но не нужно думать, что Хайам материалист в нашем, научном, понимании этого термина. Он делал лишь первые робкие шаги. Вместо борьбы за лучшую жизнь, Хайам предлагает отмахнуться от ее противоречий. Это самое слабое место всей его концепции, и потому его поэзия, при всей ее художественной законченности, среди широких масс отклика не встретила. В самом деле, можно ли было предлагать крестьянину пить вино и радоваться жизни? Такой совет мог звучать для него лишь издевательством. Поэзия Хайама была предназначена для немногих, для избранных, и только в XIX в. она получила на Востоке большее распространение, и то, конечно, среди обеспеченного населения, а среди крестьянства она мало популярна и сейчас.

СУЗЕНИ

Другой интересный тип городского поэта — самаркандец Сузени (ум. 1173/4 г.). Его большой лирический диван резко распадается на две части. Одна, повидимому, созданная автором в молодости, по внешнему облику сохраняет рассмотренные нами формы придворной поэзии. Те же касыды, но вступительные части их вместо традиционных тем содержат почти натуралистические бытовые сценки, крайне циничные и показывающие, до какой степени в городах в это время низко стояла нравственность. Вместо славословия по адресу покровителя у Сузени очень часто бывает откровенное самовосхваление, притом опять-таки в безобразно циничной форме. Стихи до такой степени грубы, что даже средневековые восточные литературоведы, обычно не очень придирчивые в этом отношении, не решались цитировать Сузени и приводить образцы его творчества.

Вместе с тем появление такого рода поэзии представляет большой интерес. Сузени, в сущности говоря, пародирует касыду, заставляя ее выполнять совершенно не свойственные ей функции. После его касыд трудно читать настоящие

придворные оды, настолько очевидной становится их пустота и доходящая до абсурда напыщенность гипербол. Это показатель того, что падение касыды уже было ясно и самому Востоку, что городской житель, более трезво смотревший на дело, видел ее закатное затмение в трафаретных штампах и издевался над ней.

Все же город до открытой борьбы с придворной литературой подняться был еще не в состоянии. Вторая часть дивана Сузени, по преданию созданная им в старости, представляет собой отказ от «заблуждений» юности. На службу к врагу Сузени не перешел, панегиристом не стал (да это и едва ли было возможно). Но, отойдя от своих пародий, он погрузился в пессимизм, в мрачную мистику. Не примирясь с действительностью и вместо борьбы предлагая лишь отвернуться от нее и заниматься само совершенствованием, Сузени тем самым капитулировал перед феодализмом, как и Хайам.

Итак, хотя феодально-аристократическая литература в XII в. и продолжает оставаться господствующей, но рядом с ней намечаются уже и другие линии. Намечаются они слабо, протест против общественного порядка облекается в форму религиозных реформ, мистики и пр. Это явление не есть что-то исключительно свойственное Востоку. То же самое мы видим и на Западе, где во время раннего средневековья все социальные протесты обычно облекались в религиозную форму и восстание против аристократии выливалось в сектантское движение. Слабое развитие производительных сил и раздробленность населения, не позволявшие эффективно бороться против эксплуатации, вынуждали протестантов опираться на философию обреченности, на учение о зависимости жизни от сверхъестественных сил.

ЛИТЕРАТУРА НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Мы установили выше, что носителями власти в Средней Азии в XI в. были исключительно представители раз-

личных тюркских племен. Иранское население в лучшем случае занимало в государственном аппарате должности советников, секретарей и т. п., но военной власти не имело. Несмотря на это, литературным языком продолжал оставаться персидский, получивший такое блестящее развитие в саманидской Бухаре. Кочевникам, захватившим Среднюю Азию, было не под силу сломить оставшиеся им в наследство традиции. В науку о воспитании феодальной аристократии входило и обязательное изучение персидского языка, который теперь для тюрков выполнял ту же функцию, которую несколько ранее выполнял арабский язык для иранских властелинов.

По прошествии времени в среде тюрков постепенно начинает возникать мысль о возможности использования родного языка для литературного творчества. Мы уже говорили о том, как появилась в Средней Азии письменность на тюркских языках. Теперь оставалось только эту письменность из областей религии и деловых сношений перевести в область художественной литературы. Прокладывать сразу же свои собственные оригинальные пути эта литература не могла. Ей нужен был образец, и таким, конечно, могла явиться только литература персидская. Как протекали первые шаги новой ветви среднеазиатских литератур, мы сказать не можем, ибо памятников от ранних периодов до нас не дошло.

КУТАДГУ-БИЛИК

Древнейшим образцом, сохранившимся до наших дней, является большая поэма «Кутадгу-билик» (Мудрость, делающая счастливым), написанная в 1069/70 г. Юсуфом из Баласагуна, города на реке Чу, для караханидского властителя Богра-хана, жившего в Кашгаре. Новая литература зародилась в тех областях, где иранское влияние было слабее и где, вероятно, персидский язык никогда особенно широкого распространения не имел.

Одна из дошедших до нас рукописей написана шрифтом, близким к содгий-

скому, — уйгурским, другие дают этот же текст уже в транскрипции арабским шрифтом. Так как и та, и другая системы письменности лишь условно передают звучание языка и не позволяют с абсолютной точностью восстановить произношение, то связать язык этой поэмы с языком какого-либо определенного из известных тюркских племен пока еще трудно. Условно этот язык называют уйгурским. Он принадлежит к числу тюркских языков восточной группы, т. е. имеет близость к современному узбекскому, казахскому и киргизскому, но не к туркменскому или азербайджанскому. Однако, как литературный язык, он применялся не только в самом Кашгаре, но и на всей территории, захваченной этническими племенами, и выполнял эти обязанности вплоть до XIII в., когда на смену ему выдвинулся новый литературный язык, о котором речь будет далее. Письменность уйгурская существовала долго. Нам известны уйгурские рукописи, переписанные еще в XV в. и даже позже, но число людей, знакомых с этой письменностью, которое и в момент ее расцвета едва ли было особенно велико, позднее сокращается до минимума.

О жизни Юсуфа мы не знаем ровно ничего. Из прозаического предисловия к его поэме, составленного значительно позже, мы узнаем только, что он занимал должность хассаджиба, т. е. приближенного (вроде камергера), при кашгарских ханах. Предисловие подчеркивает огромную ценность этого произведения и указывает, что у всех властелинов имеются подобные книги, носящие название «Обычаи царей», или «Распорядок царства», или «Украшение эмиров». В Иране, говорит составитель предисловия, ее называют «турецкое Шахнамэ», а некоторые говорят, что это «Книга назиданий царям». В том, что книга была написана в подражание персидским поэтам, убеждает нас, кроме характерной тематики и многочисленных языковых заимствований из персидского и арабского (через персидское посредство), самый размер, которым это произведение написано. Автор не воспользовался обычным и до настоящего

времени для большинства языков тюркской системы syllабическим (слоговым) размером, а попытался воспроизвести на своем языке размер, которым написано «Шахнамэ» Фирдоуси, т. е. размер, обычный в иранской феодальной литературе для поэм героического характера. Использование этого размера в языке, не имеющем природных долгот, представляло значительные трудности, но Юсуфу их все же более или менее удалось преодолеть.

Поэма распадается на семьдесят три главы неравной величины. После традиционных для мусульманских поэм того времени глав, посвященных прославлению бога, пророка и первых четырех халифов и восхвалению кашгарского хана, автор останавливается на значении разума и познаний и, поговорив о красноречии и извинившись за недостатки своей работы, переходит к самому повествованию.

Он рассказывает о могущественном князе Кюн-Тогды и дает характеристику идеального правителя. Затем вводит второе действующее лицо — Ай-Толды (полная луна) — идеальный тип государственного мужа. Ай-Толды направляется к хану Кюн-Тогды и поступает к нему на службу в качестве везира, министра и советника. После ряда глав, передающих беседы хакана с везиром, начинается центральная часть поэмы: вопросы хакана, обращенные к сыну везира Уктюльмишу, и его ответы на них. В этих вопросах постепенно излагается весь уклад жизни феодальной аристократии, дается характеристика и необходимые качества и знания правителя, везира, полководца, камергера, церемониймейстера, посла, секретаря, казначея, стольника, кравчего и слуги.

После нескольких глав, содержащих переписку хакана с мудрецами, поэт снова возвращается к основной теме. На этот раз он пространно говорит о правилах поведения. Здесь включены такие главы, как правила служения ханам, обращения с караульными у ворот, обращения с подданными, с потомками пророка, учеными, врачами, колдунами, прорицателями, астрологами, певцами,

земледельцами, купцами, пастухами, ремесленниками и нищими.

Установив правила поведения в общественной жизни, автор анализирует распорядок частной жизни. Он говорит, как выбирать жену и воспитывать детей, как обращаться со слугами, как ездить в гости и как вести себя на пиру.

Заключение книги составляют обычные указания на необходимость пользоваться жизнью, жалобы об ушедшей юности и предостережения от неверных друзей.

Основа книги представляет собой не столько повествование, ибо сюжета в поэме нет, сколько своего рода «зерцало» или «домострой», как именовалась такого рода литература в старой Руси. Для Переднего Востока эта тема вполне обычна. Аналогичные книги имелись и в сасанидском Иране. После установления халифата они получили большое распространение на арабском языке, а после возникновения самостоятельных княжеств на территории Ирана и Средней Азии появились на персидском языке. Полную параллель им в старой русской литературе представляют такие работы, как «Пouchение Владимира Мономаха» или более поздний «Домострой». На тюркском языке «Кутадгубилик» — самая старая из дошедших до нас книг этого рода, позднее они распространились на многих языках тюркской системы.

Тема книги, конечно, не слишком благоприятна для художественной обработки. Создать в рамках такой тематики яркие художественные образы почти невозможно, особенно при отсутствии стержня, который мог бы скрепить весьма слабо связанные между собой главы. Поэтому неудивительно, что особыми художественными достоинствами поэма не отличается. Их, впрочем, трудно было бы и требовать. Ведь Юсуф вынужден был использовать для изложения весьма сложных вопросов язык, в основном отвечавший потребностям кочевников. Когда родной язык не давал поэту нужного лексического материала, он прибегал к помощи тех языков, на которых в то время уже су-

ществовала обширная литература, т. е. персидского и арабского. Заимствований из этих языков у него много, но к чести автора нужно отметить, что без нужды он к ним не прибегал и вводил иностранные слова лишь там, где родной язык был бессилён. В этом отношении его поэма представляет разительный контраст с литературой XV — XVI вв., где иногда почти весь словарный запас целиком состоит из арабо-персидских заимствований.

В отношении культурно-историческом поэма Юсуфа представляет неоценимое сокровище, раскрывая с весьма большой полнотой идеологию правящих классов его времени. Правда, и здесь нужны некоторые оговорки. Нельзя думать, что поэма целиком отражает настроения и обычаи именно караханидской знати. Многие здесь должно быть отнесены за счёт традиции, которой следует автор. Нужно помнить, что сам он к правящим классам не принадлежал. Хотя он и старался приноровиться, насколько возможно, к запросам своих покровителей, но в книге своей отразил далеко не только их воззрения. В поэме его многое должно рассматриваться как пожелание, как тот идеал, о котором автор мечтал (частые, например, указания на правосудие и сдержанность хана).

Полный литературоведческий анализ книги пока еще никем не осуществлен; как первый издатель ее (акад. В. В. Радлов), так и все остальные тюркологи подходили к ней только со стороны лингвистической. Анализ поэмы пока еще представляет значительные трудности, так как в основу издания ее была положена довольно неважная рукопись, не позволившая с достаточной точностью воспроизвести текст.

Вот довольно любопытный отрывок, показывающий как особенности стиля, так и отношение автора к придворной поэзии.

*Он говорит о том, как обходиться
с поэтами.*

Затем идут поэты, эти слагатели слов,
Восхваляющие людей или порицающие их.
Их язык — острее меча,
Мысль их — тоньше волоска.

Если ты захочешь послушать весьма тонкие
слова,

Слушай от них понятное слово.

Как пловец, ныряющий в море, он из своего
сердца

Извлекает самоцветы, маргариты и яхонты.

Если они прославят, пойдет в народ доброе
имя,

Осудят же если, имя погибнет.

Потому-то, друг, обращай с ними хорошо,
Но не цепляйся за их речи.

Если ты сам хочешь доброго прославления,
Радуй их, и распространится их слово

о тебе.

О чем попросят, давай им все это,

Получай выгоду от их языка.

Эта точка зрения очень близка к той, какую мы видели в персидской касиде во времена ее расцвета. Здесь также предусматриваются два основных вида поэзии — ода и сатира — и отмечается выгода политической поэзии для правителя. Отношение к слову такое же, какое мы видели и на раннем этапе арабской поэзии и которое позднее сохранилось у тюркских народов, продолжавших вести кочевой образ жизни.

Но в этом отрывке совершенно отчетливо выступает и интерес самого поэта. Могущество слова, может быть, сознательно преувеличено. Поэту чрезвычайно важно убедить представителей правящего класса в необходимости оказывать всей поэтической братии достаточную материальную поддержку. Недаром персидские современники Юсуфа грозят прижимистым покровителям сатирой и напоминают им о том, как расправился Фирдоуси с не оценившим его султаном Махмудом.

Таким образом, «Кутадгу-билик» в истории литературы Средней Азии — крупнейшее явление. Оно доказывает, что завоеватели уже не стояли в стороне от культурной жизни захваченных ими областей, но втягивались в нее, примыкали к тем линиям, которые были выработаны ранее. Характеристика поэмы Юсуфа показывает, что оторвать ее от современной ей литературной жизни невозможно. Было бы неправильно сказать, что с ней возникло новое литературное течение в Средней Азии. Литературное развитие идет своим путем, обусловленным всем ходом исторического процесса. Но важно отметить, что

литература нашла себе еще один новый язык для выражения своих мыслей. Если в IX в. основным литературным языком был арабский, то в X в. его место занял персидский, оставив за арабским только область науки и богословия. В XI в. персидский проникает и в науку, а в области художественной появляется третий брат — различные языки тюркской системы. Однако это не три различных литературы, а одна единая литература, только пользующаяся тремя (или более) различными языками.

АХМЕД ЕСЕВИ

Мы уже говорили о том, как распространялись в Средней Азии течения, называемые суфизмом и дервишизмом. Второе из дошедших до нас произведений на тюркских языках относится именно к этой области литературы. Мы имеем в виду пользовавшийся еще до недавнего времени громадной популярностью в Поволжье и Средней Азии сборник «Назиданий» Ахмеда Есеви. Поэт этот родился во второй половине XI в. в восточной части Туркестана, области, называвшейся тогда Аргу, в городе Сайраме или Испиджабе, возле Кара-Су.

Из какой семьи он вышел, нам не известно. Можно полагать, что он осиротел еще ребенком, воспитывался в доме у своей старшей сестры, а затем, юношей, попал в город Есе (находится неподалеку от ст. Туркестан Среднеазиатской ж. д.). Жажда знаний привела его в среду суфийских мыслителей, и он сделался муридом — учеником известного шейха Юсуфа Хамадани, обитель которого находилась в Мерве. Вернувшись обратно в Есе, он собрал множество учеников и добился большой славы. Рассказывают, что, когда ему исполнилось 63 года, он, не пожелав жить дольше среди людей, выстроил для себя подземную келью и поселился в ней. Так, чуждаясь людей, он прожил остаток жизни и умер в 1166 г. На могиле его знаменитый завоеватель Тимур, относившийся с большим уважением к дервишам, построил мавзолей,

частично сохранившийся и до наших дней.

Изучение оставшегося сборника стихов поэта представляет значительные трудности. Книга эта до сих пор попала только в совсем новых сравнительно рукописях. Поэтому целиком полагаться на текст, находящийся в нашем распоряжении, нельзя. Можно предполагать, что при жизни Ахмеда Есеви его произведения совершенно не записывались и распространялись преимущественно устно. Запись и объединение их в сборник были произведены значительно позднее, и потому сказать с уверенностью, что из них относится к XII в., а что включено позднее, не представляется возможным, как нельзя определить точно, на каком из тюркских языков были написаны эти произведения. Наиболее вероятным нам кажется следующее. Ахмед Есеви своими произведениями преследовал определенную цель — распространить и укрепить ислам среди тюркского населения Средней Азии. Так как деятельность поэта протекала в районе Есе, то надо думать, что он говорил на языке живших там тюркских племен. Насколько нам известно, уже с начала XI в. по Сыр-Дарье жило племя огузов. Когда сельджуки, входившие в состав огузского племенного союза, передвинулись к Бухаре, а затем перешли и в Хорасан, освободившееся место было занято кыпчаками, заселившими местности к северу от Аральского и Каспийского морей. Следовательно, если Ахмед Есеви желал быть понятным для населения Есе и прилегающих районов, он должен был говорить на языке огузском, может быть, с некоторой примесью кыпчакских элементов.

В противоположность автору «Кутадгу-билик» Ахмед обращается не к правящим классам. Его слушатель — кочевник, может быть, отчасти и ремесленник. Для большей доходчивости поэзии Ахмед усвоил манеру персидских суфиев — пользоваться той формой стиха, которая наиболее распространена в кругах его слушателей. Он строил свои песни по правилам народного стихосложения тюркских племен, по слоговой си-

стеме. Внешне они совпадают с формами фольклорной лирики, распространенными и по сей час на территории от казахских степей до Малой Азии.

С точки зрения содержания стихотворения Ахмеда Есеви особого интереса не представляют. Хотя он и изучал довольно сложную суфийскую философию, но обращаться с ней к неподготовленной аудитории, окружавшей его, он, конечно, не мог. Большая часть его песен в простой форме излагает основные положения ислама, говорит о пророке, о загробной жизни и т. п., т. е. представляет собой своего рода «миссионерскую» поэзию. Наряду с этим некоторое, хотя и довольно скромное, место занимает призыв хорошо относиться к дервишам, помнить, что жизнь бездомного скитальца тяжела и не знает радостей. Мораль поэта сурова. Жизнь он не любит, мир для него не дороже «макового зернышка». Он зовет слушателя отвернуться от земных дел и предаться только самосовершенствованию, очищать свое сердце от «скверны». Если припомнить, насколько тяжела была жизнь в те времена, когда в непрерывном передвижении народов, походах и завоеваниях гибли целые города, поля превращались в пустыни, то можно понять, почему эта проповедь привлекала к себе внимание. Народ, особенно «простой люд», не искавший обогащения путем воинских подвигов, иначе говоря, грабежа, искал какого-то утешения в своих горестях. Хотелось чего-то устойчивого, на что можно было бы положиться. Эту уверенность и давали песни «Ходжи» Ахмеда Есеви тем, кто отчаялся, кто страдал. Не имея счастья на земле, люди утешались тем, что найдут его где-то «там», после смерти, — и это счастье Ахмед им обещал.

Конечно, такая проповедь обезоруживала массу, погружала ее в пассивный

фатализм и приносила огромный общественный вред. Положительная сторона литературной деятельности Ахмеда может быть усмотрена разве только в том, что на место «закона силы» пустыни он ставил все же относительно более высокую мораль, имевшую известное смягчающее действие.

Для истории литературы значение Ахмеда несомненно велико, ибо он — один из первых проводников идей суфизма среди тюркских народов Средней Азии. В дальнейшем, в результате его усилий, дервишская поэзия охватит собой почти все языки страны. Особенно же существенно то, что Ахмед закрепил за суфийской поэзией право на использование фольклорных форм и тем облегчил в дальнейшем для письменной поэзии связь ее с фольклором.

Итак, рассмотрение литературы XI—XII вв. показало окончательное оформление среди одной части населения Средней Азии персидского языка, как языка литературы, и зарождение двух тюркских литературных языков: восточной ветви — караханидского и западной — огузско-кыпчакского. Нарастание противоречий с усилением феодализации все отчетливее выдвигало рядом с линией литературы правящей верхушки, литературы придворной, вторую линию, идущую вразрез с первой. Город начал создавать свою тематику, начал подходить с критикой к правителям и их приспешникам — духовенству.

Но развитие это было прервано внезапной катастрофой, сильно изменившей положение всех слоев населения в Средней Азии. Грызне феодальных князьков был положен конец вторжением неудержимой силы — монголов, которые на время смели с лица земли всех этих «повелителей вселенной» и заставили население Средней Азии испытать неслыханные бедствия.

(Окончание следует)

А. П. Чехов

БИОГРАФИЯ

(Окончание) ¹

А. ДЕРМАН

★

ОТКЛИКИ

В откликах на кончину Чехова была одна существенная особенность. Печать, исключая два-три черносотенных листка, единодушно выражала глубокое сожаление о понесенной русской литературой утрате, искренность которого не вызывает сомнений. Но этот отклик прессы несоизмерим с тем взрывом глубокой печали, каким отозвались на весть о смерти Антона Павловича широкие массы читателей. Тысячами и тысячами людей это событие было воспринято как тяжкий удар, как потеря родного человека, члена семьи, близкого друга.

Опять, как и в предшествующие годы, определилось резкое расхождение между отношением к писателю прессы — с одной стороны, читательской массы — с другой.

Уяснить причину этого явления — значит понять самую сущность воздействия чеховского творчества на читателя, а отчасти — и значение этого творчества для истории развития русского общества.

Причина была тут одна. Прогрессивная печать, за редкими исключениями, оценивала пессимизм Чехова как явление, с точки зрения общественной, отрицательное, регрессивное, действующее разлагающим образом на общественное настроение. А читатель — непосред-

ственным чувством, без рассуждений и теоретизаций — воспринимал тот же пессимизм как могучее жизненное побуждение.

Надобно прямо сказать, что критика того времени не учуяла происшедшей в настроении общества перемены и потому впала в заблуждение. Когда она в конце 80-х годов высказывала мысль, что такие вещи, как, например, пьеса «Иванов», могут быть восприняты читателями как своего рода проповедь антиобщественной теории «малых дел», то она была отчасти права. Время было глухое, беспросветное, насквозь реакционное. Общество было подавлено, апатично. И когда в эту атмосферу попало сильно написанное произведение с центральным героем — «лишним человеком», тоже апатичным, во всем общественном разочарованным, проповедующим принципиальный отказ от всякой активности, от всякого широкого размаха, кончающим с собой после короткой вспышки веры в себя и в свои силы, — то влияние такого произведения могло быть вредным, способствующим понижению общественного настроения.

Но и в развитии последнего, как и в развитии всего на свете, есть своя диалектика. В середине 90-х годов, когда творчество Чехова достигло полного расцвета, настроение общества было уже не то и, главное, оно неуклонно нарастало, шло на подъем.

Если попытаться кратко сформулировать, в чем состояла происшедшая пе-

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 1, 5 и 6 с. г.

ремена, то у нас получится нечто вроде такой картины: оковы, наложенные царским правительством на человека, рождали прежде в его душе чувство безнадежности, апатию. Теперь они вызывали гнев, раздражение и нетерпеливое стремление сбросить их с себя. Поэтому всякое новое указание на тяжесть этих цепей прежде лишь усиливало чувство безнадежности. Сейчас такое же самое указание лишь подымало гнев и стремление сбросить с себя ярмо.

Вот в чем состояла эта диалектика общественного настроения.

И чеховское творчество шло ей навстречу, как никакое другое. Читая «Палату № 6», читатель испытывал ощущение, будто сам он заперт самодержавным строем в «палате № 6», но он не покорялся, а страстно жаждал из нее вырваться. В пьесе «Три сестры» зритель слушал тоскующие — и по существу абсолютно безнадежные — стоны сестер: «В Москву! В Москву!». Лет десять назад, в 80-е годы, они бы усилили его чувство безысходной тоски. Сейчас они звучали как призыв к лучшей, более осмысленной и светлой жизни. Недаром ведь самые эти слова: «В Москву! В Москву!», у автора употребленные как символ бессильной тоски, самым парадоксальным образом вошли в обиходную разговорную речь как символ живого и действительного стремления.

В 1898 году Чехов написал знаменитый свой рассказ «Человек в футляре», самое название которого давно стало крылатым выражением, беспрестанно применяемым в литературе, в публицистике, в ораторских речах, в разговоре. Если отнестись к этому рассказу так, как относилась критика к творчеству Чехова вообще, то это — поистине предельная степень пессимизма. Можно ли, в самом деле, придумать что-либо мрачнее и беспощаднее, чем та картина жизни целого города, какую нарисовал Чехов в этом рассказе! «Этот человек, — читаем мы здесь об учителе гимназии Беликове, в душе которого голая отвратительная трусость вытеснила положительно все другие качества, — ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию це-

лых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство при нем стеснялось кушать скромное, играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...».

Другими словами: перед нами с поразительной силой изображено полнейшее ничтожество, приведшее в состояние духовного паралича и совершенного рабства все население целого города. Можно ли вообразить что-либо более мрачное и угнетающее? Ведь, по справедливости говоря, здесь показан не только «человек в футляре», а население целого города в футляре. Более того, читатель чувствовал, что речь идет не только о данном городе, что жизнь всего народа втиснута в какой-то мрачный футляр. Чехов в своих произведениях избегал ставить точки над *i*, но тут он, устами своего героя, сам наводит читателя на нужное обобщение: «А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, — разве это не футляр? — спрашивает рассказчик. — А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, — разве это не футляр?».

Права ли была критика, называя эту мрачную картину пессимистической? Безусловно. А была ли она права, опасаясь, что подобные картины, которыми творчество Чехова поистине изобиловало, могут действовать подавляюще на общественное сознание?

Нет, в этом она ошибалась. И здесь то заключается корень недоразумения. Такие вещи, как «Человек в футляре», в эпоху подъема выполняют прогрессивную, а порой и прямо революционную функцию, разоблачая угнетателя и накаляя гнев и нетерпение угнетенного.

Мы находим в самом рассказе необыкновенно яркую, даже страстную, формулировку того ощущения, какое в

эпоху общественного под'ема вызывают Беликовы, показанные во всем своем отвратительном «величии». Человек, от имени которого и ведется рассказ, включает его следующими словами: «Видеть и слышать, как глут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!».

Вот это и есть настоящее слово: «больше так жить невозможно!». Это и есть сжатое и точное выражение того, что выносил читатель Чехова из его мрачных, пессимистических произведений. И это шло навстречу тому чувству, какое рождала в читателе предреволюционная действительность в годы нарастания боевого общественного настроения: жизнь сама по себе, в своей сущности, казалась прекрасна, сулила светлые радости. Но у самого порога ее встречает ненавистный режим, постепенно, но неуклонно подсекающий все надежды и радости и превращающий светлый, разнообразный мир в серую казарму, в унылый ряд «футляров». «Больше так жить невозможно!» — всеми своими фибрами ощущал читатель. И Чехов своими рассказами и пьесами давал выход этому чувству, оформлял в сознании и выражал в словах то самое, что без слов, но глубоко волновало тысячи его читателей.

Этот читатель раскрывал его книгу на рассказе «Учитель словесности», где показано, как молодая, зорящая человеческая жизнь быстро затихает тинной так называемого спокойного, обеспеченного существования, то-есть обывательского болота. Еще недавно эта картина могла лишь удручающе подействовать на читателя, потому что и сам он находился в той или иной стадии такого же процесса. Сейчас она внушает ему ужас, и вместе с героем рассказа он готов воскликнуть: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины с молоком, тарака-

ны, глупые женщины... Нет ничего страшнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!».

В этом-то и состояла поистине кровная связь Чехова с его читателем. Он был выразителем того ужаса перед постылым, обывательским существованием, того жгучего нетерпения — почувствовать дыхание новой, преображенной, свободной жизни, какие так характерны для читателя предреволюционной поры.

Необходимо здесь напомнить приведенные раньше слова Чехова из письма, где он резко противопоставляет прежних больших писателей и писателей своего поколения. «Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но от того, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такую, какая она есть, а дальше — ни тпру ни ну».

Для того момента, когда строки эти писались, это было в известной мере правильно. Но с каждым годом картина резко менялась, несмотря на то, что Чехов попрежнему ограничивался почти лишь тем, что писал жизнь такую, какою она была, лишь в редких случаях переступая эту черту. Но атмосфера кругом была уже не та. И в этой предгрозовой атмосфере каждая строчка его рассказов, каждое лицо в его пьесах настойчиво и страстно твердили читателю: жизнь такова, как она здесь изображена, но она таковой не должна быть. Чехов не умел указать, куда надо идти. Но он не уставал указывать, от чего надо уходить прочь.

Необыкновенно поучительно, что редкие высказывания Чехова, в которых звучит положительная вера в близкий переворот, высказывания порой очень сильные, на предреволюционного чита-

теля не производили и малой доли того впечатления, какое он выносил от картин вроде тех, какие даны в «Человеке в футляре» и т. д. Например, в пьесе «Три сестры» со сцены раздавались такие слова: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку».

Напрасно стали бы мы искать в прессе того времени каких бы то ни было указаний на то, чтобы эти, по существу пророческие, слова вызвали тот или иной отклик в зрительном зале театра, чтобы по поводу них раздались какие-нибудь возгласы, чтобы слушатель выделил их каким-либо образом. Ничего этого не было, и не эти замечательные слова, с таким ясным, конкретным и определенным предсказанием, сделались крылаты, а слова беспредметного, безнадежного и безысходного томления: «В Москву! В Москву!».

Чем объясняется это поразительное противоречие? Тем, что для положительных предсказаний и указаний революционного характера тогдашний читатель имел руководителей, более осведомленных, точных и авторитетных, чем писатель Чехов. В то время уже шла большая подпольная революционная работа, уже были революционные организации, уже существовала революционная литература. Наконец, среди писателей уже подымалась фигура человека, содержание и смысл творчества которого состояли в призыве к революции, — Максим Горький. Вот из этих источников черпал читатель все то, что касалось «здоровой, сильной бури», надвигающейся на страну. К Чехову он за этим не обращался, — в его распоряжении были более веские и конкретные указания на грядущую революционную бурю. Но никто не умел сказать читателю более страстно и сильно, чем Чехов, этих магических слов предреволюционного настроения: «Больше так жить невозможно!».

В этом заключалась подлинная миссия Чехова, которая в конкретных условиях того времени, по тому действию,

которое она производила, должна быть по справедливости названа революционной.

Этого не поняла критика, проводившая писателя в могилу с искренней грустью, но без ясного понимания общественного значения понесенной утраты, потому что критика эта не послела за ходом времени, не учла диалектики чеховского пессимизма и не заметила новой, революционной функции последнего.

Но читатель, напряженнейшее ощущение которого: «Больше так жить невозможно» — с такой силой, полнотой и ясностью в течение ряда лет выражал скончавшийся писатель, пережил эту утрату именно как личную, потому что здесь обрывалась связь самая живая, кровная, задушевная. И он откликнулся на эту утрату настоящим взрывом печали, многих удивившим своею силой и глубиной.

В нашей истории это был не первый случай, когда читатель опережал критику в оценке писателя. Так было и после гибели Пушкина, к гению которого даже передовая критика успела к тому времени слегка «охладеть». Народное горе, в потрясающих формах проявившееся над гробом поэта, воочию показало, что рядовой читатель оказался тогда прозорливее критики.

ЧЕХОВ В НАШЕ ВРЕМЯ

Нужен ли Чехов нам, или же он безвозвратно отошел в прошлое вместе с тем мрачным временем и теми «хмурыми людьми», которых он изображал? Если нужен, то почему, какими своими сторонами? Что в его творчестве способно питать наш интерес еще и сейчас? И т. д., и т. д.

Всего легче ответить на первый вопрос, — потому, прежде всего, что он является лишь частицей большого общего вопроса, давно уже разрешенного, и потому еще, что применительно к Чехову на этот вопрос сама жизнь дала ответ твердыми, неоспоримыми фактами.

Общий большой вопрос, в отношении которого вопрос о нужности Чехова яв-

ляется лишь частностью, это вопрос о культурном наследстве. Он у нас давно и бесповоротно разрешен. Стало быть, речь может идти лишь о том: является ли творчество Чехова живой частицей этого огромного наследства или только чисто архивной ценностью последнего, хотя бы и весьма высокой ценностью?

Но на этот вопрос недвусмысленно ответила сама жизнь: произведения Чехова жадно читаются миллионами читателей — новых читателей; книги его исчезают с рынка в момент появления; пьесы Чехова проходят при переполненных зрительных залах. Совсем еще недавно, в связи с 40-летием Художественного театра, В. И. Качалов с замечательной точностью написал о Чехове: «Он давно уже стал нашей историей и в то же время неиссякающим живительным источником правды на сцене, в каждой репетиции, в любом спектакле, до сих пор». Миниатюры Чехова продолжают служить любимыми номерами эстрадных программ; статьи и крупные литературные работы, посвященные творчеству Чехова, не прекращаются.

Гораздо сложнее ответить на другие вопросы. В самом деле: почему нам Чехов еще нужен? Какими сторонами своего творчества? Что общего между творцом «Палаты № 6», «Человека в футляре» и т. д. и нами, гражданами страны социализма?

Эти вопросы уже ставились в литературе, но надо прямо сказать, что ответы давались на них явно неудовлетворительные. Их можно свести к трем основным группам.

Во-первых, указывают на чисто исторический интерес чеховских произведений. По ним мы можем изучать определенную историческую полосу русской жизни — 80-е и 90-е годы XIX века.

Объяснение, конечно, бесспорное, но совершенно недостаточное. Если известный процент читателей Чехова и приходит к его сочинениям ради чисто исторического познания, то не подлежит сомнению, что это лишь незначительное меньшинство, в подавляющем же большинстве Чехов отвечает какой-то другой, гораздо более непосредственной и насущной читательской потребности.

Иногда можно встретить об'яснение успеха, которым пользуются рассказы и пьесы Чехова, их эстетическими достоинствами: они никого не волнуют, но ими продолжают любоваться. С наибольшей определенностью эта мысль высказана в книге «Драматургия Чехова», принадлежащей одному из видных исследователей творчества Чехова, С. Д. Балухатому, и уже в силу одного этого она заслуживает внимания. «Мы не отказываемся и сейчас, — пишет автор, — от эстетического любования чеховскими спектаклями Художественного театра. Но смысловая сущность этих спектаклей, жизненная «правда» в них нас уже не волнует, не «потрясает». Отделенные от жуткой полосы чеховской эпохи рубежом социалистической революции, мы, современники первых лет социалистического строительства, не волнуемы горестями, страданиями, надеждами людей прошлого».

Порочность этого рассуждения бросается в глаза. Не трудно понять, что «рубежом социалистической революции» мы отделены не от одного лишь Чехова, но от всей культуры прошлого. И если это обстоятельство обрекает нас на невозможность волноваться «горестями, страданиями, надеждами людей прошлого», то, стало быть, усвоение культурного наследства сведется к эстетическому любованию этим наследством — и только. Ведь наряды короля Лира с дочерьми едва ли не меньше, согласно этой теории, способны нас взволновать, чем страдания Раневской из-за продажи вишневого сада.

Совершенно ясно, что связь Чехова с читателем какая-то иная, более серьезная и живая.

Наконец, третья и наиболее распространенная группа ответов на вопрос о нужности Чехова для нашего времени сводит дело к тому, что его произведения выполняют функцию борьбы с мерзкими остатками прошлого. «Мы живем среди порядочной мешанской духоты, — писал А. В. Луначарский лет четырнадцать назад, — она душит нас и в деревне, и в провинции, и в столице. Она держит в своих когтях обывателя, она прочно вцепилась еще и в рабочего,

и под ее злым крылом ютятся слишком часто личная семейная жизнь даже революционеров». Чехов, как беспощадный преследователь этой мещанской духоты, помогает, по мысли Луначарского, ее преодолевать. Биограф Чехова Ю. В. Соболев не так давно писал, что современный читатель «примет Чехова для того, чтобы вместе с Чеховым продолжать жестокую схватку с «чеховщиной» и борьбу с той пошлостью, которая все еще кое-где дает о себе знать и сегодня».

Все это совершенно бесспорно: верно, что русская литература не знала писателя, который разоблачил бы и заклеймил мещанскую пошлость так беспощадно, как это сделал Чехов. Верно, что в выкорчевывании ее остатков из нашей жизни его сочинения продолжают поныне выполнять крупную роль. Достаточно напомнить тот факт, что на XVI парт'езде товарищ Сталин, говоря о правых оппортунистах, сблизил их с образом Беликова, «человека в футляре»: «Они болеют той же болезнью, которой болел известный чеховский герой Беликов, учитель греческого языка, человек в футляре... Он боялся, как чумы, всего нового, всего того, что выходит из обычного круга серой обывательской жизни...».

Не следует, однако, упускать из виду, что это лишь одна из функций творчества Чехова. Неужто Чехов нужен нашим читателям лишь в меру уцелевших в нашей стране остатков мещанской пошлости? Неужто, когда остатки эти будут выкорчеваны, потребность в Чехове отпадет?

Разрешать эти вопросы подобным образом — значит до-нельзя сужать учение о критическом освоении культурного наследства, значит огромные культурные ценности низводить на степень ограниченного временем школьного дидактического пособия.

Сотни тысяч и миллионы новых зрителей наполняют театры, смотрят «Грозу» Островского, «Гамлета» Шекспира, «Анну Каренину» Толстого и т. д., и т. д. Миллионы читают «Евгения Онегина», «Войну и мир», лирику Пушкина, Лермонтова.

За редчайшими исключениями, персонажи и герои всех этих произведений классово бесконечно далеки читателю и зрителю. Но вот Анна Каренина выходит на сцену со своими страданиями, и в театре раздаются рыдания. Что их вызвало? Эстетическое любование? Или то, что зритель изучил за эти часы Анну как фигуру исторического прошлого, и при этом разволновался почему-то до слез? Или какая-нибудь студентка, рабфаковка, наблюдая муки Карениной, извлекла из них для себя тот или иной поучительный урок самовоспитания и до слез умилилась этой удачей?

Все это звучит несерьезно, а между тем мы возвращаемся в круг тех именно ответов, какие обычно даются на вопрос о характере связи классика с его читателями.

Совершенно ясно, что этот круг должен быть разорван. Необходимо понять раз навсегда, что если герои тех или иных произведений относятся к чуждой нам эпохе, сами по себе чужды нам по своим интересам, воззрениям и образу жизни, и т. д., и т. д., то из этого отнюдь не вытекает, что проникновение в строй их чувств и мыслей для нас не более, как эстетическая роскошь. Необходимо понять, что, вникнув в любовь Анны Карениной к Вронскому, наша современная советская женщина глубже узнает и тоньше почувствует не только, что такое любовь вообще, но и что такое ее собственная любовь к определенному Петру или Владимиру, несмотря на то, что между ним и Вронским такая же пропасть, как между нею и Анной. Потому что гений вскрывает какой-то корень явления, чувства или страсти и приобщает к ним читателей или зрителей.

Огромная, незаменимая роль гениев искусства и сводится к приобщению миллионов к самому ядру человеческих чувств. Любовь, ненависть, героизм, страх, восторг, скорбь, ревность, скудость, грусть, радость и т. д., и т. д. — все эти чувства и их вариации познаются нами через опыт, огромную часть которого составляет опыт гениев человечества.

Вот, главным образом, в каком смысле необходим нам и Чехов. Он так много темных углов осветил в человеческой душе, так много новых знаков открыл в азбуке наших страстей, чувств и переживаний, что отказаться от него — это значило бы отказаться от чего-то, близкого по значению к грамоте, от огромного богатства в области познания человеческих душ. Его образы вошли в обиход нашей жизни наравне с теми людьми, которых мы близко и лично знаем. Это наши постоянные собеседники. Разве можем мы безнаказанно для себя, — не только для нашего познания жизни, но и для нашей готовности бороться за светлую жизнь, — не знать «человека в футляре»? Или «Душечку»? Или Ваньку, который пишет письмо на деревню своему дедушке? Или Егорушку, едущего по выжженной степи? Или рвущихся в Москву трех сестер?

И, наконец, необходимо помнить еще об одном обстоятельстве. Как и всякое творчество крупного масштаба, творчество Чехова не является чем-то постоян-

ным, раз навсегда подытоженным и тем самым ограниченным. Не только каждый читатель, но и каждое поколение читателей берет и будет брать от него то, что ему необходимо, бывшее ненужным предшественникам или ими незамеченное. Пример налицо: стиль Чехова. Его влияние как мастера литературной формы до революции было крайне ограничено, распространяясь на сотню-другую пишущих людей, литераторов-профессионалов. Сейчас, когда в работу по культуре слова вовлечены сотни тысяч, миллионы людей, роль Чехова как непревзойденного мастера ясной, простой и предельно сжатой литературной формы становится новой, чрезвычайно важной. И, таким образом, Чехов в каком-то очень существенном отношении оказывается гораздо более «нужен» нашему времени, нежели дореволюционному.

Это необходимо помнить при дискуссии о «нужности» Чехова. Во всяком случае, для современного советского читателя здесь нет даже вопроса.

Индустрия социализма и ее художественное отражение

В. СОБОЛЕВ

★

В стране социализма человек создает формы жизни, достойные его человеческой сущности. Раскрываются и получают свое законное право все естественные свойства и качества человека. Они находят свое проявление во всенародном росте культуры людей, свое выражение в искусствах, ставших достоянием и естественной потребностью миллионов масс. Но мы еще только подходим к тому периоду, когда осуществляются и на деле получают свою практическую силу слова К. Маркса о том, что «В коммунистическом обществе не существует живописцев, существуют лишь люди, которые между прочим занимаются и живописью». Нам еще нужно много художников, «хороших и разных», с отличной выучкой профессионального мастера.

Труд, его содержание и способы его выполнения получили у нас свою увлекательную силу. Цельность мировоззрения является могучим рычагом и основой для искусства «большой идейной глубины», нового социалистического содержания, соединенного с богатством и разнообразием форм. Искусство, как боевое оружие наших дней, должно выражать глубокую мысль, сильную волю и активные, горячие чувства людей, находить в душе их мощный отклик. С этой меркой без всяких скидок мы подходим к работам наших художников выставки «Индустрия социализма».

Новая действительность выдвинула перед художниками огромные требова-

ния. Поставила на их пути большие трудности. Это обстоятельство должно быть учтено, но вместе с тем, в оценке творческих итогов художественной выставки «Индустрия», мы считаем, что ученический период для очень многих художников слишком затянулся. Наше время требует того, чтобы быстро и хорошо работать!

★

На выставке преобладает живопись. Темой, идейным содержанием, сюжетом живописи является волнующая действительность наших дней. Было бы превосходно, если бы сила художественного языка, пластичность и музыка красок равнялись силе фактов. К сожалению, этого еще нет. Но уже десятки экспонированных произведений говорят о том, что художники в своих идейных замыслах вышли на единственный и правильный путь овладения искусством, соответствующим содержанию эпохи. Это далеко еще не все, сделано еще слишком мало, но это — прекрасное начало.

Мы знаем старую Россию по замечательным полотнам классиков русской живописи, достигшей исключительного расцвета во второй половине XIX века. На данной выставке изображена новая страна, так мало похожая на старую, дореволюционную Россию. Иной по своей сущности, по своим формам, объемам, краскам и колориту выглядит на-

ша родина в эпоху своего цветения и роста, и не сравнима жалкая чересполосица бедняка, единоличника с мощным ковром колхозных полей.

Как бы в порядке сравнения старого и нового здесь же, среди преобладающего количества работ, посвященных нашей действительности, мы имеем хоро-

стро сатирическом плане на темы Салтыкова-Щедрина, — «Но-о, каторжный, шевелись!» из сказки «Коняга», и «Хозяйственный мужичок», — рисуют выбивающихся из последних сил крестьянина и его «конягу» на пашне. Какая мрачная трагедия безнадежности и отчаяния крестьянского труда!



Кукрыниксы. «Катастрофа на шахте».

шо написанную картину художника Б. В. Иогансона — «Урал демидовский». Иогансон сочно изобразил старый литейный цех, где в образах заводчика и рабочего дал правдивую схватку труда с капиталом. В небольшом эпизоде, в образе крепостного рабочего мы видим будущую огромную силу пролетарского движения. Это только начало битв, но такое начало, когда исторический ход их предreshen и гибель старого мира неизбежна.

Две небольшие, выразительные работы худ. М. Черемных, написанные в

Хороши полотна Кукрыниксов: «Моллебен на закладке фабрики», «Катастрофа на шахте» и «Бегство фабриканта». За острый, реалистический, «щедринский» характер письма мы любим этих художников, создавших беспощадную карикатуру на «правителей России»: Колчака, Деникина, Врангеля и Юденича. Кукрыниксы мастерски владеют крепким сюжетом, дают четкую композицию, острый и верный рисунок. Это люди смелой, мужественной кисти. Жизненные образы, как известно, возможны только в жизненных сюже-

тах. Обратимся к характерам людей. Прекрасное впечатление производят работы художника В. Ефанова. Копия крупного его полотна «Незабываемое» (подлинник отправлен на выставку в США) воссоздает перед зрителем момент встречи товарища Сталина, членов Политбюро и правительства с женщинами — общественницами промышленности. От этого произведения трудно оторваться, столько счастья, теплоты, радости и непосредственности в этой незабываемой встрече. Это — поэма о человеческой дружбе, основанной на единстве целей и интересов, на деловом сотрудничестве, на огромной чуткости к людям. Это один из многочисленных примеров того, что составляет политическое и моральное единство нашего народа и его любовь к своим руководителям в жизни и борьбе. Ефанов — мастер красок, его сюжет поражает стройностью. Композиция фигур — оригинальна и свежа. Портрет испанской девочки — «На новой родине» — это такая удача художника, которую хочется выразить одним словом: «Чудесно!». Хорошо написан и портрет товарища Орджоникидзе.

«Мы зальем сталью фашистские глотки», — уверенно говорил сталевар Мазай на Чрезвычайном VIII съезде Советов, и этот момент речи стахановца Мазая неплохо схвачен художником Ф. Модоровым.

В картине художника А. Герасимова «На совещании работников тяжпрома», президиум во главе с товарищем Орджоникидзе, так же, как и все собравшиеся, увлечен речью рабочего. Это — государственный деятель нового типа. Он выступает на трибуне среди командиров промышленности. Фокус картины найден правильно. Художник не погрешил против истории, дав в центре этой картины полную энергии и мужества фигуру кузнеца Бусыгина. Письму А. Герасимова присущи пластика и динамичность большой, сильной кисти и смелого, точного рисунка.

Интересным полотном является картина худ. В. Серова «Приезд Ленина в Петроград в 1917 г.». Удачно и свежо в этой картине написан образ

товарища Сталина, неплохо выписаны фигуры рабочих, солдат и матросов. Досадным недостатком в этой работе является суженная перспектива, вследствие чего общая композиция полотна носит характер несколько плакатный и скучный.

Вспоминаются годы гражданской войны. Люди уходят с родного завода на один из ветреных осенних дней на тяжелый и трудный подвиг защиты молодой советской страны. Мы видим это в картине Соколова-Скала: «Рабочие перед уходом на фронт». Люди делают это просто — по-рабочему, без фальшивой патетики, зная о предстоящих трудностях и битвах. В картине чувствуется воля людей, которые вышли на дорогу жизни и не уступят ее никому. Ветер, рвущий облака дождливого дня, подчеркивает и усиливает общее впечатление. Художник вдумчиво взял такой кусок природных условий, который позволяет лучше осмыслить изображенный им эпизод.

«Котлован Днепростроя» и портрет Героя Советского Союза т. Юмашева — две небольшие по размерам, но интересные работы, сделанные художником И. Бродским. Интерес их заключается, главным образом, в том, что они показывают нам творческие устремления живописца в сторону очень тщательно, и большого верности деталей. Свежо и несколько необычно по сравнению с прошлой манерой письма художника написан портрет т. Юмашева.

Следует остановиться на огромном полотне художника В. Пчелина «Доклад товарища Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов». Вялое письмо художника, фотографичность, отсутствие сочности и темперамента в его работе резко снижают значение этой картины. Присущая Пчелину неряшливость в портрете бьет в глаза.

Великолепен эскиз «Старик» художника В. Н. Яковлева. Эта работа — несомненный успех художника. Так же мастерски им написана картина «Старатели пишут письмо творцу Конституции». Образы людей созданы с большой определенностью, поражает анато-

мическая, скульптурная проработка деталей. Художник идет от лучших традиций классической живописи.

В картине «Ходоки у Ленина» художник И. Грабарь дает образ вождя в изумительной черте его характера — в умении связаться с массами, выслушать их думы, надежды и чаяния. Величайшим обоюдным доверием дышат образы людей в этой небольшой картине. Хорошо написан художником и

рился, но и окрашен иным содержанием. Вырос новый человек, а следовательно, и новый его моральный облик.

Из числа произведений этого жанра отмечаем картину художника Дормидонтова «Киров на лыжной прогулке с физкультурниками» — убедительное полотно, где много движения, воздуха, света; правильно схвачена идея произведения — замечательная простота и



В. Н. Яковлев. «Старатели пишут письмо творцу Конституции».

портрет Героя Советского Союза т. Ляпидевского и значительно слабее портрет т. Водопьянова.

Большое впечатление производит картина грузинского художника М. Тоидзе «Орджоникидзе у стахановцев ферромарганцевого завода». Небольшой гаммой красок, густым темным тоном художник создал полотно, которое имеет строгий и мужественный колорит. В этом групповом портрете хорошо дана игра света от расплавленного металла и дневного освещения.

Крупным явлением в развитии советской живописи надо считать появление полотен, отображающих бытовые стороны нашей действительности. Диапазон чувств, желаний и проявлений человека в свободное от труда время не только чрезвычайно возрос и расши-

искренность отношений вождя и народа.

Художник Н. Дорохов написал «Втузовку». Это правдивый образ девушки нашего времени. Но молодежь умеет не только отлично учиться, она умеет хорошо и повеселиться. В картине «В выходной день» художник П. Мальцев показал нам веселые танцы и непринужденный отдых молодых рабочих. С достоинством и с большим уважением к сценическому искусству относится семья рабочего, занявшая ложу ГАБТ, — картина художника О. Яновской. Трудная и сложная тема решена очень неплохо.

Явно не справился с темой художник С. Адливанкин в экспонированных им произведениях: «На работу» и «Премия». В первой он изобразил едущих на грузовике веселых рабочих (с таким

же успехом эту «картину» можно было назвать «На прогулку»), во второй — молодого рабочего на мотоцикле («Премия») с женой и ребенком. Обе картины плохи. Мелкая, плоская бытовщина и удивительная художественная безвкусица! Спекуляция на теме не помогает. В общем — грязно, серо, маловыразительно и очень далеко от искусства.

Но дело не только в одном художнике Адливанкине. Немного радости доставляет и К. Юон в картинах, посвященных авиации и парашютизму: «Перед прыжком», «Пробная подвеска бомб», «Первое приземление». Скучен и академически сух Ю. Клевер — «На дне марском». Примитивен в рисунке и композиции Е. Ильин — «Трипольская трагедия». Непонятно, почему художник Спиринов посредственный групповой портрет назвал «Речь Дзержинского». Тема не оправдана, и идея выступления Дзержинского не дана. Явно неудачен и «Портрет Ворошилова» А. Герасимова, это тем более досадно, что рядом мы имеем превосходный «Портрет Сталина», написанный этим же художником. Попрежнему плакаты художника Дейнека в работах, посвященных завоеванию Арктики авиацией. Печать этого плаката лежит и на стройной по композиции, очень интересной по музыкальности света и красок картине «Праздник в колхозе» С. Герасимова.

Не умеет рисовать людей художник А. Меркулов — «Смена зимовщиков». У этого живописца живут краски в отвесах льда и необычайная беспомощность — в образах людей, сила — в чутком отношении к пейзажу Ледовитого океана, в объемной передаче форм неживой природы Арктики и слабость и примитив — в изображении человека. Картина оы, несомненно, выиграла, если бы художник ограничился пейзажем. Здесь уместно вспомнить слова скульптора Антокольского, который в письме к Стасову говорил, что «рисунок — это тот же язык, которым мы учимся ясно выражаться».

Большой интерес вызывает работа А. Пластова «Колхозный праздник». Но Пластов, несмотря на хорошую манеру письма, не владеет тайной сюжета.

Материал давит на художника, он захлебнулся от обилия образов и потерял тот сокровенный фокус, который концентрировал бы внимание зрителя на самой важной точке картины, формировал бы сознание зрителя на идейном замысле полотна в целом. Произошло это, на наш взгляд, потому, что художник фабульной, повествовательной формой (которая отражает многообразие фактов) подменил сюжет (который должен дать логику события). Не удался групповой портрет членов правительства, осматривающих модель Дворца Советов, в картине художника Г. Горелова. Очень портит неудачное, двойное (дневное и электрическое) освещение и без того маловыразительную картину художника Денисовского «Вручение ордена Орджоникидзе». В портретах Г. Ряжского есть искренность и хорошая, мужественная простота, но явная нехватка психологической углубленности характеров. К первому ряду работ необходимо отнести картину Г. Шегаль «Сталин на совещании женщин-колхозниц». Ясность, простота, убедительность в композиции и сюжете, определенность и выразительность образов, хорошая живописная культура выгодно отличают этого художника.

Реализм для нас — это биение революционного пульса, это — тонус жизни страны и эпохи, это — безоговорочное утверждение и последовательная защита всего социалистического, нового и борьба против старого, консервативного и реакционного. Направляющей, руководящей силой в этой борьбе является большевистская идейность и непримиримость. Это — кипение возмущенного разума против всего враждебного и гордость за свершенные и свершаемые большие и «малые» дела. Об этом необходимо напомнить и потому, что имеется немало еще художников, для которых неясность, непоследовательность мировоззрения не создает условий для решения проблемы логического и чувственного в художественном образе, мешает правильно нащупать фокус, средоточие темы и идеи, слить их воедино и представить это в образах живых и волнующих. Щедрин говорил, что «не-

ясность мирозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю». На самом деле, для художника как крупнейшие исторические события, так и «маленькие» факты повседневной жизни требуют к себе ясного отношения и глубокого проникновения в их сущность.

Все классические произведения прош-

Суриков, Репин, которые создали произведения огромной правды, являющейся первым признаком красоты и неувядающего значения их творений. Великие классики прошлого как бы протягивают нам дружескую руку союза и помощи, чтобы новое поколение, вооруженное их великолепным опытом и опытом всей предшествовавшей истории развития и классовых битв, видело дальше,



И. Вакуров. «Ударники полей».

лого живут дольше, чем поколения, их породившие, потому что они были великим отражением своей действительности. Созданные в недрах своего века, они донесли до нас взволнованное человеческое сердце и «звучный призыв», на который отвечают поколения. Они выходят за пределы и рамки своей эпохи, потому что не копируют действительность, а выражают ее так, что «в одном слове бьется целый мир мыслей и в одной картине резюмируются целые философские системы».

Эти высокие требования ставили перед собой и перед другими художниками такие гиганты, как Леонардо да Винчи,

шире, глубже. На этих путях лежит решение и проблемы монументальности жанра и пейзажа. Семья рабочего может занять прекрасную ложу в Большом театре Союза только у нас, в стране социализма, в стране все возрастающей культуры и материального достатка, а не в странах фашизма, варварства, угнетения и безработицы. Здесь целый новый мир представлений, идей, чувств. Так «маленькая» тема бытового, «жанрового» порядка разворачивается в огромную тему: «У нас и у них».

На выставке немало хороших полотен советского пейзажа. Из них мы отмечаем картину худ. Б. Смирнова «На Днеп-

ре жизнь бьет ключом». Хороша перспектива, точен рисунок, ярки и колоритны краски этого мастера. Хороша работа В. Журавлева «В день открытия слета планеристов в Коктебеле». Удачей является «Спуск корабля» художника Г. Нисского. Очень своеобразен в манере письма Б. Яковлев — «Сунастрой». Хорошо передана туманная и суровая природа Севера в «Заполярной Нивагрэс» — Бялиницким-Бирулей. Оставляет большое впечатление и «Начало нового города» Я. Бровара. Стройка кипит всюду, и к далекому Заполярью обоз из оленьих упряжек везет стандартные дома нового города. Чутким отношением к природе отличается этот художник. Интересна «Новая Москва» Ю. Пименова. Жаль, что на ней лежит печать некоторой несамостоятельности, заимствованной у французов. Запоминается «Ночной Баку» А. Любимова. Много большой, подлинной страсти и темперамента в картинах К. Хуциашвили «Сурам» и особенно в работе Х. Герогладзе «Чайные совхозы Чаквы на Кавказе».

Для нас важен вопрос пейзажа и потому, что нередко культивировалось пренебрежение к данному виду живописи, существовала прямая недооценка его и среди отдельных художников. Пейзаж воспитывает чувство природы, чувство красоты. Дело не только в подчинении человеку недр природы и ее сил, но и в слиянии с ней. Слияние с природой — это ощущение вечной молодости народа, и пейзаж должен разворачиваться перед нами, как живая, поучительная книга познания, раскрывающая нам ее источники богатства, ее красоты и мощь. И, посетив выставку, хочется сказать, что нам нужны более яркие полотна, которые увлекли бы людей, в особенности молодежь, не только своей красотой, но и звали бы их на преодоление этой природы, ее завоевание, раскрытие ее тайн и чудес.

Чтобы создать искусство, могучее по внутреннему своему озарению, искусство большого очарования и мощного призыва, поэтическое в полном смысле этого слова, нашим мастерам надо побороть все препятствия, возникающие на пути

их творчества. И нам кажется, что художники еще не совсем понимают предъявляемые к ним требования.

Вместо живописной поэмы мы видим пока торопливый эскиз, легкий живописный очерк, и вместо глубокого, истинного понимания истории — попытки отделаться злободневностью темы. И это касается, в той или другой степени, всех видов живописи.

Не вырвались еще наши художники из периода ученичества, и даже крупные мастера несут на себе в какой-то степени элементы подражательства.

★

На выставке представлены и работы художников-палешан. Из них особенно выделяются «Ударники полей» И. Вакурова, «Старики инспекторы колхозных полей» И. Першина, «Старый мастер обучает молодых» П. Парилова и портреты художника И. Серебрякова.

В чем же особенность этих работ? В прекрасной работе Вакурова «Ударники полей» этот мастер смело отбросил традиционную форму темного фона и сложных украшений, сохранив, однако, в основном старую манеру письма в трактовке художественных образов колхозников. Но и в характере письма намечаются новые моменты. Эта новизна заключается в том, что от иконописной манеры Вакуров идет к свободному реалистическому письму, стремясь создать психологию современного человека. Художник пытается дать живописную перспективу и пластичность. Темный фон картины, обычно присущий Палеху, заменен теплым и светлым. Это — краски действительности. Художник показывает уборку золотой пшеницы на фоне светлого, солнечного дня, очень хороши оттенки золотого и красного. Новое содержание сломало традиционную форму письма, и в живописи Палеха намечился интересный перелом. В такой же манере написана работа П. Парилова «Старый мастер обучает молодых». По мастерству исполнения эта работа значительно слабее первой, но и ей присуща та же смелость в поисках формы.

Превосходно сделаны художником И. Серебряковым портреты товарища

Сталина и товарища Орджоникидзе. Много вкуса, тепла, большой и глубокой жизненной правды внесено в эти небольшие по размерам, но значительные по мастерству работы, лишенные присущей Палеху стилизации.

★

Все, что сделано и делается руками советского народа, руками советских художников, должно быть высоким по уровню и качеству, должно быть сработано отлично, с полным знанием материала и формы. Проблема качества — одно из основных условий эстетики нашего времени. Сила, выразительность художественного образа, раскрытие его глубокого содержания и смысла возможны только в результате синтеза содержания, формы и материала. Это особенно чувствуется на искусстве объемном — скульптуре. Скульптура на выставке мало радует зрителя. Представлена она, главным образом, портретом. Мало групповых скульптур, единичны барельефы и горельефы. Другая сторона бедности в том, что в своем огромном большинстве работы даны не в материале, т. е. не в мраморе, граните, бронзе, камне, дереве, а в гипсе. Такое пренебрежение к материалу просто недопустимо в наше время и в нашей стране, располагающей замечательнейшими породами дерева и породами камня, не говоря уже о металле.

На фоне небольших удач и невысокого уровня скульптурных произведений заслуживает внимания портрет Ленина, выполненный В. Пинчуком, и работа В. Ингала и В. Боголюбова — «Орджоникидзе». Радует скульптор В. Синайский, давший в бронзе молодого рабочего. Определенно хороша «Трактористка» А. Грубе. Казалось бы, что дуб мало подходит, как материал, к работе над портретом. Однако мастер преодолел этот материал. Огромный деревянный блок не помешал скульптору Грубе найти лицо, олицетворяющее стахановку полей. Художник И. Бирюков дал групповую скульптуру — «Путевка в жизнь». В этой работе удался образ мальчишка-беспризорника, но сла-

бее выполнен портрет Дзержинского. Следует остановиться на незаконченной скульптуре великого летчика нашего времени В. П. Чкалова С. Лебедевой. О незаконченности следует пожалеть, тем не менее и этот незаконченный портрет лучше многих законченных. Удачна работа Г. Нерода — «В. М. Молотов» (мрамор).

Скульптор Д. Рындзюнская создала портрет юной стахановки хлопковых полей (цемент). В скульптуре хорошая гармония, ритмическая цельность и музыкальность наряду с углубленной психологической трактовкой. В работе М. Манизера «Сталин» убедительно схвачен и проработан духовный и психологический облик вождя с головой ученого, в сапогах и тужурке простого солдата. Вместе с тем в лепке Манизеру свойственна та доля старого, плохого академизма, от которой он не может отделаться и которая снижает качество его работы.

Керамика И. Ефимова «Добыча золота» художественно и верно передает особенности труда золотонкателей. Перед нами два разведчика золота. Внимание одного из них поглощено результатом промывки, это внимание подчеркивает и усиливает его товарищ по совместным поискам, ожидающий ответа. Скульптор нашел убедительную и удачную композицию, фигуры анатомически хорошо обработаны, расцветка керамики оживляет соответствующим колоритом красок эту работу.

★

Мы далеки от такой постановки вопроса, чтобы, прочитав эти беглые заметки, иной художник сказал: «Ну, кажется, и меня не забыли...». Лучшие работы запоминаются, посредственные забываются. Это естественно. Вопрос в другом. Десять лет тому назад М. Горький сказал: «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры. Это — наказ истории, лозунг эпохи». Ряд крупнейших достижений в области литературы, театра, кино, живописи и отчасти музыки говорит о том, что в этом воспитании своих мастеров культуры намечился сдвиг и весьма ощутимый

рост. В этом росте живопись и скульптура явно отстают.

Если в тематическом отношении выставка «Индустрия» представляет условно новый, интересный и важный шаг вперед, выходя за пределы тем, связанных с индустрией, то по своему глубокому проникновению средствами художественности в образы и дела людей нашей величественной эпохи выставка картин и скульптуры несет на себе все следы спешки и либерального отношения комиссии по приему экспонатов. Если бы количество работ было сокращено вдвое и были бы забракованы явно неудачные произведения, дело воспитания художника выиграло бы наверняка, а зритель ничего бы не потерял.

Естественно, что только лучшие произведения данной выставки достойны украсить залы наших дворцов, музеев, правительственных и общественных зданий.

Социалистический реализм — метод советского искусства, но сколько еще эклектиков, натуралистов, упрощителей, снижающих боевое значение искусства и развращающих эстетические, художественные вкусы народа, пытаются прикрыться им в своей посредственной и плохой работе. Немало этих «реалистов на подножном корму» и на данной выставке. Для некоторых художников вся настоящая практика их работы есть пока еще медленное приближение к осуществлению принципа социалистического реализма (трудности и ошибки здесь возможны). Советское искусство все

должно быть проникнуто стремлением понять умом, живым и вдохновенным, всю сложную ткань действительности и отразить ее цельно во всей сложности и определенности, присущей нашей эпохе, отразить с чувством бесстрашия и величия и такой силой художественного голоса, когда факты жизни подымались бы над жизнью (ради утверждения этой жизни) для того, чтобы люди видели их лучше и изумлялись подвигам народа и его вождей. Наша советская действительность является прекрасной материальной и культурной базой для развития искусства социалистического реализма. Но это искусство вырастает лишь в борьбе против хвостизма, самотека, приспособленчества, составляющего логическую основу всякого упрощенчества, подражательства и грубого натурализма.

На настоящем этапе развития живописи наши художники в своих произведениях дают нам разную степень приближения к исторической правде, но ясно одно, что «народное рождение этой новой, народной, социалистической интеллигенции является одним из самых важных результатов культурной революции в нашей стране» (Сталин). Это условие — база для нашего движения вперед в искусстве. Важно лишь не успокаиваться, не зазнаваться, ибо всякое успокоение и чванство ведет к творческой деградации, к творческой гибели художника, а мы должны жить и будем жить на страх врагам, продолжая дело построения коммунизма.

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. БОБРОВ. — «ЧУДЕСНЫЕ КРЫЛЬЯ». А. ШИУКОВ. — «ВОЙНА В ВОЗДУХЕ». СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ. — «ИСТРЕБИТЕЛЬ 2-Z». Детиздат. 1939 г.

★

Авиация, люди воздуха давно уже в нашей стране — предмет всеобщего восхищения и законной гордости. Это и понятно. Мужество, отвага, доблесть — неотъемлемые черты наших авиаторов. Советские летчики — люди волевые, не пасующие ни перед какими трудностями, способные на самые дерзновенные подвиги во имя интересов родины. Вот за это так горячо и любит их наш народ и окружает почетом, а правительство отмечает высшими наградами Союза.

Исключительной популярностью летчики пользуются у советской детворы. Пытливая и жадная до приключений, она со всей страстью отдается романтике героизма воздушных путешествий. Дети с упоением и восторгом говорят о полетах, стремятся подражать героям в их интересной, сопряженной с большими опасностями работе. К сожалению, в литературе для детей и юношества у нас мало еще увлекательных рассказов и повестей о борьбе человека за покорение воздуха, о людях, ставших крылатыми. Облик сталинских соколов, чьи имена не сходят с уст народа, еще не запечатлен в правдивых и ярких художественных произведениях.

В начале текущего года Детиздат выпустил несколько книг, посвященных авиационной тематике. Новинки эти критика почему-то обошла молчанием. А книжки заслуживают того, чтобы поговорить о них всерьез.

Вот книга Боброва «Чудесные крылья». Какой сказочный мир техники и науки открывает она читателям, с какими замечательными людьми знакомит! Книга повествует о многовековой борьбе человека за овладение воздухом. «Чудесные крылья», конечно, не строго исторический очерк, не научно-исследовательский труд. Автор лишь добросовестно собрал некоторые уже известные по литературе факты и события, обобщил их, придал им последовательность и форму живого, занимательного рассказа. В результате получилась интересная и полезная книга.

«Чудесные крылья» открываются сказкой об искусном Дедале и сыне его Икаре. Сказку эту создали древние греки. Словно предугадывая будущее, сознавая всю трудность до-

стижения способов летания по воздуху, народная фантазия завершила миф трагическим концом — гибелью Икара.

Люди на заре своей истории, конечно, не могли придумать более правдоподобных и убедительных средств для полетов в воздухе, как восковые крылья Дедала. Потребовалось не одно столетие упорных исканий, чтобы сказка стала былью. «Чудесные крылья» и показывают историю изобретения воздухоплавательных машин. Автор говорит о том, как много пришлось людям затратить труда и сил, прежде чем они научились летать. Сила авиации заключена, прежде всего, в творческой мощности человеческого разума. Сказка древних греков воплотилась в жизнь лишь тогда, когда она получила опору в реальных данных научного опыта, в промышленности и технике.

Период первоначальных долгих и безуспешных попыток человека покорить воздушную стихию в книге освещен довольно бегло. Автор лишь подчеркнул, что люди на протяжении многих веков шли в своих исканиях по пути, предугаданному мифологией, т. е. строили крылья. Идею создания именно такой машины-птицы развил знаменитый художник-ученый Леонардо да Винчи. В России во времена Ивана Грозного самородки-изобретатели пытались летать на крыльях. Крепостной Никитка дорого поплатился за свою дерзкую затею — он был казнен.

Бобров правильно поступил, всячески оттенив историю изобретательской мысли в нашей стране. Читатель видит, что среди русского народа были талантливые люди, упорно добивавшиеся осуществления гордой мечты человечества. Так, в 1731 году, за пятьдесят лет до братьев Монгольфье, подьячий рязанского воеводы Крякутной сделал большой шар и, наполнив его дымом, поднялся в воздух. Шар ударился о церковь и разбился. Изобретатель, схватившись за веревку, влез на колокольню. Начальство хотело сжечь Крякутного, и спасся он лишь бегством.

Только когда наука и техника достигли определенного уровня развития, когда был изобретен двигатель, творческая мысль человека начала подходить к идее создания самолета.

В книге это показано хорошо и наиболее полно. Почти одновременно в конце прошлого столетия француз Адер, англичанин Максим и американец Ленгли конструируют самолеты с механическим двигателем. Прыжок в воздух был совершен! С тех пор развитие авиации идет исключительными темпами. Немецкий ученый Отто Лилиенталь строит планер и постигает искусство полета. Отец русской авиации Н. Е. Жуковский вырабатывает правильную форму винта и крыльев теперешних самолетов.

Достоинство книги «Чудесные крылья» в том, что в них история воздухоплавания представлена не как склад готовых открытий и изобретений, а дана в развитии. Автор рассказывает, как люди, накапывая опыт, терпя горькие неудачи и разочарования, твердо и неуклонно шли к цели. Особенно интересен в этом отношении рассказ о братьях Райт, изобретателях управляемого самолета. Сколько самоотверженного труда и страсти вложили они в дело создания аэроплана!

Книга Боброва завершается главами, посвященными советской авиации, успехам и беспримерным подвигам Чкалова, Громова, Коккинали — героев и летчиков сталинской эпохи.

Можно не сомневаться, что «Чудесные крылья» найдут успех и станут популярными у наших любознательных детей и юношества.

Не менее интересна и книга рассказов А. Шиукова «Война в воздухе». Автор — старый летчик, прошедший мировую и гражданскую войны. Ему приходилось много раз участвовать в боевых операциях или лично наблюдать их. Обо всем этом он и рассказывает просто и бесхитростно. Несмотря на узкий круг отраженных фактов и событий, воспоминания автора дают наглядное представление о том, какими были самолеты в 1914 году и как они совершенствовались в дальнейшем. В своей небольшой книжке Шиуков приводит также несколько эпизодов из гражданской войны в Испании, где авиация республиканцев наносила сокрушительные удары фашистам. Читатель, сопоставляя воздушные бои прежде и теперь, убеждается в том, как далеко ушло вперед развитие военной авиации и в какую грозную силу она превратилась.

Рассказы Шиукова, в отличие от «Чудесных крыльев», заинтересовывают читателя непосредственностью и меткостью наблюдений человека, видевшего собственными глазами рост авиационной техники и применение ее на войне. Автору наиболее удалось те места в книге, где он рассказывает о личной жизни и работе рядового военного летчика.

★

В Детиздате вышла еще одна книга на авиационную тему: роман Сергея Беляева «Истребитель 2-Z». Автор назвал свое произведение научно-фантастическим, хотя задачи, которые ставят перед собой герои книги, выглядят порой не фантастикой, а уже реально осуществленными. Так, летчик Лебедев мечтает

совершить полет через территорию СССР и Тихий океан. Но ведь наши краснокрылые птицы не раз уже пролетали почти такие же расстояния, и маршруты их были не менее трудны и сложны. Достаточно вспомнить о полетах в Америку. В книге есть и настоящая фантастика: рассказывается, например, о том, как советские ученые изобретают способы выращивать пшеницу до полного созревания в течение нескольких часов. Это, конечно, очень смелая и, вероятно, не скоро осуществимая мечта.

Перейдем к оценке книги по существу. Летчик-испытатель Лебедев и штурман Гуров готовятся к полету Москва—Огненная земля на самолете «Красная звезда». Одновременно ученые Бутягин и Груздев работают над проблемой стимуляции роста сельскохозяйственных растений. За рубежом в фашистском государстве идет лихорадочная подготовка к войне. Ученый Урландо изобретает универсальное орудие уничтожения всего живого на земле. Урландо едет в СССР и здесь выкрадывает секретные записки у Бутягина.

Летчики Лебедев и Гуров — в полете. В Тихом океане они встречают неизвестный самолет, который куда-то мгновенно исчезает. Решив, что он потерпел аварию, экипаж «Красной звезды» идет на помощь, снижается и делает посадку на воду. Летчики неожиданно попадают в плен к Урландо. Он усыпляет их. Пленников сажают в самолет и отправляют в неизвестную страну. Здесь они наблюдают, как Урландо производит испытание своего истребителя «2-Z». Вместе с ним летает и Лебедев. Он видит, как машина, словно огненный смерч, начисто уничтожает 13 деревьев. В это время в СССР ученые Бутягин и Груздев доводят свои опыты до конца. Высеянная ими пшеница тут же молниеносно растет, колосится и поспевает.

Фашисты нападают на СССР. Завязывается война. Лебедев и Гуров убегают из плена и на самолете опускаются в расположение красных войск. Противник терпит поражение. Ему остается одно: пустить в ход последнее средство — истребитель «2-Z». Но и его сбивают красные части. Урландо попадает в плен. Враг разгромлен. Фашистское государство, однако, продолжает существовать. Лебедев прилетает в Москву. После торжественной встречи герой — у семейного очага. Родные, друзья счастливы, играет музыка, все танцуют (?!).

Уже в сюжетных ситуациях романа читатель встречается с такими фактами, которые просто уму не постижимы. Непонятно, зачем Урландо еще до войны понадобилось захватывать советских летчиков и демонстрировать им свой истребитель? Почему фашисты, начиная войну, изготовили лишь один смертоносный истребитель? Разве можно поверить тому, чтобы они, сконструировав и испытав в действительности страшнейшую летательную машину смерти, не постарались приготовить и использовать во время войны возможно большее количество их?

Подобные вопросы возникают при чтении книги почти на каждой странице. Если роман фантастический, то это еще не значит, что он

должен быть лишен всякого здравого смысла. Фантастика приемлема лишь такая, которая не тащит куда-то в сторону от жизни, а вырастает из нее, корнями своими глубоко уходит в земную почву; она должна предугадывать истинное будущее, открывать то, что пока еще не развилось и находится в зародыше.

Фальшивость произведения Беляевз особенно наглядно видна в обрисовке образов. Главного героя своего романа, летчика Лебедева, автор всячески старается «вывести в люди», сделать его образцом, положительным персонажем. Но образ этот явно не удался. Герой в романе статичен, — в нем нет динамики, движения. Лебедев не борется, не преодолевает никаких трудностей, а только разглагольствует, как обыватель. Автор не пробуждает к нему чувств симпатии. Герой наделен такими чертами, которые совсем не свойственны советским людям, а особенно, большевикам. У него отсутствует скромность, он называет себя знаменитым летчиком, хотя читателю неизвестно, на чем основано это хвастливое утверждение. Прилетов в столицу и выйдя навстречу собравшейся многотысячной толпе, он снисходит до того, что «перед своим народом обнажает голову». Стремясь оттенить всеми средствами ортодоксальность Лебедева, автор вместе с тем сделал его образ неконкретным, жизненно неубедительным. Герой превратился в ходячую добродетель, в схему, а не живого человека. В беседах с друзьями и с врагами он, например, разговаривает так, как будто выступает на митинге.

Другим главным персонажем романа является Урландо. Он — антипод Лебедева. Очевидно, по замыслу автора, этот образ должен быть в романе олицетворением вражеского лагеря. Урландо — крайний индивидуалист, он признает только собственное «я» и стремится к господству над всем миром. Но, несмотря на грозные филиппики по адресу всего человечества, Урландо не вызывает к себе ненависти. Автор хотя и наделил его пороками, но представил его необычайно действенным человеком, обладающим сильным характером, изворотливостью, предприимчивостью. У него огромная эрудиция. Он — талантливый ученый, изобретающий, пусть смертоносную, но все же поразительную по своей технической смелости и дерзости ума машину. Он строит лабораторию и помещает ее под водой в Тихом океане. Интерес читателя к Урландо усиливается и тем, что последний держится довольно независимо от фашистской клики и почти все время противостоит ей. Он остроумно проводит за нос фашистскую разведку и, посмеявшись над ней, высказывает невредимым из ее лап. В пользу Урландо настраивает читателя и сцена, когда агенты фашистской разведки проникают в его лабораторию. Владелец ее встречает непрошенных гостей издевательской речью и в конце концов топит их в море.

Автор до конца романа сохранил обособленность Урландо, его независимость. Фашисты покупают его изобретение. Когда от него после испытаний машины потребовали пустить ее в серийное производство, он злобно ответил: «Я

не хочу никаких серий!». Это требование его, как показано в романе, было выполнено. Весь образ Урландо, его деятельность окружены неопытной и неоправданной таинственностью. Он именуется себя потомком знаменитого корсара «Золотого Старлатти», владыки Адриатического моря.

Роман «Истребитель 2-Z» написан для юношества, а оно в силу своего возраста увлекается больше героями не резонерами, не скучными морализаторами, а теми, кто активно действует, попадает в разные приключения изобретает диковинные вещи. Какую же услугу оказывает ребятам Беляев, когда подсовывает им такого героя, как Урландо? Не ясно ли, что эта книга принесет только вред.

В романе автором сняты все трудности борьбы, все приглушено, представлено в розовом свете.

Командование фашистской армии изображено на редкость нерассудительным, близоруким, а подчас и просто глупым.

Красные части, шутя, без особых усилий и жертв, разбивают в пух и прах противника. Война похожа на увеселительную прогулку с фейерверками и прочими пиротехническими аттракционами.

Нарисованные Беляевым картины будущей войны — это не художественное предвидение событий, не догадка, основанная на глубоком знании жизни, а типичная «кузьма-крючковщина», шапкозакадиельство.

Можно было бы пройти мимо «научно-фантастических» прогнозов Беляева, настолько они убоги и плоски, если б не учитывать того факта, что роман его предназначен для юношества. Показывая предстоящие битвы с фашизмом, как своеобразное феерическое представление на цирковой арене, а советских людей добродушными и беззаботными бодрячками, книга Беляева может породить у молодежи только самоуспокоенность, самодовольство, легкомысленное отношение к действительности.

Нет ничего более нетерпимого в художественном произведении, как показ жизни в подсахаренном виде. В литературе и для взрослых, и для детей это одинаково неприемлемо и вредно. Художественное произведение для юношества должно быть проникнуто духом суровой борьбы, которую ведут советские люди как с врагами, так и со стихиями природы. Надо помнить завет Горького, писавшего, что «...нам необходимо строить всю литературу для детей на принципе совершенно новом и открывающем широчайшие перспективы для образного научно-художественного мышления; этот принцип можно формулировать так: в человеческом обществе разгорается борьба за освобождение трудовой энергии рабочих масс из-под гнета собственности, из-под гнета капиталистов, борьба за перевоплощение физической энергии людей в энергию разума — интеллектуальную, — борьба за власть над силами природы, за здооовье и долголетие тоудового человечества, за его всемирное единство и за свободное, разнообразное, безграничное развитие его способностей, талантов. Вот этот при-

тип и должен быть основой всей литературы для детей и каждой книжки, начиная с книжек для младшего возраста».

Роман Беляева плох, в частности, и тем, что он совсем не побуждает читателя к серьезному ознакомлению с описываемой автором техникой. Такое величайшее открытие, как выращивание сельскохозяйственных растений в течение нескольких часов, показано не как результат длительной исследовательской работы а в готовом виде, достигнутом с поразительной легкостью. Беляев рисует лишь одну трудность, вставшую перед учеными. При испытании машины «Урожай», проводимом на опытном поле агроакадемии, вместо высеянной пшеницы, вырастает целый луг трав и цветов. Оказывается, земля была настолько засорена, что сорняки заглушили весь посев. И это на опытном поле агроакадемии! Трудно придумать более курьезный и неправдоподобный факт. Романы замечательного мастера научно-фантастического жанра Жюль-Верна живут и обладают необычайной силой воздействия именно потому, что автор в них не затушевывает трудностей, а, наоборот, рисует борьбу человека за те или иные научные открытия в ее жизненной правдивости, суровости и напряженности. Произведения Жюль-Верна увлекают глубиной мысли, широкими знаниями предмета, они действуют на воображение и чувства читателя остротой ситуаций, необычайной действенностью героев, которые идут к цели, преодолевая огромные препятствия. Герои решают сложнейшие задачи не путем магических заклинаний, не по мановению волшебной палочки, а упорным трудом вселобещающей волей, благодаря громадной настойчивости, силе и твердости своего характера. Все эти качества как раз и отсутствуют в романе Беляева.

Создание научно-фантастической литературы в, в частности, на авиационную тематику — чрезвычайно нужное дело. Жизнь давно уже настоятельно требует всемерного развития этого жанра. Нам необходимо порой «...забегать

вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только-что начинает складываться...»¹.

Только в нашей стране воплотились и воплощаются в жизнь смелые мечтания, занимающие умы и воображение лучших людей прошлого. Только у нас люди работают плодотворно над осуществлением дерзких своих замыслов. Художественная литература должна отразить эту особенность характера советского человека, представить в ярких образах его гордые мечты. Нам нужны такие научно-фантастические произведения, которые бы в подлинном смысле открывали завесу будущего, захватывали бы юного читателя и заставляли его не только глубоко задумываться над книгой, но и по ней делать выбор своей профессии. Знаменитый ученый Циолковский писал, что он увлекся идеей межпланетных полетов под влиянием романов Жюль-Верна. Такое же признание делает и академик Обручев: «Я могу сказать, — пишет он, — что сделался путешественником и исследователем Азии благодаря чтению романов Жюль-Верна, Купера, Майн-Рида, которые пробудили во мне интерес к естествознанию, к изучению природы далеких, малоизвестных стран».

Создание научно-фантастических произведений — трудное дело. Оно требует гораздо большего внимания к себе, чем то, которое уделяют ему наши художники и издательства. И уж, конечно, кто другой, а Детиздат тут должен был бы проявить максимум заботы и кровной заинтересованности. Пока этого нет, а есть лишь по меньшей мере несерьезное, легкомысленное отношение к делу, свидетельством чего является выпуск романа Беляева.

А. Воложенин.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 3-е изд., т. IV, стр. 493.

От редакции:

В № 5 журнала по недосмотру зав. корректурой редакции т. Гуревича и типографской корректуры на стр. 235 в цитате из сочинений В. И. Ленина допущена грубейшая опечатка. Напечатано: «...революционной мягкости». Нужно: «...революционной мягкотелости».

Редколлегия: Ф. В. Гладков

Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
О «ДНЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР»	3
ВЫМПЕЛА СЛАВЫ	3
Эдуард САМУЙЛЕНОК — Будущность, роман, авторизованный перевод с белорусского Семена Родова	5
Антон ПРИШЕЛЕЦ — Голуби, стихотворение	50
Александр КОРНЕЙЧУК — Богдан Хмельницкий, пьеса	51
В. БИЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — Пять долларов, рассказ	88
Павел АНТОКОЛЬСКИЙ — Франция, стихотворение	96
Аркадий КОЦ — Париж, стихотворение	98
С. ГОЛУБОВ — Страдиварий на оброке, повесть	100
АРГО — Вальпургиева ночь сего дня, стихотворение	126
Юрий ШЕР, Анатолий СОЛОВЬЕВ — Танкисты, рассказы	131
Дм. КЕДРИН — Песня про Алену-Старицу, стихотворение	142

ЛЮДИ И ФАКТЫ

И. ФРОЛОВ — Пути-дороги, записки геолога	144
Акад. И. ЛУППОЛ — Интеллигенция и революция	172

К 150-ЛЕТИЮ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Акад. Е. ГАРЛЕ — Жан-Поль Марат, друг народа	183
К. ДЕРЖАВИН — Литература французской буржуазной революции	202

Ан. ВОЛКОВ — Горький и современники	222
Мариэтта ШАГИНЯН — Шевченковский пленум	238
Е. БЕРТЕЛЬС — Литература народов Средней Азии, продолжение	246
А. ДЕРМАН — А. П. Чехов, биография, окончание	266
В. СОБОЛЕВ — Индустрия социализма и ее художественное отражение	273

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ВОЛОЖЕНИН. — Н. Бобров. — «Чудесные крылья». А. Шиуков — «Война в воздухе». Сергей Беляев — «Истребитель 2-Z»	282
--	-----



**ВО ВСЕХ ГОРОДАХ и СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИНСПЕКТОРА и СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ГОССТРАХА
ПРИНИМАЮТ СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА
ДОБРОВОЛЬНОЕ**

**МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНО: обстановка, одежда,
музыкальные инструменты, автотранспорт и прочее.**

ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНО В ЛЮБОЙ СУММЕ

в пределах его действительной стоимости. За каждые 1.000 руб. суммы страхования уплачивается в зависимости от огнестойкости строения: в городах и рабочих поселках — от 1 руб. до 4 руб., в сельских местностях и дачных поселках — от 2 руб. до 9 руб.

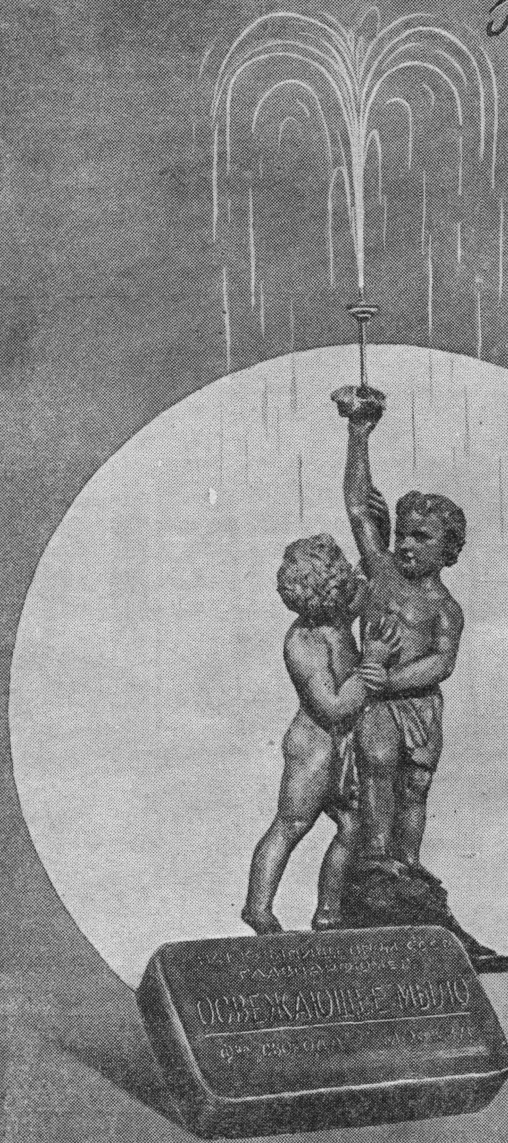
Застраховав свое имущество, каждый гражданин гарантирует его восстановление в случае гибели от пожара или других стихийных бедствий.

За справками и разъяснениями обращаться в городские и районные инспекции Госстраха (при райгортфинотделах), откуда можно вызвать агента Госстраха на дом — для заключения страхования.

Наркоминтерпром СССР

Главнаргумент

ЭМЭИ



Мыло и одеколон

ОСВЕЖАЮЩИЕ